

Н О В Ы Й
М И Р

2

1969

2

Н О В Ы Й
М И Р

1969

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 2

Февраль, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из лирики, стихи	3
ЕФИМ ДОРОШ — Иван Федосеевич уходит на пенсию. Деревенский дневник. 1961. Окончание	6
Д. САМОЙЛОВ — Счастье, стихотворение	60
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Кубик	61
А. ТВАРДОВСКИЙ — С Карельского перешейка. Записи 1939—1940 гг.	116

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. ПОБОЖИЙ — Сквозь северную глушь	161
------------------------------------	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Сердце, отданное народу. К столетию со дня рождения Н. К. Крупской	186
--	-----

В МИРЕ НАУКИ

Академик С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ — Род и предки А. С. Пушкина в истории. Окончание	205
--	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	242
В. Иванов. Драгоценные свидетельства.— Г. Березкин. Наш общий мир.— В. Лакшин. От рукописи — к книге.— С. Львов. Возвращение к простейшим истинам.	

<i>Политика и наука</i>	257
-------------------------	-----

Ю. Буртин. Война и хлеб.— А. Володин. Книга. История. Человек.— В. Савченко. Колхозник: крестьянин или рабочий? — Ю. Моисеев. О братьях наших меньших.	
--	--

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	273
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Н. Вольпер. Псевдонимы В. И. Ленина.— П. Куприяновский. Искания, борьба, творчество (Путь Д. А. Фурманова).— Н. А. Антипенко. На главном направлении.— Проблемы истории докапиталистических обществ.— Г. Попов. Техника личной работы.— Э. Г. Бабаев. Роман Льва Толстого «Анна Каренина».— Элизабет Херинг. Ваятель фараона.— Н. Александрова. Подробности двух минут.— Бернгард и Михаэль Гржимек. Серенгети не должен умереть.— Из истории фабрик и заводов Москвы и Московской губернии (конец XVIII — начало XX в.).— Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников.— Виктория Мальт. Море дьявола.	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

По ледку неожиданный росчерк.
Перелесков кайма...
Обожженные осенью рощи
Остудила зима.

Будто мать, что легонько подула —
И уже не болит,—
До того, как ты, сидя сутуло,
Мог заплакать навзрыд.

Будто снова ночная палата,
Где страданья остры,
И на лбу твоём жарком прохлада
От руки медсестры.

Будто раз еще, может быть, десять,
Да и сто не беда —
Все ты хочешь запомнить и взвесить
До начала труда.

* * *

В болезненном тщеславии своем,
С улыбкой доброй иль с усмешкой злою,
На этом малом шарике живем,
Который называется Землею,

В лучах проспекта или пустыря
Или у океанской зыби серой —
Равно внутри того же пузыря,
Который именуют атмосферой.

Но в чем же наше счастье будет впредь?
Чтобы с негромкой грустью оглянуться
И навсегда отсюда улететь?
Иль все же в том, чтобы сюда вернуться?

* * *

Беспомощно, осиротело,
 Как будто бы в чем виноват,
 Рукою, повисшей вдоль тела,
 Бездействует старый Арбат.

Какой-то уже отвлеченный,
 Намеренно ввергнутый в сон,
 От тела почти отключенный,
 Искусственным заменен.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Сколько слышал укоров:
 Темперамент не тот.
 Сколько мелких уколов:
 Кто захочет — кольнет.

Как-то принято было,
 Чтобы криком кричать,
 В этом виделась сила
 И таланта печать.

Невезеньем шарахнет,
 Но не вырвется стон.
 Твой несчастный характер —
 Как намучился он.

Красотой тебя ранит,
 Но не выкажешь слез.
 Бедный твой темперамент,
 Сколько он перенес!

* * *

Фон голосов — как треск цикад.
 Меня в том доме принимали.
 Печенье или цукат
 Брал щипчиками из эмали.

О, как благоухал стакан
 Свежезаваренного чая.
 А я сидел, как истукан,
 На их вопросы отвечая.

Потом по мокрой мостовой
 Яично растекались фары,
 И путь сопровождали мой
 Стоящие в воротах пары.

Они, продрогшие вконец,
 Бездомны были совершенно.
 Их поцелуй — уже венец,
 Всего возможного замена.

Неспешно, сквозь ночной туман,
Я доходил до общежитья,
И если не остыл титан,
То это было как открытье.

Чтоб никому не помешать,
Я шел к окну, где еле-еле
Свет падал на мою тетрадь —
Лишь строчки явственно темнели.

Писал про то, как бой жесток,
Как дымно догорают танки,—
И пил из кружки кипятка,
И ел, ломая от буханки.



ЕФИМ ДОРОШ

★

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ*

Деревенский дневник. 1961

Всего еще только девять часов, однако на дворе уже сумеречно — дождь висит. Девушки, иные еще совсем девочки, парами или с мальчиком идут в городской сад. Среди них много новеньких, в это лето впервые начавших ходить на танцы. Встречаются и те, кто и в прошлом и в позапрошлом году ходил — еще не вышли замуж. Большинство же из тех, кого я наблюдал в этот час в прежние годы, уже замужем, иные уехали, других я узнаю в молодых, несколько увядших, но старательно одетых женщинах, идущих под руку со своими мужьями. Но есть еще и постарше, кто ходил девчонкой в горсад лет шесть, семь, а то и восемь тому назад, или даже совсем недавно, но только неудачницы, выскочившие за пьяниц, — эти сидят на лавочках у ворот среди расплывшихся старух и подагрических стариков, худые, плохо причесанные, в растоптанных шлепанцах на босу ногу или вовсе босые, в несвежих платьях.

Перед воротами дома, где она живет, топчется на тротуаре босая, стриженная, тучная старуха с отвислыми грудями и животом — Маня-барыня. Она подвыпила и что-то рассказывает, сокрушаясь.

Случайный пьяница пробирается домой.

* * *

На главной улице, как всегда в воскресенье после обеда, пустынно. Окна всюду закрыты, занавески задернуты. Ни души на лавочках у ворот, возле водоразборных колонок. Изредка, покачиваясь и погромыхивая расшатанным кузовом, проедет пустой автобус.

Я иду к Сергею Сергеевичу, с которым мы условились посмотреть Мытный двор — в сущности, торговые ряды, построенные в середине прошлого столетия и получившие свое название, как можно предположить, от находившегося где-то здесь в древности пункта по сбору торговой пошлины. С недавнего времени здание это начали реставрировать.

Навстречу в белой рубашке и в спортивных тапочках, коротко подстриженный, только что побритый, легкой своей походкой идет Александр Сергеевич. Он останавливается, говорит, что с утра просидел в райкоме, принимается рассказывать, что область планирует району на будущий гэд десять тысяч гектаров кукурузы и при этом не разрешает хоть сколько-нибудь уменьшить площади под луком, горошком, цикорием, картофелем, напротив — требует значительного их увеличения. Где же в таком случае взять хорошие земли под кукурузу, где взять для нее удобрения?

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Александр Сергеевич, по всей вероятности, еще не обедал, однако, узнав, куда я иду, предлагает проводить меня, потому что, как можно догадаться, ему необходимо выговориться, что называется, отвести душу.

Я говорю, что никто ведь не отменил закон, разрешающий колхозам планировать самостоятельно, в ответ на что Александр Сергеевич, невесело усмехнувшись, вспоминает, как они тут в декабре, перед самым Пленумом ЦК, пригласили тогдашнего секретаря обкома, чтобы вместе с ним обсудить ряд проблем, какие следовало бы рассмотреть на Пленуме.

Мысль эта пришла председателям колхозов — «мужикам», как называет их по обыкновению многих секретарей Александр Сергеевич. Собрались как-то мужики в райкоме, рассказывает он, толковали о делах, а потом стали настаивать: пригласи да пригласи секретаря обкома, хотим с ним поговорить... Александр Сергеевич и зазвал его однажды.

Разговор начал Иван Федосеевич. Он сказал, что секретарь райкома у них наподобие управляющего, а председатели у него вроде бригадиров.

Рассказав это, Александр Сергеевич посчитал необходимым заметить, что Иван Федосеевич несколько преувеличил. Однако, продолжает он, в основном рассуждения его были правильны, особенно же, когда он сказал, что иначе и быть не может, поскольку хозяйство ведется не соответственно с экономическими законами. Надо прежде всего заинтересовать колхозника, потому что сколько раз уже было, что и ссуду дадут колхозу, и удобрения, и машины, отдачи же нет никакой: удобрения так и останутся лежать возле товарной станции, машины постепенно растащат, только и результат, что долг в банке.

Иван Федосеевич сказал, что надо бы создать районные колхозсоюзы, о чем и в газетах пишут, предоставив им полную самостоятельность в решении производственных вопросов, а уж они станут сдавать то, что положено государству, и продавать непосредственно торговым и прочим организациям все, что тем потребуется, и покупать будут только то, в чем сегодня нуждаются и что им по карману, причем цены на колхозную продукцию и на машины и материалы, какие необходимы для колхозного производства, должны быть для обеих сторон одинаково выгодные.

Выступили и другие председатели, говорили примерно то же самое, не скрыв от секретаря обкома, что они уже и колхозное «правительство» у себя в районе наметили, в котором Иван Федосеевич, к слову сказать, будет заведовать снабжением и сбытом, и на другие должности точно так же подобраны люди по склонности и по своей охоте.

Секретарь обкома встал, снял пиджак, повесил на спинку стула и заявил, что не тем они здесь занялись, чего от них требуют; их дело повышать продуктивность животноводства и урожайность всех культур.

Потом уж, после Пленума ЦК, продолжает рассказывать Александр Сергеевич, когда обсуждали итоги и совещание подошло к концу, секретарь обкома, велел остаться одним секретарям, стал рассказывать, как затащили его к себе райгородцы, надеялись нажать на него с помощью председателей, но он не таковский, его не проведешь, хорош бы он был, если бы выступил на Пленуме с этими их прожектками.

Во всей этой истории меня заинтересовало то, что секретарь обкома, будучи несогласным с предложениями председателей колхозов, ни им не сказал, в чем, по его мнению, они ошибаются, ни с Пленумом ЦК не поделился тем, какие суждения ему случилось услышать, а словно бы хвастал увертливостью, с какой вышел из рискованного положения.

Еще светит солнце, но небо тускнеет, затягивается серой с лиловым оттенком, как бы светящейся дымкой. Когда я возвращаюсь домой, льет теплый прерывистый дождь и где-то вдалеке гремит гром.

Вечер тихий, пасмурный. Пахнет дождем, сеном.

Михаил Васильевич вздыхает на крыльце.

— Иван Федосеевич,— говорит он,— прямо гад.. угадал сеномной. Всюду сено навалено, все прееет, опять зима будет тяжелая.

Михаил Васильевич производит слово «гад» от «гадать», «угадывать», что означает и предвидеть, ожидать, знать наперед.

* * *

Наконец-то Иван Федосеевич собрался в Данилов-Ям.

Вдоль дороги и от нее, в луга, словно бы для того, чтобы разделить их на участки, тянутся торчащие из земли колья. Иван Федосеевич говорит, что вот, мол, навезли кольев, жердей, загородили, теперь жерди украли, должно быть, зря только деньги и материал извели. Здешний председатель, продолжает он, мужик умный, а не выдержал характера, сделал-таки загоны... Вон и директор совхоза польстился на загонную пастьбу,— говорит он и кивает в сторону разгороженных проволокой пастбищ,— но тому что, у того деньги казенные...

Надо сперва культурные пастбища иметь, принимается он объяснять мне, почему считает это новшество преждевременным, но тут же, увидев на одном из участков огрубелую, перестоявшую траву, среди которой крошечными пирамидальными тополлями краснеется конский щавель, с досадой восклицает, что этот загон давно бы следовало стравить.

И опять, хотя мы говорили об этом уже не раз в течение тех чуть ли не десяти лет, что мы знакомы, разговор заходит о том, как это несправедливо, когда малосведущие люди вмешиваются в сельское хозяйство, учат колхозников, не считаясь ни с наукой, ни тем более с выгодой, поскольку «всяк изъян — с крестьян». А сколько шуму вокруг всех этих новшеств, сколько статей, плакатов, лекций...

В ответ на это мое замечание Иван Федосеевич говорит: «А мы не читаем это и не слушаем...»

Тем хуже, говорю я, потому что таким образом дискредитируется наука вообще, передовой опыт вообще; сельскохозяйственные знания, столь необходимые такой стране, как наша, не вызывают доверия. и агроном, к тому же девчонка, теряет прежний авторитет и значение.

Агрономов, правда, было немного, если взять двадцатые годы, но каждый из них пользовался у крестьян доверием; никто другой, кроме участкового агронома, не касался существа хозяйства, причем только выгода, какую его рекомендации приносили крестьянину, делала их обязательными. И так как агроном был государственным служащим, соответственно поставленным, то есть имеющим казенную квартиру, лошадей, то крестьянин понимал, что и государство во всем доверяет агроному.

Мы въезжаем в пыльный и жаркий Данилов-Ям.

Все время поворачивая то в одну, то в другую сторону, мы едем тесными закоулками и просторными пустырями, ныряя в колдэбины, покачиваясь; желтоватая пыль, чуть отнесенная в сторону, движется рядом с машиной. Деревья стоят в пыли, и жесткая трава, кое-где растущая на глинистой, разбитой машинами земле, густо покрыта пылью.

Едва ли не все стили современной архитектуры, разумеется в провинциальном их преломлении, представлены в этом небольшом, однако широко разбросанном городке — он спланирован так, словно его из

мешка вытряхнули. На здешних улицах, впрочем, кроме истории периферийного градостроения, можно прочесть еще историю отечественной текстильной промышленности начиная чуть ли не с пореформенных времен.

Характерные для конца прошлого века кирпичные постройки — рабочие казармы, больница, школа — виднеются среди деревянных мещанских домиков и оставшихся еще от деревни Данилов-Ям старинных пятистенков. Двухэтажные рубленые, так называемые восьмиквартирные, фабричного типа дома двадцатых годов стоят рядом с коробчатыми серыми домами первых лет индустриализации. Обособленно возвышаются пять или шесть многоэтажных зданий периода архитектурных излишеств, с бетонными балюстрадами на крышах, выступами фонарей и лепниной, изрядно обшарпанные. И всюду, с чуть ли не проволочными перилами балконов, с невысокими окнами, встречаются розовые и желтые дома последнего времени.

Перед иными домами видны остатки проложенных здесь разве лишь для украшения тонких асфальтовых тротуаров, по которым ниоткуда и никуда не придешь, — впрочем, осенью и весной они заплывают грязью.

Что до удобства, до красоты, то никто из тех, кто в разное время строил этот город, можно предположить, о них и не помышлял. Все получилось таким из-за неумения или нежелания соотнести свою работу с завтрашним днем, в сущности, из-за отсутствия культуры, но только не из-за бедности, так как построено много и строительство продолжается.

Широко, беспорядочно раскинувшийся город заставляет задуматься и над тем, какой дешевой стала у нас земля, причем, как мне представляется, в ней перестают видеть единственную и ничем не заменимую производительницу всего, чем живо всякое обитающее на земле существо.

Теснота, в какой стоит сам льнокомбинат, новые корпуса которого вынужденно ставились рядом со старыми не только ради удобства, но и потому, что мужик, лет сто назад построивший ткацкую фабричку, не так уж был богат, а когда разбогател, все вокруг застроилось и ломать было дорого, — теснота эта подчеркивает нынешнее расточительство.

Иван Федосеевич отправляется к давнишнему секретарю райкома, у которого должен взять справку, с какого года он ушел из промышленности на работу в колхоз, а мне предлагает пойти прогуляться.

На улицах городка и в сосновом бору на берегу реки многолюдно — все это, должно быть, вечерняя смена. Женщины и девушки, идущие на реку или с реки, одеты на столичный или курортный манер — пестрые сарафаны и сандалеты, темные очки, большие яркие пляжные сумки.

В том, как чисто здесь в магазинах, в свежепокрашенных павильонах и лодках «досаафовской» станции, даже в том, что на сенокосных участках между изрезанными соснами одновременно ворошит и гребет сено много людей, — во всем этом угадывается мощная рабочая организация с различными самодеятельными комиссиями: лавочной, культурной, бытовой...

Городок нравится мне своей жизнедеятельностью и еще тем, что при всей хаотичности застройки, по преимуществу новой, при всем том, что среди здешних рабочих, я думаю, преобладают вчерашние колхозники, есть в нем нечто основательное, коренное, так сказать фабричное.

Никогда бы я не подумал, что невысокий тихий старик лет за шестьдесят, с которым меня познакомил Иван Федосеевич, сухощавый, с несколько усталым, бледным от сидячей жизни лицом и редкими, сквози-

стыми, поблескивающими сединой волосами,— что этот типичный провинциальный бухгалтер или счетовод был некогда секретарем райкома, председателем райисполкома, иначе сказать — властью, причем энергичной, напористой, жесткой, потому что никакой другой она и быть не могла.

Мы сидим в единственном здешнем ресторане, занимающем деревянный домик на краю обширной площади с высохшими до окаменелости следами буксовавших здесь по весне машин. На противоположной стороне одиноко белеет в сизом небе только что законченный, еще окруженный забрызганным известкой забором из горбылей многоэтажный крупноблочный дом.

Столик наш стоит у окна, и раскалившиеся на солнце оконные стекла излучают сухой жар. Из темного коридорчика, когда там открывается дверь, по временам входит горячий, сыроватый кухонный воздух. Мы пьем коньяк, которым угощает Иван Федосеевич,— с недавних пор, если он и выпьет когда, то только коньяку, частью из-за того, что от водки ему становится худо, частью же, я полагаю, потому, что коньяк выдает принадлежность к некоему серьезному, степенному кругу...

Я уже слышал от Ивана Федосеевича, что приятель его семнадцать лет провел в лагерях и ссылке, и теперь, пока тот рассказывает, как его арестовали на станции, когда он вернулся из областного города в район, где был тогда секретарем, я смотрю на него и снова дивлюсь тому, что вижу в нем счетовода, которым он и впрямь работал где-то на приисках, а потом в колхозе, но только не боевого райкомщика, потомственного ткача, члена партии с восемнадцатого года, каким, еще не успокоившегося от споров на областном активе, его взяли по выходе из вагона в тысяча девятьсот тридцать восьмом году.

Рассказывает он спокойно, не возвышая голоса, словно не о себе и совершенном против него преступлении. И люди, которых он называет и с которыми постоянно общался до своего ареста, обстоятельства, в каких протекала тогдашняя его деятельность,— Иван Федосеевич на все это живо отзывается, потому что и он с этими людьми был хорошо знаком и в этих обстоятельствах существовал,— все это представляется мне как бы частью чьей-то другой, а не его жизни, хотя на нее падает чуть ли не столько же лет, сколько он прожил в несвободном состоянии.

Иван Федосеевич интересуется, жаловался ли он, и он отвечает, что еще с дороги написал заявление и отправил жене. Здесь он оживляется, рассказывает обстоятельно, с подробностями, как это и бывает обычно, когда речь о собственной, снова переживаемой жизни.

Заявление он написал на папиросной бумаге, а конверт слепил из газеты. На какой-то станции, где они стояли, он увидел невдалеке от вагона женщину, которая смотрела на них и плакала. Он попросил ее опустить письмо, и она сказала, чтобы здесь он его не бросал: достанет с ей и ему. Вот когда поезд тронется, пускай бросает, она подберет. Он так и сделал, видел, как женщина подобрала письмо, а жена потом писала, что получила его и послала в Москву.

Точно так же, с подробностями, рассказывает он, как жил все эти годы, особенно на приисках, как в пятьдесят третьем году, узнав, что первым секретарем у них в области сидит давний их с Иваном Федосеевичем приятель,— он назвал фамилию, и они оба стали вспоминать, как тот в свое время работал главным агрономом у них в райзо, потом, когда образовалась область, был начальником облсельхозуправления,— удостоверившись, что это именно тот самый человек, послал ему письмо с просьбой похлопотать о нем, и секретарь вызвал его к себе, накормил, дал денег, позвонив, устроил счетоводом в недалекий колхоз, однако от

хлопот о пересмотре дела уклонился, хотя и намекнул, что ожидаются новости, так что пришлось еще два года прожить поселенцем.

Он не забыл упомянуть, как в вестибюле обкома встретил его помощник, проводил в столовую, и каким обедом его накормили, на вопрос Ивана Федосеевича о жене секретаря, прежняя ли, ответил, что не знает, поскольку на квартиру не был зван, а спросить не пришлось, и во всем этом, как и в последовавшем далее рассказе о жизни в колхозе, я узнавал все тот же интерес к повседневности, кстати сказать, свойственный не только зависящим от нее обыкновенным людям, но и поэтам.

На обратном пути Иван Федосеевич предложил заехать в Семиново — «ситра на вокзале выпьем», но буфет, оказывается, закрыли: «чтобы пьянства не было», — объяснила нам сторожиха. Она поздоровалась с Иваном Федосеевичем, и он посчитал необходимым сказать, что женщина эта из Любогостиц, и на переезде, добавил он, тоже любогостицкая работает, причем все это с каким-то мальчишеским хвастовством.

Стали подходить станционные служащие, советовать, чтобы мы в Новоселку заехали, туда завезли ситро, и приятель мой, когда мы сели в машину, не без гордости сказал, что его здесь каждый знает.

Его здесь еще и потому знают, говорит он, что он отсюда часто грузит продукцию и получает грузы: во-первых, сюда ближе, чем в Райгород, во-вторых, за полежалое не берут — выгрузишь из вагона и лежит, пока не сумеешь приехать, здесь просто. Говорит он об этом в настоящем времени, словно продолжает оставаться председателем колхоза.

Между шоссе и железной дорогой какие-то люди убирают сено.

Иван Федосеевич обращает мое внимание на заросшие иван-чаем и лопухами бугры и ямы, старательно обкошенные, из-за чего они особенно заметны, и спрашивает, известно ли мне, что прежде всюду здесь стояли склады, куда со всей округи свозили картофель. Он называет цифры, сколько какая деревня вывозила картофеля, и какие были кондиции, и куда, в какие города, его отправляли отсюда. Если же картошка была чуть хуже и здесь ее не брали, то совсем рядом, вон у реки, — он показывает на обветшалый домик и остатки какого-то строения у самой реки, — вот тут один мужик тёрочную держал: в этом вон доме, бывало, оформлял товар, а вон там, у воды, — производство. Устраивалось это ради выгоды, замечает он, но выходило удобно. А сейчас — не примут на заготовку столовым, вези назад... намаешься!

И вдруг, как это часто случается с ним, без всякой, казалось бы, связи с предыдущим, он говорит, что иной раз, бывает, обдумываешь государственные вопросы, так вот недавно ему пришло на мысль, что местный бюджет, и сельский и районный, должен зависеть от уровня производства, чтобы степень культуры и благоустройства находилась в прямой связи с плодородием земли, с производительностью гряда...

Мы подъезжаем к поворотку на Любогостицы, однако Иван Федосеевич предлагает съездить еще за железную дорогу, посмотреть тамошные земли, которые я будто бы не видал, и я догадываюсь, что ему не хочется так рано возвращаться домой, где у него нет никаких дел.

В этом кусочке, говорит он, когда мы выходим из машины, столько гектаров, а вон в том — столько-то, и я снова отмечаю про себя, что у него и в мыслях нет, что он уже не председатель колхоза.

Через все угодье, местами распаханное, засеянное овсом с горохом и подсолнухом, большей же частью заросшее травой, тянется от железной дороги и дальше, в негустой лесок, извилистая кустарниковая поросль — ивняк, ольха, а когда мы подходим ближе, то различаем среди

кустов стеблистые, с раскидистыми метелками болотные травы и лоснящаяся, выгнувшаяся осока, между зарослями которой блещит вода.

Иван Федосеевич говорит, что это заболоченная речка Мошна.

Он рассказывает, что пастух, пасущий здесь стадо, все пристаёт к нему — осуши-де болотину, выкопай пруды, буду я посиживать на берегу да в рожок поигрывать, коровы ко мне станут сами ходить.

Затем с присущей ему способностью тут же, обойдя землю, сообразить, как наилучшим образом ее устроить, он говорит, что если прокопать Мошну и торф, вынутый из нее, пустить на поля, и пруды, само собой, выкопать, а речку, одновременно прорыв к ней осушительные каналы, убрать в грубу, провести под железную дорогу и шоссе, откуда она своим током потечет в Вёксу, — он прикидывает, сколько на это уйдет времени, учитывая производительность экскаватора и канавокопателя, и во что это обойдется, — то вся здешняя земля, в сегодняшнем своем состоянии малопродуктивная, преобразуется в отличные пастбища, искусственные и естественные, где можно будет пасти стадо в сто коров. Теперь эти коровы пасутся в заливных лугах, травят их, а ведь там можно накашивать сена для того же самого стада на всю зиму.

Мне всегда доставляло удовольствие слушать такого рода соображения Ивана Федосеевича, многие из которых на моей памяти были осуществлены, я не верю, чтобы этот крепкий еще мужик, которому только через год сравняется шестьдесят, с легкостью, какую он выказывает, оставлял хозяйство, и я тревожусь оттого, что уже не так называемый мелкий собственник, а старый председатель колхоза вступает в конфликт с обязательными установлениями, потому что лишь этим одним могу объяснить его уход на пенсию.

* * *

К соседу, чьи окна глядят к нам во двор, приехали гости, откуда-то из больших городов — не то из Москвы, не то из Ленинграда. Через занавеску открытого окна слышно, как они завтракают: звякают чокающиеся стаканы, журчит наливаемый из самовара кипяток... Разговор праздный, «для разгулки времени» — у вас ягоды эвон какими стаканами продаются, а у нас вон какими!.. Завтракает долго. И вдруг молодой женский голос, возражая мужскому, выговаривает с обидой: «Ты же все равно сказал, что живешь со мной только из-за ребенка». Другой женский голос вступает за «свою сестру»: «Как это так из-за ребенка! Ты не живи тогда с ним, пускай катится...» Под этим «не живи» подразумевается «не спи». Мужчина с пьяной несмелостью оправдывается. Женщина, жена его, несколько подбодренная, выкрикивает: «Я скажу дяди Сени, что ты мне говоришь... Я все расскажу дяди Сени». Дядя Сеня — хозяин дома, конюх райпотребсоюза, смиренный старик из переселившихся в город лет тридцать назад крестьян.

* * *

Первый час полудни. Томящая влажная жара.

Со стороны Ужбола идет машина с сеном — в поставку везут. Сено прижато слегой, концы которой схвачены веревкой, однако большие ключья летят прочь.

Под самым Ужболом вся дорога устлана травой — так и зеленеет. Это возят траву силосовать. Возят и теряют. Идущие на обед бабы подбирают траву, тащат домой охапками, как, впрочем, и сено.

В селе тихо, жарко... Пруд, оказывается, засыпан, — рассказывают, ехали осенью доярки с совещания, машина сползла в пруд, и все испуались, вот и решили засыпать. Только мы отошли от дороги, запахло

горячей землей и сухой ромашкой. Вся ромашка — мелкие шарики ее цветков — стала коричневой и пахнет душно. И навозом попахивает.

У Соньки, в маленькой ее избенке, тоже новости — русская печь переделана на шведку, обед готовится на керосинке. После первых восклицаний: «Да неужто ж это вы! А мы уж и не чаяли увидеть!» — после расспросов о здоровье, о Москве Сонька ведет показывать мост, весь уставленный корзинами с огурцами, со свеженарытой картошкой, увешанный под потолком какими-то пахучими, недавно нарезанными веничками. До этого, напоминает она, дверь из избы выходила на небольшой настил, тут же, во дворе, и обрывавшийся. А теперь вот она настала мост, заканчивающийся перегородкой с дверью, за которой на двор спускается лесенка. Еще и крыльцо она пристроит большое, с окнами...

Впережку с этим Сонька рассказывает, что нынче работали в Бели — траву на силос возили, а тетка Лизавета, ее мать, жалуется, что сенов совсем мало стали накашивать.

Потом, как заведено, идем смотреть усадьбу.

Воздух между рядами густо разросшихся вишен недвижим, горяч, душно пахнет луком, малиной... Лук уже полег, сизые перья чеснока стали жесткими, стоят торчмя, завязанные сверху узлом, — пускай наливают, объясняет Сонька. Она говорит, что, слава богу, и огурцы наспели, и вишенье, теперь полегчало, угощает малиной, горохом, вишней, мгновенно нарывая полные горсти, причем на ходу, между разговором, не глядя, словно проворные ее руки существуют сами по себе.

Сонька рассказывает, что работает дояркой.

Я знаю, что сейчас мало кто соглашается на эту работу, потому что и тяжело, и жизни не видишь, а у женщин мужья, дети, девушкам погулять охота, хотя заработок здесь вернее и весь год.

Но Сонька безотказная, только бы заработать.

Я говорю ей, что выглядит она хорошо, загорела...

Для деревенской женщины последнее — комплимент сомнительный, но загар у Соньки этим летом не полевой, не черный, пятнами, но ровный, коричневато-золотистый, и она это знает, смеется: ну как же, говорит, барыня, всего и бываю нынче в поле что на силосе.

И еще я спрашиваю ее, почему это она не стрижет волосы, как прежде, не завивается, стала причесываться гладко, пучком, на что она отвечает со вздохом, что ей уже скоро тридцать, не девочка.

Должно быть, в доказательство того, что она уже не молоденькая, Сонька рассказывает, как весной, когда сажали картошку и машина с картошкой задержалась, прилегла отдохнуть, а земля холодная, и она простыла — вот здесь сильно болело.

Объясняя, на каком это поле происходило, она упоминает Васильевский враг, и шестилетний ее мальчонка, лобастенький, беловолосый, рассудительно поправляет ее — «овраг», сильно напирая на «о».

Сонька продолжает рассказывать, как она мучилась, а к врачу идти стеснялась. Спасибо Эльвире Георгиевне — встретились у колодца, она ей рассказала, а та ее обругала: у тебя, говорит, воспаление, надо лечиться... А ей и невдомек — легла на спину, а болит вон где!

Я не сразу сообразил, что Эльвира Георгиевна — жена Андрея, сноха Натальи Кузьминичны. Ведь Андрей свой брат, ужбольский парень, да и Эльвира, казалось бы, недалеко ушла, отец ее, отставной полковник, сам из крестьян, но она — фельдшерница, почти врач, и хотя поможе Соньки, та даже за глаза величает ее Эльвирой Георгиевной. Я вспоминаю, что и квартировавшую у нее однажды девушку-землеустроителя она, рассказывая мне о ней, уважительно называла по имени-отчеству.

Сонька и в этом крестьянка.

Она продолжает жить в кругу сложившихся в течение столетий пра-

вил и установлений, совокупность которых и есть крестьянская культура, куда входят не только сведения, навыки и приемы, выработанные существованием крестьянина среди природы, зависимостью его от нее, но и то, что можно бы назвать деревенским этикетом, и множество нравственных правил, причем уважительное отношение к врачу, учителю, агроному — увы, не столь распространенное в наши дни, хотя из редкой деревни не вышел человек с дипломом, — это лишнее какого бы то ни было подобострастия народное уважение образованности я посчитал бы не столько формой обхождения, сколько категорией этической.

В город я возвращаюсь с Эльвирой, которая везет к матери ребенка, так как Наталье Кузьминичне надо и вишенье обирать, и огурцы, а от него не отойдешь, пускай он покуда у той бабушки побудет.

Впереди катит на велосипеде некий мужчина.

Эльвира говорит, что это секретарь парторганизации колхоза домой едет, — колхоз велик, и секретарь освобожденный, то есть платный. Время уже четыре часа, рабочий день кончен, и председатель домой покатил, и заместитель. Они как служащие, ровно в четыре едут домой.

Она рассказывает, что у них в колхозе ясли плохо оборудованы, и вот приехала как-то заведующая райздрава, стала выговаривать заместителю председателя, а тот: мы, мол, не так богаты, чтобы всякие роскоши заводить, у нас, мол, попросту, по-деревенски...

Заведующая осведомилась: «И ваши дети в этих яслях?» — «Нет, — ответил заместитель, — у меня уже нет таких, у меня внуки». — «Ну, внуки?» — «Я в городе живу». — «А дети председателя, — не унималась заведующая райздрава, — секретаря парторганизации?» — «И они живут в городе». — «Как же это вас терпят?!» — вырвалось у заведующей.

И тогда заместитель этот, усмехаясь, проговорил: «Должно быть, в деревне своих людей не осталось, вот нас и выбирают».

Эльвира говорит, что многие уезжают из колхоза. Вернулся было один мужик, шатавшийся по свету, с полгода пожил, все нахваливал: нигде нет лучше, чем в колхозе, — на работу выходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь... Но и ему надоела такая жизнь — сбежал.

* * *

Пятый час утра. На озере высоко звенит моторка, звон ее становится отчетливее, как бы расчленяется, слышны отдельные удары мотора, которые начинают постепенно спадать, гложуть, и все утихает. Но вот где-то далеко возникает звон другой моторки, третьей...

Рыбаки возвращаются с ночного лова.

Я спускаюсь с сеновала. Чисто выкошенный двор наш золотится на солнце. Утро стоит жаркое, тихое.

Является Александр Иванович, уже во второй раз, — первый раз он приходил, когда я только проснулся, жаловался Михаилу Васильевичу, что договорился с кровельщиками, а они не пришли, лучше бы он по грибы съездил, стал ругать нынешних мастеровых, которые вконец избаловались, заметил, что дом один раз построй, а крышу — десять, но тут пришли кровельщики, он ушел домой, заладил все, да и выпил, вероятно, и вот является во второй раз, теперь уж основательно.

Разговор заходит о грибах.

Александр Иванович говорит, что первый гриб — колосовик, когда рожь колосится, это непрочный гриб. А вот с начала августа пойдет второй слой, это уж подлинно — гриб. Он рассказывает о белом грибе, борошке, какой растет в сосновом бору, среди хвои, вереска, белого мха.

Я слушаю его и вижу бор, желтоватые стволы сосен, рыжие иглы опавшей хвои, серовато-сиреневый вереск, седой мох и стоящие среди всего этого в приставших к ним иголочках могучие боровики.

Он вспоминает, как мать учила его брать грибы.

Рассказывает, как берут малину и другую ягоду.

Должно быть, в связи с этим вспоминает свою тетку, сестру отца, крестьянскую девушку, которая в молодости, хотя и была очень хороша собой, решилась уйти в монастырь, к пожилым годам стала мантийной монахиней и приезжала, бывало, летом погостить к брату.

Тетку звали мать Назаря. Привозили ее в большой карете, а с нею — закадычная ее подруга Лёня, тоже пожилая девушка, из богатой купеческой семьи, толстовка. Занимали они переднюю часть избы.

Бывало, продолжает рассказывать Александр Иванович, встанут они утром, возьмутся под ручку, обе во всем черном, в черных платочках, корзинки на руку — и пойдут не спеша в лес, а он рядом, однако идут они долго, возвращаются усталые, созревшие в своем черном.

Все это Александр Иванович изображает.

Мать Назаря, рассказывает он, скажет нашей матери: ты уж поджарь нам грибок на маслице! У них все-то так — грибки, маслице, кашка, хлеб, рыба... А наша мать посмотрит — что это вы, говорит, погани набрали, еще отравитесь, и выбросит. Мать Назаря всполошится: что ты, что ты, хорошие грибки, ах, ах, Лёня узнает, избидится.

И верно, обидится Лёня, станет собираться домой.

Приходится за каретой посылать, везти мать Назарю с подружкой в город, а время рабочее — покос. Но все-таки все рады — работы много, где тут обихаживать их. Они ведь встанут в восемь, самоварчик им подай, яичек сваря, да обязательно в мешочке, того, сего...

Александр Иванович говорит, что летом мать ложилась в одиннадцать, вставала в три. К семи придут мужики с покоса — у нее и завтрак готов, и чай.

Вдруг он вспоминает, как в прошлое воскресенье ездил купаться на реку, а по береговому лугу сено лежит в рядках; он посмотрел — сверху оно сухое-пресухое, желтое, уже и запаха нет, а снизу — зеленое, сырое, преть начало... как свалили, так и не переворачивали.

Голос его сердит, он рассказывает, что не утерпел, взял и сколько мог перевернул руками, хотя бы возле того места, где купался. Он говорит, что с деревней случилось нечто похожее на то, что бывает, если из гнезда вынуть птенцов и потом захотеть снова положить их в гнездо — нипочем не уложишь, как уложила мать — мать-природа.

Я слышу от него это не первый раз.

Но теперь он изображает в подробностях, как все происходит.

И я буквально вижу лес, можжевельник и растущий вокруг пырей, — он объясняет, что всякому дереву сопутствует какое-либо растение: можжевельнику — пырей, а елке, например, — мох. Пырей этот высокий, отчасти еще прошлогодний, сухой, перепутанный, и в нем вдруг натыкаешься на гнездо, как бы накрытое серым блюдечком, из которого торчат какие-то острые кончики. Это так тесно, слитно сидят рябчики, тельца их слились, а твердые носики торчат во все стороны.

Мне представляется, что Александр Иванович уже забыл о том смысле, какой обычно вкладывает в этот свой рассказ, или же, кто его знает, счел за благо оставить рискованные сравнения. Так или иначе, но речь пошла о муравейниках: какие они бывают в березовом лесу, какие — в сосновом, и как делают муравьиный спирт, для чего он идет.

Александр Иванович говорит об удовольствии, протянув над муравейником обнаженную руку, ощутить, как муравьи опрыскивают ее спиртом. Руке тепло, ее чуть щекочат извергаемые муравьями струйки...

Он закрывает глаза, удовлетворенно улыбается, словно сейчас вот все это ощущает, и одновременно показывает, как эти самые муравьи, задрав задки, чиркают спиртом: чирк, чирк...

Будучи человеком практически, деловым, хозяйственным, Александр Иванович в то же время артист, художник, он видит мир во всех его реальных подробностях, воспринимает чувственно; изображая, употребляет слова обыкновенные, точные, но в сочетаниях неожиданных.

Помнится, однажды он рассказывал мне, как году в двадцать пятом все лето ездил купаться к Варницкому монастырю, там был редкий сад, удивительнее же всего была тишина, стоявшая в саду, и вот, искупавшись, он отправлялся туда отдыхать, и когда он лежал, ему казалось, будто на сад, накрыв его, опустилось тихое облако.

* * *

Полдень. Кремлевским двором, тенистым и потому прохладным, идет Николай Семенович. На нем свежий, хорошо отутюженный белый пиджак и соломенная шляпа. В руке — сверток, небольшой, однако, по тому, как оттянул он руку, можно догадаться, что тяжелый. Николай Семенович разворачивает газету и показывает зуб мамонта, который выглядит железным, так как покрыт солями железа. Николай Семенович говорит, что идет читать лекцию; когда же я, заинтересовавшись зубом, беру его в руки, замечает, что сам по себе зуб не редкость, сейчас их много находят, вот и этот найден несколько дней назад, интересно посмотреть место, где его нашли, в каком слое, какая там земля.

Николай Семенович постоянно держит в памяти земную толщу.

Когда он впервые приезжает куда-нибудь, то первым делом идет смотреть овраги, чтобы определить строение земли, и невидимое глазу расположение пластов, составляющих земную кору, доставляет ему не меньшее удовольствие, чем созерцание какого-либо ландшафта.

Я предлагаю Николаю Семеновичу проводить его.

Перед зданием райкома нас окликает Александр Сергеевич, уже усевшийся в машину, спрашивает: не подвезти ли? Николай Семенович говорит, что ему недалеко, на швейную фабрику, он там в обед читает лекцию. Александр Сергеевич интересуется, много ли бывает народу, и Николай Семенович отвечает, что на лекции по международным вопросам, краеведческие, о новостях науки и техники, о происхождении жизни на земле ходят охотно, а сельскохозяйственные посещаются плохо.

Это если про кукурузу, смеется Александр Сергеевич, или про то, как в кисельных берегах потекут молочные реки. Николай Семенович соглашается, говорит, что на лекции о защите растений, например, народу собирается много, слушают внимательно, задают вопросы.

Здесь конкретность, говорю я, непосредственная польза.

Александр Сергеевич несколько уточняет сказанное мною: «И у себя на усадьбе можно применить».

По некоей скрытой связи, о которой, впрочем, легко догадаться, он вспоминает, как приезжавший в начале лета руководящий товарищ, посетив славящийся урожаем кукурузы колхоз, спросил председателя, какая культура у него самая выгодная, ожидая, что тот ответит: «кукуруза», но председатель сказал: «цикорий», и на недоуменное и одновременно протестующее восклицание: «Не может быть!» — возразил, что урожай цикория такой-то, цена такая-то, подсчитал, сколько выручает за цикорий и во что он обходится, разделил доход на гектары, и получилось, что ни одна культура столько не дает с гектара.

Оставив без внимания расчеты председателя, товарищ из Москвы сказал, что ученым дано указание разработать новую систему земледелия, с кукурузой, сахарной свеклой и бобами, когда же председатель заявил, что без трав, без клевера в здешних местах не обойтись, снисходительно заметил, что тот еще не дорос до понимания этого.

Петр Николаевич, вечный райкомовский шофер, совсем уже седой,

по обыкновению небритый, укоризненно взглянув на молодого своего хозяина добрыми черными глазами, говорит, что пора ехать.

На площади, ожидая автобус в сторону Любогостиц, стоит Иван Федосеевич с меньшей дочкой — он теперь всюду с ней ездит. Он стоит, прислонившись спиной к стене, опершись на палку. У его ног, связанные за ручки вафельным полотенцем, стоят наполненные покупками сумки. Судя по виднеющимся из сумок зеленым банкам болгарских голубцов, по пакетам и булкам, Иван Федосеевич возвращается из Москвы.

Когда я спрашиваю его об этом, он принимается рассказывать, как удачно съездил, — любимых своих голубцов купил и ехал на перекладных, то есть местными автобусами, много дешевле выходит.

Не подумай, что в течение чуть ли не тридцати лет был он хозяином большого хозяйства, распоряжался лескольными машинами, последние годы повсюду разъезжал на персональном «газике»...

* * *

Всю ночь лил дождь. Льет он и сейчас — в семь утра, по временам затихая. К восьми часам дождь перестает, едва сеется.

Пасмурно, тепло и сыро.

С обеда разведрилось, отправляюсь прокатиться по шоссе.

Остановил машину под густым ольшаником, неподалеку от заброшенного клеверища. Мелкий, выродившийся клевер и белый клеверок покрывают неровную, словно в оплывших могилах, буграстую землю. Кое-где торчат одиночные экземпляры крупной, с тугим цилиндром тимофеевки. Нежно зеленеют елочки хвощей. И повсюду, напоминая крохотные кипарисы, возвышаются почти все красные семенники конского щавеля.

Среди клеверища светлеется проселок. Он идет от автомобильной дороги к стоящей километрах в двух деревеньке. Он разбит, горбат, местами — в колеях и выбоинах — блестит в черной грязи вода.

Я почему-то вспоминаю вчерашний рассказ Александра Сергеевича о том, как приезжий товарищ заявил, что ученым дано указание разработать новую систему земледелия, — словно это изготавливаемая из металла машина, а не совокупность таких явлений и обстоятельств, как природа, добытый голодом опыт крестьянина, экономическая целесообразность, — и не знаю, чему дивиться: невежеству или самоуверенности.

* * *

Козьмодемьянская дорога полна народу, и всё с ягодами!

Идут длинноногие девчонки, иные в тренировочных брюках, у щиколоток мокрых от росы, с бидонами, с трехлитровыми стеклянными банками в сетчатых сумках, с небольшими корзинками. Эти — из лесу.

Из деревень к шоссе, собираясь у той его стороны, где можно сесть на идущую в Райгород машину, откуда и в Москву попадешь и на Север, движутся мужчины и женщины с чемоданами, с ведрами и корзинами, повязанными чистой тряпицей, — это возвращающиеся домой отпусники, везущие в ведрах варенье, и деревенские бабы с вишенем.

От всего этого весело — миновала голодная весенняя пора.

Под самыми Козьмодемьянами пахнуло вдруг свежим, хорошо просушенным сеном и забылось встречавшееся повсюду черное, много раз попадавшее под дождь сено, вид которого вызывал тревогу о зиме.

Деревянные домики, под крылечками которых и вдоль заборов плещется вода, глядят на реку белыми окнами. Солнце стоит над речной изменностью, освещая стены, и башни, и храмы сияющего на возвышенности монастыря. По сторонам его желтеют поля и круглятся вершинами сосен темные леса. Над полями и лесами ходят тучи. Из двух далеко

отстоящих одна от другой туч с синим просветом между ними льется дождь.

В лесу остро пахнет травами. Красные ягоды костяники, тесно посаженные по три и четыре вместе, стекленеют между листьями невысоких растений. В заросших крапивой малинниках полно матовой, как бы пыльной малины. Встречаются мокрые, расплзающиеся ягоды земляники, уже отошедшей. Повсюду желтеют лисички, сухие, слегка холодящие руку. От склизких маслят на пальцах образуется грязноватая резиновая пленка. По временам срывается дождь.

Всю обратную дорогу льет холодный дождь.

В восьмом часу вечера дождь льет сквозь солнце.

Изогнувшись над белым кремлем, встает в небе радуга.

Семицветная крутая дуга знаменовала собою конец ненастья и была великой радостью землепашцу, отчего и назвал он ее радугой.

* * *

Иван Федосеевич толкует с Михаилом Васильевичем о старине, спрашивает, известно ли ему, откуда пошло название Любогостицы, с сознанием собственного превосходства говорит: «Вон ты старше, а не знаешь!» — рассказывает, что были там будто гостиницы, где останавливались вызванные владыкой проштрафившиеся попы, откуда в назначенный день их везли озером в кремль на «уединенцию». Он так и сказал по-лесковски — «уединенция».

Михаилу Васильевичу все это неинтересно. Зевнув, он осведомляется: «Чего в город не переезжаешь?»

Иван Федосеевич рассказывает, как встретил сейчас в автобусе бывшую стрельцовскую крестьянку, и та, узнав, что он на пенсию ушел, стала советовать: переезжай в город... И объяснила: «Вот нас-то, бывало, твердым заданием обкладывали, а мы переехали в город и так-то хорошо живем... Зачем оно, крестьянство, на кой оно сдалось!»

Однако Михаил Васильевич возражает: все деньги у крестьян.

Я представляю себе, что в те времена, когда он, по его словам, пил чай на ногах, а Марья Иванна или Петр Федорович зайдут — сахар выплунешь и к ним: «Чего прикажете?» (так и выпевали с утра до ночи: «Чего прикажете?.. Чего прикажете?»), — что в ту давнюю пору, когда по преимуществу купеческий, церковный и военный Райгород жил мужиком, следовательно, и он, Михаил Васильевич, им кормился, понимание деревенских обстоятельств было в нем сильно развито, потому что любая крестьянская беда становилась его бедою: не купил мужик ситцу бабе и ребятишкам, не поставил свечку в монастыре или не прислал помещик денег сыну-офицеру — значит, всякие там «Депре» и «Леве», которые мальчиком продавал Михаил Васильевич, не будут распроданы.

Сейчас же, поскольку весь город живет зарплатой и пенсией, которые выплачиваются вне зависимости от засух, градобитий или скотских падежей, крестьянин обращивается к райгородцу лишь ценою на мясо, молоко и овощи, почему и Михаил Васильевич, и работница с паточного, и местный фельетонист видят в нем наживающегося на них торгаша.

Под вечер, отвезя Ивана Федосеевича, возвращаюсь домой.

Справа от дороги широко синееется вереск. Затем пошли редкие соsenки, сквозь которые светло проглядывают выкошенные лужки с невысоким предвечерним туманом над ними. Ночью, думается, будет большая роса.

* * *

Все в росе, все серое и мокрое.

С черных ягод вишни роса свисает каплями.

Утро разгорается жаркое. Духота гнетет, давит. По временам, порывами, поднимается горячий ветер. А дома, за раскалившимися окнами с раздвинутыми занавесками — день ведь, и не больница, чтобы задерживать! — за только что поспевшим самоваром, поминутно извергающим в подставленную чашку брызжущую струю кипятку, и вовсе дышать нечем.

Чай неурочный, по случаю прихода Соньки, с «пенками».

Сонька продавала вишню, купила десять тарелок, а чашки, говорит, из Москвы привезла. Дарья Васильевна справляется, держит ли она козу, и Сонька хвастает — две! На вопрос Михаила Васильевича, кормит ли она поросенка, Сонька не без гордости отвечает, что кормит и поросенок хороший — длинный, в мае взяла, отдала колхозу десять рублей. У нее еще с осени был поросенок, но у того образовалась кила, пришлось зарезать, и хотя за мясо хорошо выручила, оно дорогое было зимой, а все-таки жалко, он бы теперь уж вон какой был!

Сонька раскраснелась — от чая, от приятного разговора.

Я от чая отказываюсь, говорю, что очень жарко, но Сонька возражает, что за самоваром-то что, вот в лугах — ее отпустили до обеда, а с обеда ей сено убирать, — в этакую погоду в лугах и сверху печет, и снизу, когда ворочаешь сено, горячим духом охватывает...

Михаил Васильевич спрашивает, платят ли нынче и сколько.

— По пятнадцать копеек на трудодень давали.

— Проскомидные деньги! — говорит Михаил Васильевич.

Так, с некоторым пренебрежением, называет он обычно мелкую монету, имея в виду, что употребить ее можно единственно в церкви.

Сонька, словно доказывая, что обстоятельства ее не так плохи, говорит, что и мать получает за отца тринадцать рублей в месяц, и сама она на ребенка — шесть, добавив, что налогу, правда, выходит в год, со страховкой и самообложением, тридцать три рубля сорок копеек.

Она почему-то не называет основной источник существования — доход с усадьбы, и мне приходит на мысль, что базарную выручку Сонька как бы числит несколько отличной от тех денег, какими определяются ее отношения с государством: колхозная плата, пенсия, пособие, налоги.

Шестой час вечера, однако жара такая же тяжкая, нестерпимая, но это не зной сухого лета, а жара изобилия. В небе, как и весь день, ни облачка, оно светлое, голубоватое с сиреневым оттенком, но не сизое, потому что в воздухе нет пыли, какая обычно стоит в засуху.

Зонтики укропа на огороде стали бронзовыми. Лук весь полег, плоско расстелив зажелтевшие с конца перья. Над огуречными грядками, где только и остались цветы, летают осы, изредка, трубя, тяжело пролетит шмель. Слышно, как за воротами, на улице, прохожий удовлетворенно говорит: «Хорошее лето — все так и растет, и хлеба хороши, и овощи...» Лето перевалило вершину, и год неспешно движется к своему венцу.

* * *

На неделю я отлучился в Москву. Сейчас, возвращаясь в Райгород, дивлюсь переменам, хотя и повторяются они из года в год. В лесу высоко стоит на старых вырубках жесткая, отцветшая уже крапива с султанами серых семенников. Елки полны шишек — серо-зеленых и красных, в капельках смолы. В поле пустынно, просторно... Рожь и пшеница убраны, скошен почти всюду и овес, и клеверница выкошены. Опрятно зеленеют низко выкошенные лужки с круглящимися стогами сена.

Пасмурно. Четвертый час, а не поймешь — день ли, вечер ли.

Ветер заворачивает листья на придорожных ивах, и деревья мгновенно становятся серыми, затем с тою же стремительностью обливаются сплошь зеленым — так и глядят они то серыми, то зелеными.

Под Медведями начинает накрапывать.

Слева над протянувшейся вдоль низменности грядой холмов, по склонам которых пестреют в садах крыши Ужбола и Урскола, небо стоит темной стеной — там льет дождь. Оттуда резко дует ветер, стена дождя движется, закрывает холмы с лежащими на их склонах селами, разделившись на множество струй, мчится полями, а впереди, сорванные с деревьев вихрем, катятся через сухую еще дорогу ветки и листья.

Справа пока что светло.

Вдруг, словно обломившись, стена воды падает плашмя.

Асфальт, сперва почернев, в то же мгновение белеет. Дорога как бы светится. Большая и черная жидкая туча, как жирный нефтяной дым, низко клубится над уходящей под нее сверкающей полосой дороги.

Слева от дороги становится светлее, а справа темно.

Дождь стремительно перемещается.

Во дворе у нас сыро. Над мокрой травой и почерневшими от воды заборами — темное облачное небо с желтыми просветами садящегося солнца. Мокрые черные бревна лежат в траве. Пахнет намокшим деревом, картофельной ботвой... И вдруг приходит ощущение счастья, чувство восторга оттого, что подобное видели и Тургенев, и Толстой, и Бунин.

* * *

Усадьба вся выкошена, трава местами заметно пожелтела, в невысокой ее щеточке хорошо различимы срезанные бодылья бурьянов. Желтеет огуречный лист. Помидоры побелели. Вишни стоят пустые, топорщат пучки голых черенков. Возле ворот, где косили рано, поднялась отава.

* * *

Михаил Васильевич посиживает у окна, глядит на улицу. Увидев медленно идущего старика в темной, будто пересохшей соломенной шляпе, с обвислыми бритыми щеками, с круглящимися под серой рубахой покатыми плечами и опущенным брюхом, говорит: «Подтоптался!»

* * *

Я рассказываю Ивану Федосеевичу, как недавно, когда ездил в Москву, побывал в отстоящем от нее километрах в ста юго-западнее старинном городке, где, разыскивая древнюю церковь, то и дело вспугивал машиной разгуливавших во множестве кур, количество которых и одинаково белая масть заставили предположить здесь некий промысел. «Яйцами занимаются», — соглашается Иван Федосеевич. Он объясняет, что для производства одного яйца необходимо сто граммов крупы, а это три копейки, хоть пшено взять, хоть пшеницу в комиссионном, яйцу же на рынке цена — пятнадцать копеек.

Быть может, в расчете этом не все точно, однако вечером, когда, возвращаясь от Максима Герасимовича, я увидел женщин, встречавших городское стадо, меня не столько огорчило зрелище одиноко возвышавшихся над козами и овцами трех коров, сколько восхитил райгородский обыватель, сообразивший прирезать обременительную, всеми гонимую корову и купить овец, потому что сена им нужно немного, ходить к ним на полдни не требуется, а баранина нынче — без полтинника четьре.

* * *

Часу в восьмом вечера с запада набежала похожая на копоть, летящую под синевато-черной плоскостью, жиденькая туча, и хлынул дождь — короткий, крупный. Он промчался, а низко над землей все так же висит сизо-жестяная плоскость, местами тронутая отсветами заката.

Наступает холодная ветреная ночь.

До рассвета погромыхивает на крыше ветер.

* * *

С Николаем Семеновичем прогуливаемся «под городскими вязами», как называю я в честь любимого мною господина Бержере аллею старых тополей на крепостном валу, высоко сомкнувшихся ветвями.

Вал этот — малый, второй, слева высится выкошенный склон основного вала, а между ними — неглубокая ложбинка, должно быть, оставшаяся от разделявшего валы сухого рва. Но был еще и ров, наполненный водой! — рассуждаем мы с Николаем Семеновичем. Сколько раз мы бывали здесь в течение девяти лет, а только сейчас задались этим вопросом.

Я оглядываюсь вокруг и говорю, что низменное пространство, отделяющее земляную крепость, внутри которой теснятся вокруг кремля старинные здания города, от обсаженной теми же тополями улицы, какая охватывает эту низменность дугой и выходит своими концами к озеру, — что это и есть водяной ров, заплывавший и зараставший в течение трехсот лет, пока он не превратился в заболоченный луг.

Николай Семенович говорит, что отсюда, конечно, пустопорожность этого места, занятого по большей части огородами, сенокосными участками с прудами, осоковыми болотцами и молодыми посадками, тогда как от лежащей за всем этим улицы идет давняя городская застройка.

Что до посадок, то это два так называемых молодежных парка, устроенных сразу же после войны, густо заросших молодыми кленами, боярышником, смородиной, из которых один, огороженный, постоянно закрыт, а другой пустынен из-за того, что напротив призывно гремит радиолоа городского сада, но зато июньскими ночами в их гуще распевают соловьи.

А огороды с сенокосами и пруды, из которых поили скотину и поливали гряды, были здесь и в восемнадцатом, и в девятнадцатом веках.

Из-под «городских вязов» нам как бы открылись три столетия.

Мы проходим всю аллею, садимся в машину и едем к Ивану Федосеевичу, чтобы предложить ему поехать с нами завтра в областной город, где у Николая Семеновича какие-то его краеведческие дела, а мне хочется посмотреть в музее портреты Мыльникова — ярославского художника первой трети девятнадцатого столетия.

Когда мы выезжаем на шоссе, Николай Семенович, поворотившись в сторону железной дороги, показывает на синееющие далеко впереди холмы и говорит, что сегодня обязательно будет дождь, — холмы эти, уверяет он, всегда видны перед дождем. Я не спорю, хотя небо ясное.

Иван Федосеевич, к удивлению моему, ехать с нами завтра отказывается. Он говорит, что хоть и свободный сейчас человек, однако дел у него много — вот сегодня он драл лук, а ведь его и обрезать еще нужно, и высушить, и на печь убрать... Огурцов надо хоть бы шаечку посолить. Мало ли забот. Осень уж скоро. Первый спас прошел.

«Кабы в лес, — рассуждает он, — это я поехал бы. Взял бы бельевую корзину и еще две, мы бы бельевую одних белых набрали».

Приятель мой, несомненно, по преимуществу крестьянин.

Пока мы разговариваем, обрушивается мгновенный ливень.

Когда дождь перестает и мы выходим от Ивана Федосеевича, в синем небе низко плывут рваные черные клочья. Каждый такой клочок брызнет вдруг крупно, с шумом в листве, и тотчас же растает. Пахнет водой от множества капель в траве и на листьях деревьев.

Впереди из-под аспидной тучи над автомобильным шоссе, у которого оканчивается булыжная дорога, проглядывает солнце, освещает неровный булыжник, и дорога вспыхивает, слепяще сияет среди голубоватых вересковых пустошей и темных зарослей низкорослой ольхи.

В городе, когда мы въезжаем, все освещено сбоку не очень низким еще солнцем, проглядывающим сквозь тучи: мокрые тополя по обеим сторонам улицы перед городским садом, соединившие свои вершины, и сырой, благоухающий душистым табаком городской сад за белой ампирной оградой, и открывшийся вдруг из-под сомкнутых вершин деревьев кремль на круто поднимающейся площади, с серебристыми, синеватыми даже, ну прямо семужья чешуя, главами церквей над белыми стенами.

Вечером к открытому окну, у которого я записываю все, что было сегодня, подходит Александр Иванович, как и всякий истый райгородец, понимающий, чем вовлечь собеседника в разговор, кивает в сторону белеющего в конце улицы Дмитриевского монастыря и сокрушается его запустелостью — купола протекают, со стен кирпич крошится, вываливается...

Я спрашиваю его, помнит ли он, как тут все было, и он принимается рассказывать, какие отличные садовники были среди здешних монахов, какой сад завели они, а в саду устроили пруд с бетонированным дном — перед войной какая-то артель сливала туда краску, и пруд сгнил, — вдоль озера проложили кирпичную, в елочку, набережную.

Люди ведь еще и ради красоты ходили, рассуждает Александр Иванович и вспоминает некоего дьякона с русыми, по пояс волосами, рассказывает о двух приехавших из Греции молодых красавцах с вороньими волосами, тоже до пояса, — как помирали по ним женщины, как любовались из окошек, когда афонские эти монахи проходили по улице.

Михаил Васильевич, посиживающий у своего окна, отзывается из соседней комнаты: «Рассказал бы, как в Девичьем монастыре жил» — и Александр Иванович говорит, что мать Назаря, отца сестра, взяла его из деревни и определила учиться к подружке своей Лёне, у которой была школа, а проживал он действительно в женском монастыре.

Михаил Васильевич не унимается: «И выходить-то незачем было».

Однако сосед наш, хотя и силен в срамословии, вызова не принимает, говорит, что рассказы о монастырском разврате преувеличены, — в мужских, конечно, бывало, а в женском он знает лишь один случай.

Грех случился с Машей Малининой. Маша — девица удивительной красоты, то ли она постриглась, то ли еще послушница — была сиротка. Однажды ее увидел в монастырской церкви богатый мужик из-под Углича, державший бакалейную лавку в Москве, пожилой, незадолго до того овдовевший, — детей он уже всех пережил и таскался по монастырям.

Насколько Маша глядела кротким ангелом, настолько рыжебородый этот купец, с того дня зачистивший в Девичий монастырь, выглядел разбойником из-под моста. Его заметили и мать-игуменья, и мать-казначей, и все монахини, однако он смиренно выстаивал все службы, молился усердно, и ничего худого о нем никто не думал, конечно.

Как-то, купив пудовую свечу и медный посеребренный подсвечник к ней, он принес их в дар монастырю, после чего открылся матери-игуменье, что человек он одинокий, вдовый, дети все пристроены, а у них

живет сиротка, и он хотел бы ее удочерить, чтобы ему по немолодым его годам было о ком заботиться и у нее был близкий человек. Мать-игуменья и мать-казначая, случившаяся здесь, говорят, что отчего же, это можно, так делается, в этом греха нет.

Купец удочерил Машу, в монастырь ездил по-прежнему и однажды попросил, нельзя ли и ей съездить к нему в гости, на что игуменья дала свое благословение. Маша погостила у приемного отца, вернулась, как-то опять поехала, и это вошло у них в обыкновение.

В одно из таких гощений, особенно долгое, случилось быть в Москве некоей монахиня, у которой проживала там сестра, в ту пору лежавшая в родильном приюте. Монахиня отправилась навестить сестру и вот там-то, в приюте, среди рожениц повстречала Машу Малинину.

Я слушаю Александра Ивановича, и мне представляется, что он, как это бывает с такого рода людьми, собственно, самоучками, читающими не так много, однако запоминающими крепко, частью пересказал, частью досочинил что-то лесковское или Мельникова-Печерского.

Но он рассказывает далее, что Машу, похоронив умершего вскорости ребенка, монахиня, снесясь с игуменьей, увезла в монастырь, куда рыжебородый ее благодетель не показывался, а уж потом, когда монастырь закрылся и монахини разбрелись, Маша по кротости своей пошла по рукам, и я верю, что все это так и было.

Когда же он вспоминает, как хоронил тетку, то есть мать Назарею, умершую всего только в минувшую войну, я еще раз укрепляюсь в том, о чем думал не раз,— что только в учебниках истории эпохи резко отделяются одна от другой, а в живом течении жизни, в повседневных ее подробностях, прошлое, как и будущее, существует в настоящем.

Мантійных монахинь, уверяет Александр Иванович, надлежит хоронить в пелене длиною в сорок аршин, которая в день воскресения мертвых послужит им как бы крыльями,— имея обыкновение сопровождать всякий свой рассказ поясняющими его жестами, он показывает, как монахини летают в раю,— однако мать Назарея преставилась в самую войну, сорок аршин полотна взять было неоткуда, как вдруг со всего города прибрели бывшие монашки с целой штукой бязи и запеленали покойницу.

* * *

Портреты Мыльниковы прелестны своим наивным реализмом.

Он изображал по преимуществу налитых соком купцов и купчих, щепетных молодцов с лоснящимися щеками и пухлых томных девиц. Все у него натурально — брови, ресницы, тугая или нежная, в легком пушку кожа, особенно же серьги, перстни, касторовые сюртуки и турецкие шали, причем это не ремесленное копирование натуры, но именно реализм, передающий предметностью, вещностью основательность бытия, а преувеличением некоторых черт лица — выразительность, характерность.

А портреты знатного дворянина в павловском мундире и его кавалерственной жены в высокой пудреной прическе хотя и неплохи, однако написаны робко, с известной, я бы сказал, почтительностью.

* * *

Роса... Пришел из деревни свойственник хозяев, выкосил всю отаву вокруг гряд, сгреб ее к воротам, чтобы увезти на попутной машине, и теперь гряды возвышаются среди желтоватой щетинки.

Стрекоза с коричневым тельцем кружит над огурцами. Белая бабочка, складывая и растворяя крылья, качается посреди мокрого огу-

речного листа. Распластавшиеся перья лука стали серыми от росы, и между ними золотятся одевшиеся в кожу, выпершие из земли луковицы.

Все глядит крупно, отчетливо прорисованным, как на рабочих листах кого-то из старинных мастеров, кажется, Дюрера.

* * *

Справа от дороги, едва выедешь из подгородной Юрьевской слободы,— большое поле кукурузы, завалившееся за горизонт. Кукуруза высокая, ровная, она уже выбросила метелку. А рядом с кукурузой, тоже завалившись за горизонт, протянулось огромное поле мешанки — от нее как бы ломти отрезаны: ночи стали длинные, подкармливают коров.

Достаточно взглянуть на оба поля, чтобы сообразить, что мешанки выйдет с гектара не меньше, чем кукурузы, то есть зеленой массы: кукуруза раза в два выше, но посажена реже, пускай и раскинула листья, а овес, перевитый горохом, стоит стебель к стеблю.

Но уж дешевле мешанка значительно, тут и считать нечего.

Семена кукурузы, во-первых, привозят издалека, они уже по одному этому должны стоить дороже произрастающих на месте овса, гороха или вики, да и вообще стоимость их, я думаю, выше. Во-вторых, под кукурузу отводится лучшая земля, какая способна производить не то что корм, а дорогую пшеницу или овощи, лук, а под мешанку — самая последняя, где ничего другого не посеешь, причем мешанка, в которую входят бобовые, обогащает землю азотом, кукуруза же отнимает азот. В-третьих, под кукурузу эту, конечно, внесли много навоза, который должен был пойти под картошку и лук, что скажется на их урожае.

Кукуруза, наконец, требует обработки, ухода, иначе она зарастет сорняками, это культура пропашная, и убирать ее у нас пока что нечем, тогда как мешанка, напротив, ничего этого не требует, посеяли ее обыкновенной рядовой сеялкой, и убрать не составит труда.

Председатель здешнего колхоза как бы намеренно посеял рядом у дороги кукурузу и мешанку — пускай народ глядит и соображает.

На обратном пути из Козьмодемьян нас накрывает вдруг ливень с некрупным градом, а когда он кончается и небо светлеет, на сербристом фоне отчетливо рисуются длинные черные скирды, выстроившиеся одна несколько позади другой вдоль выпуклого края земли, темно зеленеющей от отросшего уже кустистого мокрого клевера.

* * *

Вчера народился месяц; дожди, говорят, кончились.

Стоит нежаркий тихий солнечный день, и в тишине этой, в как бы вдруг установившемся покое, в последних, мелких и очень сладких, ягодах смородины на зажелтевших, с серыми углами паутины кустах, в одиноких, тоже очень сладких ягодах малины — во многом другом, что всем существом чувствуешь еще с давнего провинциального детства, угадывается некая перемена, возвещающая наступление осени.

Но заметнее всего приближение осени в домашнем быту.

С огородов везут на тачках огурцы, помидоры, тащат снопы укропа. С рынка несут бочонки и бадейки для солений и квашений. Дарья Васильевна наша, вернувшись с озера, рассказывает, что на озере полно народу — полощут белье, стирают одеяла, половики, мешки: все рады тихому солнечному дню, когда и постираться можно и проветрить.

* * *

Сегодня колесный пароходик, в течение лета курсирующий между Угожами и Райгородом, в восемнадцать часов пятнадцать минут совершит свой последний рейс; где-то в каком-то управлении рассудили, что

то ли он невыгоден, то ли для нашего города, кремль которого с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, в том числе и иностранных, некультурен; но его решили заменить катером. К слову сказать, и в магазинах здешних, полутемных, с купеческими еще, девятнадцатого века прилавками, все больше пластмассового модерна.

Мне жаль старого колёсника, и я еду прощаться с ним.

В центре в автобус садятся возвращающиеся с базара колхозники — с пустыми корзинами, бидонами, с мешками, судя по буграстости их, набитыми булками, мешочками с сахаром, крупой... Пахнет соломой, ивовым прутком, пенькой и слегка водкой — мужики выпили.

И хоть народ все это подгородный — в праздник по одежде от райгородцев, пожалуй, никого не отличишь, — сейчас они резко выделяются среди горожан, причем не одними лишь деревенскими запахами, выветренной дождями и солнцем одеждой, крестьянским, полевым загаром, но и озабоченностью своей, суетливостью — не опоздать бы к пароходу, который отходит четверть седьмого, а теперь без десяти пять.

Малый лет восемнадцати, круглолицый, с низко свисающим с правого плеча полупустым мешком, спрашивает шугя молоденькую кондукторшу: до аптеки, где всем сходить, две копейки или три?

Кондукторша не успевает принять простодушного заигрывания, как от окошка шутливо отзывается сидящий там плотный мужчина лет сорока, с рыжим вьющимся чубом, стальными зубами, в шелковой желтой тенниске, открывающей пышную татуировку: «Два рубля!» Малый возражает, что он всего-то в день полтинник зарабатывает... «Где же это вы работаете и кем, что так мало получаете?» — осведомляется мужчина. «Кем!.. Рабочим».

Мужчина рассудительно возражает, что и ставок-то таких нет, просит сообщить, что это за предприятие, какая специальность, причем обращается к малому с вежливостью, на «вы», а тот ему «тыкает», с раздражением и даже ненавистью твердит: «Какая тебе разница, рабочий — и все!» — на что мужчина предположительно говорит: «Канавы копаете!» «Хуже, тяжеле!» — распалившись, кричит малый, но мужчина не соглашается с ним: «Ну да!.. Тяжеле земляной работы не бывает». — «Походил бы ты с косой в росу...» На хриплый этот выкрик малого — усмешливая догадка: «А, так ты колхозник! Летом работаешь, зимой спишь».

Здесь уж и бабы вмешиваются и мужики: поспишь! «Ну, навоз вывезете, только и забот», — рассуждает мужчина.

Малый, вконец расвирепев, выкрикивает, что они, двадцать человек, в две росы двенадцать гектаров смахнули. Но и на это у мужчины есть ответ: что же он, не косил, да он кого хочешь косить поучит.

Белый от ярости малый кричит, что он покосил бы с ним, да его, бездельника городского, наперед пустил, ноги бы ему пообрезал.

Бабы вполголоса успокаивают малого: помолчи, мол.

Мужчина все так же спокойно говорит, что горожане-де к вам работать ездят, а вы — на базар, на что малый, не в силах справиться с рвущимися наружу словами, запинаясь, выкрикивает, что кой толк в их работе, больше съедят да напортят, чем сделают.

Мне неприятен рыжий со своей усмешечкой, с белыми по-бабьи рукавами в золотистых волосниках и чернильном узоре татуировки, малому же я сочувствую, в речах его много правды, однако и страшноват он.

Автобус останавливается, все выходят, малый, оборотясь, незлобиво уже доругивается: снял бы я с тебя штаны да по розовой...

По палубе, как это я наблюдал великое множество раз, слоняется полупьяный, медноволосый, с удивительно круглой красной плешью

«механик», пристаёт к бабам и девкам, а те беззлобно отпихивают его. И его уже я никогда не увижу — на катере будет моторист из демобилизованных моряков, хлопочущий сейчас на берегу возле серой, в оранжевых пятнах сурика посуды, должно быть, списанного военного катера, к корме которого сварщики приваривают поручни.

В Угожах, когда я схожу с парохода, две деревенские женщины, идущие впереди, рассуждают: станет пароход — озеро наше всю красоту потеряет... И верно, катер ведь всего семь минут будет ходить.

Я поднимаюсь в гору полузаросшей булыжной дорогой.

Вот и кирпичный лабаз — торцом к озеру, с выложенными из кирпича наличниками невысоких окон, забранных коваными решетками, с таким же узорчатым карнизом, как любили отделявать промышленные здания в конце прошлого века. Рядом с лабазом, образуя угол, стоит двухэтажный дом, низ которого, где лавка, каменный, а верхнее жильё — деревянное с встроенной каменной кладовкой для хозяйской казны. В лавке прохладно, полутемно, вкусно пахнет разной бакалеей.

Возвращаясь на пристань, где с телег грузят на пароход высокие мешки с огурцами — плата с мешка! — с привязанными сверху снопами укропа. В сезон, когда с этой стороны озера везут к Москве и на Север огурцы, катеру такого количества груза не перевезти.

Озеро у берега гладкое, зеркально блестит.

Мужик в лодке сидит на веслах, баба его полощет бельё.

Недвижимость и прозрачность озера и запах сухого укропа на уставленной мешками палубе напоминают о начальной поре осени.

* * *

Утро серое, небо в легких, как бы мазочками, облаках.

Начавшее позднее проглядывать солнце к полудню, когда мы приехали в Ужбол, жарко светило, стало припекать; пыль на дороге между избами и стоящими перед ними палисадниками даже на взгляд теплая. Прислоненные к палисадникам, сушатся серо-зеленые снопы тростника.

У Соньки новое крыльцо белеет свежим тесом — построила-таки!

Дома только мальчонка ее, нянчащий младенца, о котором вошедшая со двора тетка Лизавета сказала, что он — Сонькиной двоюродной сестры, объяснив при этом: «Мы дружимся». Интересно, что она употребила старинную и по сути правильную форму, тогда как чуть ли не все, в том числе интеллигенты, говорят и пишут «дружим».

Лизавета рассказывает, что в селе теперь никого не встретить, все в поле — горох берут. Платят с килограмма, и плата подходящая, вышли и старый и малый. Одна женщина всех детей своих забрала, даже пятилетнего мальчонку — все какой ни то килограмм наберет. «Значит, — говорю я, — в заработке вся причина?» — «Неужто ж нет!» — говорит Лизавета.

Она замечает попутно, что и прежде случалось принанять на уборку гороха или картошку копать, а уж пахали, и навозили, и сеяли сами. Я не сразу соображаю, о чем это она, пока не догадываюсь, что этим она как бы хочет сказать: убрать выращенное способен случайный работник, платили бы хорошо, но вырастить урожай может только хозяин.

Было бы неумно заподозрить тетку Лизавету, которая со своей Сонькой, без мужика в доме, окончательно пропала бы, не будь колхоза, пускай и плохонького, ужбольского, в намерении настаивать на преимуществах единоличного хозяйства перед коллективным, да еще лет тридцать спустя после его организации, — просто она имеет в виду, что хозяйство, хотя и коллективное, все же предполагает понятие «хозяин».

Тетка Лизавета крестьянка по преимуществу.

И только неуважением к самой сути крестьянина можно объяснить, что ни бригадиру, выполняющему распоряжения председателя колхоза, ни председателю, следующему указаниям секретаря райкома, и в голову не придет, что и у Лизаветы могут быть соображения о единственно известной ей с детства работе, которой она, к слову сказать, живет.

Проулком, тенистым от нависших над ним ветвей старой ветлы, выходим к дороге, пролегающей задами, — с нами приехавший вчера из Москвы художник, знаменитый иллюстратор «Евгения Онегина». Дорога как бы прорыта потоком — желтая, мягкая от пыли, она лежит ниже поросшей пижмой и вьюнком бровки и огороженных усадеб с их сухой, серой землей, местами, где копали раннюю картошку, разрытой. Листья вишневых деревьев словно бы подсохли, на взгляд стали жестче, заметно пожелтели.

Возле своей усадьбы ворошит граблями сено, накошенное под изгородью, старик Павел Иванович — сена здесь горстка. казалось бы, не из чего хлопотать. Пожалуй, он все такой же, только чуть согнулся в плечах, лопатки острее выпирают под линялой рубахой, желтизны прибавилось в бороде да еще в глазах что-то изумленно-детское, слабое.

Снимает картуз, здоровается, хотя сразу и не узнал.

Затем, узнав и меня, и жену, и девочек, оживляется, на вопрос, как живет, отвечает, что хорошо, слава богу, усадьбу, вишь, нынче еще сам вскопал, когда же художник, тоже старик, но помоложе, спрашивает, сколько ему лет, не без гордости говорит: «Восемьдесят три».

Прекрасна естественность, с какой он говорит художнику «ты», как и тот ему в свою очередь, и не в возрасте здесь причина — к нам, даже к девочкам, Павел Иванович обращается на «вы». — а в том, я думаю, что их, только что увидевших друг друга, связывает нечто большее, нежели преклонный возраст обоих, и чему я не могу найти определения.

Могу лишь сказать, что каждый из них — старый русский крестьянин и старый русский интеллигент — представляется мне как бы принадлежащим к некоей своей, коренной, чистой породе людей.

Помнится, художник как-то сказал мне, что нельзя и помыслить, чтобы в России существовал писатель, подобный, например, Киплингу, который, пускай и великолепен его талант, не терзался бы тем, что его страна угнетает другую, не сострадал бы угнетенным... Речь не о том, чья интеллигенция лучше — такого рода рассуждения нелепы, — речь о совестливости, особенном свойстве русской интеллигенции.

А Павел Иванович — грамотный, в свободный час почитывающий газетку, что называется, непьющий, потому что только в праздник позволяет себе выпить стопку-другую, и некурящий, не почему-либо, просто времени не было привыкнуть, хотя и не слышно, чтобы он ходил в церковь или принимал попов, вообще молился, — всю жизнь руководствуется правилом, что лениться, например, или обойтись с кем несправедливо, даже с животным, отказать кому в помощи, солгать — великий грех.

Оба эти старика — приходит мне вслед за этим на мысль — олицетворяют собою два национальных средоточия нравственных сил.

Наталья Кузьминична тем временем наставила самовар.

В избе хоть и жарко — от солнца в окнах, красные квадраты которого лежат на свежепокрашенном, блестящем полу, от истопленной с утра печи, от того же самовара, — однако не душно, и нет мух.

Художник, положив в чашку варенья, с аппетитом пьет чай.

Наталья Кузьминична, рассказывая деревенские новости, говорит, что Галька, вместе с Ниной ходившая к нашим девочкам, в седьмых осталась, Нина же учится хорошо: у Нины ведь отец какой — сам читает книги и дочери велит, а Галька хоть и толковая и понятливая, да ведь дома, кроме тяжелой работы, ничего не видит, ее вон на лето мать в ясли нянькой определила, да еще на полдни в обед бегаёт...

Художник вдруг спрашивает, знаем ли мы, какой праздник будет скоро, на что Наталья Кузьминична говорит, что кто его знает, второй спас уже прошел, до Октябрьской далеко, ничего не могу сказать и я, тогда художник как бы выговаривает нам — первое сентября!

* * *

Снова почти все переменялось в полях: иные еще лежат серые, аккуратно исчерченные бороздами; на других уже зеленеет короткая шетинка; третьи пока что едва розовеют только что проклюнувшимися всходами... И лишь овсишко еще кое-где желтеется необранный.

* * *

Накануне, часу в одиннадцатом ночи, поднялся сильный ветер, молнии блистали, гремело, пролился дождь, и так было всю ночь — ураган с грозой и ливнем, — а утро наступило тихое, сырое, холодное.

Михаил Васильевич, проснувшись, рассуждает: кукурузу в поле не повалило ли, она высокая; затем, имея в виду самовар, кричит:

— Дарья... Раздувай кадило!

Приходят рыбаки, предлагают карасей — четыре большие круглые рыжие рыбины с золотым блеском, в крови на брюшке, в прилипших к ним листьях крапивы. Они еще шевелятся на кинutom на пол мокром мешке, в какой были завернуты. Михаил Васильевич касается мешка палкой своей, брюзжит: «Куда их мне столько!» — ради того, разумеется, чтобы сбить цену, велит Дарье Васильевне убрать, при этом рассуждая, что, кабы лещи были, их закоптить можно, а рыбаки, дожидаясь денег, чтобы бежать за поллитровкой, подобострастно соглашаются.

Александр Иванович, принесший нам яблок, с преувеличенным воодушевлением отзывается о копченом леще, обстоятельно рассказывает, как его коптить, объясняет, что дрова должны быть ольховые.

Потом он рассказывает, как дикую утку жарить: положить в брюшко несколько луковиц, укропцу мелко искрошить, если утка недостаточна жирная, прибавить масла... О яблоках он говорит, что белый налив для еды принес, а вон те — в бруснику класть, в варенье.

На базаре полно брусники, покупают ее корзинами.

Из брусники не только варят варенье, ее не только мочат, но и пьют, а потом едят всю зиму с сахаром и сметаной — ягода эта не гниет, не киснет, как и все, произрастающее на некоторых болотах.

Я вспоминаю, что вчера у Зябликовых в сенях солили огурцы — пахло чесноком, укропом, эстрагоном. У Максима Герасимовича грядки эстрагона стоят в невысокой отаве — весь распродан... Наступила великая пора солки, квашения, копчения, закладки впрок...

В раннем моем детстве она была изобильнее.

Но и сейчас, пускай вынужденно, потому что, торгуй магазины всем, что каждый день может понадобиться, никто бы и не припасал на зиму, здешний житель все еще во власти этой поэтической заботы.

* * *

На огородах зелеными снимают помидоры, иначе они «затекут» — холодно стало. Собирают последние огурцы — лист уже пожелтел, обвис, и среди плетей стали видны толстые, переросшие, бронзовые, в мел-

кой серой сеточке «желтяки». А лук, приломленный, чтобы не дал мочку, то есть не пустил новых корней, сушившийся на грядках, после чего его легко становилось обрезать, досушивается на печи.

Максим Герасимович ходит перед своим домом, вырубает тяпкой траву, складывает ее в выбоинки, объясняя, что таким образом уже много завалил. Потом, рассуждает он, трава вырастет, и станет хорошо. Он показывает на ровную зеленую полосу земли вдоль забора по другую сторону дома и говорит, что ведь и там были ямы и бугры, а он бугры срезал, в ямы бот и траву валил, все теперь и заросло.

Я говорю, что становится холодно.

Старик соглашается, говорит, что дожди пошли, земля намокает, а день уж короче, она не успевает прогреться, холодком дышит.

* * *

Темным вечером в пустом кремле — только сторожиха в брезентовом балахоне поверх многих одежек сидит у музея — скрипят на разные голоса и не в лад, а с некоторым разрывом, железные прапорцы на дымониках и башнях — средневековая музыка крепостных кровель.

ОСЕНЬ

Ивана Федосеевича я застаю за несколько странным занятием — он читает «Епархиальные ведомости», старый, пахнущий пылью комплект. Помнится, он как-то говорил мне, что взял из давно закрытой церкви валявшиеся там книги. Как видно, только теперь, когда у него стало много свободного времени, Иван Федосеевич, и вообще-то большой любитель чтения, принялся их читать.

На столе пошумливает самовар. Мать Ивана Федосеевича, как все глухие, кричит: «Ты бы угостил товарища чаем, винца поднес бы — есть винцо-то!» Приятель мой отмахивается: «Некогда... Поехали». Он совсем готов: побрит, при галстуке — только взять пальто и палку.

Мы едем с Иваном Федосеевичем к Люде. С нами едет и Николай Семенович, считающий Люду лучшей своей ученицей. Мы сажаем его в машину возле дома, где он живет, на выезде из города.

Низко нависло мглистое небо, как бы оборванное на юге, где над горизонтом протянулась желтая полоса. Ветрено, сыро, а в машине тепло, пахивает краской от впервые включенной сегодня печки, и этот какой-то домашний осенний уют настраивает на длинные разговоры.

Иван Федосеевич рассказывает, что он прочитал в «Епархиальных ведомостях» письмо синода здешнему епископу с уведомлением, что в епархию едет ученая комиссия, имеющая целью установить, правильно ли пишут на иконах образ Николая-угодника. Он пересказывает это письмо, говорит, что на древних иконах Николу писали с мечом, и Николай Семенович, интересующийся решительно всем на свете, спрашивает его, отчего же стали писать с книгой. Однако Ивана Федосеевича занимают вовсе не эти весьма специальные подробности, но самый факт регламентации, существовавший в иконописании. Он говорит об этом, мне кажется, с некоторым даже удовлетворением, пускай неосознанным. При всем том, что характер у Ивана Федосеевича непокладистый, он по-крестьянски уважает порядок.

Впрочем, и письмо это, и вызванный письмом, как он представляет себе, переполох, — как же, начальство едет! — всего лишь старинный случай, о котором Иван Федосеевич рассказывает с той пренебрежительной усмешкой, какую всегда вызывали у русского мужика всякого рода поповские дела. Но вот он увидел ушедший в поля проселок с поблес-

кивающей в самом его начале лужей и необыкновенно оживился, стал показывать в ту сторону, хотя мы уже промчались мимо, стал объяснять, что это дорога в Нилово, куда он еще мальчонкой ездил за соломой,— отец у него на германской погиб. Соломы в здешних местах, рассказывает он, было много, это ведь край ополья, здесь хлеба были могучие — до октября молотили. Один мужик, у которого он однажды брал овес, говорил ему, что пудов двести намолачивает овса с десятины.

Я говорю, что овес теперь запретная культура.

«Секретная»,— поправляет меня Николай Семенович, имея в виду, что и овес и клевер с некоторых пор здесь у нас изгоняются и что хозяйственные, так называемые самостоятельные председатели сеют их чуть ли не по секрету и называют между собой секретными культурами.

Он спрашивает Ивана Федосеевича, словно это только вчера было, почему тот брал овес, и говорит, что из их деревни ездили, бывало, за овсом в Рыбну, брали его с баржи, и цена там была дешевле. Иван Федосеевич соглашается, что в Рыбне овес стоил дешево, и неплохой, хотя мелкий, ему и туда случалось ездить за ним, но чаще всего в Нилово — по санному пути. Разговор заходит о различных сортах овса, об их достоинствах, о том, что и где сеяли вообще, о сложившейся исподволь в здешних краях структуре сельского хозяйства, которая вот уже сколько раз ломается без нужды. Впрочем, слышать, не только здесь, но и в других местах. Между тем особенности почв, климат, наличие дорог и рынков сбыта, навыки и опыт населения — иначе сказать, все то, что определяет выгодность или убыточность для данной местности той или иной культуры,— давно уже привели к тому, что в селениях вокруг нашего озера Каово, например, занимались луком, овощами, горошком, цикорием и картошкой, причем в каждом селе двумя-тремя культурами по преимуществу, а несколько дальше сеяли рожь, овес, клевер, лен...

Специализация, горячо и не впервые убеждаем мы друг дружку, главным образом я — Николая Семеновича, а он — меня, хотя всегда единодушны с ним в этом,— специализация хороша не только тем, что каждая культура либо вид животных получают наиболее благоприятные для них условия, но еще и возможностью в определенном направлении совершенствовать знания и рабочие приемы, держать ограниченный набор механизмов и орудий. Иван Федосеевич в связи с этими нашими рассуждениями говорит покровительственно, как уже, помнится, сказал мне однажды: «Оказывается, и вы в нашем деле начали разбираться!»

Я собираюсь сказать, что вот уже скоро десять лет, как у него же и учусь, но здесь наша машина съезжает с асфальта и катит по черной сырой земле с печатанными в нее желтыми листьями вдоль недлинного порядка изб. Мы останавливаемся под окнами осевшего набок домика, на крыльце которого в одном легком платье нас ожидает Люда.

Как и в недавнюю нашу встречу летом, мне прежде всего приходит на мысль, что она мало изменилась, став матерью, разве только несколько раздалась, словно бы покрупнела, и волосы потемнели, уложены на затылке тяжелым пучком. За всем тем она все такая же статная, и такие же у нее прямые плечи, такое же румяное, чуть скуластое лицо.

Я называю ей Ивана Федосеевича, и она говорит, что давно знает его, в ответ на что он осведомляется: «Откуда ж ты меня знаешь?» Она говорит: «Ну кто же вас не знает!» Затем, когда мы идем в избу, рассказывает, что проходила практику у него в колхозе. Приятель мой, сколько я понимаю, доволен. Прежде, пока он работал, он был равнодушен к славе, а теперь, мне кажется, знаки внимания ему небезразличны.

В покосившихся сенах, оступившись, Иван Федосеевич говорит: «Больно изба-то у тебя неважная, председатель. Завел бы дом получше». Люда объясняет, что она здесь на квартире, и он отвечает ей на это: «Вижу, что на квартире...» Он ставит стул посреди избы, усаживается, не сняв ни пальто, ни кепки, и когда Николай Семенович в некотором смущении предлагает ему раздеться, отмахивается от него: «Успеется!»

Так сидит он, опершись на палку, и ведет, как я называю это, «деревенский» разговор. Он спрашивает Люду, откуда она родом да кто у нее в деревне, и знает ли она такую-то и такую деревню, бывала ли там?.. Люда отвечает, и они принимаются рассуждать, как лучше проехать в ту или иную из тамошних деревень, причем в некоторых случаях спорят, пока он не согласится: «Верно, так-то вам ближе... Запаям я». Он рассказывает ей, кто у него в тех местах знакомые, интересуется, знавала ли она этих людей, и про одних Люда говорит, что приходилось, мол, встречать, а про других, что такую фамилию слышала.

И хотя Ивану Федосеевичу сравнялось уже шестьдесят, а Люде еще и двадцати четырех нет, хотя он и внешностью и всей повадкой — типичный председатель колхоза, из тех, кто начинал лет тридцать назад, в пору сплошной коллективизации, пережив на своем веку и сверххранний сев, и глубокую, на двадцать четыре сантиметра по всей России, вспашку, и кроликов, и ветвистую пшеницу, а теперь вот кукурузу перживает, — хотя он, можно сказать, в крепчайшем щелоче вываренный старый русский крестьянин, тогда как Люда — посмотреть на нее — современная девица, не то инженер, не то агроном, оба они удивительно походят друг на дружку какой-то своей, иначе не скажешь, крестьянской сущью.

Когда позднее, напившись чаю, мы собираемся смотреть хозяйство и Люда, сунув ноги в резиновые сапоги, надев темное драповое пальто в талию, повязывается пуховым платком, она и вовсе глядит молодой деревенской бабой. Разумеется, дело не в одежде, и не во внешности, рассуждаю я мысленно, пока мы идем деревней, расположившейся двумя своими короткими посадками по обеим сторонам шоссе. Однако только крестьянка, пускай ее занимает и литература, о которой в другое время она охотно поговорила бы со мной, и то, что мог бы порассказать Николай Семенович о своих недавних странствиях к истокам здешних рек, — только крестьянка станет с таким интересом слушать, как выгоднее всего откармливать свиней, о чем рассказывает сейчас Иван Федосеевич.

Разговор начался еще в избе, за самоваром. Иван Федосеевич спросил: «Много ли получаешь?» Люда ответила, что сто двадцать. «Значит, на жалованье». Люда сказала, что это до нее утвердили, так и прежний председатель получал. Но приятель мой вроде и не слышал этого, продолжал рассуждать: «Выходит, не колхозница». Люда возразила, что она вступила в колхоз. Однако Иван Федосеевич стоял на своем: «Какая же ты колхозница, если жалованье получаешь!» Тогда Люда сказала, что у них все получают жалованье — у них пять разрядов. «Так-так, — проговорил он и вдруг деловито осведомился: — Сколько же ты, например, платишь колхознику?» Люда ответила, что авансом — тридцать девять копеек на трудодень выдала. «Значит, все-таки трудодень, — заметил Иван Федосеевич. — А всего?» «Копеек сорок пять выйдет», — неуверенно сказала Люда. «Небогато», — рассудил он и снова спросил деловито, аккуратно ли она платит. Люда, смешавшись, призналась, что за июль и август еще не платила, на что Иван Федосеевич возразил, что теперь уже сентябрь пошел. Он поинтересовался еще, откуда

она берет деньги, и Люда ответила — с молока. «Ну, на молоке не наживешься,— заявил он.— Платят мало». Он стал спрашивать, чем у них тут занимаются, и когда Люда сказала, что картошкой — картошку, мол, здесь любят! — словно бы даже обрадовался и решительно объявил: «Свиней тебе надо кормить...»

И вот теперь, пока мы идем деревней, а потом полями, чтобы попасть в другую деревню, он объясняет Люде, какие у нее тут условия для свиноводства и как превратить эту отрасль в главнейшую из статей дохода. Он говорит: «Картошка удается, ну и зерно должно получаться — земля здесь хорошая, я вижу». При этом он тычет палкой то в одну, то в другую сторону, как бы приглашая нас посмотреть, какая хорошая земля.

Вокруг по склонам холмов протянулись во все стороны поля — изжелта-серые, убранные, и черные, не так давно вспаханные, и зеленые от озимей или клевера. Среди полей стоят одинокие дубы. В складках между холмами темнеют заросли орешника и ольхи. Вдалеке, где холмы расступились, простерлась под легкой дымкой обширная низменность — торфяные разработки. А дальше, замыкая пространство, чернеют по горизонту леса.

Иван Федосеевич с удовольствием говорит: «Хлебные места!.. Да еще и картошка есть,— добавляет он затем,— самое место заниматься свиноводством. Зерно можно смолоть — мучка будет. Или отрубей возьмешь — они дешевле. Вот тебе и концентраты... Запарник есть ли?» — осведомляется он, и Люда отвечает, что нет. «А ты купи,— предлагает он ей,— он недорог, котельчик этот, что пар дает». Люда говорит, что помещение у них никуда не годится. Вот у него, вспоминает она, когда она впервые увидела свинарник, так рот разинула, думала — фабрика.

Иван Федосеевич возражает, что начинал заниматься свиньями в тесной завалюшке, и при этом ссылается на меня. Он говорит, что оттуда все деньги пошли. Главное, поучает он Люду, чтобы все дешево было.

«Вот я тебе расскажу»,— говорит он и принимается рассказывать, как привозят картошку, сваливают, ударяют струей из брандспойта — и вся грязь в трубу... Попутно он объясняет, какие бывают трубы и как их вставляют в стену свинарника — у пола, обязательно с наклоном. Тут же он осведомляется: «Свинарник-то у тебя на горе?» — и показывает, как грязь течет по трубе под гору. В голосе его слышится удовлетворение и даже гордость человека, дошедшего до всего своим умом.

Люда идет рядом с Иваном Федосеевичем, то взглянет ему в глаза, то переведет взгляд на пальцы, которые он загибает, подсчитывая, во что обойдутся корм и оплата труда, каков будет доход, и когда речь заходит о возрасте, в котором поросенок лучше всего растет, она приводит разные случаи, причем весь этот разговор ее настолько увлек, что мы с Николаем Семеновичем для нее как бы не существуем.

И мне вспоминается, как тридцать с лишним лет тому назад в деревне, тихим июньским утром, на остановившейся из-за этой тишины ветряной мельнице сидели, наслаждаясь холодком и разговаривая о разных доходных статьях, рослый, плечистый мельник с большой белой бородой и случайный помольщик — коренастый, со свалывшейся коричневой бородкой молодой мужик. Утро было жаркое, солнечное, и дверь была открыта, но, должно быть, из-за того, что земля за порогом была вся зеленая, а напротив росли ветлы, и мельница была огромная, похожая на башню, внутри ее стоял зеленоватый сумрак, в котором, однако, можно было различить уходящие вверх тесины наклонных стен, балки, переводы, неподвижные жернова и двух мужиков, сидевших на поваленных мешках с зерном. Они рассуждали о конопляниках, о гречихе, потом

заговорили о картошке. Мельник сказал, что нет ничего выгоднее ранней картошки — очень ее городские евреи уважают. Помольщик согласился с ним, и они принялись толковать о сортах, об их урожайности и сроках поспевания, о предпочтительности «розовой» перед «желтой скороспелкой».

Удивительное дело, казалось бы, ничего сколько-нибудь занимательного не было в рассуждениях мельника с помольщиком, особенно для приехавшего на этюды художника-москвича, однако я слушал внимательно, с интересом, и хорошо запомнил этот разговор.

Сколько раз в течение последующих десятилетий случалось мне присутствовать при точно таких же разговорах — например, о цыплятах, как они растут и не болеют, если их кормить творогом, или что вот купили корову, польстившись на то, что она большая, а она оказалась тугосисей, об удивительно «работающей» яблоньке-китайке, о солощем бычке... Совсем недавно в поезде некий хозяйственный мужик хвастал при мне, что из ста инкубаторских гусенят у него выживают все сто и что кормит он их рублеными яйцами с зеленым луком — специально грядку посадил! — от лука они все время пьют, и поноса у них не бывает.

Все это иначе как крестьянской сутью я назвать не могу.

Я давно пришел к мысли, что можно отлично знать наилучшие способы обработки почвы, особенности и свойства любой сельскохозяйственной культуры, наивыгоднейшие сроки посева, самые совершенные методы ухода за растениями и животными — и за всем тем вести дело в убыток.

Надо еще быть крестьянином, то есть человеком, в котором тысячелетия власти над ним тоненькой зеленой травинки, в свою очередь, как писал Глеб Успенский, зависящей от каждой тучки, каждого солнечного луча, выработали не только рабочие навыки, но и характер, главенствующей чертой которого я бы назвал осмотрительность, расчетливость.

Травинка зеленая кормит крестьянина!

Мы сворачиваем с шоссе и поднимаемся по крутому склону. На сером жнивье стоят прибитые дождями, кое-где встрепанные ветрами полуразвалившиеся одонья совсем побелевшей ржи. Иван Федосеевич, взглянув мельком, говорит, что хлеб, видать, пророс, надо было раньше его сvezти. Он советует Люде обмолотить и смолоть рожь — вот ей и корм для свиней.

Он останавливается на вершине склона, снова оглядывает всхолмленную равнину и принимается еще раз хвалить здешние земли, объясняя, что по орешнику и ольхе видно — плодородные. И рельеф очень удобный для зернового хозяйства. Еще ему нравится, что лесу много в колхозе. «Тысячу гектаров, говоришь?» — спрашивает он Люду. И красиво — место сухое, большая дорога проходит через колхоз, речка есть с лужками...

Миновав приспособленную под клуб амширную церковь с опрокинутыми каменными надгробиями вокруг, мы идем развезженной, в грязи и в навозе хозяйственной площадкой, сбоку которой стоит длинный, ушедший в землю рубленый скотный двор с просевшей соломенной крышей, а посреди — скирды соломы, вернее сказать, закиданные соломой кучи силоса.

Иван Федосеевич кивает в сторону силосных куч: «Землей-то, поди, не присыпали!» Люда говорит, что нет. «Зря! — говорит Иван Федосеевич. — Пропадет много. У тебя ведь рядом торфопредприятие, съездила бы, попросила прислать молодца с бульдозером, он бы накидал землю, а там уж ставь скирд». Люда вспыхивает, однако, прикусив губу, молчит.

Николай Семенович, которому, как я понимаю, неприятны обнаруженные в хозяйстве его бывшей ученицы упущения, обращает наше внимание на взломанные ящики с тускло и жирно лоснящимися в них металлическими частями какой-то машины. Он спрашивает Люду, что за машина, и та, немного гордясь, отвечает: «Лесопилка!» Иван Федосеевич, ушедший было вперед, живо оборачивается, интересуется, какого производства лесопилка и сколько Люда отдала за нее. Люда говорит, что заплатила тысячу девятьсот, на что Иван Федосеевич возражает, что достаточно было за четыреста купить, вполне бы ей хватило. Вот и у него пилорама за четыреста, и хорошо работает, а ведь какое у него в колхозе строительство! Он принимается перечислять все производящиеся в стране лесопильные установки и цены на них, причем с присутствующим ему в таких случаях чувством превосходства над теми, кто ничего этого не знает.

Люда невнятно говорит о достоинствах купленной лесопилки.

Тем временем мы подходим к скотному двору.

Иван Федосеевич тянет на себя осевший створ ворот, вычертивший в грязи полукруглое углубление, и мы с осторожностью, оскользаясь на мокрых, хлюпающих досках, ничего не различая со света, вступаем в сырой, тяжело пахнущий сумрак. Люда говорит, что скотный у них плох, но Иван Федосеевич возражает — не двор плох, заведение плохое.

Люда снова вспыхивает, кажется, вот-вот начнет оправдываться.

Иван Федосеевич меж тем, тыча палкой, объясняет, как здесь все устроить — сделать бетонированную яму, провести к ней стоки, вывести сток наружу, в жижеприемник. Он говорит, что летом скот не следует держать в коровнике, пускай все просохнет, проветрится. А для скота надо иметь загон. Лесу в колхозе много, долго ли сделать загон!

Люда говорит, что коров замучает овод.

Иван Федосеевич не соглашается: «Полно, и у нас так же в леску стоят коровы, а овод не трогает... Зато к зиме двор чистый, сухой».

Когда мы идем из села, он спрашивает Люду, как будет работать пилорама — от какого источника, и Люда отвечает, что от трактора. Он говорит, что не советует, выгоднее провести электричество. Рядом ведь торфопредприятие. Заодно и колхоз можно осветить, и животноводческие помещения. Пускай она продаст свою лесопилку, купит за четыреста, а полторы тысячи пойдут на проводку. Лесу она у себя нарежет, сосну либо ель, отвезет в Павловск, там есть такая организация, и ей взамен выдадут готовые столбы, пропитанные, причем чедорого возьмут.

Он прикидывает, сколько километров до торфопредприятия и какое количество столбов потребуется, называет тип трансформатора, который надо будет купить, и когда Люда возражает, что такой трансформатор для них мал, принимается подсчитывать, сколько энергии возьмет пилорама, сколько нужно на скотный, в свинарник, сколько домов в колхозе и сколько лампочек понадобится каждому дому, прибавляет клуб, контору, склады, оставляет некоторый резерв — выходит, как раз хватит.

И еще он советует Люде, пускай она подыщет для лесопилки грамотного мужика, непьющего, аккуратного, и пускай платит ему с кубометра — он тут же говорит сколько, — чтобы мужику прожить можно было, и тогда у того не будет интереса воровать или работать налево.

Я слушаю Ивана Федосеевича, и мне приходит на мысль, что естественность, с какою он решает все эти хозяйственные дела, очень похожа на то, чему однажды поразился толстовский Левин, когда мужик рассказывал ему, как, пропалывая рожь, он этой прополонною рожью кормит лошадей. Толстой говорит, что Левин каждый раз, когда видел у себя в хозяйстве этот пропадающий прекрасный корм, хотел собирать его, но

всегда это оказывалось невозможным. У мужика же это делалось. Чего бабенкам делать? — рассуждал мужик. Вынесут кучки на дорогу, а телега подъедет.

Вот это самое обстоятельство, когда бабенки непреднамеренно, словно бы между делом вынесут кучки на дорогу, а попутная телега заберет их — чем по преимуществу и определяется жизнеспособность сельскохозяйственного предприятия, — ни в каком кабинете не запланируешь.

Мы идем ржищем, мимо лежащих кучами взлохмаченных снопов.

Прежде чем спуститься на шоссе, Иван Федосеевич останавливается, в последний раз обводит взглядом снова открывшуюся нам отсюда равнину с мягко очерченными в сером воздухе холмами и лесами, с приглушенными красками озимей и жнивья, выкошенных поемных лугов, начавших ржаветь болот и вдруг спрашивает Люду, сколько она платит агроному.

Люда говорит, что семьдесят в месяц.

Иван Федосеевич замечает, что это ничего, это хорошо. И быстро спрашивает: «Возьмешь меня агрономом?» Люда говорит, зачем же агрономом, пускай уж он лучше председателем к ним идет, а она к нему агрономом. Но он стоит на своем: «Нет, агрономом пойдю». И с тою же деловитостью осведомляется: «Квартиру дашь? — Потом добавляет: — Я по углам слоняться не стану». Люда говорит, что не то что квартиру — дом даст.

Помолчав, он говорит: «Нравится мне у тебя!»

На шоссе, на глинистой его обочине, он нагибается, поднимает комочек глины, показывает на белеющие в нем камешки и объясняет, что если такой камешек попадет в кирпич, то при обжиге кирпич разорвет.

Потом он спрашивает Люду: «Ну, что еще покажешь?» Люда говорит, что клевера у нее хороши, такая отава отросла, и цветут — как летом!.. Ему интересно посмотреть, да и Николаю Семеновичу тоже, и все они, перейдя через шоссе, идут к зеленеющему впереди клеверному полю, а я, несколько отстав, иду следом. Отава и впрямь высока, кустиста, темная ее зелень обильно усеяна крупными красными шишечками цветов.

Я смотрю, как легко, хотя и опираясь на палку, идет межой, выходящая над зацветшим вдруг осенью клевером, бывший любогостицкий председатель, и мне вспоминается: «Меня любит мать — сыра земля». Любит она его до тех пор, повторяю я мысленно то, к чему пришел, в течение многих лет наблюдая деревенские обстоятельства, пока несет он за плечами огромную тягу земли. Освободившись от этой тяги, то есть от множества повседневных забот, какие доставляет необходимость пахать землю и кормить скотину, крестьянин теряет вместе с тем и любовь матери — сырой земли.

Вечером мы уезжаем из деревни, где живет Люда.

* * *

В приемной секретаря райкома сидит по-рабочему одетый мужик — не председатель колхоза или секретарь партийной организации, которых иные секретари любят называть мужиками, а именно мужик, то есть крестьянин, земледелец — человек, делающий земляную работу. На нем серый бумажный смятый пиджак и такие же брюки, засунутые в сбитые сапоги, он небрит, загорел, кажется, только что с поля, и пахнет от него, кажется, осенним полем — соломой, свежезспаханной землей...

Он поспешно встает, когда из своего кабинета выходит Александр Сергеевич, пока я здороваюсь с секретарем, старается вклиниться в наш разговор, опасаясь, что его не выслушают, торопливо, извиняющимся тоном говорит, что ему ненадолго, у него лук не принимают.

Александр Сергеевич, попросив меня зайти в кабинет, остается в приемной. Потом они входят вместе, Александр Сергеевич объясняет, что это бригадир, один из лучших, привез лук сдавать, но я уже понял, в общем-то, в чем суть и что сейчас он засядет за телефон.

Мне вспоминается раннее утро нынче летом, пустынный еще кремль, подвалы которого заняты складами местного торга, такой же точно «смирный» мужик, — как он тыкался всюду, стучался в запертые почему-то двери складов, растерянно спрашивал, кому сдавать огурцы.

Я усаживаюсь у окна, понимая, что Александр Сергеевич освободится не скоро. Внизу напротив, возле аркады гостиного двора, стоит машина, почти вровень с бортами нагруженная луком, на котором сидят подростки — мальчишки и девчонки, одна в очках. Бригадир, проследив мой взгляд, счел необходимым объяснить, что народ у него весь занят, он и взял школьников, ездит с ними, ездит, нигде лук не берут — ни на перевалке, ни в кофе-цикорке, отговариваются тем, что сырой.

Тем временем Александр Сергеевич звонит в заготконтору райпотребсоюза, долго разговаривает с заместителем заведующего, причем строго, ничего не добившись, созванивается с самим заведующим, но и тот, как можно догадаться, твердит, что лук нестандартный, сырой, пускай колхоз его высушит, хотя Александр Сергеевич и ему напоминает постановление правительства, обязывающее принимать сырой, нестандартный лук, ради чего установлена скидка в двадцать пять процентов, покрывающая расходы по сушке и возникающую после этого недостачу.

Пока Александр Сергеевич звонит — то номер занят, то не отвечает, то человека нет на месте, — пока разговаривает, убеждает, принимается лить дождь, и лук, просто сырой, с гряды, однако отличный, крупный, даже отсюда видно, мокнет и мокнет. Ребятишки давно убрались под аркаду. Сверху, откуда взглядом охватывается весь прямоугольник кузова с золотящимися в нем луковицами, какой-то сиротской выглядит поливаемая осенним дождем одинокая колхозная трехтонка.

Исчерпав все доводы, Александр Сергеевич резко обрывает разговор, звонит на кофе-цикорный комбинат заведующему сырьевым отделом Чернову, недавнему председателю колхоза «Россия», по-дружески просит его принять лук — комбинат производит сушеные овощи.

Мужик, поблагодарив, с опаской спрашивает: «А не погонят?»

Александр Сергеевич уверяет его, что все будет в порядке, а если что не так, пускай не стесняется, пускай звонит прямо ему.

Ушло у него на это два часа, и так, говорит он, когда бригадир уходит, каждый день — то огурцы не принимают, то капусту или, как сейчас, лук, то пригонят скот, а мясокомбинату некуда его девать, хоть назад гони, и секретарю райкома приходится быть толкачом. Он жалуется на инспекцию по заготовкам, которая обязана контролировать и координировать весь ход заготовок, однако начальник инспекции только бумаги пишет в райком: такой-то колхоз сдал того-то и того столько-то, такой-то — столько-то, задолженность по тому-то и тому такая-то. Но все это секретарю райкома и без того хорошо известно — из сводок.

Меж тем, говорит Александр Сергеевич, последняя реорганизация системы управления сельским хозяйством, если взять масштабы района, привела к увеличению расходов по содержанию аппарата, считая на старые деньги, более чем на четверть миллиона рублей в год.

А мужик, говорю я, полдня тычется по городу со своим луком.

А секретарь райкома, вторит мне Александр Сергеевич, тратит время на то, чтобы пропихнуть этот лук, точно так же, как весной он будет тратить его на разговоры о севе, летом — о сенокосе и жатве.

Разрубить все это, говорю я, можно одним — рублем.

Но только не тем рублем, какой расходуется на содержание учреждений, управляющих сельскохозяйственным производством, а другим, обращающимся между производителем и потребителем, то есть работающим, приводящим в движение механизм торговли, которая, представляется, мне, хотя и унаследована нами от прошлого, как и трактор например, тоже ведь изобретенный в капиталистические времена, способна все же, подобно упомянутому трактору, с превеликой пользой послужить и нам.

Александр Сергеевич, в общем-то, соглашается со мной.

Когда мы прощаемся, он вспоминает вдруг, что Николай Леонидович Ликин — в свое время председатель колхоза в Ужболе, откуда его перебросили в Усолы, — вчера избран председателем райисполкома.

Я не знаю, как отнестись к этой новости. Хорошо здесь то, что Ликин местный, знающий крестьянскую работу с мальчишек, когда он матери гряды копал, да и совестлив, сколько я помню. Однако в районе ведь не одно только сельское хозяйство, которым к тому же руководят все, и прежде всего райком, — районная, то есть деревенская жизнь, хотя и определяется по преимуществу землей, не сводится единственно к тому, что люди пашут, и сеют, и пасут скот. Чтобы понять это, личный крестьянский опыт недостаточен, необходим еще некий кругозор, известный уровень культуры, которыми Ликин едва ли обладает.

Весь день попеременно то льет дождь, то прояснится, даже солнце выглянет — белесое, холодное. В саду у Александра Ивановича, зазаввавшего меня, чтобы похвастаться, мокрые яблони унижены румяными, как бы из воска, яблоками, тесно сидящими по два и три вместе.

Вечером, часу в десятом, на улице темно. Дождя нет. Слышно, как вода стекает с крыш. Слышен еще шорох намочшей листвы под ногами, во множестве свалившейся сегодня. И ни ветерка, ни легчайшего движения. Воздух сырой: проведешь рукой по лицу — ладонь мокрая

Едва я пришел домой и улегся, обрушился ливень.

* * *

С утра пасмурно. Тучи объемистые, рыхлые, в несколько слоев и всех оттенков серого — от почти аспидного до серебристого. В иных местах светлеются изжелта-белые просветы. Постепенно тучи сливаются, выравниваются, приобретают общую ровную серую окраску, не очень темную, в некоторых местах, где слой тоньше и сквозь него проникают лучи сияющего где-то в вышине солнца, слегка светящуюся.

По-осеннему, с неестественной яркостью зеленеет короткая трава по сторонам канавы, местами как бы заржавевшая. Лоснится булыжник мостовой, хорошо промытый ночным дождем. Поблескивают лужи.

То моросит, то льет ливня.

Всюду только и говорят о том, что картошка вся в поле.

В восьмом часу вечера, когда дождь унялся наконец, отправляюсь погулять. Смеркается. На улицах почти никого нет. Редкая машина с шипением, словно это раздирают слипшиеся резиновые ленты, промчится городом. Мокрые скользкие листья слоями пристали к тротуару. В сумерках как бы светятся увядающие, исхлестанные дождем циннии, астры и ноготки среди спутанной зелени вдоль обочины. Холодает.

* * *

Утро сухое и холодное. В опустелых полях стоят неплотно сметанные, обдутые ветром скирды соломы. Зябь темнеет влажными, как бы даже поблескивающими полосами среди серовато-желтого жнивья. Тяжело перелетывают стаей под низким серым небом сытые грачи, черне-

ются на жнивье, пропадают, когда садятся на пашню. Озими свежо зеленеют. А в болотцах и в поймах по-осеннему чистых речек уже много ржавчины.

В поле повсюду стоит кукуруза — высокая, светлеющая мягкими своими метелками. Встречаются машины, полные мелко нарезанной зеленой массой, остро и влажно пахнущей. В нынешнем году кукуруза уродила хорошо. Александр Сергеевич вчера уверял меня, что научились ее возделывать, а мне представляется, во-первых, что год удачный — ранняя весна, дождей и солнца достаточно, — во-вторых, под кукурузу отвели лучшие земли, на каких обычно выращивают здесь лук и овощи, то есть самые доходные культуры, ну и навозу ввалили, сколько его было.

Я думаю, Александр Сергеевич обманывает себя. Было бы нечестно, делая какое-либо дело, точнее сказать, требуя от других, чтобы они его как можно лучше делали, отчетливо сознавать невыполнимость, а если вдруг будет удача — разорительность этого предприятия.

Однако занимает меня сейчас другое. Кукурузу убирают вручную, попросту говоря, рубят топорами, так как в районе всего шесть комбайнов, да и те старые, ломаются. И вот район, числившийся передовым, когда посеяна была кукуруза, теперь оказался самым отсталым, в то время как другие, у которых кукурузы было мало, да и плохо уродила она, красуются в передовиках, потому что давно смахнули ее, — секретарям тамошних райкомов, по совести, радоваться тоже нечему.

Размышляя обо всем этом, я и не заметил, как доехал до реки, здесь, в ее верховьях, сплошь заросшей, слившейся с поймой, тогда как в древности, поднявшись по одноименной с нею реке, переплыв великое мерянское озеро и переволокшись сюда, мирные гости, а то и разбойные люди с берегов Верхней Волги начинали отсюда спускаться к одному из красивейших и богатейших стольных городов Залесской Руси.

Теперь не угадать, где вода, где берег, — сколько видит глаз, все заросло. Простершиеся далеко желтые, тесно стоящие тростники одновременно, всей массой качают из стороны в сторону метелки.

Ночью в черном небе блестят звезды, дымчато белеется Млечный Путь. Грязь высушило. Пахнет озябшей землей, слегка — морозцем.

* * *

Иван Федосеевич, приезжавший в больницу вставлять зубы, явился вдруг часу в двенадцатом, сидит, рассуждает, что начальство не больно и удерживало его в колхозе, надоел, а Ликину, хоть он и молодой, колхоз надоел, ушел с радостью, и Чернов с превеликой охотой ушел...

Я вспоминаю давешнего мужика, как тот повсюду совался с луком. а у него его не брали, рассказываю об этом Ивану Федосеевичу, и он, заметив, что колхозу невыгодно и обременительно заводить у себя подобные заведения, говорит: был бы райколхозсоюз, можно бы построить в городе сушилку. В здешних местах, продолжает он, развивая, мне кажется, только что пришедшую мысль, наилучшие урожаи могут давать небольшие колхозы, таков характер местного земледелия, а для подработки и переработки продукции надо иметь межколхозные предприятия.

Да ведь и было почти похожее, утверждает он и говорит, что в двадцатых годах в этих местах существовал так называемый Картофелеовощесоюз, объединявший крестьянские земледельческие товарищества, члены которых обрабатывали землю каждый отдельно, а снабжались всем необходимым и сбывали продукцию исключительно через свои товарищества.

Мне это очень интересно, потому что историю сельскохозяйственной кооперации, получившей распространение в нечерноземных русских губерниях едва ли не сразу после гражданской войны, причем формы ее были многообразны, я знаю понаслышке, меж тем как все эти мелиоративные, маслодельческие, сыроваренные, льнообрабатывающие и прочие товарищества, помимо того значения, какое они имели в социально-экономической жизни деревни, показали нашего мужика не только человеком предприимчивым, промышленным, что за ним и прежде было известно, но и коллективистом.

Я спрашиваю Ивана Федосеевича, как все в этих товариществах обстояло, и он рассказывает, что были выборные правления, собирались собрания, вся продукция, производившаяся членами товарищества, перерабатывалась на принадлежавших ему предприятиях, делали крахмал, декстрин, производили сушку овощей, и все это сбывалось через Картофелеовощесоюз, который и цикорий скупал, и лук, и лен... Союз же и снабжал товарищества всем, что было нужно крестьянину в хозяйстве.

В ту пору, продолжает Иван Федосеевич, сам он был председателем правления в Карашской волости, в товариществе у них состояло деревень двадцать, и вот по осени, когда свезут мужики картошку и терочные работают полным ходом, вызовет его, бывало, председатель союза, скажет: «Ты, Ваня, свободен, дела у тебя идут, съезди-ка в Казань, получи тележных скатов и грузы в наш адрес, вагоны занаряжены, а сколько вашему товариществу причитается, прямо себе и отгрузишь».

Поедешь, а там и в Рузаевку заглянешь, ободу возьмешь, полозу и в одну поездку, без какого-либо специального аппарата, только что выпишут командировочные, всю губернию обеспечишь транспортом.

А сколько продукции нарабатывают в зиму...

Иван Федосеевич принимается перечислять, где были терочные, где паточные заводы, где сушилки, сушившие морковь, свеклу, лук, где цикорные сушилки, где вырабатывали глюкозу, где картофельную муку, — и все это процветало, потому что заведение было хозяйское, от всего этого деревне шла живая копейка, и не откуда-нибудь, а своя, местная.

В тридцатом году, когда начались колхозы, эти терочные и сушилки стали государственными, теперь они доживают век. Однако государству выгоднее, чтобы деревня сама перерабатывала подобную продукцию, потому что никаких у него здесь забот и не сгниет ничего, не протухнет.

Куда это годится, когда огурцы и капусту везут солить и квасить в большие города, и картошку с морковкой запасают на всю зиму, а они гниют, их перебирать нужно, для чего, говорят, студентов с профессорами с занятий снимают, меж тем на месте, в деревне, всякие отходы скотине пошли бы, да и заработок людям в зимнее время.

От деревенских промыслов, рассуждает Иван Федосеевич, происходит оживление жизни, а то ведь мы тут до того дожились, что здешнюю ткацкую фабрику хотят реконструировать, сырья для нее не наберут, тогда как в прежние годы она работала исключительно на местном льне.

Неожиданно он встает, принимается прощаться и уже от порога говорит, чтобы я свозил его как ни то в областной город: к тому найдем, к другому, а то больно скучно в деревне... Только рано поедем.

И хотя я понимаю всю несообразность возникшего вдруг сравнения, все же напомнил мне чем-то бывший любогостицкий председатель, как он вышел, ссутулившись, стуча сапогами и клюшкой, чеховского старика Цыбукина, молчаливо, подняв воротник шубы, сидевшего около церков-

ных ворот, тогда как незадолго до того он молодцевато вскакивал по утрам в поданные к крыльцу дрожки, запряженные громадным вороным жеребцом

* * *

В Ужболе на усадьбах, на опустелых грядках топорщатся пожелтевшие, спутанные огуречные плети, торчат в разные стороны местами почерневшие, побитые утренниками кусты помидоров с мелкими, тугими, зелеными плодами. От разрытых картофельных участков пахнет свежей землей.

На изгородях, как в любой день с начала осени, висят для просушки огуречные плети и картофельная ботва — на подстилку корове.

Я отзываюсь на все это, хотя подобное наблюдаю десятки лет. Быть может, причина здесь та же, по какой сердце мое всякий раз отзывается на много раз читанные строчки: «Еще овраги полны снега, еще зарей гремит телега на замороженном пути», — ощущая всю деревенскую Россию.

В холодном клубе, дожидаясь «кина», возятся девчата и парни, топчут ногами в резиновых сапогах, охватывают друг дружку короткими из-за толстых стеганок объятиями. В стороне под большим, ярким, недавно повешенным плакатом сидит смиренный малый, затем почему-то встает, поспешно идет прочь, и девчата поднимают его на смех — испугался! На плакате написано: «Новое в кастрации сельскохозяйственных животных».

* * *

Оконные стекла сплошь покрыты каплями, по которым, извиваясь, оставляя блестящий след, текут сверху быстрые струйки. За окнами глухое серое утро. Все цвета смягчены: зеленый, желтый, коричневый. Слегка моросит. Впрочем, на северо-востоке небо как будто розовеет — должно быть, невидимое с земли, там сейчас восходит солнце.

Иван Федосеевич, к которому я заехал, чтобы свозить его в наш областной город, в ответ на мои слова, что вот дождь собирается, моросит даже, замечает, что к обеду разведрится. Он говорит, что если с утра дождь, стало быть, с обеда ведро, а если с обеда дождь, тогда суточный, до следующего обеда. С вечера же дождь — суток на двое. Бывают, конечно, исключения, когда обложные дожди пойдут, но и там порядок: погода обычно ломается с новолуния либо с полнолуния.

Когда он встал нынче, рассказывает он, Речкин, теперешний председатель колхоза, беспокоился: мол, дождь будет!.. А он ему сказал, как вот сейчас мне: полно, день выстоит ведренный. «Глядите-ка, — показывает он вперед, на дымящий сбоку дороги заводик, — дым идет вверх, а не стелется, к ведру это. — И не без важности резюмирует: — Нам всдь это надо знать, мы около этого живем».

Вдоль дороги тянется высокая, перестоявшая кукуруза, побелевшая даже. Иван Федосеевич говорит, что это безобразие, что ее не убирают, а когда я замечаю, что техники нет, машет рукой: полноте! Чужая она, рассуждает он, для начальства посеяна, потому и не убирают. Вот лук или цикорий не оставят, уберут, потому что — деньги...

Навстречу нам гонят гурт бычков, и он говорит, что нигде так не делают и у нас надо прекратить забивать животное в самую цветущую его пору. Сейчас в этих бычках килограммов по двести, а передержать зиму — будет четыреста. Но председатель колхоза рад, что у него их такими берут в поставку — возни нет и план выполнен. А то ведь припасай им корма, да вдруг падет которое — отвечай...

Он говорит, что вот проехали мы всего-то сколько, однако сразу видим, что вместо кукурузы надо бы посеять клевер и мешанку и скормить

бы их за зиму этим бычком, тогда бы и мяса вдвое и денег. Он великодушно и на меня распространяет участие в этих своих соображениях.

По обыкновению своему он рассказывает про все, что видит вокруг. «Вон там, — показывает он вправо, — там знаете что? Бывшая Щедринская МТС. По писателю Щедрину, — делая ударение на первом слоге, объясняет он. — И знаете почему? Там было имение князя Урусова, в котором подолгу жила Щедрин и где написал некоторые свои сочинения».

Я не успеваю сообразить, идет ли речь об известном адвокате, с которым действительно знаясь Щедрин, или о каком-либо другом представителе рода Урусовых, и не названа ли так МТС по случаю юбилейной даты, а это уж приятель мой по своей привычке в каждом факте искать вызвавшую его причину связал чисто формальное наименование с где-то вычитанными сведениями об отношениях Щедрина с Урусовым, — я не успеваю даже подумать обо всем этом, как Иван Федосеевич, отвлекшись, показывая в сторону строящегося нефтеперегонного завода, говорит, что там, вон в том уголке строительной площадки, где белеется дом, было имение Гончаровых, в этой фамилии делая ударение на втором слоге, держа в памяти, должно быть, слово «гончар».

Он рассказывает, как сперва думал, что имение принадлежало писателю Гончарову, купил собрание его сочинений, искал, искал, откуда тот родом, оказалось — симбирский. Это уж после он дознался, что был еще другой Гончаров, тесть Пушкина. Потом имение купил некий Цаплин, который держал голов до восьмидесяти коров, возил барду с винокуренного завода, а молоко поставлял больнице.

Я слушаю Ивана Федосеевича и думаю о том, что если бы я заговорил, к примеру, о тех вон лесах, темнеющих вдаль от шоссе, то он стал бы рассказывать, что и там, где сейчас простираются поля, еще лет семьдесят назад стоял лес, который, когда построена была железная дорога, потреблявшая прорву дров, продан был помешиками на свод, обязательно вспомнил бы какого-нибудь местного работника, без смысла выдававшего разрешения на порубку уже в наше время, с удивительной естественностью перешел бы к удельным временам и рассказал, словно сам при этом присутствовал, как в великом лесу между Окой и Волгой плутали князья со своими дружинами, выезжавшие для сбора дани, откуда, то есть оттого, что они объезжали с этой целью определенную округу, возникло и территориальное обозначение «уезд».

Помнится, он однажды назвал мне все здешние волости, рассудив попутно, что слово это в древности, надо полагать, означало еще и власть, рассказал, сколько волостей входило в стан, во главе которого стоял пристав, так и называвшийся становым в отличие от частного, то есть возглавлявшего полицейскую часть, участок, которые были в городе, а уж становые приставы подчинялись земскому начальнику, и это только неосведомленные люди смешивают его с земством, являвшимся, как известно, органом местного самоуправления,

Ивану Федосеевичу к началу революции было лет пятнадцать, и едва ли он имел какие-либо дела с земским начальником или с земской управой. Сколько мне известно, кроме сельской школы, никаких учебных заведений мой приятель не кончал, следовательно, он скорее догадался, нежели кто-нибудь ему это преподал, что слово «волость» означало не только область, страну либо землю, находящуюся под одной верховной властью, но и самое власть. Просто он свободен от имеющего, к сожалению, распространение высокомерного или иронического взгляда на прошлое своей страны, живо интересуется жизнью, какая была до него, не столько сознавая, сколько чувствуя себя ее частицей.

Мне вспоминается вдруг Пушкин, объяввший собою всю Россию, не противопоставляя один период ее истории другому, и если кто-либо сочтет странным, что досужие разговоры с пожилым крестьянином навели меня на мысль о великом поэте, то я позволю себе привести в пример Тургенева, который, слушая рассуждения Хоря, вспомнил Петра I.

Тем временем Иван Федосеевич, спросив, известно ли мне, откуда взялась темнеющая впереди прямая и словно бы выпуклая полоса земли — она тянется от горизонта через озими, и жнивье, и выбитый луг, на котором царственно возлежат коровы,— стал объяснять, не дожидаясь моего ответа, что это ведут газопровод из Иванова. А в Иваново он из Горького идет, а в Горький из Саратова. Отсюда же его тянут на Череповец, где, как известно, построен крупнейший металлургический завод, которому нужен газ. Газ обычно дают коксовые батареи, но в Череповец кокс привозят готовый из Воркуты — там уголь коксуют под землей,— поэтому-то и подводят к заводу саратовский газ.

Домой мы возвращаемся под вечер. С полей к ожидающим их на шоссе грузовым машинам идут юноши и девушки, а то и вовсе мальчишки и девчонки в стеганках и лыжных куртках, в спортивных штанах, заправленных в резиновые сапоги,— студенты и школьники, приехавшие убирать картошку. Иван Федосеевич, поглядывая на них, вздыхает, рассказывает, что в областном управлении сельского хозяйства, где он побывал, только и разговору что о борьбе с «травопольщиками».

Он говорит с некоторым задором, что надеется прожить лет тридцать, интересно посмотреть — что будет! И принимается рассказывать, что лет около тридцати назад, когда он стал председателем в Стрельцах, были там две обобществленные коровы, лошадей сколько-то, было три или четыре сарая, несколько плугов... А теперь он сдал тысячу семьсот голов крупного рогатого скота да свиней тысячу, десять тракторов, десять машин, три механизированных скотных двора...

Признаться, я невнимательно слушаю Ивана Федосеевича. Он продолжает перечислять: «А других построек сколько, а денег...» — но я, во-первых, все это уже слышал от него, во-вторых, меня занимает пришедшая в голову мысль, что Иван Федосеевич, пожалуй, создавал и вел богатое хозяйство не как избранный на известный срок председатель кооператива, потому что ни у него, ни у тех, кто за него голосовал, никакого демократического опыта не было. Однако и управляющим, ответственным перед хозяином, его тоже нельзя назвать, поскольку и такого рода опытом он не обладал, да и колхозники не отличались исполнительностью квалифицированных сельскохозяйственных рабочих. Он походил скорее всего на главу большой неделинной крестьянской семьи.

Отсюда патриархальная простота отношений, позволяющая какому-либо малому сгрубить, а Ивану Федосеевичу «по-отечески» замахнуться на него, но одновременно исключая всякое подобие бюрократии, дающая возможность так вести хозяйство, что любое дело, в зависимости от обстоятельств, тут же можно перерешить, любого человека заменить другим или же всем сразу взыться за что-либо безотлагательное, во всех подобных случаях имея в виду лишь одно — выгоду.

Разумеется, Иван Федосеевич никогда не думал о личной выгоде, и не столько потому, что он бескорыстен, равнодушен к официальной славе, сколько из-за присущей хозяйственному мужику постоянной озабоченности, из-за вынужденного, я бы сказал, аскетизма.

Честно сказать, и выгоду колхозников бывший любогостицкий председатель особенно не имел в виду, хотя и следил, чтобы труд каждого оплачивался по справедливости, и не только не оставлял людей без хлеба ради выполнения плана, как это делали иные, но, я хорошо это знаю,

в голодный послевоенный год, весной раздобыв зерно якобы для посева, смолот его и роздал муку колхозникам, рискуя угодить в тюрьму, но зато отсеялся в срок, так как семена у него были.

Всеми поступками Ивана Федосеевича руководило хозяйство, его выгода, определявшая не только то либо иное производственное или экономическое предприятие, но и служившая мерою этической.

Мне вспоминается одна из встреч с Иваном Федосеевичем в Любогостицах в марте прошлого года, когда он только что вышел из больницы после автомобильной катастрофы. Я записал все, что тогда было, в тот же вечер. Сейчас, завезя Ивана Федосеевича домой и вернувшись в Райгород, я разыскал эти записи и переносу их сюда.

Был тихий солнечный день. Над сухим асфальтом шоссе, далеко впереди, колебался и поблескивал нагретый воздух. Желтели стволы тополей, вверху которых из шишковатых, буграстых наростов торчали хлыстами коричневые ветки. За тополями по обеим сторонам серого асфальта просторно лежали чистые, еще не тронувшиеся снега.

Ивана Федосеевича я застал в колхозной конторе. Он стоял, прислонясь спиной к стене, — я вдруг сообразил, что у него поврежден позвоночник, — чуть наклонившись к телефонной трубке. Он кивнул мне, огляделся вокруг, увидел, что присесть здесь не на что, и предложил подождать его в кабинете парторга. У него самого кабинета нет, и не почему-либо, просто он не знал бы, как с ним быть, — он все время ходит, ездит, одновременно делает множество дел.

В промерзшем за зиму темноватом каменном коридоре — в этом здании когда-то были монастырские кельи, а потом канцелярия тюрьмы — курили молодые мужики. Как я догадался, они разговаривали о кормах. «Хоть бы аржаной соломой разжиться!» — сказал один из них.

Парторг прохаживался из угла в угол большой, освещенной солнцем комнаты, тоже холодной, с выцветшим кумачом на столах, с устоявшимся запахом пыли, старой бумаги. Высокий, седой и румяный, в офицерском кителе и сияющих сапогах, он что-то рассказывал приезжему, как я понял, товарищу — представителю, уполномоченному, но только не райкома, потому что для партийного работника тот выглядел невзрачным, и не какой-либо торговой или хозяйственной организации, так как их представляют обычно люди бойкие и одновременно матерые.

«Я думал, — рассуждал парторг, — семья мешает, семья тянет назад. Нет. Мать говорит: я ему не препятствую, мне что, он молодой, я ему поперек дороги не стану. И остальные у него в семье все передовые люди: сестра — бухгалтер, другая — в Ленинграде живет».

Он толковал о «передовом окружении», уполномоченный в свою очередь говорил об «армейском опыте», а человек, к которому все это относилось, о котором шел разговор, стоял тут же и молчал. Это был малый лет двадцати пяти, в разношенных коричневых валенках сплошь в заплатках, из коих иные отстали, в черном бобриковом, на вате, тоже как бы разношенном пиджаке, нечесаный, с мягкими рыжеватыми волосами на круглых щеках, с добрым взглядом светлых детских глаз, с неопределенными, выдающими незлобивый нрав чертами лица.

Парторг сказал, что ни с кем из кандидатов так не работал. Уполномоченный заметил, что товарищ ведь и комсомольским секретарем был, значит, опыт есть, на что парторг возразил: «Три месяца!» «А я понял — год», — почему-то огорчился уполномоченный, и парторг стал говорить, что нет, освобожденным секретарем — три месяца.

Малый нехотя проговорил: «До этого неосвобожденным был». Видно было, что он томится.

Вошел Иван Федосеевич, не то опираясь на палку, не то волоча ее

за собой. Быть может, из-за этой «инвалидской», с резиновым наконечником палки, которую я впервые видел у него, или же из-за того, что круглая, под бобер, с черным бархатным верхом шапка его была сдвинута на затылок, а драповое, подбитое ватой пальто распахнуто и словно бы сползло с плеч, выглядел он усталым, одряхлевшим.

Уполномоченный, не столько даже жалуясь, сколько выговаривая председателю, принялся было рассуждать, что им подготовлено одиннадцать инструкторов, что ни один из них до сих пор к занятиям не приступил, однако Иван Федосеевич тут же прервал его замечанием, что коль скоро инструкторы подготовлены, пускай и занимаются. Уполномоченный несколько оторопело возразил, что председатель должен дать указание. Не замечая, как Иван Федосеевич накаляется, он продолжал твердить, что председатель должен заставить, обязать...

«Да кто я тебе! — побагровев, крикнул Иван Федосеевич. — Вас в городе звон сколько таких... а я каждому подчиненный!» — И, повернувшись, вышел.

Я обнаружил, что и малый тем временем скрылся.

На улице, несколько не успокоившись, скорее с еще большей злостью, однако, как оказалось, уже по другому поводу, Иван Федосеевич рассказал мне, что у него было приготовлено сто сосновых столбов, прямых, можно сказать, мачтовых, — он ведь хлопотал, чтобы колхоз присоединили к государственной электрической сети, собственно, и в аварию из-за этого попал, так как спешил в город к находившемуся там проездом управляющему Сельэлектро и не стал дожидаться своей машины, поехал автобусом, — и вот пока он лежал в больнице, кто-то в колхозе распорядился зачем-то обрезать столбы, а ему сейчас приходится всюду звонить, доставать билет на порубку.

Я почему-то подумал, что обрезать столбы распорядился румяный парторг, и приятелю моему это известно, но из соображений этических он не считает возможным говорить о нем в его отсутствие.

По обыкновению, Иван Федосеевич предложил посмотреть свиней — он и всегда-то любил их, с тех же пор, как построил новый свинарник, не упустил случая полюбоваться ими. Он стал объяснять мне, как выгодны разовые матки, и повеселел. «Они опоросом себя оправдывают, — убеждал он меня, словно мне предлагали этим заняться, но я противился собственной выгоде. — Считаю, матка принесет десять поросят, а уж что за нее выручишь — чистая прибыль».

Иван Федосеевич шел впереди меня, потому что дорога была узкая. Снег на ней слежался, отвердел, дорога была бугристая, она выпукло чернела среди сияющего наста. слегка таяла, и идти было скользко. Иван Федосеевич останавливался, некоторое время мы шли рядом, чтобы лучше слышать друг друга, но кто-нибудь из нас, оступившись, с треском ломал наст, и мы снова шли один вслед другому, — там, где мы проваливались, металлически темнел наливавшийся водой снег.

Снизу веяло холодком, но воздух уже был нагрет солнцем.

К длинным постройкам, казавшимся невысокими из-за обширного белого пространства вокруг, тянулись сани с соломой и сеном. Скоро снег пойдет таять, начнется распутица, ничего не подвезешь.

В кормовом отделении свинарника, когда мы вошли со света, все выглядело желтоватым, глинистым, — цементный пол, и кормушки на нем, и стены, даже самый воздух. Должно быть, здесь только что кормились свиньи, разбрызгавшие жидкое месиво. Пахло прокисшим тестом. Две девушки в тяжелых резиновых передниках, с подрагивающими в руках шлангами тыкали повсюду струями горячей воды, разбивавшимися с шипением, смывали остатки корма... И цемент начинал блестеть, обнажалось изгрызенное дерево кормушек.

Висевший в воздухе пар, охлаждаясь, оседал.

Мне начало казаться, что вокруг посветлело.

Мы прошли к свиньям, поставленным на откорм. Сероватые, с просвечивающей сквозь щетину розовостью, испачканные глинистого цвета жижей, свиньи теснились во множестве за железными решетками стоек, двумя рядами вытянувшихся во всю длину помещения, и в проходах между стайками, выходы которых были забраны тесом.

Иван Федосеевич, сказав, что свиней в этом крыле голов пятьсот, есть и августовские и сентябрьские, вспомнил, как ему всё говорили — велик свинарник... А ведь оказался тесен. Он принял рассуждать, имея в виду наставников и радетелей, что все им подай скорее (он ехал он сегодня в Васильчиково, и попутчик ему сказал: медленно, мол, дорогу строишь, всего до Стрельцов довел), — но хозяйство ведь не создашь, как бог землю, в шесть дней.

Не в первый уже раз я подумал о том, что приятель мой работает, не тешась наивной и тщеславной мыслью, подобно богу, сотворить мир и сказать о своем творении: «Вот хорошо!» — но участвуя в естественном процессе, который и после него будет продолжаться.

Мы шли с ним вдоль стен, обозревая вытянувшееся в длину пространство, заполненное шевелящимися свиными хребтами. Было жарко, и он сказал о свинарках с досадой, как отец о недогадливых дочках: «Вот дуры девки, не сообразили, что можно бы уже и не топить».

С тою же ворчливостью, не столько обвиняя, сколько досадуя, рассказывал он, что, пока лежал в больнице, никто за бардой ни разу не съездил, все концентраты да сено, а теперь сена подходят.

Разговаривая, мы подошли тем временем к скотному. Возле скотного был свален снег, обледенелый, должно быть всю зиму откидывавшийся от ворот. Перед воротами темнела лужа. Я подумал о том, что никому не приходит в голову пробить в снегу канаву и спустить воду.

Иван Федосеевич постоял, поглядел на лужу, выругался.

Он предложил мне посмотреть новый телятник.

В телятнике было прохладно, пахло чистой соломой, пышно золотившейся на полу, розовели кирпичные стены и поблескивали черные, с белыми пятнами на лбу и на груди молоденькие телята.

Снова повеселев, приятель мой ткнул палкой какую-то дверь.

И остановился, тяжело опершись на палку, даже не выругался, застонал, стал объяснять мне, что начинается массовый отел, а бригадир до сих пор не собрался в родилке пол уделать.

Он говорил, что песок, ровным слоем устилавший пол, привезен был еще до того, как он в больницу лег, но ведь надо было сверху залить глиной, настлать доски — не на песке же коровам телиться!

Поворотившись, никак не умея приладиться к палке, стуча ею не в такт шагу, он заспешил к выходу и в дверях чуть не столкнулся с долговязым молодым мужиком, круглолицым, с резко выдающимися скулами и небольшими, круглыми, мрачно-то глядящими глазами.

Это был бригадир, должно быть услышавший, что председатель в телятнике. Иван Федосеевич сказал ему про пол, но он возразил, что кто-то у него — он назвал фамилию — заболел, а больше по топору никого нет. При этом глаза его вылавали еле сдерживаемую неприязнь, и мне стало как-то не по себе. Но Иван Федосеевич, словно ничего не замечая, с некоторым даже добродушием сказал: «Боже мой, заболел... Что же, нет у тебя мужика, который бы да сделал?» Бригадир ответил, что по топору никого нет, все взял сено.

Иван Федосеевич пошел прочь, все так же с шапкой на затылке, не застегивая тяжелого пальто, шаркая по подтаявшему зернистому снегу большими, вбитыми в новые калоши жесткими валенками.

Он шел к воротам, рядом с которыми стояла будка, где ночью, должно быть, сидел караульщик, хотя все это пространство, застраивавшееся на моей памяти—сперва построен был скотный двор, потом теплица, свинарник, телятник, а теперь, вдоль шоссе и над рекой, машинные сараи, мастерские, гараж,— было не огорожено.

У ворот, подпирая спинами будку или же на корточках, покуривали мужики, один почему-то с пустыми ведрами. При нашем приближении они с некоторой неохотой, однако все же повставали, подтянулись. Самый молодой из мужиков, недавний солдат, затоптал окурки.

Я смотрел на ссутулившегося, угрюмо помалкивающего, как я догадывался, перемогающего боль в пояснице Ивана Федосеевича, сопоставлял его крестьянскую, до смертного вздоха преданность хозяйству с пренебрежительной повадкой лениво переговаривающихся молодых мужиков, в сущности, чужих всему окружающему их богатству, и впервые ощутил, что приятель мой по преимуществу личность трагическая.

Мужик с ведрами, как бы оправдывая свое пребывание здесь, стал говорить, что колонка-де опять не работает, остальные мужики охотно подтвердили это, высказали предположение, не соскочило ли снова кольцо, и когда Иван Федосеевич удивился, почему же никто не сказал водопроводчикам, они же приехали утром, все принялись толковать, что вроде приезжали, еще на бревнах сидели, а вон там как раз грач ходил... Какой такой грач? Да ведь нынче Герасим-грачевник!

Разговор пошел о грачах: прилетели они или не прилетели.

Бригадир утверждал, что грачей еще нет. Иван Федосеевич в сердцах выкрикнул: «Как же нет!..» И стал напоминать бригадиру, как тот утром шел мимо его окошек, а грач тут и сидел. Одни из мужиков стояли на том, что видели грача, другие, напротив, убеждали их, что они обознались, но и для тех и других, не исключая самого Ивана Федосеевича, все сошлось сейчас на этом граче. Я тут же вспомнил, как накануне вечером с точно такую увлеченностью спорили сосед наш, заявивший, что на зады к нему прилетал грач, и Михаил Васильевич, усомнившийся в этом, потому что грачам-де еще взять нечего: это прежде, бывало, повсюду на дорогах навоз, они и ковыряются.

Позднее мы с Иваном Федосеевичем пили чай. Вошел и остановился в дверях паренек в коротком расстегнутом ватнике, голенастый, в невысоких, подогнанных по ноге кирзовых сапогах, нагло вато прислонился к косяку и проговорил с развязностью: «Так как же?»

Иван Федосеевич ответил, что вот так, бери ключ и переезжай. Паренек возразил, что не переедет, он у тещи останется, у него ничего не заработано, стены, как говорится, глотать не будешь, ему работа нужна. Иван Федосеевич на это ему ответил, что вот и хорошо, приходи завтра утром часам к восьми, обо всем договоримся.

Он посоветовал еще парню, чтобы тот скорее перевозил жену, он ее свинаркой поставит, она на еду заработает, а он на одежду, на всякое обзаведение... Но парень высокомерно заявил, что ему не нужно, чтобы его жена кормила, ему работа нужна, и стало понятно, что он ищет случая к чему-либо придаться, пришел сорвать зло.

«Я ж тебе сказал...» — начал было Иван Федосеевич, но парень, перебив его, заявил, что он на старый трактор не сядет, он возиться не станет, пускай ему дадут новый. «А мы новый и дадим», — проговорил Иван Федосеевич. Парень тут же возразил, что абы какой не возьмет, и назвал номер трактора, на который претендует. «Бери, — согласился Иван Федосеевич. — Только он не новый. Он из ремонта».

Парень, попросив разрешение закурить — сказала все же армейская выучка! — снова стал, что называется, вязаться: «А ходовую часть

сменили?.. А мотор смененный?» Иван Федосеевич с удивлявшей меня невозмутимостью всякий раз отвечал, что да... сменили.

Наконец парень ушел, и приятель мой рассказал мне, довольный собою, как с неделю назад, узнав, что бывший его тракторист, только что вернувшийся из армии, нанялся в городе милиционером, он потребовал, чтобы того уволили, и хотя к нему приходили и мать парня, и его жена, городская бабенка, на которой тот женился, оформившись в милиции, скандалили, проклинали, все же он добился своего.

На мои слова о правах личности — а если эта категория представляется ему отвлеченной, то я готов удовлетворяться колхозным уставом, — Иван Федосеевич, вздохнув, ответил: «Полноте!»

Помнится, записывал я все это тогда в тяжком недоумении.

Напряженность в отношениях между любогостицким председателем и колхозниками, по преимуществу молодыми, я не мог объяснить тем, что колхозники жили плохо, поскольку и на трудодни они получали прилично, и усадьба давала немалый доход, однако и обвинить в чем-либо Ивана Федосеевича, даже имея в виду случай с бывшим трактористом, пожелавшим стать милиционером, я тоже не мог, потому что приятель мой, при всей крутости нрава, не был самодуром.

Оставался так называемый крестьянский индивидуализм, мелкособственническая психология, та будто бы низменная мужицкая суть, какая ставит деревенского парня Гаврилу, знающего цену копейке, куда ниже презирающего деньги босяка и вора Челкаша. Но я давно уже освободился от пагубного этого заблуждения, чему помогли и воспоминания о днях моего детства, когда людей, подобных Челкашу, я увидел погромщиками, а в крестьянской хате ел хлеб и пил молоко. Да и любогостицкие колхозники, о которых здесь идет речь, как легко догадаться, родились после революции, а то и вовсе уже в колхозные времена.

Сейчас мне представляется, что молодые эти мужики в чем-то походили на сыновей умного и властного крестьянина, который сам решал, в каком поле начинать сеять, когда продавать хлеб и когда резать барана, кого отпустить в извоз, кому справить новые сапоги, а кто и в старых походит, благодаря чему в хозяйстве бывал лад, но на чем оно и теряло, потому что все держалось отцовым умом и волей.

Когда же отец, состарившись, забирался на печь, как рассказывает в очерке «Хозяйственный мужичок» Салтыков-Щедрин, да и в произведениях других писателей прошлого тому есть примеры, у сыновей прорывалось «стремление к особничеству» — не все выработанное на стороне отдается на общее дело, между снохами появляются «занозы». Словом сказать, хозяйство, в создании которого участвовали только руки, а не ум, не сердце, как бы и не считается своим.

Я хорошо понимаю, что все это давно принадлежит истории, однако не могу не вспомнить названный очерк, размышляя о будущем хозяйства, основатель и глава которого, что называется, влез на печь.

* * *

Холодное и яркое солнце с утра. Небо пятнистое — местами голубое, местами белое, но больше всего серого — от легкого, светлого и до дымчато-черного. Летят последние листья. Временами срывается дождь, становится темно. И снова солнце — сквозь редкий дождик.

В пятом часу, хотя и брызжет чуть, слепяще вспыхивает мокрый, серебряноглавый и золотокрестый, белый, устремленный ввысь кремль. В сером небе за его главами пестреют как бы обломки радуги.

Длится это минут десять, и вдруг, словно выключили прожекторы, все меркнет; хотя и солнечно еще, однако тускло, радуга тает.

Я записал все это и задумался: ради чего, из года в год ведя этот

дневник, вношу в него подобные, словно бы повторяющиеся записи, тем более что и после меня все это можно будет наблюдать? Быть может, из-за того, что в отличие от тех, кто видит в природе лишь пейзаж, то есть нечто, в хорошую погоду приятное для глаза, я постоянно удивляюсь ей.

Здесь мне приходит на память дневник местного священника, жившего в конце восемнадцатого и в начале девятнадцатого веков. Дневник был издан в извлечениях в сборнике славянских и русских рукописей, принадлежавших здешнему купцу — любителю старины. Я всегда привожу сюда эту книгу, как, впрочем, и другие, касающиеся истории края.

Сейчас, перелистав ее, останавливаюсь на записи 1791 года: «Апреля 11. По утру морозно, ветрено, ясно. Мороз доходит до 2 градусов. Читал проповедь о мире. К вечеру ясно, тихо, морозно».

Ниже помещена запись, сделанная 28 марта следующего года.

«По утру пасмурно, потом несколько яснеться начало и очень мало призастигло и то часу в 7-м. Читал слово Златоуста. Доход 13 к. Был в крестном ходу в Иерусалим и около собору носил образ Леонтия чудотворца, затоптал ризы и загрязнил. Был за молебном о замирении с турками, встал не на своем месте. Взял меня за ризы от. Илья и поставил на своем. День серый, к вечеру начал яснеть, но и опять облачно и тепло».

Все переменялось, а о погоде и я мог бы так записать.

Я листаю дневник и, вспомнив, что провинциальный священник за чем-то переписывал сюда из «Московских ведомостей» указы императоров Павла и Александра I, из которых павловские в свое время показались мне любопытными, разыскиваю сейчас наиболее забавные из них.

Вот несколько указов 1799 года:

«Дю-Фей, урожденной де-ла Фа-Тоньер, просившей государя императора о восприятии малолетнего сына ее, крещенного по обряду реформатского закона, и коего желала она перекрестить в католическую веру, объявляется, чтобы она помышляла более о хорошем воспитании сына своего, нежели о перемене веры».

«Девине Сухановой, просившей монаршей милости на поступление в монахини матери ее, на платье оной по званию сему, и на взнос в монастырь вклада, как в просьбе затейной отказывается».

«Вологодской губернии деревни Вецковой — крестьянину Иванову, просившему позволения собирать на украшение состоящей тамо церкви Живоначальная Троицы, дается знать, чтобы он упражнялся в работах, ему приличных, а не ханжил».

* * *

Ночью был сильный туман, и утро туманное. Сквозь дымку проступает желтизна осени — чуть желтеющих трав и по-разному желтых последних листьев на кустах и деревьях... И еще черная земля сквозит.

Часам к девяти, к началу десятого туман рассеялся.

Женщина, которая ходила к нам обкашивать грядки, тропинки, рассказывает Дарье Васильевне, что ее домашние вчера в начале двенадцатого приехали, копали картошку. — каково хорошо уродила картошка!.. Картошку копает сейчас весь город, свою-то уже почти всю выкопали, ездят копать колхозную, причем весьма охотно — за десятый мешок.

У Александра Сергеевича, к которому я зашел в райком, кроме картошки, хотя ее и много в поле, как, впрочем, и кукурузы, еще и другие заботы — новая структура посевных площадей. Он рассказывает, как вчера в обкоме, куда вызванные из районов секретари привезли проекты новых структур, с каждым в отдельности беседовал секретарь по сельскому хозяйству. В разговоре участвовал специалист из Облплана.

Александр Сергеевич доложил, что шестьдесят две тысячи гектаров пашни, имеющих в районе, в будущем году распределяются между

культурами следующим образом: под клевера — пятнадцать тысяч (в наличности их сейчас семнадцать, но тысячи две, четвертого года, надо распахать), под кукурузу — семь, сахарную свеклу и кормовые бобы — одну тысячу, картофель — восемь с половиной, овощи — три, цикорий — одну, под озимые, главным образом рожь, — двенадцать с половиной тысяч (она великолепно себя оправдывает, не зря здешний крестьянин при трехполке занимал рожью треть площади), наконец, под яровые хлеба — двенадцать с половиной тысяч гектаров и под мешанку — четырнадцать.

Товарищи одобрили предложенную райгородцами структуру с единственным лишь возражением: почему пятнадцать тысяч гектаров клеверов? Александр Сергеевич объяснил, что диктуется это потребностями животноводства района в грубых кормах и белке — клевер ведь ради белка силосуют, — что это и предшественник отличный... для той же кукурузы.

Никто из товарищей не опроверг Александра Сергеевича, однако оба они — и секретарь обкома и специалист из Облплана — настаивали на том, что пятнадцать тысяч клеверов много, оставь пять...

Александр Сергеевич стал спрашивать: во-первых, почему пять; во-вторых, не расточительство ли это — распахать десять тысяч гектаров клеверов, их же года два косить можно, причем дважды в год; наконец, в-третьих, чем же ему занять десять тысяч гектаров пашни?

Кукурузы, начал он перечислять, ему больше не осилить, и овощей то же самое — ни навозу, ни рабочих рук не хватит, — и картофеля нельзя увеличить по той же причине, а озимые поздно сеять.

«Так что же, — осведомился Александр Сергеевич, — овес?»

Собеседники его промолчали.

Затем секретарь обкома сказал: «Значит, клеверов пять тысяч».

Александр Сергеевич спрашивает меня, почему пять, почему не семь или три, и мы склоняемся с ним к тому, что в борьбе с клеверами, можно предположить, требуются сравнительные данные, иначе как же судить об имеющихся здесь достижениях? Относительно же того, что никто не ответил на вопрос об овсе, то понимать это нужно в том смысле, что-де согласия не даем, но и не запрещаем, поскольку давно уже вошло в обычай выполнять этой злосчастной культурой посевной план — сеять овес на истощенных почвах, где что-либо другое жалко посеять или когда затянули с севом, почему и бывают так низки урожаи овса. «У меня, сказал я им, — говорит Александр Сергеевич, — и сейчас еще порядочно неубранного овса. Комбайном его не взять — такой он тощий, а вручную убирать некому: все на картошке и кукурузе».

Открывается дверь, и в кабинет, не спросившись, стремительно входит молодой человек в распахнутом, с разлетающимися полями пальто, в расстегнутом пиджаке под ним, в калошах, кепке, желтолицый и черно-волосый, в пестром шарфе, сколотом на шее булавкой, — корреспондент областной газеты. Он спрашивает о ходе уборки картофеля, хватает со стола сводку, просматривает ее, посапывая мундштук с сигаретой, посапывая простуженным носом, и вся его повадка выдает твердую убежденность в том, что энергией и решительностью своею он сейчас же сообщит делу иной ход, направит его к благополучному завершению.

Доверительно заметив, что это, разумеется, не для печати, он спрашивает: «Председатели, конечно, неохотно берут копалки?» При этом он не только уверен в ответе, но и ожидает, что секретарь райкома примется жаловаться на председателей. Однако Александр Сергеевич возражает: «Почему не для печати?.. Председатели копалки не хватают, потому что они дороги, часто ломаются. Об этом надо писать».

Тогда корреспондент говорит, бесцеремонно заглядывая в лежащие на столе бумаги, что надо вот что сделать... надо привезти бездействующую картофелекопалку и сфотографировать ее на асфальте.

Александр Сергеевич замечает, что люберецкие хороши.

Корреспондент осведомляется: «Значит, местные?» Он восклицает, что это безобразие, что двадцать один завод делает копалку, и мне снова кажется, что он ожидает, что секретарь станет жаловаться теперь уже на обком, обязавший двадцать здешних предприятий изготавливать детали для копалок, а моторный завод — собирать их. Но Александр Сергеевич рассудительно замечает, что кооперация в промышленности — явление естественное, плохо лишь, что головное предприятие не требует с поставщиков хорошего качества, рекомендуя колхозам, если какая-либо деталь ломается, вызывать представителя изготовившего ее завода.

«Дадим заголовок, — воодушевляется корреспондент, — «У двадцати одной няньки...». Александр Сергеевич снова спокойно поправляет его. То есть попросту, почти не возражая, говорит свое, прямо противоположное, но я уже не слушаю их, с горечью размышляя над тем, как неестествен и фальшив газетчик в сравнении с простым, хоть и нелегким делом — копкой картошки, вокруг которого он шумливо суетится.

Когда корреспондент уходит, Александр Сергеевич берет листок с новой структурой посевных площадей, рассматривает его, вздохнув, говорит, что паров ничего не оставили, он и заикнуться побоялся.

* * *

В Козьмодемьянах на площади, дожидаясь Сергея Сергеевича, отлучившегося к реставрирующим монастырские ворота каменщикам, читаю в местной газете восторженную статью о том, насколько расширятся в районе посевные площади после распашки клеверов... Однава живем!

* * *

Пятый час в самом начале, слегка моросит, и от этого не по времени сумеречно. Хозяева, отобедав, похрапывают за перегородками, отделяющими узкую мою комнату от их комнат. Тикают часы. Знакомая с детства предвечерняя осенняя провинциальная тоска охватывает меня.

И вдруг является Николай Семенович, предлагает прокатиться. «Куда?» — «Да хотя бы в сторону Фатьянова».

Километров около тридцати асфальтированного московского шоссе, еще сухого, серого, летящего под колеса машины, остаются позади, в деревеньке Осокино, где асфальт уже темен от настигшего нас дождя, обогнув холм, сворачиваем на щебеночную фатьяновскую дорогу.

Дорога, посыпанная изобилующим глиной песком, намкнув, лежит рыжая, с двумя до блеска накатанными полосами посередине, меж выкошенных желтовато-зеленых лугов, свежо зеленеющих озимей и желто-серого жнивья, среди соломинок которого виднеется отрастающий клевер. Она идет с холма на холм, под изволок и в гору...

То откроется долина реки, заросшая камышом, и еловые леса за рекой, то склон, где на светлой отаве темнеют скирды клеверного сена, то поле картофеля — черное от сгоревших уже сверху кустов.

Проезжаем село с тихими улицами, осененными почти облетевшими старыми ветлами, с наивной церковкой на бугре — белой, под четырехскатным распученным куполом, завершающимся цилиндром с нарисованными окнами и склопившейся надломленной луковкой. И снова под гору, в гору и опять под гору — к мосту через реку, рыжему от натасканной на него глины. За мостом дорога разбита. Мы сворачиваем в лес, к бывшим монастырским сторожкам, где оставляем машину.

Идем лесом невдалеке от реки, заболоченная пойма которой виднеется в просветах между березами. Поблескивает серая вода в заводях, позади которых плотно стоят желтые камыши с бурой поверхностью сом-

кнутых вершин. Оранжевые листья кувшинок лежат на воде. Вода вскипает точками от капель дождя. Дорога впереди черна от грязи и так разъезжена, что в колее нога уйдет по колено. Мы берем левее, выше, где шоферы, как водится, успели наездить другую дорогу.

Николай Семенович, который в лугах, на болоте или в поле оживлен, потому что каждая травинка, даже камочек земли как бы разговаривает с ним, что и служит основой того особого поэтического восприятия природы, какое вызвано знанием, в лесу обыкновенно томится.

Вот и сейчас, я уже знаю, ему не терпится завести разговор.

Мы забираем все выше, оставляем дорогу, в глазах рябит от мокрого палого листа, плотно устелившего землю между стволами берез и осин. В иных местах зарослями, раскинув тесно унизанные узкими зубчатыми листьями стебли, торчат, словно бы железные, ржавые папоротники. Омытый дождем, пламенеет только что вылезший из земли мухомор.

Крепко пахнет грибом. Я говорю, что надо бы поискать.

Но Николай Семенович брать грибы не охотник.

Дорога выводит нас на опушку, к разбитому мостику через ручей. Ниже мостика, где на мелком месте ручей разлился, сквозь воду виднеется песчаное дно со следами машин. А выше, в зарослях ольхи, березы и осины, не заглушаемый дождем, звеня и вертясь на порожке, образованном толстыми корнями, ручей течет в прорытом им глубоком русле с отвесными черными рыхлыми берегами, похожем на канаву.

Николай Семенович показывает, что вверху, за порожком, вода красная, и говорит, что где-то там залегают железистые глины.

По ту сторону ручья простерлось в гору пустое поле, понизу окаймленное уходящим влево лесом, а правее, вверху, как бы обрывающееся у самого неба. На дальнем краю поля мокнет деревенька.

Николай Семенович вспоминает, как по окончании двухклассного училища, подготовившись и сдав экзамен на звание учителя начальных училищ, он отправился в Грешнево, где с отроческих лет мечтал побывать. Из их уезда в Ярославль тогда вела узкоколейка. Приехал он утром, была зима, и когда он отправился пешком искать знаменитое село, по деревням редко где светился огонь в избах, топились печи.

Дорогой он нагнал мужика, спросил, как пройти в Грешнево, а когда тот в свою очередь спросил, какие у него там дела, с юношеской восторженностью ответил, что хочет посмотреть места, где прошло детство великого поэта. Мужик удивился: какого поэта? Ирод, мол, он был, истязатель, людей живьем в гроб заколачивал... Оказывается, в округе все еще жила память об отце, а вот о сыне мужик не слыхивал.

Расстались они с мужиком в каком-то селе, и на прощанье тот сказал, что куда теперь идти — он не знает. «Шел бы ты, малый, в церковь, к батюшке, он грамотный, книжки читает, все тебе объяснит».

В церкви служба еще не начиналась, священник, к которому обратился Николай Семенович, похвалил его: «Хорошее дело задумали, молодой человек», вывел на улицу и показал — вот так-то и так идите.

Развидняться стало, вспоминает Николай Семенович, в деревеньке, куда он пришел, на улице никого, только бабка воду достает из колодца. На вопрос, как пройти ему в село, названия которого сейчас он уже не помнит, но куда ему хотелось зайти по дороге в Грешнево, так как там похоронены родители поэта, бабка возразила, что идти ему нельзя, у него щека обморожена, шел бы он в избу, обогрелся.

Пока он обогревался, пока дошел — «иже херувимы» поют.

Не стал он и заходить в церковь, отправился искать склеп, нашел его и видит, что похоронен здесь отец поэта, другие родичи, а матери нет. Он стал спрашивать нищенок, говорят — не пожелала с извергом-мужем в одной могиле лежать, вон где ее святая могилка...

Мы давно уже, пройдя по течению ручья, вышли к реке, перегороженной плотиной, повернули, идем вдоль сплошных зарослей камыша, рядом с синеющей возле низкого берега открытой водой. Под ногами слегка пружинит зыбкая земля. Справа, на коренном берегу, среди мокрой травы чернеются кострища с обуглившимися, недогоревшими сучьями—пастухи, должно быть, греются. Дымчатое небо клубится над лесом.

Я представляю себе зимнее утро в России в начале века. «Светло уже было,— рассказывает Николай Семенович.— Надо было обойти церковь, но снегу навалило, а я в калошах, правда высоких. Все ж таки я пошел, стал протаптывать стежку. Шагов четырех не дошел до камня, прочитал надпись... Снял шапку и поклонился».

Я слушаю Николая Семеновича и вспоминаю, как Достоевский писал, что при первом его знакомстве с Некрасовым тот с умилением рассказывал о своей матери, и это рождало предчувствие, что первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, с мученицей-матерью, могло послужить Некрасову маяком, путевой звездой в самые темные и роковые мгновения судьбы его.

Но деревенский юноша едва ли читал «Дневник писателя».

Николай Семенович рассказывает далее, как он, выйдя из села, увидел двухэтажный дом с несколькими липами перед ним, а в доме — чайная, и решил, что наконец-то пришел в Грешнево, потому что ему говорили, что от сгоревшей усадьбы сохранился флигель с каменным низом и деревянным верхом, купленный трактирщиком, и еще остатки парка.

Какие-то типы в чуйках сидели в углу. Николай Семенович спросил чаю, но хозяин сказал: «А мы еще самовара не ставили. Посиди». Николаю Семеновичу не терпелось удостовериться, что эти вот стены, быть может, видели будущего великого поэта, и он спросил, не Некрасова ли это дом. Хозяин обиделся: «Какого Некрасова? Мой дом». «Разве это не Грешнево?» — удивился Николай Семенович. Чуйки рассмеялись.

Наконец, продолжает Николай Семенович, он подошел к дому с деревянным верхом и каменным низом, с вывеской «Портерная» внизу и «Чайная» — сверху, с тремя десятками лип позади. Хозяин, молодой человек лет тридцати, одетый по-европейски, в галстук, рассказал, что он нездешний, Некрасова не знал, да и молодой, а дом, где была, говорят, псарня, и шесть десятин земли при нем купил. Земство хотело откупить у него десятину, чтобы поставить памятник поэту, да вот не сошлись в цене: он спросил четыре тысячи, ему возразили, что красная цена — триста рублей. Один гласный даже заявил, что весь Некрасов того не стоит, но это уж им виднее, а ему неудобно, чтобы общественная земля клином врезалась в его собственную. Он посоветовал юноше сходить к бывшему лакею Некрасовых, может, старик что и расскажет.

Лакей и его жена, только что вернувшиеся из церкви и сидевшие за самоваром, встретили юношу неприветливо, разговора не получалось, и тот, смущенно положив на стол пяточок за беспокойство, хотел было идти, но старик вдруг оживился, воротил его, стал рассказывать. «Впрочем,— говорит Николай Семенович,— теперь я уже ничего не помню, возможно, что ничего интересного он и не рассказал».

Николай Семенович ничем не предварил свой рассказ, но я вспоминаю, как несколько дней назад мы заговорили при нем с Сергеем Сергеевичем о Некрасове примерно в духе тех рассуждений Достоевского в «Дневнике писателя» за 1877 год, которые тот назвал «Общие толки о Некрасове, как о человеке» и где им приводятся газетные намеки о практичности покойного поэта, о каких-то недостатках его, пороках даже, причем упомянуто было нами в разговоре и то, как Достоевский резонно заметил, что все это пишется, чтобы извинить Некрасова, но что Некрасов, кажется ему, не нуждается в таком извинении.

Говорили мы с характерной в подобных разговорах беглостью, подразумевающей одинаковую осведомленность собеседников, только Николай Семенович не сказал ни слова, мне даже показалось, что он пребывает в некоторой душевной смятенности или чем-то удручен.

На другой день Татьяна Алексеевна спросила меня, чем это мы так вчера огорчили ее мужа, — он пришел от Сергея Сергеевича молчаливый, расстроенный и, когда она стала спрашивать, не случилось ли что, горько сказал, что весь вечер просидел дурак дураком. Я подумал тогда со снисходительной усмешкой, что старик наш, только и зная о Некрасове что его стихи, посчитал себя невеждой и казнится этим.

Сейчас, выслушав рассказ Николая Семеновича, я несколько совещусь и этой своей снисходительности, и легкости, с какой велся тот разговор, но все это вытесняется чувством восхищения моим другом, к которому в семьдесят его лет применимы слова Достоевского: «Благодарность к великим отошедшим именам должна быть присуща молодому сердцу».

Бывшие монастырские сторожки — две избы, из которых одна со светелкой вверху, — черными окнами глядят на разъезженную грязную дорогу с мокрыми липами вдоль нее. Девочка в красном капоре ковыряет щепкой грязь. В отворенном сарае мычит только что пригнанная корова.

Когда мы возвращаемся в город, конные пастухи гонят через шоссе намокшее стадо — коров, лошадей, овец и коз. Мычание, бляние, стреляющие хлопки и крики мешаются с гудками остановившихся машин.

* * *

Мы снова гуляем с Николаем Семеновичем неподалеку от дороги на Фатьяново. Солнечно и ветрено. Сквозь шум леса слышно, как течет ручей в ольховой чаще, но теперь он в другой стороне от нас. Лес идет в гору и под гору, с холма на холм, а когда мы выходим из него — нам открывается всхолмленное пространство с пашнями по склонам, с долинами рек, озерными поймами и болотами в складках между холмами.

Холмы эти, рассказывает Николай Семенович, граница ледника. Собственно, это как бы внутренняя ее сторона, потому что за ближней грядой холмов тянется другая гряда, за нею еще и еще, все дальше и дальше на юго-восток, но не очень все же далеко от здешних мест.

Николай Семенович называет крайние точки этих гряд, определяющие, в сущности, ширину ледяного потока, рассказывает, как это происходило, словно сам наблюдал, и можно вообразить издаലെка дышавший холодом. едва приметно двигавшийся ледник, как он пер и пер, отламывавая глыбы от скал где-нибудь на Новой Земле или в Скандинавии. Он волок их, вмерзших в него, дробил, обкатывал, иные перемалывал, тащил эту массу валунов, щебня, песка, и когда как бы изнемог, остановился, камни легли грудками вот здесь, перемешанные с гравием, прослоенные глиной, покрытые песком, — легли рядами, из которых каждый лежащий впереди словно бы отмечал рывок ослабевающего ледника.

Ледник растаял, и небу открылась извилистая складчатая поверхность земли, которой он достиг. На грудах камней, гравия и песка образовалась почва, они стали зарастать. Так возникли цепи лесистых холмов, откуда теперь берут щебенку, гравий, и едва ли кому из жителей округи, которые по преимуществу кормятся работой в карьерах, приходит в голову, что все это прибыло из Скандинавии, с Новой Земли...

Мне нравится слушать подобные рассказы Николая Семеновича. Неспешно идем мы с ним проселком, поднимающимся на холм. Припекает солнце. Тихо стало. Паутина блестит горизонтальными нитями на

деревьях, кустах, на жнивье — по примете, к хорошей погоде. Мы входим в деревеньку на вершине холма, с трех сторон ограниченного низиной, в значительной части заболоченной, поросшей мелким леском и кустарником. Единственная улица, широкая, пустая, упирается в небо. В про свете между двумя избами виднеется лежащее далеко внизу озеро.

Старик с граблями ворошит скошенное под изгородью сено.

Мы спрашиваем, как пройти к Богоявленскому погосту, располагавшемуся будто бы на холме посреди болот. Старик оставляет работу, опирается на грабли, охотно и многословно объясняет. Из избы выходит молодая женщина, дочка или сноха, а потом и мужчина, должно быть ее муж, и начинается разговор про все на свете. Про то, что камня у них много в полях: откуда только берется, не растет ли? И что земля у них хорошая — орех да дуб, уважительно говорит старик, должна быть хорошей. Заговорили о грибах — мало уже их, мороз был, и кто-то назвал день, когда был мороз, ботву на картошке побило, а женщина добавила, что и нынче был. Николай Семенович спросил об озере, и все стали рассказывать, что мелкое оно и дно вязкое, грязное, илу много. Тогда Николай Семенович поинтересовался узнать, берут ли ил для удобрения, на что старик ответил, что нет, не берут, а он очень хорош, им хорошо удобрять землю. Тут Николай Семенович достал свою книжечку с привязанным на бечевке карандашиком, записал что-то и спросил, какая рыба ловится в озере. Старик, мужчина и женщина в один голос ответили: щука! Затем, помедлив, после повторных вопросов принялись перечислять: лещ, окунь, плотва... О плотве, когда Николай Семенович стал переспрашивать, они отвечали уверенно, относительно же леща мужчина сказал: «Шут его знает, вроде есть он». Заговорили о торфе, и старик рассказал, как его заготавливали здесь в войну, сложили в штабеля, но не вывезли, потому что транспорта не было, это теперь машины. Мужчина возразил, что торф и сейчас лежит, ничего ему не сделалось, а не вывозят. «Плохо он горит, — сказала женщина, — на удобрение, говорят, годится, а топить нельзя». «Зольность высокая», — заметил Николай Семенович.

Он сказал еще, что богатые они: какая у них земля, ил, торф!

Старик не согласился с ним, возразив, что не в земле теперь богатство, и с веселой оживленностью принялся рассказывать, что у них камень нашли и они непременно отойдут под карьер, тут всюду карьеры.

Я спросил, есть ли у них в деревне лавка.

И все они в один голос ответили: нету... в карьере магазин.

Сказано это было с тою же возбужденностью, с какой старик сообщил об ожидающей их деревни счастливой перемене, словно они, сказав о магазине в карьере, дали нам понять, что и сами так станут жить.

Николай Семенович спросил, заходят ли сюда маралы.

Он мне как-то рассказывал, что их завезли в здешние леса.

Старик с женщиной ответили, что заходят: в лугах, случается, встретишь, на капусте; бывает, стог повалят или капусту объедят. Мужчина добавил, что если пойдете гатью на погост, может, и вам встретятся.

Мы идем деревней. Перед некоторыми дворами лежат бурые вороха клеверных семенников. «Скотине привезли?» — вополгоса, как бы спрашивая, говорит Николай Семенович. Предположение это, разумеется, дико, но клевер вывозят, да и деревня, по словам давешнего старика, отходит под карьер...

* * *

Из Ужбола, где я пробыл весь день, возвращаюсь с Эльвирой, младшей невесткой Натальи Кузьминичны, которая едет за сынишкой, оставшимся у ее родителей, пока Наталья Кузьминична убирала огород.

Эльвира рассказывает, как Ромка Глебушкин, теперешний ужбольский бригадир, несколько дней тому назад симулировал покушение на него. В тот вечер в клубе на телевизионной вышке показывали кино, чуть ли не все село было там, один Ромка зачем-то сидел дома, и будто бы кто-то выстрелил в его окно, а когда он выбежал, то нашел под окном чью-то кепку. С этой-то кепкой Ромка прибежал утром в контору, кричал, что его хотел убить такой-то парень, потому что они накануне поругались, требовал, чтобы его, Ромку, уволили из бригадиров.

Случившаяся в конторе Эльвира сказала, что названный Ромкой парень весь вечер просидел рядом с нею и ее мужем, смотрел кино, однако Ромка кричал, что они не заметили, как он вышел. Впрочем, он не так уж и домогался изобличения виновного, размахивал кепкой и вопил, что не хочет быть бригадиром, поскольку жизнь его в опасности.

Дело в том, объясняет Эльвира, что у Ромки вся кукуруза еще в поле. Уродила она хорошо, но уже были заморозки, убирать же ее нечем и некому — школьники топорами рубят, много ли они уберут. Она настолько перестояла, что никакая силосорезка не берет, поэтому силосуют ее целиком, штабелями, закидывая сверху землей. А кукуруза — культура «политическая», за нее спросят, вот и спасается Ромка. Он хотя и плут, но мужичонка смысленый, проживет и без бригадирства.

Эльвира рассказывает, что и лук почти весь в поле, и не в одной ужбольской бригаде — во всем колхозе. Колхоз почему-то в первую очередь стал убирать морковь, между тем с морковью, дождь ли, как сегодня, легкие ли заморозки, какие уже были, ничего в земле не делается, тогда как лук от дождей пустил мочку, то есть пошел в рост. А бабы лук убрали давно, обрезали, высушили, сдают теперь в кооперацию или закладывают на хранение, морковь же только начали копать.

Не первый уже раз дивлюсь я рассудительности, с какой люди, у которых нет власти распорядиться, иной раз вовсе и не деревенские, как эта вот молодая женщина, говорят о делах в том либо другом колхозе, однако, быть может, дивиться нужно не этому, а безрассудству и легкомыслию, получившим распространение в иных колхозах.

Навстречу нам едет на велосипеде худощавый мужик с серьезным, несколько бледным лицом и большими глазами. Это отец Нины, теперь уже девятиклассницы, а в те годы, когда мы каждое лето жили в Ужболе, приходившей к нашим девочкам играть в куклы. Дом их наискосок от дома Натальи Кузьминичны, на крыше в ветреную погоду трещит самодельный ветрячок, заряжающий динамку, от которой светит лампочка. Вообще он выдумщик и еще любитель чтения. Эльвира рассказывает, да я и сам это знаю, что он рюмки в своей жизни не выпил, Нину воспитывает серьезно, но мягко, относится к ней с уважением, покупает ей книги, когда маленькая была, делал затейливые игрушки, и чуть ли не все ужбольские мужики над ним потешаются, считают чудаком.

Я жалею, что не сдружился с ним, пока подолгу живал здесь.

* * *

Тихий день. Часу в четвертом словно бы смеркается.

В Любогостицах, когда я выхожу из машины, навстречу мне с поля, со стороны моста через реку, идет Иван Федосеевич. Он идет неспешно, мягко ступая в валенках по сухой, но не мерзлой земле. Вокруг все тихое, чуть желтоватое от старых бурьянов, травы, глинистой зяби, жнивья, мелких остаточных листиков на деревьях. В это время обычно бывает сыро и преобладающие цвета — черный, серый и зеленый от сохранившихся в сырости свой цвет растений, последних листочков. А сейчас все высухло, и всюду это коричневато-желтое, покойное.

Иван Федосеевич предлагает мне съездить в соседнюю Вёксу.

Осенняя деревня погожей порою в предвечерний час.

Темные, вымытые чисто сени с посланным от двери к двери половином, где свежо пахнет капустой, еще не убранной в подпол. Теплая кухня, в сумраке которой поблескивает на полу у печки самовар с надетой на него трубой, с белеющим рядом с ним пучком лучины — еще не разожженный. В передней избе горит электричество. Пожилой бритый мужик сидит на лежанке, греется. Жена его, полная, в очках, похожая на горожанку, что в здешних местах часто, строчит что-то на швейной машине. Ходит, прибирая одежду, старшая дочь, свинарка, как представил мне ее Иван Федосеевич. Он спросил, где младшая, где ответили, что поехала в лес за стланью, то есть сухой уже, не годной в корм, так и не выкошенной в свое время травой, которую теперь косить не возбраняется и которая идет обычно на подстилку скотине.

Кто-то сказал, что должна уж приехать.

Иван Федосеевич согласился: смеркается!

Я понимаю, что зашел он просто так, по-соседски, без какой-либо нужды, чего, конечно, не бывало с ним прежде, как и этих стариковских валенок осенью, и догадываюсь, как томится он без дела.

Он о чем-то рассуждает с хозяевами, но я не вслушиваюсь. Самовар разожжен, труба на нем слегка звенит и постанывает от рвущегося сквозь нее огня. Стрекошет, по временам прерываясь, швейная машина. Пахнет печным теплом и остро, празднично новым ситцем. Меня одолевает дремота, и не хочется мне сейчас никуда отсюда ехать.

По выезде из Любогостиц в свете фар явилась перебегающая дорогу лиса, желтовато-золотистая, как бы даже светящаяся. Она постояла мгновенно на обочине, глядя в нашу сторону, побежала трусцой дальше, перемахнула через канаву, остановилась в высокой сухой траве, позади которой темнел сосновый лесок, пристально глядела на нас.

Мы останавливаем машину, выходим, лиса отбегает подальше.

Она и оттуда продолжает рассматривать нас, будто знает, что мы без ружей, — нас выдал бы, несомненно, пахнувший порохом металл. Мы принимаемся кричать, и лиса, не торопясь, не сразу, бежит к лесу.

* * *

Александр Сергеевич, к которому я зашел в райком, с удовлетворением говорит, что убрали нынче все, — еще бы, осень выдалась редкостная! И все же доходы колхозов, сокрушается он, меньше прошлогодних, потому что в прошлом году много мяса продали, то есть, выполняя два плана, без всякого зазрения резали скот! А с кормами будет и вовсе туго, жалуется секретарь, хотя сенá были хороши и силосу заложили достаточно. Я спрашиваю, отчего это так, и он объясняет, что много скота остается на зиму, дано указание увеличить поголовье.

Последнее, по-моему, ни с чем не сообразно. Скотину все же держат по корму, иначе начнется падеж, да и тощая она будет, и молока будет мало. Незачем даже подсчитывать, чтобы понять, что одно и то же количество кормов, если скормить его меньшему количеству скота, даст молока и мяса куда больше, чем если его потребуется разделить между значительно большим числом не наедающихся досыта животных.

* * *

Небо на востоке утром розовое. На крышах, на траве вдоль канав лежит редкий, выпавший за ночь снежок. Михаил Васильевич наш пришел с новостью: «Лодки на берег вытаскивают. Скоро, значит, зима».

Днем иногда выглядывает солнце. Воздух холодноватый, чистый. В полях озими зеленеют сквозь белый покров. Стаи грачей и дроздов, перелетающих на юг, кормятся в жнивье, чернеют на нем россыпью.

* * *

Озеро совсем синее. Ветер гонит на берег некрупную волну. Вода прозрачна, дно возле берега хорошо видно. Весь берег в зеленых водорослях, прижатых, притиснутых накатывающимися волнами, как бы спрессованных. По краю водорослей, отмечая черту, до какой достигают волны, возвышается сероватая ноздристая пена, с которой летят клочья. Берег весь в лодках, оттащенных повыше, к монастырской стене. Однако много лодок еще на плаву, каждая из них медленно движется по некоему полукругу возле железной трубы, к которой привязана.

Молодая женщина в резиновых сапогах, в байковом красном цветастом платье и расстегнутой кофтенке, раскрасневшаяся, потная, идет берегом с веслами и косой на плече. Должно быть, они с мужем косили на озере тресту, то есть тростник, или осоку на острове, отнесли домой, и теперь она одна, налегке, прибежала за косой и веслами.

Город в последних предзимних заботах.

Александр Иванович чистит канаву, отвозит ил на огород, Михаил Васильевич стоит тут же, опершись на можжевельный посошок, не то глядит, не то по-стариковски забылся, потом вдруг, тыча посошком в сторону растущей перед домом Александра Ивановича широколистой ивы, еще не совсем облетевшей, говорит: «Ну сруби ты свой дуб мамрийский, ведь пожар будет!» Александр Иванович смотрит на провода, протянувшиеся от столба сквозь покачивающиеся ветки ивы к дому Михаила Васильевича, соглашается, что срубить надо бы, однако легко ли сделать... «Ты же, — говорит он, — в жизни деревца не посадил».

Пря эта у них давняя, Михаил Васильевич, страхась пожара, даже заявление подавал на соседа, но у Александра Ивановича действительно рука не поднимается на выращенную им красавицу иву-бредину.

Впрочем, записываю я это по иной причине.

У дубравы Мамре, как рассказывается в библии, Авраам принимал трех мужей господних; мамрийский дуб изображают обычно на иконах Ветхозаветной Троицы, и когда Михаил Васильевич называет так любимую Александром Ивановичем иву, он словно бы говорит, что тот оберегает ее как священное дерево, то есть выставляет соседа в смешном виде.

Точно так же, например, когда попадетсся с поличным какой-нибудь неловкий жулик, как это случилось недавно с помощником прораба на одной из городских строек, а года три назад — с заведующим одного из гастрономических магазинов, и Михаил Васильевич и Александр Иванович о таком человеке непременно скажут: «Стихарь в алтаре прожог».

Подобное острословие, сложившееся в среде, где грамоте научались у дьячка за медные пятаки, исчезает вместе с последними представителями этой среды, между тем, я думаю, оно принадлежит к народному искусству и его надобно так же собирать, как городецкие расписные донца с щеголями и щеголихами или каргопольские глиняные свистульки.

За окнами черно, льет дождь.

Александр Иванович рассуждает, как страшно сейчас на озере: если что случится — погиб, сразу окоченеешь в воде, и хоть кричи, хоть нет — никто не спасет. Он вспоминает приятеля, с которым часто ездил на рыбалку, как тот, когда приходил его черед садиться на весла, осторожно проползал между ногами поднявшегося с места Александра Ивановича.

Он всегда так делал, если ночью ехали. Александр Иванович не придавал этому значения, но однажды, проползая таким манером к веслам, приятель прошептал: «Осторожно, осторожно...» — и Александр Иванович удивился: «Чего это ты?» А тот все так же шепотом: «Неровен час, вместе на одну сторону станем, перевернемся, нам уж нипочем не выбраться». Тут и Александру Ивановичу стало страшно: верно ведь... в валенках, в тяжелой одежде — намокнешь... и ко дну.

Александр Иванович вспоминает соборного псаломщика Аполлоса, как в такую же темную осеннюю ночь, когда выехали они несколькими лодками, тот, словно на него что нашло, шагнул в озеро. Его тут же вытащили, и он отправился домой. Некоторое время спустя слышно, вроде бы Аполлос их кличет. Они ему: «Аполлос, откуда ты взялся?» А он: «Переоделся и сюда. Ночь-то велика, чего я стану дома делать».

* * *

Серый ветреный день. Сушит землю. Машины, идущие городом с севера, запылены снегом. По временам падают редкие, едва заметные снежинки, тают, коснувшись земли. К вечеру лужи затянуло ледком.

* * *

Сыплет сухой мелкий снег. Метет поземка, гонит снежинки по сухой земле. Лужи в темной льдистой гуще. Трава на обочинах, под заборами и домами торчит из снега; она хоть и зеленая, однако мертвая, шуршит от касающихся ее снежинок. И снег падает с шуршанием. Всюду только и говорят: это еще не зима, на сухое зима не становится.

* * *

В башне у Сергея Сергеевича сидит плотник. Сегодня выходной, и он пришел к архитектору в гости, не ради угощения, разумеется, хотя законные пол-литра ему и выставлены, а чтобы поговорить. Человек он уже немолодой, родом, рассказывает, из деревни, не шибко грамотный, конечно, но любитель читать газеты, журналы, литературу.

Сперва разговор идет о нежданно выпавшем снеге.

Сергей Сергеевич замечает, что вот, мол, какая наша работа, строителей, — на холоде много не наработаешь. Плотник, согласившись, все же возражает, что крестьянину хуже: хорошо, нынче осень была такая, что убрать все было можно, а то ведь по здешним местам иной год в сентябре уже ненастье — покопай-ка ее, картошку, в грязь!

Здесь уж он решительно овладевает разговором.

А в апреле, рассуждает он, не всегда в поле выйдешь или скотину выгонишь. Вот и выходит, что только три-четыре месяца в году можно работать нормально, прокормить же надо и себя и государство.

Сергей Сергеевич говорит, что в Индии климат хороший, а голодно там. Это он знает, говорит плотник, в США вот еще хорошие земли. Сергей Сергеевич напоминает, что и у нас есть благодатные места, но плотник стоит на своем: много ли кормит-то, чай, Россия.

Он смотрит в сторону выходящих на озеро узких окон, за которыми белым-бело от метели, и говорит, что теперь вот крестьянин думает, как бы до весны соломы хватило скотину прокормить, — сена-то навряд хватит. В голосе его слышится не только сочувствие, но и растрогавшее его воспоминание о временах, когда и он крестьянствовал.

И вдруг он говорит с твердостью, как о давно ему известном, в чем его не переубедишь, что поэтому вот и стремятся в город, а ведь всех городских прокормить — сколько надо продовольствия!..

* * *

Падают быстрый, шуршащий от сухости, тревожимый ветром снег. Берег озера заметен снегом, из которого торчат высохшие былки, кусты травы, а несколько выше, где огороды, пересохшие остатки ботвы. Справа рыжеют тростники, и такие же рыжевато-желтые кусты сухих тростников тесно торчат из озера, здесь чуть ли не сплошь заросшего. Между тростниками колышется тяжелая, синевато-черная вода. Левее и впереди синевы меньше и островки тростника реже, озеро почти черное.

Если же перевести взгляд еще левее, оторваться от берега, на котором стоишь, охватить все пространство вплоть до другого берега, то увидишь, как лежит выпукло, тяжело перемещающаяся невысокие волны, до черноты серое озеро. Светлее, чем озеро, стоит над полосой противоположного берега небо, из которого метет снегом.

К вечеру снег повалил крупный, святочный...

И ночью, как под Новый год, падает и падает снег.

* * *

Все белое. Пасмурно, однако угадывается солнце. Тепло.

Рыхлый сырой снег оседает, начинает гаять, всюду черные, полные снега лужи. К полудню солнечно, снег сияет, с крыш и деревьев течет, над лужами, над обнажившейся мостовой вьется легкий парок.

Пахнет мартом, масленицей.

Часу в шестом вечера поднялся резкий северо-восточный ветер. Воды еще больше повсюду. Михаил Васильевич, ходивший глядеть озеро, говорит, что оно синее; он имеет в виду, конечно, тот черный цвет, от которого «синяя борода». А в десятом часу черно, ветер усилился, сушит землю; скрипят, жестяно скрежещут прапорцы в кремле.

Утром все в снегу. Изредка падают снежинки. Стужа.

Михаил Васильевич, как всегда, первый сообщающий о перемене погоды, приехав с рынка, шумно объявил: «Озеро стало!» Он шел с автобуса, рассказывает он, и слышал, как мальчишки, побывавшие уже на озере, жаловались, что оно плохо замерзло, так как был ветер, и кататься нельзя. Если озеро в тихую погоду станет, понял я, лед гладкий, а сейчас он волнистый. Михаил Васильевич говорит: рябой.

Я отправляюсь поглядеть.

Метет метель, и противоположный берег не виден.

От того места, где я стою, уходит вперед, теряясь в дымке, как бы мелко всхолмленная волнистая серая равнина в извилистых белых полосах — это снег задерживается в углублениях. Похоже, что озеро замерзло, сохранив очертания идущих ряд за рядом волн. Я спускаюсь на лед — он в мелких бугорках, шершавый, и впрямь рябой.

Несколько лодок так и осталось во льду. Одну из них, обрубив во круг лед, вытащили, должно быть, недавно. Она лежит вверх дном на мыску, а рядом полынья с неровными краями, и воду еще не затянуло.

И все же это не зима, еще только октябрь на исходе.

Я уезжаю из Райгорода, однако я давно уже понял, что каждый такой отъезд ненадолго; в этот раз скорее всего вернусь по зиме.



Д. САМОИЛОВ

★

СЧАСТЬЕ

* * *

Дай выстрадать стихотворенье!
Дай вышагать его! Потом,
Как потрясенное растение,
Я буду шелестеть листом.

Я только завтра буду мастер,
И только завтра я пойму:
Какое привалило счастье
Глупцу, шуту — бог весть кому —

Большую повесть поколенья
Шептать, нащупывая звук,
Шептать, дрожа от изумленья
И слезы слизывая с губ...



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

КУБИК

...Неужели этот мальчик тоже я?..

В один прекрасный день ему стало казаться, что в городе орудует преступная шайка.

Кое-где на стенах появились буквы ОВ. Что они обозначают? Не Оля же, в самом деле, какая-нибудь Васильева и не Осип же, в самом деле, какой-нибудь Вайнштейн! Зачем бы им понадобилось шляться по всему городу, по окраинам, по воровским трущобам, за вокзалом, в приморских переулках, на кладбищах, всюду на заборах царапая свои инициалы?

Нет, нет!..

Что-то опасное и в то же время притягательное было в этих то больших, то маленьких буквах ОВ, какой-то тайный смысл. Они были совсем не то, что, например, общезвестные черные буквы ПК на красной железной табличке в нижнем фойе городского театра возле плоского стеклянного ящика с брезентовым пожарным шлангом с длинным коническим наконечником из ярко начищенной красной меди, снабженным лопаточкой, которая придавала трескучей водяной струе форму широкого пальмового листа.

Она — эта табличка — принадлежала к семейству пожарных орудий, таких, как широкий брезентовый пояс с кольцом, асбестовая несгораемая рубашка, топорик, багор, раздвижная лестница, медная каска, в которой в час беды, под звон ночного набата, отражался огненный хвост летящего факела.

Буквы ПК обозначали не что иное, как пожарный кран.

ОВ — были нечто совсем, совсем другое.

Преступников следовало обезвредить, упрятав в тюрьму «Синг-Синг», главаря посадить на электрический стул, а сокровища забрать себе. Но необходимо действовать крайне осторожно, чтобы не спугнуть голубчиков, распутывать клубок не торопясь, ярд за ярдом, пока все нити не будут в руках, в противном случае негодяи могут убить его отравленным кинжалом негуса в спину или покончить с ним выстрелом из бесшумного духового ружья, а труп выбросить в Темзу.

Он видел даже высокий решетчатый мост и желтую луну в яркосинем лондонском небе над Темзой, куда падало его бедное тело.

Весь погруженный в эти мысли, стиснув зубы, наморщив лоб и сжав кулаки, с безумными глазами, мальчик дошел до угла и вдруг увидел новую девочку, сразу же удивившую его своим бедным клетчатым платьем.

Вы заметили, что удивление — первый шаг к любви?

Ее выгоревшие, стриженные волосы торчали во все стороны из-под ядовито-зеленой, почти синей гребенки из числа тех круглых кухаркиных гребенок, которые, будучи неряшливо положены на чугунную доску кухонной плиты, вдруг покрываются черными язвами ожогов и, прежде чем вспыхнуть, наполняют всю квартиру клубами удушливого, непрозрачно-белого дыма, нестерпимым, пронзительным запахом горящего целлулоида.

У нее были кошачьи глаза цвета еще не вполне зрелого крыжовника; она была прекрасна, как ни одна девочка в мире; у нее были бедные шерстяные чулки на клетчатых подвязках с металлическими пристежками.

Надувшись от смущения и засунув руки в карманы, причем его животик и короткая нагнувшаяся шея сразу же сделала его чем-то отдаленно похожим на кузнечика, мальчик повернулся к девочке боком, как бы собираясь в случае чего подражаться, и спросил:

— Девочка, хочешь со мной играть?

Она окинула его презрительным взглядом и сказала:

— Мурлб.

Мальчик опешил.

— Сама мурлб,—немного подумав, ответил он и стал еще более похожим на кузнечика, собирающегося прыгнуть.

Но тут наверху открылась форточка и женский голос позвал:

— Саня, иди заниматься.

И девочка исчезла.

Неужели этот мальчик тоже я? Если и не вполне, то во всяком случае отчасти. Не исключено, что это все тот же милый моему сердцу Пчелкин, только совсем маленький, лет восьми.

— А это видела? — спросил в следующий раз он или я, похлопывая себя по мелкому карману штанов, откуда выглядывал кончик рогатки.— Знаешь, как бьет? — А как? — спросила она.— Навылет! — Смотря через чего,—заметила она.— Через чего хочешь,—хвастливо сказал мальчик.— А через доску? — спросила она.— Через доску не,—честно ответил он.— А через фанерку? — продолжала допытываться она.— Через фанерку тоже не,—выдавил из себя мальчик, вдруг потерявший способность врать перед этой девочкой.— Так через чего же?.. — насмешливо спросила она.— Через картонку — да. Хочешь, дам стрелнуть? — Смотря чем.— Кремушком.— Тю! Нашел чем! Кремушком даже кицку не подобьешь.— Зато голубя подобьешь.—Голубя грех. Голубь— святой дух,—набожно сказала Санька и перекрестилась.— За голубя бог накажет.— За белого да,—сказал мальчик.— Белый безусловно святой дух. Его — грех. А дикаря не грех. За дикаря не накажет.— Все равно. Дикарь тоже святой дух.— А вот нет! — А вот да! — Много ты понимаешь в голубях.— Во всяком случае больше твоего.— Спорим! — Не хватало! И не стой передо мной, как лунатик. Ты мне уже надоел. Отлипни. Иди, откуда пришел.— Не твоя улица.— А вот моя.— Ты ее не купила. Улица общая. Хочу и стою.— Ну и стой, если тебе так нравится на меня смотреть. Любиуйся. Пожалуйста.

— Саня, иди делать арифметику,—послышался голос из форточки.— А ты, мальчик, ступай отсюда со своей рогаткой и не морочь девочке голову. Иди, иди...

— Ты опять тут? — спросила Санька по прошествии того, что в физике называется временем.

Он притворился, что не слышит, но через несколько земных суток, оказавшись, как по волшебству, на том же самом месте, спросил чужим, как бы безвольно расцепленным голосом:

— Так будешь со мной играть? — Не буду. — Почему? — Потому, что не собираюсь. — А если я тебе подарю свои кремушки?

Она подумала, молчаливо пошевелив губами с небольшой заедой в одном углу рта.

— Смотри какие кремушки.

Мальчик вынул из кармана четыре кремушка и подкинул их на ладони так, что они чокнулись.

— Это не настоящие, а простые: обыкновенные галечки с Ланжерона, — сказала девочка презрительно. — Вот у меня кремушки — так настоящие, ты таких сроду не видел. Они электрические. Их чокнешь — искры летят, как из кресала.

Она из предосторожности и застенчивости повернулась к мальчику худой, твердой спинкой, залезла через квадратный вырез платья за пазуху и достала кукольный чулочек, откуда вытряхнула на ладонь несколько темных от мазута кремушков.

— Обыкновенные железнодорожные, — презрительно сказал мальчик, — таких между шпал валяются миллиарды.

— Зато настоящие кремушки. А у тебя просто галечки. Таких на Ланжероне можешь за одну минуту набрать миллионы миллиардов. Они без электричества. А мои с электричеством.

Мальчик засуетился и стал чокать своими кремушками, но искры не высекались. Электричество не показывалось. Один камешек даже мягко раскололся.

Девочка оскорбительно-громко захохотала.

— Можешь спрятаться в будку со своими простыми галечками и даже не думай равнять их с моими железнодорожными, электрическими, со станции Одесса-сортировочная.

Тогда-то и прилетел воробей, легко сев на забор, утыканный сверху зелеными и голубыми бутылочными осколками.

— Например, в воробья попадешь? — спросила девочка.

— Ого!

Вот этого-то именно и не следовало говорить, да еще так хвастливо. А может быть, именно следовало.

...Как знать, как знать!..

История девочки Саньки и мальчика Пчелкина, которую я собираюсь здесь рассказать, как и все то, что происходит в мире, не имеет начала, а тем более конца, так что примем за точку отсчета тот характерный звук, который раздался на одной из четырех тенистых улиц дачной местности «Отрада» в начале этого века.

«Для меня главное — это найти звук, — однажды сказал Учитель, — как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание — литературное искусство!»

«Не смею», — имел мужество признаться Учитель. Это надо заметить. Он не смел, а я смею! Но точно ли я смею? Большой вопрос. Ско-

рее — хочу сметь. Вернее всего я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А на самом деле... А на самом-то деле?.. Не уверен, не убежден. Вот В. Розанов — тот действительно смел и писал так, как ему хотелось, не кривя душой, не соглашаясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм.

Розанов написал однажды и даже напечатал:

«С выпученными глазами и облизывающийся — вот я. Некрасиво? Чтó делать?».

Я так не умею, просто не могу. Не смею! По природе я робок, хотя и слышу нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдал из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унижительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «все кончено»... Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз, как зеркало в зеркале — уходящий в вечность ряд уменьшающихся в перспективе зеркал, — в одну и в другую сторону, — в пропасть прошлого и в пропасть будущего и мое опрокинутое, полубморочное трусливое лицо, вернее — бесконечное число лиц и горящих стеариновых свечей, и отчаяние, отчаяние...

Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..

Слово «звук» не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы «остальное далось само собой», как сказал Учитель. Я думаю, одно дело звук, а другое дело интонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видимо, не отделял одно от другого. Да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не делается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия — это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах — «м... м... м... м...» — запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук же совсем другое дело. Весьма возможно, что звук — самое неисследованное в мире. В звуке содержится гораздо больше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов, как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный «эффект присутствия».

Не может быть звука вне материи, породившей его, так же как не может быть сознания вне бытия. Звук — это сознание колеблющейся материи.

Заседание — это тоже нечто материальное, обладающее присущим ему одному звуком, в особенности если заседает бодлеровский комитет в Намюре, в душной комнате с видом на мост через реку, по которой буксир с усилием тянул баржу, почти до самой палубы погруженную в воду, и я, подобно этому буксиру, погруженный с головой в медлительное течение почти ощутимого средневропейского времени, произносил на ужасном

французском языке свою речь, свое эссе о Бодлере и вот уже наконец дотащился до финала, где заключалась мысль, что будто бы каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так непохожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу композитора, виртуоза, но так же на всю материальную структуру инструмента, родящего эти звуки, будь то дыхательный аппарат, горло певца, его носоглотка, маска, диафрагма или группа духовых, ударных или смычковых инструментов. В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора, ощущаю громоздкое тело концертного инструмента, все материалы, из которых он построено на фортепианной фабрике, ощущаю даже самую фабрику с ее высококвалифицированными столярами, обойщиками, политурщиками и хозяином-немцем, поклонником великого Баха, Бетховена или Моцарта, чьи латунные медальоны украшают его изделия. Фортепианный концерт как бы проецирует — во всех четырех или даже пяти измерениях — вещественное содержание инструмента, не только его неповторимую конструктивную форму с черным лакированным крылом поднятой объемной крышки, в которой снизу отражается внутренность инструмента, как бы модель целого среднеазиатского города с глухими дувалами, но без крыш, пересеченного натянутыми струнами внутренних коммуникаций, может быть, даже некоего железнодорожного узла, — не только его силуэт, напоминающий выкройку фрака, но также и его вес, его замшелые молоточки, сорта дерева, доску резонатора из бледного бронзового сплава, даже литые стеклянные розетки, подложенные под медные колесики его могучих бильярдных ног. Мощный удар по клавишам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой, уже не материальной, но духовной жизни, — наверное даже вечной, так как она уже таинственным образом навсегда остается в сознании человечества и таким образом начнет отсчет своего бессмертия, в то время как на маленькой старомодной бельгийской станции резервисты прыгали на ходу в отходящий воинский эшелон, и почти никто из них потом не вернулся живым...

Звук, раздавшийся тогда, состоял из множества других, сопутствующих ему звуковых колебаний, которые все время создавали стройную картину небольшого уличного скандала.

Галечка вылетела из рогатки, с шумом выдирая из акации божеественно-перистые желто-зеленые веточки; в тот же миг старая, никуда не годная резинка порвалась именно в том месте, где была прикручена проволочкой от домашнего электрического звонка к одному из концов рогатки, выломанной из куста великолепной персидской сирени на даче местного греческого негоцианта Халайджоглу; кожичка тоже оторвалась с собственным, особым звуком, шлепнув мальчика по глазу; рогатка сухо треснула, раздался мелодичный, хотя и жидковатый звон, и выбитое из рамы уличного фонаря стекло — каким-то чудом пока еще почти совсем целое, — с водянистым звуком поколебавшись в воздухе, на некоторое время как бы повисло в пустоте, а затем легко — планирующими зигзагами, — все еще продолжая оставаться совершенно целым! — упало на тротуар, музыкально распавшись на четыре разноформатных куска; а воробей как ни в чем не бывало продолжал чирикать на заборе, с большим любопытством посматривая сквозь листву акации то на мальчика, то на девочку с таким видом, как будто бы не имел никакого отношения ко всей этой суматохе.

— Киш, паршивый! — закричала девочка, замахав руками на во-

робья, который продолжал попрыгивать на одном месте, а затем перебрался на другое, поближе, как бы желая лучше рассмотреть свежий синячок под глазом у мальчика, не понимая, что мальчик хотел его убить.

Синяк, похожий на цветок аютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?

— Бежи! — крикнула девочка, но теперь в ее голосе слышался ужас.

Увы, было уже поздно: перед мальчиком, заслоня собою всю природу, стоял довольно известный в этих краях дворник Василий. Он подобрал с тротуара четыре осколка, завернул их в фартук, покосился на фонарь, в котором стояла керосиновая лампа с жестяным резервуаром и медной горелкой, из прорези которой высовывался почерневший язык фитиля, — и, широко, медленно шагая, блестя своей нагрудной бляхой, повел мальчика за ухо по мостовой, как арестованного. Рука дворника держала ухо мальчика таким образом, что оно сложилось вдвое, как блинчик.

— Дяденька, — рыдая, произносил мальчик общеизвестные слова, которые еще никогда никому не помогли, — я больше никогда не буду, отпустите, умоляю вас.

— Бежи, дурень, — сказала девочка, в отчаянии ломая руки. — Чего ж ты не бежишь?

— Когда он не пускает, — продолжая рыдать, ответил мальчик.

— Тогда кусай его за руку! Кусай!

— Не достаю, — успел ответить мальчик и тут же был введен во двор, где уже в полном составе стояли родственники и прислуга, на чем я и закончу описание этой ужасной, молчаливой картины, будучи не в силах изобразить дальнейшее: уплату сорока копеек серебром, сожжение в плите остатков рогатки, наложение на ухо тряпочки со свинцовой примочкой и прочее.

— Видала ухо? — спросил мальчик, остановившись перед девочкой, которая, стоя на одной ноге, как цапля, подбрасывала на ладони электрические кремушки. — Теперь уже, слава богу, как слива, а было, как вареник с вишнями.

— Дай потрогать. — И девочка протянула светящиеся на солнце розовые пальчики к уху мальчика.

— Не лапай, не купишь, — сварливо буркнул мальчик скорее по привычке.

Девочка отдернула руку и вспыхнула.

— Тогда скатертью дорожка, — сказала она, повернувшись спиной.

— Ладно тебе, ладно. Если хочешь, потрогай. Мне не жалко.

— Не нуждаюсь.

— Почему?

— Потому, что тó ты не хотел, а тó теперь я не хочу, — сухо сказала девочка, не оборачиваясь, — можешь уходить, откуда явился.

— Пожалеешь, да поздно будет, — горько сказал мальчик.

— А что? — встревожилась девочка, услышав в этих словах гайное обещание, и глаза ее загорелись любопытством. — А что?

— Ничего. Одна тайна, — загадочно усмехнулся мальчик.

— Какая? — еще больше встревожилась девочка. — Скажи!

— А будешь со мной играть?

— Смотри какая тайна.

— Преступная шайка,— прошептал он, раздув ноздри и приблизив свое лицо к ее лицу.— Я их выслеживаю. Уже все нити у меня в руках. Две буквы.

— Какие?

— О и В.

— Ну и что? — равнодушно сказала девочка.

— А то, что это таинственные знаки. Поняла теперь?

— Да? — спросила девочка с непонятной интонацией иронии и превосходства.

Ее лицо было так близко, что мальчик не только видел созревший ячмень на рубиновом веке Санькиного глаза с желтой точкой, как зернышко проса, но также чувствовал жар, исходивший от ее пылающих щек, и луковый запах бедного платья из шотландки, обшитого бордовой тесьмой.

С глазами, сияющими торжеством, она ухватила его за рукав, молча повела через их двор, и они спустились в подвал и на ощупь пошли в крошечной тьме, полной опасностей,— по земляному коридору, где справа и слева нащупывались дощатые двери дровяных сарайчиков с висячими замками на задвижках, которые, будучи задеты локтем, издавали тяжелые звуки постукивания по неструганым сухим доскам, давая представление о поленницах дубовых дров с их сухо-кисловатым запахом и серебряными лишаями мха, о пустых бутылках и о разной домашней рухляди.

— Не бойся,— шепнула Санька, задевая Пчелкина плечиком, и вдруг отошла в сторону, как бы сразу растворилась в подземной тьме.

Мальчику стало страшно, но сейчас же он услышал успокоительные звуки: девочка рядом с ним рылась в куче хлама, наполнявшего воздух невидимой душной пылью, той особенной пылью, которая свойственна лишь подвалам и чердакам. Раздалось позвякивание чего-то медного и шуршание спичечной коробочки, так что в воображении мальчика встала вся картина, скрытая мраком, прежде чем она явилась воочию перед его глазами при лазурно-багровом сжатом пламени огарка, постепенно и таинственно осветившего во всех подробностях старый каретный фонарь с зеркальным рефлектором и толстыми бемскими стеклами, facets которых, как бы сквозь слезы счастья, отбрасывали на ракушниковые стены короткие радуги, бессильные полностью преодолеть мрак подвала. Девочка подняла над головой фонарь, и мальчик увидел, что ее глаза при этом блеснули торжеством. Радужный световой круг полз по стене, остановился; в середине этого многослойного хрустального круга мальчик увидел буквы ОВ. На этот раз знакомые буквы были огромны, как будто бы их нацарапали малограмотные великаны. Один нацарапал кривое О, другой косое В.

Наверное, эти буквы были здесь вырезаны давно, потому что почти совсем сравнялись с поверхностью ракушниковой стены, покрытой многолетним слоем бархатно-черной пыли самоварного угля, некогда хранившегося здесь в туго набитых, звенящих джутовых мешках с сетчатым верхом, сквозь который виднелись крупные куски. Если бы не селитренные кристаллики, выступившие по контуру букв, то их можно было бы совсем не заметить, но при свете фонаря они морозно мерцали — пугающе грозные, — вызывая в воображении груды сокровищ, добытых путем кровавых преступлений неуловимой шайкой...

— Видал буквы? — спросила она.— Еще раньше тебя,— ответил он.— А вот я раньше.— А я еще в прошлом году.— А я еще в позапрошлом.— А я еще в поза-поза-поза-позапрошлом.— Все равно мои

буквы.— А вот мои.— А вот я сейчас задую фонарь, тогда посмотрим.— Она проворно открыла стеклянную дверцу и задула свечу.— Боишься? — Раздался ее шепот в темноте.— Не боюсь,— сумрачно пробормотал мальчик и соврал, потому что на самом деле было так страшно, что сердце дрожало, как овечий хвост.— Только ты не уходи,— жалобно попросил он. Она затаилась и молчала.— Где ты там? — позвал он. Она молчала. Не слышалось даже ее дыхания. Он сделал несколько плавающих движений руками, как бы желая разогнать темноту, но от этого она стала еще непрогляднее.— Где ты там, Санька? — Теперь ему показалось, что ее уже вовсе нет в сарае,— наверное, незаметно выбралась наверх, во двор, где в небе горело солнце, а его оставила одного на съедение крысам. Он ужаснулся.— Ну, Санька же... Не будь вредной... — взмолился он и жалобно заныл.

Молчание, молчание, глухая тишина.

Было слышно, как по стенам бегут сверху вниз маленькие ручейки подземной пыли и что-то потрескивает — может быть, медленно нарастают на таинственных буквах селитренные кристаллики. Он затаил дыхание и вдруг услышал недалеко от себя звуки как бы мягко тикающих часиков, но только это тиканье было не механическое, а живое, теплое и каким-то необъяснимым, волшебным образом давало представление о маленьких ребрах, грудобрюшной преграде, спертom дыхании и нежном шелесте кровообращения. Он протянул руку и пальцами коснулся теплой материи ее платья.— Это ты?—спросил он. Она молчала и, видимо, отодвинулась, потому что пальцы Пчелкина перестали ощущать материю и теперь блуждали в темноте.

У него уже успело составить кое-какое представление о девочках: белые башмачки на пуговицах, английские локоны по сторонам личика, холодное шелковое платье с воланами на разгоряченном теле. Нарядная, с густыми ресницами, опущенными на фарфоровые щеки. Прямая, как струнка, идет прямо на него, покачивая белым атласным бантом. Не доходя двух шагов, останавливается и делает то, что у них называется «реверанс»: одну ножку заводит назад, другую выставляет голым коленом вперед и слегка приседает, как послушная цирковая лошадка.

— Мальчик, хотите со мной играть?

— С девочками не играю.

— Извините.

И уже через минуту — обольстительная и навсегда потерянная — бежит как ни в чем не бывало вокруг громадного газона вместе с другим мальчиком — даже, может быть, с кадетиком в красных погонах, с рубашкой, вздувшейся на спине пузырем! — высоко подбрасывая в небо и ловя на косо натянутую между двумя палочками нить ту новомодную игрушку, странную штучку, как бы составленную из двух черных резиновых конусов—носик к носику—наподобие песочных часов, под названием «дьябло». А то и ловит деревянный шарик на шнурке в лакированную чашечку на ручке — так называемое «бильбоке», маленькая бессердечная кокетка, холодная, скользкая, как ее шелковое платье, жесткая и, наверное, дура дурой.

Подобное представление о девочках было ничуть не лучше представления девочек о мальчиках: идет мимо, засунув немытые руки в мелкие карманы, плюется через выпавший зуб, заплетает ногу за ногу, делает вид, что ни на кого не обращает внимания, а сам небось норовит зацепить локтем или дернуть за локон.

Может быть, он и был именно таким мальчиком, да она была совсем другая девочка. Ему еще никогда не попадались такие девочки.

— Боишься? — слышалось возле самого его уха.

— Боюсь,— сказал он.

— Ага, трусишка, сознался!

Послышались знакомые звуки фонаря и спичек, появилось лазурно-желтое сжатое пламя огарка, и на стене из тьмы медлительно выступил алмазный вензель.

— А буквы чьи: мои или не мои? — спросила она.

— Твой,— согласился мальчик.

— Так-то лучше. Теперь я буду твоя повелительница.

— Хорошо,— покорно сказал Пчелкин.— Будь.

Они уселись рядом на крупную модель черноморского военного корабля времен севастопольской кампании — фрегата без мачт и такелажа величиной с маленькую настоящую шлюпку, который лежал на боку, весь в пыли, среди прочего хлама, рядом с медной яхтклубской сигнальной пушечкой на деревянном ступенчатом лафете, и Пчелкин сейчас же представил себе, как фрегат под всеми парусами огибает маяк на выходе из военной гавани, а из пушечки вылетает маленькое белое облако и звук выстрела сначала катится по синей воде, а потом прыгает по амфитеатру портовой части города и стучит, как резиновый мячик, в каждое окно, неся с собой эффект присутствия великолепной картины выхода в открытое море стопушечного фрегата.

— Тут все мое. И фрегат мой. И пушечка моя. Мой дедушка был боцман, севастопольский герой, его даром пускали в городской театр. А ты просто мурло.

Мальчик был очарован. Неприятный же вопрос о том, кто первый открыл таинственные буквы, решил сам собой: они открыли оба и теперь вместе будут распутывать клубок и следовать за нитью до тех пор, пока не откроют тайну и не завладеют сокровищами.

И тогда...

А что, собственно, будет тогда? Ну что? Что?

— У нас будет мешок денег,— сказал мальчик.

Она засмеялась.

— Чудило. Не мешок, а сто мешков.

— Тысяча тысяч мешков,— поправил он.

— И тогда мы себе купим все на свете.

Кто из нас не говорил так? Или во всяком случае не думал. В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они, вдруг, начинают понимать, что за деньги можно приобрести почти все на свете.

Но почему, собственно, кубик? Потому что — шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!

Многие мои детские мечты из-за отсутствия денег так и остались навсегда мечтами, терзая душу своей несбыточностью. С деньгами связано все самое возвышенное и все самое низменное. Звук разбитого стекла уже содержал в себе, кроме всего прочего, страшное требование

уплатить сорок копеек, и крупные осколки падали на тротуар со скрежещущим звуком «соррок-соррок-соррок»... Что может быть желаннее иметь рогатку с хорошей, новой резинкой квадратного сечения? Но резинка стоила денег. Прежде чем получить в руки поларшина черной резинки квадратного сечения, надо было положить на прилавок аптеки двадцать копеек... Двадцать! Почти недоступная для меня сумма! Где ее взять? Ах, да о чем речь! Все, все в этом мире стоит денег.

Чижик... Ну да, простой чижик. Птичка, которая летает со своей стаей среди кустов сухого репейника, мелькая мутно-серо-зелеными крылышками; она ничего не стоит до тех пор, пока ее не накроют сеткой, и в тот же миг чижик уже не бесплатный, он уже стоит три копейки. Даже четыре. В этом есть какое-то наваждение, колдовство. Превращение бесплатной, свободной птицы в товар, имеющий рыночную стоимость, в детские годы мучительно терзало мое воображение, мой слабый, невинный ум, еще незнакомый со знаменитой формулой Маркса насчет сюртука и холста.

Время давно скосило мой детский каблук, ботинок покривился, но я до сих пор мучительно переживаю угнетающую мысль, что набойки стоят пять копеек, а то и весь гривенник — круглый, серебряный, с рубчатый краем, с орлом и решкой, с тонким, почти волосяным звоном, когда он бегаёт, как по треку, по мраморному кружку кассирши и вдруг падает плашмя, придавленный проворным пальцем с новеньким обручальным кольцом.

Я мог бы рассказать сотню историй, где деньги были причиной детских преступлений, не говоря уже о невинных похищениях сдачи, оставленной на буфете, о продаже старьевщику за три копейки еще вполне годных сандалий «сороход»... Всегда нужны были деньги, без которых невозможно было осуществить мечту, пусть самую скромную. Даже пустить обыкновенный монгольфьер из папиросной бумаги стоило денег. Всего два листа папиросной бумаги, немного тонкой проволоки для каркаса, клей, кусочек гигроскопической ваты, несколько золотников спирта, спички... Казалось бы, какие пустяки! Но все это надо было купить.

Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?

В конце концов не так уж дорого: четыре копейки два листа тончайшей папиросной бумаги, пять копеек гуммиарабик, шесть копеек кисточка. Вата — даром — в ящичке у тети. Две унции спирта — десять копеек. Проволока — даром — в сарае, где целыми связками лежат разноцветные стеклянные фонарики для царских дней. Спички даром — из кухни с плиты. Всего копеек не больше тридцати. Тридцати!.. Громадная сумма. Где ее взять? Пришлось прибегнуть к унижительным просьбам, к мелкой краже сдачи с буфета, наконец к экономии на церковных свечах и просфорках. Для того, чтобы могло совершиться чудо полета, пришлось ограбить бога, в которого я еще тогда так свято, так горячо верил всей своей душой. Тем ужаснее была экономия на священных предметах. Подлинное святотатство, связанное с ложью.

— Ты поставил свечку? — Поставил. — А купил просфорку? — Купил... — А ты положил что-нибудь на тарелку? — Положил. — Сколько? — Эти... три копейки — А ты не сочиняешь? — Святой истинный крест... — Не крестись, не надо. И никогда не призывай имени господина бога всуе.

Если бы бог действительно существовал, то он бы немедленно разразил меня — маленького лжеца и святотатца, бросил бы на меня испепеляющую молнию, сверг бы мою душу в преисподнюю, в геенну огненную.

К счастью, бога не существовало. Он был не более чем незрелая гипотеза первобытного философа-идеалиста.

И вот мальчик и девочка стоят на краю обрыва, поросшего душистой полынью.

У нее в поднятых руках монгольфьер, неумело склеенный из драгоценной папиросной бумаги, которая крахмально шуршит при малейшем движении голых, худых рук девочки. Она сжала губы и дышит носом. Но даже эта предосторожность не может остановить опасного колебания папиросной бумаги. Мешок монгольфьера, еще не наполненный горячим воздухом, все время никнет, норовит сложиться пополам и свешивается набок. Приходится приподнимать пальчиками его неумело склеенный купол, готовый вот-вот разойтись по швам, и тогда все погибло!

Под монгольфьером на проволочке висит тампон гигроскопической ваты, облитой спиртом, источающим летучий наркотический запах, от которого у детей слегка кружится голова.

Осторожно, чуть дыша, с остановившимся сердцем, мальчик поджег спичкой вату. Спирт жаркой невидимкой вспыхнул в опасной близости с папиросной бумагой, которая могла загореться при малейшем дуновении морского ветерка. Так уже случалось несколько раз: дуновенье — и монгольфьер уничтожался сразу, лишь на один миг охваченный голубым, а потом розовым огнем — жаркой плазмой пламени, — и вот уже в траву падал лишь почерневший проволочный обруч и продолжающий гореть сине-желтым огнем кусочек ваты...

И огонь бежал по сухой летней траве приморских холмов, и горячо, до головокружения, пахло горящим спиртом...

Сколько невозвратно погибших усилий!

С неистощимым упорством они снова воздвигали это легкое, почти невесомое здание полета. Теперь они не торопились. Они выбрали самое тихое время за несколько минут до начала вечернего бриза, когда небо, и земля, и море, и круглое нежно-малиновое облако над заливом охвачены мертвым штилем, который Учитель назвал бы Летаргией. Такую полную неподвижность я видел только один раз на сцене городского театра, где среди неподвижно повисших новгородских парусов, мертвых багровых облаков, освещенный со всех сторон неподвижным искусственным светом рампы и софитов, богатый гость Садко в стрелецком кафтане и с подстриженной бородкой, держа в руках свои звончатые гусли, вслед за тяжелым бочонком червонного золота медленно опускался в театральный трап, в пучину океана, как бы скованного переливчатой музыкой Римского-Корсакова, протянув между нарисованным небом и картонным морем свои гусельные струны.

Все вокруг было тягостного штилевого цвета, и даже полная луна на еще дневном небе казалась нарисованной мелом. Спирт горел. Жаркий воздух, струясь вверх, наполнял монгольфьер, медленно расправлял складки папиросной бумаги. Монгольфьер сперва принял форму папской тиары, затем округлился, и пальцы детей ощутили, что он становится все более и более невесомым. Они стояли, повернувшись друг

к другу, образуя поднятыми руками воздушную арку, как в известной игре: «пáси-пáси-пасира́, золотые ворота, ключиком-замочком, шелковым платочком», — и слегка поддерживали самыми кончиками пальцев, чутких, как у слепых, уже совсем невесомый, полупрозрачный белый храм монгольфьера, поднимаемого вверх потоком нагретого воздуха. Миг божественного равновесия — и вот уже монгольфьер поднялся над протянутыми к небу руками и стал уходить в оцепеневшее небо, давая понять о своем движении вверх только тем, что он стал уменьшаться, оставаясь все таким же круглым, — и мальчик и девочка стояли, задрвав головы, а он все уменьшался и уменьшался, как бы оставаясь на одном и том же месте, — такой же белый, будто нарисованный мелом, как и священная облатка белой июльской луны, к которой он приближался до тех пор, пока воздушное течение не подхватило его и плавно понесло в открытое море по направлению к Констанце, к Турции, к Босфору, к Стамбулу, — все такой же целый, не тронутый невидимым, но тем более опасным огнем, который принужден был нести с собой, пока вдруг не накренился, и тогда гангрена огня с молниеносной быстротой съела папиросную бумагу, и монгольфьер превратился в нечто, освободив место в непомерно громадном небе, а проволочный кружок вместе с горячей ваткой упал в открытом море, где кувыркались дельфины, вспарывая кожаными ножами своих плавников синюю воду Понта Эвксинского, быть может, потому именно Эвксинского, что оно имело густой оттенок синьки...

Но все равно, чудо уже совершилось. Оно было как бы преддверием другого чуда — чуда богатства, которое сулили две буквы О и В. И хотя очень скоро Санька умерла от дифтерита, как это часто бывало с детьми, и ее узкий розовый гроб увез катафалк с серебряным крестом на крыше и со стеклянными — почти каретными! — фонарями по углам на второе христианское кладбище, где в нетопленной, промерзшей церкви гроб поставили на ужасный помост, покрытый старым черным ужасным сукном, побитым молюю, и рыдал хор мальчиков из сиротского приюта, наряженных в не по росту длинные кафтаны с дутыми серебряными пуговичками в виде бубенчиков, и синие клубы ладана уже касались белого личика покойницы с печатной молитвой на лбу, а потом на крышку гроба посыпалась земля, — но все равно ничто не изменилось в мире, потому что на месте Саньки явилась другая девочка с голыми полными ногами, в английских локонах, с красным лакированным «бильбоке» в руке, и Пчелкин спросил ее. «Девочка, как тебя зовут?» — а она ответила: «Тебе какое дело?» — и, пожав худенькими плечиками, ушла походкой принцессы, со скрипом затворив за собой калитку, а он дерзко крикнул ей вслед: «Сама мурло!», но в следующий раз они подружились, и он посвятил ее в тайну букв О и В, и они сидели во дворе за домом на досках и строили воздушные замки, охваченные страстной жаждой обогащения, а когда однажды Пчелкина увезли навсегда к бабушке в Екатеринослав, вместо него появился другой мальчик, и новая девочка поведала этому новому мальчику тайну загадочных букв, сулящую им сказочные богатства. Потом на смену новой девочке пришла другая — совсем новая, а на смену новому мальчику, утонувшему против большефонтанского маяка, явился другой — совсем, совсем новый, можно сказать новейший, и эти новейшие мальчик и девочка, как и прежние, продолжали жить мечтой о сокровище, спрятанном где-то рядом... Разные мальчики и разные девочки росли, вырастали, продолжая оставаться все теми же, первыми, единственными мальчиком и девочкой, и они стояли друг против друга возле старого ракушечникового забора с бутылочными стеклами наверху, и перед ними поблескивали

селитренным блеском давно-давно выцарапанные кем-то буквы О и В.

Эти буквы забывались и вновь всплывали где-нибудь в самом неожиданном месте — то большие, то маленькие, то кривые, то старые, еле заметные, то совсем свежие, как будто их вот только что — сию минуту — вырезали на стене неуловимые преступники, давая тайный знак своим сообщникам.

Не хочу сказать: «Между тем шло время», — потому что время никуда и никогда не идет: ни справа налево, ни слева направо, ни вверх, ни вниз. Оно гнездится где-то во мне самом, делая свои отпечатки в самых тайных клетках моего мозга, вернее же всего — оно просто рабочая гипотеза, абстракция, а я человек земной и верю только в мир материальный, который хотя постоянно изменяется, но всегда остается по самой своей сути единым, и вот однажды в этом материальном мире среди развалин разбомбленного и взорванного города на чудом уцелевшей могиле Канта чья-то недрогнувшая рука написала мелом по-русски:

«Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?»

А мальчик и девочка, так и не открыв тайны ОВ, претерпев тысячи изменений — качественных и количественных, — вдруг в конце концов из бедных русских превратились в богатых пожилых — как это ни странно. — французов, хотя, увидев со спардэка туристского теплохода забытый берег своей бывшей родины, очень взволновались, глаза их наполнились слезами — может быть, впрочем, лишь потому, что в их воспоминаниях это море, куда некогда упала черная железка сгоревшего монгольфьера, и этот берег были совсем другими: неизмеримо более прекрасными, почти сказочными, полными прелестных подробностей и поразительно прозрачных, почти светящихся красок, на самом же деле все оказалось гораздо беднее и некрасивее: новороссийская степь, которую они видели в своих снах какого-то драгоценного, аметистового цвета, в лучах заходящего солнца, и резко очерченные высокие глиняные обрывы, сотни верст песчаных пляжей и отмелей, просвечивающих сквозь малахитовую воду, воображаемые виноградники, их античные листы с бирюзовыми пятнами купороса, — все это превратилось в низкую полосу черной земли, протянувшейся над невыразительной морской водой, и бедный солнечный закат некрасивого, небогатого, какого-то ветрено-красного, степного цвета под бесцветным небом... И не слишком длинный силуэт города, некогда казавшегося лучшим в мире...

Ну и так далее — как любил говорить председатель земного шара Велемир Хлебников, прочитав начало своей новой поэмы и вдруг потеряв к ней всякий интерес...

Уже давно мир охвачен опасной жаждой обогащения.

Лишь в одном месте на берегу моря они увидели две ноздреватые скалы, в подводной части поросшие зеленой бородой тины и водорослей. Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. Яма между ними, наполненная тихой морской водой, казалось, была та самая, в которой некогда девочка Санька училась плавать. Впервые, со сладким ужасом, голая, худая, покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи, девочка опускала сначала одну ногу, потом другую в мелкую воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка, а дальше начинались колючие камни и дно стремительно понижалось. Свежая морская вода была так прозрачна, что сквозь нее в глубине во всех подробностях виднелась растительность подводного царства.

Девочка на цыпочках начала входить в воду; пальчики ее ног то натыкались на колючие камни, обросшие гнездами старых мидий, то скользя в зарослях водорослей, сквозь которые стремительно пронеслись стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты и скрываясь из глаз с молниеносной быстротой. У нее захватывало дух от страха каждый раз, когда она начинала ощущать, как уровень воды ползет вверх по ее телу, сначала до шершавых колен, потом до пупка, потом по ребрам до крошечных, совсем кукольных сосков, до горячих подмышек, и она, чтобы не замочить сухих рук, покрывшихся гусиной кожей, старалась держать их выше уровня поднимающейся воды и с удивлением рассматривала нижнюю половину своего тела, голубого и нежного, почти не преломлявшегося сквозь слой прозрачной воды. Все ее косточки были легки, как у птицы. Наконец вода подступила ей к горлу, коснулась ее узкого детского подбородка. Боясь захлебнуться, она плотно закрыла рот и стала дышать носом и в этот же миг почувствовала, что пальчики ее ног больше не касаются дна, а как бы висят среди полупрозрачных серых креветок, мальков и всего этого японского пейзажа подводного царства. Уровень воды перестал подниматься, остановившись примерно на уровне ее рта. Она осторожно вздохнула, испытывая чувство невесомости, как тот монгольфьер, который некогда на миг неподвижно повис над поднятыми к небу руками мальчика и девочки, а потом стал удаляться по направлению к предвечерней июльской луне, как бы нарисованной мелом в летаргическом небе. И теперь снова — уже не она, не ее тело, а лишь ее не имеющая возраста кочующая душа — стояла около каменной ямы, где впервые в жизни испытала наслаждение невесомости, вспоминая, как ее уже теперь не существующее детское тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной и стало воистину частью мироздания, как любая звезда, как любой красный или белый карлик, как любой атом космической пыли, как альфа-частица, как позитрон, как любой продукт распада, происходящего в миг превращения одного элемента в другой...

А уж потом не то... совсем не то...

Старая богатая дама в темно-зеленых очках заплакала и стала вытирать щеки шелковистой бумажкой «kleenex», которую вынула из сумочки, — она всегда брала с собой во время автомобильной поездки небольшой запасец этой бумаги, которой так удобно было вытирать руки, стирать дорожную пыль со своих нежных щек.

— Я здесь когда-то училась плавать, — сказала она, — здесь учились плавать все наши девочки.

— А меня, — ответил он, — тоже учили плавать где-то здесь, поблизости, в Сухом лимане.

Ведь, в сущности, он и был я. Во всяком случае мы оба были созданы из одних и тех же элементарных частиц, но только в различных комбинациях.

— Здесь было село Александровка. Но я его что-то не вижу. Ну что ж, поехали дальше? Давайте. Я сидел на корме шаланды в матроске, в соломенной шляпе, в чулках и башмаках, как приличный городской мальчик. «Умеешь плавать?» — спросил студент. «Не умею», — сказал я. Тогда он просто взял меня за шиворот и швырнул, как щенка, в теплую, совершенно пересоленную — так называемую рапную — воду лимана, которой я нахлебался на всю жизнь... Но выплыл... И плыл за лодкой по-собачьи, пуская пузыри и рыдая, пока студент не втащил меня в лодку, причем я ободрал не только свою матроску, но и кожу

на груди. Зато без хлопот научился в десять минут плавать. До сих пор у меня в горле эта едкая, целебная соль Сухого лимана.

Они поехали посмотреть это место, но вместо него нашли громадный новый грузовой порт — скопление железных кранов, которые в беллетристике обычно сравнивают с клетчатыми жирафами, стальными страусами и тому подобным, что хотя и довольно похоже, но лично на меня уже не производит никакого впечатления, как давно отекавшая и уже сильно потертая разменная монета. Пусть ею расплачиваются другие. В крайнем случае, если уж вам так хочется: морды морских коньков.

Интуристы велели поворачивать и поехали обратно в город мимо кукурузных полей, новостроек и каких-то космических ракетных установок, скрытых в пыльной зелени акаций. Уже потянулись пригороды, как вдруг в глаза бывшего мальчика и бывшей девочки бросились знакомые, но давно уже забытые буквы О и В, совсем новые, только что вырезанные на ракушниковых камнях какого-то глухого забора с битым стеклом наверху.

Ошеломленные Месье и Мадам схватились за руки, как дети.

— Ты видишь? Ты видишь?..

Самое поразительное заключалось в том, что под свежесваренными буквами в небольшой траншее сидели какие-то люди. Не могло быть сомнения, что именно они только что и нацарапали эти буквы.

— Подождите! Остановитесь! — взволнованно крикнул Месье Бывший Мальчик водителю.

Они вышли из машины и по вскопанной земле неумело пошли к траншее.

(В сущности, им уже не нужны были никакие сокровища; они и так были сказочно богаты; но старая мечта вдруг с новой силой встала перед ними, опьянила, привела в смятение, словно обварила их души кипятком.)

Что же они увидели?

Глубоко в траншее сидели двое: чумазые юноша и девушка, оба в старых рабочих спецовках с новенькими значками какого-то фестиваля; вокруг них валялись черные слесарные инструменты и на разостланной газете «Черноморская коммуна» стояла бутылка кефира — ярко-белого, как в первый день творения, с еще более яркой зеленой крышечкой, на которой был оттиснут день его появления на свет: вторник, — и, разумеется, два бублика. Неожиданно увидев людей, стоящих во весь рост над их ямой, они в замешательстве отпрянули друг от друга — небось целовались! — и залились темным румянцем.

— Простите, мы вам, кажется, помешали завтракать, — на хорошем русском языке вежливо сказал Бывший Мальчик. — Приятного аппетита. — Милости просим, садитесь с нами, — бойко сказала девушка, поправляя косыночку. — Мерси, мы уже завтракали, — сказала Мадам Бывшая Девочка. — Не можете ли вы нам сказать, кто написал эти буквы ОВ? — Ну мы, а что? — спросил парень и бдительно насупился. — Что же это обозначает? — То и обозначает. А вы кто такие? — Интуристы. — Из какой, я извиняюсь, страны? — Из Франции. — Ну, из Франции — это еще ничего. Интересуетесь, что обозначают эти буквы ОВ? Пожалуйста. Могу сказать, в этом нет никакой тайны: одесский водопровод. Каждый раз делаем эти отметки О и В, чтобы всегда было известно, где проложены трубы, чтобы даром не ковырялись другие чудаки.

Бывшие Мальчик и Девочка посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись.

— Как просто! — воскликнула она.

Штучка посильнее Фауста Гёте...

Они взялись за руки и некоторое время стояли перед ракушниковой стеной своего детства, с крупными буквами, которые вдруг потеряли для них всякий интерес, как, впрочем, и все в мире, лишенное тайны, однако же они — эти некогда великолепные буквы — остальную жизнь продолжали преследовать их, время от времени вдруг возникая в воображении, иногда без всякой видимой причины, как, например, однажды совершенно неожиданно Месье Бывший Мальчик увидел их внутренним взором как бы рядом с собою, когда он поднимался по старой винтовой парижской лестнице, сначала по ковровой дорожке, кое-где протертой до основы, а потом уже без дорожки, прямо по деревянным, музыкально поскрипывающим ступеням и — в соответствии с жанром психологической новеллы — «ловил себя на мысли» и так далее, в то время когда он никогда ни на чем себя не ловил, а просто привычно морщился от сладкого химического запаха дезодораторов, незаметно расставленных кое-где на лестнице, чтобы хоть немного отбить застоявшиеся кухонные и другие еще более неприятные запахи, вызывавшие в человеке непривычном легкую тошноту; однако дезодораторы не только не устраняли вонь, но усугубляли ее, доводили до непереносимой приторной мерзости, подобно тому как нечистоплотная красавица не может смягчить запах своего тела, натираясь под мышками герленовскими духами, абстрактной смесью амбры, мускуса и болгарского розового масла. Скверный запах на лестнице Месье переносил стойко, как должное, твердо зная, что есть люди очень богатые, менее богатые и просто бедные, которые живут, как им и полагается, в бедных кварталах, где по железным эстакадам каждую минуту со страшным шумом проносятся поезда метро, а под эстакадами всегда царит сырой сумрак и бетонные стены воняют мочой и на мокрой черной земле попадают окаменевшие собачьи экскременты, почему-то чаще всего принадлежащие таксам, — такие же длинные, узкие, напоминающие бледные стручки перезрелой фасоли.

Тайные свидания. Рассказ в духе Мопассана.

Она открывала ему опрятную лакированную дверь, не дожидаясь звонка, пропускала в свою комнату и через полчаса уже провожала его по коридору обратно до дверей, придерживая голой рукой на горле пестрый халатик, а он небрежно, хотя и не без удовольствия, целовал ей что попало — полный локоть, щеку или шею за ухом — и говорил ей: «А бьенто, шери», — на что она неизменно отвечала ему: «А бьенто, месье мон ами», — не решаясь назвать его просто «мон ами» или еще проще — «шери», на что, по парижским неписаным законам, имела полное право, разумеется, наедине.

Обычно в таких случаях принято оставлять что-нибудь на камине, но он изменил этому правилу, деликатно кладя одну или несколько очень крупных ассигнаций на письменный столик, где иногда находил наспех брошенные школьные учебники дочери своей любовницы, которая всегда была или в школе, или на это время уходила к подруге, и когда он подсовывал деньги или узкий голубой чек под учебник алгебры или под изящный светящийся внутри электрический глобус, его подруга — назовем ее Николь — довольно холодно благодарила его коротким: «Вы очень

любезны». Она была довольно привлекательна, имела ровный, покладистый характер и никогда не обременяла его никакими просьбами, а тем более требованиями, видимо, довольствуясь тем, что он ей давал, и не делала ни малейших попыток узнать, кто он такой, хотя и подозревала — по разным мелочам его туалета, — что он богат, даже, может быть, очень. Она знала свое место и никогда не пыталась перешагнуть черту, которая их разделяла. Самое же главное — она была добрая женщина и не старалась казаться тем, чем она не была. Догадавшись, что у нее есть дочь-школьница, он спросил: «Но где же ваш муж, Николь?» — «Его нет», — ответила она коротко, и он больше не стал ее ни о чем расспрашивать, главным образом потому, что ему это было совершенно безразлично. В начале их связи, которую он, в сущности, даже и не считал связью, он сказал ей:

— Вы не должны на меня сердиться, Николь, как-никак, я уже старик.

Не опуская ресниц, она сказала:

— Каждому столько лет, сколько он сам себе дает. Вы, месье, совсем не кажетесь мне старым.

— Мерси,— ответил он на ее любезность.

Как это ни странно, Мопассан до сих пор не вполне признан во Франции.

Зачем она ему была нужна? Просто он давно уже привык иметь кого-нибудь на стороне. Для него не представляло никакого труда взять себе любую красавицу из тех, которые самой природой были созданы для богатых стариков его круга. Они попадались на его пути всюду. Но по всем своим привычкам он был человек умеренных вкусов. Все его тайные подруги были женщины простые, незаметные. Одна сменяла другую, а эту он получил от своей прежней любовницы, которой посчастливилось найти себе мужа. Николь была всегда к его услугам, стоило только ему заблаговременно позвонить по телефону. Вариант отельчиков и студий она отвергла, не желая себя компрометировать, и ему это понравилось. Понравилось ему также и то, что она не сидела дома сложа руки, а работала, так что дни и часы свиданий приходилось сообразовывать с ее рабочим днем. Однажды, через несколько лет, она объявила ему, что завтра будет занята, так как ее дочь выходит замуж, и прибавила, как бы для того, чтобы предупредить его подозрения, что венчание состоится в церкви Сент-Огюстен на бульваре Мальзерб.

— Вот как! — воскликнул он. — Это очень шикарно!

— Да, ее берут в хорошую семью, — ответила она не без скромной гордости.

Ее можно было понять: одна, без мужа, она все-таки сумела дать дочке образование, поставить на ноги и удачно выдать замуж.

...Многие, особенно во Франции, считают Мопассана «мове». Может быть, именно поэтому я его так люблю: мовист! Кстати: рассуждая о женщинах, старик Карамазов тонко заметил: «Не презирайте мовешек» или «Не пренебрегайте мовешками» — что-то в этом роде, уже не помню...

Ему захотелось посмотреть на эту свадьбу (а может быть, проверить свою любовницу), и он поставил свою машину на стоянке возле церкви, а сам вмешался в толпу любопытных перед церковной оградой. Судя по тому, что несколько дам в толпе были в настоящих норковых шубках, свадьба была богатая. Он едва не опоздал. Таинство только что кончи-

лось. Гости выходили из церковных дверей. Три маленькие девочки с распущенными волосами, в гранатовых бархатных платьях испанских принцесс с длинными тяжелыми шлейфами, не без труда преодолевая каждую ступеньку, спускались по лестнице. Самая маленькая, совсем крошечная, с трудом приподнимала ручками грузную матерью, для того чтобы освободить ножки в белых лайковых башмаках, но окончательно запуталась в шлейфе и уже готова была зареветь и сесть на ступеньки, с отчаянием протягивая ручки в длинных белоснежных перчатках к пожилой нарядной даме, которая поправила ей подол и под общий смех свела за ручки маленькую инфанту вниз по лестнице, в то время как из обитых сукном церковных дверей, из холодного мрака, в глубине которого пылали золотые костры свечей, на ослепительно-яркий парижский полдень вышли присутствующие при таинстве, среди которых Месье не без труда узнал немного смущенную Николь; она была в шляпке, белых перчатках, старалась держаться на втором плане, очевидно, стесняясь, что попала в такое избранное общество, в то время как отец жениха, красивый старик в визитке, с красной розеткой Легиона и цветной ниточкой Сопротивления в петлице, в полосатых брюках и серых гетрах — точно такой, как в начале века в иллюстрированных журналах было принято изображать дипломатов,— все время старался оказывать своей новой родственнице, матери жены его сына, знаки внимания, как бы подчеркивая, что хоть она и женщина другого общества, всего лишь скромная лаборантка, без мужа, но что же делать? — что же делать! — с этим приходится мириться, тем более что она держится превосходно, скромно, ненавязчиво и, надо надеяться, не будет злоупотреблять своим новым положением, жаль только, что отсутствует ее муж, отец невесты — а теперь уже и жены,— потому что два отца, одинаково одетые в визитки, и две матери, примерно в одинаковых шляпках, всегда придают свадебной процессии известную респектабельность, семейную законченность, особенно когда так удачно одеты маленькие сестренки и кузины жениха в своих длинных бархатных платьях, с распущенными волосами — настоящие испанские принцессы,— озаренные этим сверкающим парижским полуднем, когда немного туманный горячий воздух пронизан по всем направлениям зеркальными стрелами проезжающих машин и то и дело — от парка Монсо до Мадлен — слышится острый визг тормозов,—и он деликатно поддерживал Николь под локоть рукою в замшевой перчатке из самого лучшего перчаточного магазина на авеню Оперá. И вот наконец в открытых дверях церкви, где в черной глубине дрожали огни свечей, появились жених и невеста, оба молодые, строгие, он в очках и белом галстуке, она в коротком платье, в нарядной белоснежной фате — тоже чересчур короткой,— даже как будто немного легкомысленной, но необыкновенно идущей к ее русой, небрежно постриженной под мальчика голове — на вид жесткой, а на самом деле, если потрогать, мягкой, как шелк; она держала в руках белые, еще не вполне распустившиеся розы от Баумана, и ее круглое серо-зеленоглазое лицо с густыми мальчишескими ресницами казалось типичным лицом хорошей прилежной сорбоннской студентки из числа тех, которые всегда пишут какую-нибудь диссертацию и временами проводят вечера в Куполе, где в веселой компании едят шестифранковый луковый суп в маленьком закопченном горшочке и пьют красное «ординер» в очень умеренном количестве, всего два-три глотка за весь вечер.

Пока свадебная процессия рассаживалась за оградой по своим автомобилям, а зеваки снаружи делали, как водится, различные замечания и обменивались мыслями по поводу свадьбы, он потерял из поля зрения Николь и думал о ее дочери, удивляясь, как долго уже тянутся эти тайные свидания с ее матерью и вообще как быстро летит время. И

представлял себе, как молодые муж и жена поедут в свадебное путешествие по-студенчески: по каким-нибудь общеизвестным туристическим маршрутам, как они будут спать в больших отелях и в семь часов утра съедят свой средневропейский маленький завтрак — пти дежёне — в постели, пачкая гончайшие линобатистовые, скользкие наволочки абрикосовым джемом, и как они будут подниматься пешком на какую-нибудь лесистую гору, осматривать замок, равнодушно трогать руками средневековую мебель и ходить рядом, прижавшись друг к другу; как он будет забрасывать себе на шею, как коромысло, ее крепкую, покрытую золотистым загаром руку, а она будет обнимать его за талию, и они будут целоваться — он бородатый, в очках, нагруженный фотоаппаратами и транзисторами, в ярко-красном свитере коль-рулян, а она в хорошо сшитой, складенькой мини-жюп,— однако целоваться не так уж часто и не так уж откровенно, как все эти разбогатевшие неженатые западные немцы, которых расплодилось великое множество, как будто бы их совсем и не побили, а наоборот — они всех отлупили и победили и теперь пользуются плодами своей победы. И они — он и она — через несколько дней поедут в тесном туристском автобусе по каменистой дороге вдоль болтливой болгарской речки, которая, пробиваясь сквозь горные хребты, стремительно, с шумом бежит в Эгейское море, и над ними низко пролетит громадный долговязый аист, свесив свои зубчатые крылья и длинные ноги. А быть может, уже в другой стране, в Молдавии, их повезут на экскурсию, где они увидят в холодных монастырских катакомбах среди груды других черепов череп легендарной Калипсо, гречанки легкого поведения, с которой целовался Байрон и которой, как говорят, великий русский поэт посвятил стихотворение «Черная шаль»,— череп, который теперь в отличие от других черепов лежит на особом аналое посреди ледяного погребца и его можно взять в руку, как шкатулку или, вернее, как пустой панцирь черепахи, на котором какой-то ученый румынский монах вырезал мемориальную надпись, и они — он и она,— лежа вечером в постели, будут представлять себе, какой была из себя эта обольстительная гречанка — черноглазая, страстная, с горячим дыханием,— и как она после ряда приключений, и светских скандалов в русском аристократическом обществе Кишинева наконец уединилась, выдав себя за юношу, в Румынии, в Нямецкой обители, а потом умерла, и только тогда, при омовении тела, обнаружилось, что молодой послушник — женщина...

Месье старался представить их во всех тех местах, которые он сам уже посетил отчасти как любитель путешествовать, отчасти по коммерческим делам, которые у него случались почти во всех частях земного шара, а в последнее время также в социалистических странах.

Одно время у него появились крупные интересы в Румынии, и он соединил приятное с полезным.

Если бы он был великим живописцем, то, несомненно, написал бы большое полотно в духе флорентийских фресок Мазаччо или Пьетро Перуджино, а может быть, даже и самого Эль Греко. И назвал бы его «Крещение младенцев в Констанце»; в той самой Констанце, до которой так и не долетел детский монгольфьер, сгорев в июльском предвечернем небе незадолго до первой мировой войны по дороге в Истрию, в Трою, в Элладу, в Афины, над которыми вечно царит мраморный ковчег Парфенона, терзая человеческую душу своей неслыханной красотой.

Их было четверо, этих румынских младенцев: три мальчика и одна девочка. Они были крепко завернуты в белые парадные одеяльца и

лежали на руках у своих крестных матерей, напоминая голубцы или даже плацнды с творогом. Рядом с крестными матерями стояли крестные отцы, напоминая стражей, держа в руках вместо поднятых мечей удивительно большие палки крестильных свечей, украшенных атласными бантами и букетиками живых цветов. Об этих крестильных свечах следует сказать особо. Они были сделаны — скорее скатаны, чем отлиты — из неестественно белого воска, более напоминающего нутряное сало, чем продукт, вырабатываемый трудолюбивыми добруджскими пчелами, которых здесь — кстати сказать — возят на грузовиках, и расставляют ульи возле поля, где начало что-нибудь цвести, а по окончании цветения увозят в другое место, так что пчелам не приходится далеко летать, и они работают со всеми удобствами, имея возможность тратить свою энергию, не только добываясь количества, но также и качества.

Необожженные льняные фитили этих свечей были сильно выпущены в виде неразрезанной петли, как того, может быть, требовал церковный ритуал.

Окруженные родственниками, просто зеваками, а также иностранными туристами, все эти люди толпились посередине церкви, составляя живописную группу, в которой преобладали парадные цвета упомянутых белых детских одеялец, белых свечей, до синевы белых мужских нейлоновых сорочек, а также смуглые лица крестных матерей, их маслинново-черные прически, так хорошо рифмующиеся с новыми черными брюками, черными пиджаками и оранжевыми, немного волосатыми руками мужчин.

Путешественников-молодоженов не могло не волновать зрелище крещения только что появившихся на свет малюток. Она с нежной, лучезарной улыбкой несколько застенчиво положила руку на плечо своего мужа, который, уже как бы чувствуя себя отцом, начинал возиться со своими фотоаппаратами, чтобы снять младенцев. Один из них уже немного перерос грудной возраст и вертелся на руках у крестной, которая с опаской поглядывала на свое праздничное платье. Вокруг в сумраке летнего полдня матово золотились иконы, в несколько рядов, сверху до низу, покрывая высокие стены, колонны, двери притворов и царские врата с красной шелковой завесой, просвечивающей сквозь червонные завитки деревянной резьбы, кое-где озаренные скупыми огоньками свечей. Это была не слишком старинная православная церковь, известная в Констанце тем, что ее расписал весьма талантливый местный художник, человек бесшабашной жизни. Так как по румынской восточнохристианской традиции, пришедшей сюда из Византии, храмы расписываются не только внутри, но также и снаружи пестрыми многофигурными фресками, на что обычно уходит несколько лет, то наш живописец нашел для себя самым удобным на все время работ переселиться в церковь вместе с женой, детьми и всеми своими подручными учениками, которые внутри храма не только ели, спали и выпивали розовое добруджское вино, имеющее тот недостаток, что оно несколько более сладковато, чем бы следовало, — вроде «анжу розе», — что не мешает ему, как говорят, «очень хорошо давать себя пить», — но также жарили мясо на шкаре, раскладывая уголья прямо на каменном полу — к ужасу и тайному восхищению церковной общины.

Больше ничем этот кафедральный собор не знаменит, разве еще тем, что именно здесь венчались родители знаменитой современной художницы Франчески Буковалэ, некогда расписавшей смелыми фресками местный спортивный зал, а теперь приведенной сюда, в церковь, нас, своих московских друзей. Говорят, сохранилась фотография, снятая за несколько лет до катастрофы (имеется в виду, конечно, первая мировая

война), на которой изображены родители Франчески; они стоят на ступенях церкви — после бракосочетания, — он во фраке и шапоκляке, она в длинной густой фате с флёрдоранжем в волосах и букетом роз в руках, туго обтянутых по самый локоть белыми лайковыми перчатками, и перед ними как бы открывается Рай, исполненный вечного счастья, долголетия и всяческого благополучия, в то время как на заднем плане довольно разборчиво получился кусок фрески — фрагмент Ада, — написанный на наружной церковной стене: огненно-суриковая река, охваченная сернистым дымом, — по всем видимостям, геенна, фигурки чертей, волокущих в эту самую геенну различных грешников, а также наглядные, почти научно-популярные, как в детской азбуке, изображения семи смертных грехов, из которых особенно удачно вышел на фотографии грех прелюбодеяния: двое довольно прилично одетых любовников на высокой византийской двуспальной кровати с надежной спинкой, смятые шелковые одеяла, а черти с хвостами, рогами, копытами и гнусными свинными рыльцами, угрожая трезубцами, уже собираются тащить бледных от ужаса прелюбодеев прямо в огненную реку, протекающую поблизости.

Я уже не помню последовательности отдельных моментов Крещения, да это и неважно, так как хронология, по-моему, только вредит настоящему искусству и время — главный враг художника.

Знаю только, что хора не было, и это очень обедняло торжество, так как молодой человек в штатском, стриженный, бритый и даже в небольших испанских бачках, — псаломщик, заменяющий хор, — исполнил свои песнопения гнусаво, хотя и самоуверенно; к счастью, он горпился и, по-моему, пропустил добрую половину текста — что называется, пятое через десятое. Он уже сноровисто распорядился всей церемонией, давая указания, куда кому идти и где стоять; он же в надлежащее время вынул из бокового кармана парикмахерские ножницы и привычным движением обрезал необожженные фитили крестильных свечей, расправил их пальцами, подровнял, зажег, и в церкви как бы сразу прибавилось радости. Священник и дякон в быстром, бодром темпе делали свое дело, однако относились к службе добросовестно, и если полагалось прочесть из Евангелия, скажем, две страницы, то батюшка читал их полностью, от строчки до строчки, не делая поблажек восприимчикам и зевакам, которым не терпелось увидеть поскорее самый торжественный момент — опускание младенцев в купель. Серебряная и, как водится, довольно помятая купель стояла тут же, рядом со столиком, и вода в ней таинственно поблескивала, слегка позлащенная отблесками свечей.

Франческа шепотом высказала предположение, что, наверное, в этой самой колченогой купели крестили и ее и что с тех пор прошло уже несколько войн и одна большая революция, а купель была все та же, лишь немного больше помялась.

Франческа оказалась сентиментальна, и слезы блестели на ее щеках и на длинных ресницах.

Впечатляющим был момент, когда под руководством псаломщика крестные отцы с белыми дубинами своих нарядных свечей и крестные матери с младенцами на руках выстроились в шеренгу, повернувшись лицом к распахнутым церковным дверям, за которыми угадывался знойный портовый город с его музеями, минаретами, генуэзским маяком, с памятником великому римскому поэту-изгнаннику Публию Овидию Назону, с археологическими раскопками на том месте, где в древ-

ности находился город-государство Томы, некогда основанное пришельцами из Милета, с торговым центром эпохи императоров Константин, с площадью и торговым базаром, с крупной городской набережной за площадью Овидия, где совсем недавно был обнаружен фрагмент очень хорошо сохранившейся мозаики, обломок головы Гермеса, — все это у входа в громадный порт, за которым великолепно простиралось Черное море — Понт Эвксинский — и сбоку припека виднелась маленькая прямоугольная гавань для небольших судов, у входа в которую грязные волны сбились в кучу и топтались на месте, как отара овец у тесных ворот загона, как бы подтверждая тревожные, плохо сформулированные мысли Осипа о том, что «проза асимметрична, ее движения — движения словесной массы — движение стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза — разнобой, разлад, многоголосие, контрапункт...».

И вот началась церемония Изгнания Сатаны, быстро и умело проведенная бритым батушкой в старой глазетовой ризе с круглым крестом, рельефно вышитым серебром на горбатой спине. В тонких очках, докрасна натерших его хрящеватую переносицу, с кудрявой серебристой темной шевелюрой, с живыми глазами, он скорее напоминал не апостола, а школьного учителя — строгого, но справедливого, который публично выгоняет из класса провинившегося ученика. Крестные матери прилежно повторяли за ним гневные слова, обращенные к изгоняемому из младенцев Сатане, и плевали в малюток, причем это было отнюдь не символическое плевание, а самое что ни на есть подлинное, старательное — вроде того, как плюются между собой поссорившиеся девочки, так что обильная слюна восприемниц вполне материально текла по красным, сморщенным личикам младенцев. Затем вслед за не на шутку рассердившимся священником они трижды повторили: «Изыди, Сатана! Изыди, Сатана! Изыди, Сатана!» — а священник при этом непреклонным жестом указывал на распахнутую дверь, так что Сатане ничего больше не оставалось, как покинуть храм, и я живо предстал себе изгнанного Сатану, который в призрачно-развевающихся одеждах, опозоренный, оплеванный и бездомный, слоняется по всей Добрудже, ища, в кого бы вселиться.

...По ее густым темно-зеленым кукурузникам, по бесконечным пшеничным полям — какого-то особого оранжевого цвета, какого я больше нигде не встречал, — по отлогим холмам и длинным степным, почти незаметным долинам, где так удобно было разбивать коновязи и прятать артиллерийские парки, обозы первого разряда и передки батарей, в то время как трехдюймовочки, укрытые за обратными склонами холмов, со звонким тьюканьем, выбрасывая красные кинжалы пламени, стреляли за сухой степной горизонт и с наблюдательного пункта, размещившегося в копне пахучей соломы, стоя наверху, как аист, я видел в цейсовский бинокль, между его плюсами, черточками и минусами, как, подобно коробочкам хлопчатника, в воздухе лопались наши шрапнели, в то время как походные колонны генерала Макензена из-за горизонта наступали на нас, опускаясь в лощины и вновь показываясь уже гораздо ближе, на каких-то по-турецки сухих холмах, таща за собой толстые пушки крупных калибров, и все это было так красиво и так грустно, и так хотелось получить легкое — о, совсем, совсем легкое! — ранение и получить георгиевский крест и героем возвратиться домой — в страну ОВ, — в знойный город, где на бульваре вокруг черноголового Пушкина уже начали желтеть клены и платаны, в цветниках горели винно-красные канны с чугунно-синими толстыми листьями, а на гори-

зонте весь день сонно маячили серые паруса заштитевших дубков с арбузами из Голый Пристани, и сердце мое — а может быть, это был уже не я, а ты — Месье Мой Друг и Мой Двойник — но это не имеет значения, — и сердце Мое — или Твое — изнывало в ожидании вечера, предчувствуя свидание, которое наконец успокоит душу, взбудораженную жаждой любви, которая одна могла нас всех спасти от смерти, но так и не спасла; вернее сказать, спасла одного из нас...

Между тем дьякон уже опрашивал крестных матерей и, наклонившись над столиком, заполнял метрики младенцев, те самые метрики, которые, весьма вероятно, в некий час пройдут через опытные руки воинского начальника и будут фигурировать в канцелярии призывного пункта в День Всеобщей Мобилизации, а затем вернуться в семью в казенном пакете с сургучными печатями.

Но торжественная минута приближалась, наступила пауза, легкое замешательство: крестные матери, наклонившись над столом, вынимали из одеял и освобождали из теплых сырых пеленок крошечные тельца слегка заперевших малюток, и вот священник, деловито засучив рукава и поправив очки, приступил к таинству: он проворно брал горячего младенца, укладывая его себе на правую руку так, что личико оказывалось надежно прикрытым ладонью священника, и затем — ногами вверх, головой вниз — гоп! — глубоко окунал ребенка в купель, и в тот миг, когда казалось, что младенец захлебнулся, вытаскивал его из купели, поворачивал вверх головкой, по которой ручьями, как с утопленника, текла вода, возносил вверх, к небу, и снова головой вниз опускал в купель до самого дна, и так три раза — пока наконец ребенок снова не попадал в теплое одеяльце крестной мамы, быстро превращавшей его опять в плацинду. Когда же очередь дошла до девочки — самой крошечной из всех детей, — то между вторым и третьим погружением в купель священник сделал некоторую довольно значительную паузу, высоко над головой держа крошечную голенькую будущую даму, с которой ручьями текла вода, как бы раздумывая, стоит ли ее вообще крестить, достойна ли она этого — крошечное существо, похожее на очищенную раковую шейку, — как бы не вышедшее еще из утробного периода, — но затем махнул рукой и с улыбкой всепрощения окунул ее в третий раз, под одобрительные восклицания прихожан. Вообще каждый раз, как из воды появлялся младенец со своими слипшимися волосами, кисло зажмуренными глазками и ртом, открытым, как у золотой рыбки, толпа раздражалась сдержанным одобрительным смехом, и я, увидев личико одного из младенцев с головой продолговатой, как дынька, увидев кисло зажмуренные глазки и горестно сжатый лобик, — вдруг вспомнил, как лет около семидесяти тому назад крестили моего младшего брата Женечку, ставшего впоследствии знаменитым Евгением Петровым, и я увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника, с мокрыми слипшимися волосиками, с дынькой крошечной головки, увидел страдающе зажмуренные кислые глазки китайчонка, по которым струилась вода, открытый булькающий ротик, судорожно хватающий воздух, — и острая, смертельная боль жалости пронзила мое сердце, и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женя, засыпанный быстро увядшими полевыми цветами в наскоро сколоченном из неструганных досок случайном военном гробу, и взвод солдат стрелял из винтовок в воздух, отдавая ему прощальный салют,

знак воинской почести среди этой донской степи, где в разных местах валялись части разбившегося «дугласа», а на горизонте кое-где вставал дым горящих хуторов, и там уже кружились немецкие «мессершмитты».

Под пенью псаломщика, предводительствуемые священником, восприемники со своими пылающими гигантскими свечами трижды обнесли своих младенцев вокруг уже праздной купели, а из-под серебряной крышечки кадила, звящего всеми своими серебряными цепочками, вылетели клубы бальзамически-едкого дыма тлеющего росного ладана, покрывая все вокруг мглистыми лиловыми облаками.

Художница Франческа стояла у распахнутых дверей собора, пропуская мимо себя процессию крестных матерей, которые бережно засовывали под одеяльца окрещенных младенцев метрические свидетельства, где были навечно записаны их имена: Пауль, Петру, Христиан и девочка Даниела — такая крошечная, что среди белоснежных кружев с трудом можно было рассмотреть ее личико величиной с грецкий орех.

Франческа была в коротеньких брючках, туго натянутых, синих, в мелкую розочку. На ней был грубо вязанный толстый свитер с короткими рукавами. Ее полуобнаженные тонкие жилистые, как бы копченые коричневые руки художницы, которая, видимо, также занимается скульптурой, были украшены толстыми серебряными браслетами, а на пальцах горели перстни с крупными янтарями, и ее кокосовое лицо напоминало музейный муляж как бы нахлобученной конической шапкой иссиня-черных конских волос — лицо пугающее и вместе с тем волшебно-прекрасное своими янтарно-коричневыми, живыми, добрыми, женственными глазами, полными любви и счастья, — говорящее моему воображению о пальмовых циночках, кокосах, океании, может быть, даже о древней культуре ацтеков, о серебряных рудниках Мексики.

Она была мексиканским божеством, переселившимся на Сен-Жерменский бульвар в кафе «Де Маго».

Скоро новокрещенных младенцев разнесли по всем четырем сторонам Констанцы, где их уже ожидали родители — настоящие отцы и настоящие матери, хлопочущие у праздничных столов, где можно было заметить бутылки добруджского розового, импортного итальянского кампари, графины цуйки, запотевшие голубые сифоны содовой, только что вынутые из холодильников, ну и, разумеется, дымящуюся мамалыгу с четырьмя сортами закусок: соленой и сладкой брынзой, шкварками и жареным карпом из дельты Дуная.

Некоторых, более зажиточных, младенцев везли на такси, и так как свечи не помещались внутри, их выставили в открытые окна наружу, как стволы корабельной артиллерии.

Город снова впал в полуденное оцепенение, и отвесные лучи июльского солнца падали на все его археологические памятники — громадные сосуды из красной глины для зерна, вина и масла, остатки крепостных стен, мраморные капители античных колонн и обломки скульптуры — руки, ноги и торсы, — водруженные в разных местах города на железных полках неутомимым археологом Канараке, страстным поклонником древней культуры Левого Понта, другом Кув де Мюрвиля и восхитительным собеседником, одержимым благородной идеей превратить родную Констанцу в древние Афины или по крайней мере в Неаполь; во всяком случае, кажется, по его инициативе на набережной против знаменитого на все Черное море казино выстроен аквариум вро-

де неаполитанского аквариума на Виа Караччиоло, где в темном коридоре в стеклянных ящиках, эффектно освещенных скрытыми электрическими лампочками, я долго в этот знойный полдень любовался обитателями Черного моря и дельты Дуная, проплывающими мимо меня за толстыми стеклами на фоне марсианского пейзажа подводного царства. Там я лицом к лицу столкнулся с мучительно знакомым молодым осетром, который смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукинсына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом аквариума...

Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыба голова.

Мы были окружены турецкими названиями: Меджидие, Бабадах, Байрам-Деде, Исакчи, Мэчин, Таравердиев,— а между тем Черное море, которое, если верить энциклопедическому словарю, является всего лишь заливом Средиземного, подобно тому, как соловей является не более чем маленькой птичкой из семейства воробьиных, гнало крупную красивую волну на кессоны нового мола, взрывалось, как гейзеры, и крепкий ветер нес нам в лицо тучи соленых брызг, и мы гуляли по мокрой набережной возле казино, попирая ногами мозаичные изображения крабов и морских коньков, а неистовое добруджское солнце продолжало палить обнаженную голову римского поэта, о котором другой изгнанник сказал, что, «мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью в походе варварских телег»...

Почему лучшие мировые поэты всегда изгнанники?

...Затем, обнявшись, молодожены стояли в маленьком провинциальном археологическом музее перед плексигласовой витриной, где на черном бархате лежал венец чистейшего золота.

Болгария. Город Враца. Фракийские находки. В 1966 году в городе Враца при постройке кооперативного дома нашли остатки фракийской гробницы IV—III веков до нашей эры. Восемнадцатилетняя фракийская принцесса в золотом венце, и при ней нянька, двое слуг, ездовой конь, разубранный серебряными украшениями. Золотой венок остролистого лавра весом в 246 граммов чистого золота. Золотая чаша — 270 граммов, сережки и т. д. Предметы маникюра, весьма напоминающие современные. Она была жена фракийского полководца. Ее убили коротким обоюдоострым мечом и похоронили вместе с мужем. От самой принцессы ничего не осталось, она давно уже превратилась в прах. Но, затмевая все вокруг, ее золотой венец сиял, как желтое солнце.

— Ты бы хотела быть фракийской принцессой? — спросил он, вытаскивая из футляра маленький фотоаппарат, чтобы снять свою молодую жену на фоне золотого венца.

— Ничуть, — ответила она. — Зачем?

— А золотой венец?

— Мне дороже жизнь.

Сначала он не понял, а потом помрачнел.

— Ты уверена, что я умру раньше тебя? Не рассчитывай на это. Я не фракийский полководец.

— Но ты можешь сделаться французским солдатом.

— Только в случае войны.

— Этого-то я и боюсь, шери.

Бородатый и широкоплечий, он действительно мог бы сойти за фракийского военачальника, а она со своими серо-зелено-голубыми глазами и персиковыми щечками, прелестная, восемнадцатилетняя, вполне подходила для фракийской принцессы...

Он достал из кармана куртки маленький стеклянный кубик, укрепил его над видоискателем фотоаппарата и несколько раз шелкнул, вызвав в середине кубика с крошечным зеркальным рефлектором магнєвые вспышки, как бы вырвавшие из времени и пространства и навсегда сделавшие неподвижными золотой венец фракийской принцессы, хорошенькую француженку в мини-жюп и четырех болгарских милиционеров с револьверами в белых кобурах, которые днем и ночью бдительно охраняли бесценные фракийские находки. Значительно позже, уже вернувшись в Париж, молодой турист проявил свои снимки и остался недоволен: лучше всего получились милиционеры, их белые кобуры, все остальное вышло так себе и не производило особого впечатления, в особенности не удался знаменитый на весь мир золотой венец. О нем можно было только догадываться.

Выходя из музея, он выбросил уже теперь ненужный ему кубик с истраченными лампочками, и долго еще в цветнике возле фонтана валялась эта плексигласовая штучка с маленькой мертвой машинкой внутри, но с еще вполне целым зеркальным рефлектором, в фокусе которого, как в мертвом зрачке, может быть, навсегда остался нетленный отпечаток золотого венца вокруг прекрасного, хотя и невидимого лица мертвой фракийской принцессы с закрытыми глазами, ждущей часа своего воскрешения, или, как теперь принято говорить научно, «эффекта присутствия».

Воскрешение — это переход «эффекта отсутствия» в «эффект присутствия».

Плексигласовый кубик. Латерн мажик. Эффект присутствия. Мертвый глаз. Зрачок.

У нее на розовом носике возле глаза был след маленькой старой ссадины, белое атласное пятнышко: однажды во время студенческой демонстрации на площади Республики ее саданул какой-то хулиган-фашист палкой, но промазал, зацепил только краем.

Ничего не изменилось после свадьбы дочери.

— Теперь я осталась совсем одна,— сказала она без всякой грусти.— Но я рада, что по крайней мере девочка так удачно устроилась. Выгодный брак по любви — это случается не часто.

Она не изменила своего образа жизни, продолжала работать лаборанткой в маленьком кустарном производстве косметического крема в Нейи, и от ее рук всегда пахло миндальным маслом и душистыми приправами.

Месяе встречался с ней один или два раза в месяц, по-прежнему не удлиняя своих и без того коротких свиданий. Иногда он уезжал по делам или путешествовать, и они не виделись два-три месяца. Но, возвратившись, он звонил ей домой, и свидания продолжались по-прежнему.

— Наверное, без меня вы путались с кем-нибудь другим,— сказал он шутливо.

— Клянусь,— ответила она вполне серьезно и подняла над головой руку.

Всякий раз после более или менее продолжительного перерыва он давал ей денег раза в три больше, чем обычно, считая, что она не должна терпеть убытки потому, что он засиделся на курорте или летал в Америку. Она принимала это как должное и говорила: «Мерси, мерси, вы слишком добры». «А, пустяки», — отвечал он.

Поставив дочку на ноги, она как бы еще больше посвежела, стала менее озабоченной.

Однажды он не виделся с ней целых полгода, а когда наконец позвонил, то услышал незнакомый женский голос, чего раньше никогда не случалось. Он положил трубку и позвонил позже. Послышался все тот же чужой, неприятный голос пожилой дамы, по-видимому, соседки, подумал он, и попросил позвать к телефону Николь.

— Она умерла, — услышал он в ответ.

— Когда?! — воскликнул он.

— Ровно месяц назад, в пятницу.

Он долго молчал, совершенно не зная, что сказать.

— Если вы тот самый месье, друг бедной Николь, который время от времени навещал ее, то я прошу вас зайти, я соседка покойной и должна вам кое-что передать.

Он молчал.

— Не беспокойтесь, все останется в строгой тайне.

— Хорошо, мадам, — сказал он, — я сейчас приеду.

На лестнице возле знакомой двери его встретила пожилая дама, которая, недоброжелательно оглядев с ног до головы всю его уже немного расплывшуюся фигуру и все еще довольно красивое лицо с изящным матово-мучнистым носиком и мутноватыми лазурными глазами, которые когда-то, видимо, были тоже очень красивы, ввела его в свое жилище на той же площадке, жилище, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что здесь обитает одинокая, бедная, порядочная и чистоплотная женщина; и там, не подавая ему руки и не называя по имени — ведь они не были официально представлены друг другу! — протянула довольно большую коробку из-под бисквитов.

— Покойная Николь просила меня, если вы придете, передать вам это, а также письмо. Вот оно.

— От чего она умерла?

— Ей сделали неудачную операцию запущенного аппендицита.

Накануне смерти я посетила ее в клинике, она была уже очень плоха, но в полном сознании и, видимо, сильно страдала.

Он развернул записку, нацарапанную карандашом, и, повернувшись лицом к стене, прочел следующее:

«Мой дорогой Месье и Друг. Вероятно, я умру, и мне бы не хотелось, чтобы Вы думали обо мне плохо. Возвращаю Вам все то, что Вы мне оставляли, начиная с того дня, когда я поняла, что люблю Вас. Эти бумажки имели для меня ценность только лишь как сувениры, как память о Вас. Я знаю, Вы не любили меня, но иногда — сознайтесь! — Вам было со мной неплохо, и я рада, что могла Вам доставить хоть маленькую радость и минутный отдых. Спасибо за то, что Вы были ко мне всегда так добры. Не сердитесь. Я любила Вас, Николь».

В коробке находились связки кредитных билетов разных достоинств и не востребуемые чеки. Он не знал, что с ними делать, и сначала подумал, не отдать ли все эти бумажки пожилой даме, но, взглянув на нее, на ее строгие глаза, не посмел этого сделать. Тогда он взял коробку под мышку и, притронувшись к шляпе, спустился вниз по знакомой вонючей лестнице, почти теряя сознание от слащавого химического запаха дезодораторов, а затем пошел по безрадостной Театральной улице и повернул за угол, где на грязном тротуаре стоял его маленький спортивный

«ягуар», где на красных сафьяновых подушках терпеливо дожидался маленький чертенок Кубик, уткнув морду в протянутые лапы.

Потом он некоторое время искал забвения в путешествиях...

...Чернильница, брошенная в черта, была тяжелая, литого иенского стекла, и она со звуком «брамбахер» разлетелась вдребезги, оставив чернильное пятно на облупленной стене недалеко от окна, откуда Лютер иногда с опаской поглядывал на карнизы замка, по которым ходили красивые откормленные голуби, на бронзовые пушки возле амбразур, на широкий тюрингенский пейзаж, на верхушки остроконечных черепичных крыш города Эйзенаха, потонувшего в синем тумане лесистого дефиле, в то время как забрызганный чернилами черт, по всей видимости, нырнул в камин, ободрав ноги о громадное буковое бревно, целое дерево, приготовленное для топки, и вылетел из трубы замка в виде хвоста темного дыма, а затем превратился в комету. Однако это не более чем легенда, и не будем на этот счет строить никаких иллюзий, хотя путешественники и экскурсанты, к числу которых принадлежали Месье Бывший Мальчик, и Мадам Бывшая Девочка, и все сопровождающие их лица, остановившиеся здесь проездом на Лейпцигскую ярмарку, и мы, и все прочие до сих пор с любопытством рассматривают стену с оббитой штукатуркой, под которой заметны не то старые кирпичи, не то почерневшие дубовые балки. Несколько поколений почитателей Лютера брали себе на память по кусочку священной штукатурки, пропитанной чернилами, так что теперь Мадам и Месье, сопровождающие их лица и мы все не заметили ни малейших следов знаменитой кляксы, которая, как уверяют, была некогда весьма похожа на гень распластанной лягушки.

Как это ни странно, легенду чернильницы и черта разрушил наш Петр Великий, однажды посетивший замок на горе Варбург. Непомерно высокий, как ярмарочный великан, в треугольной шляпе и военных ботфортах, он послунил свой громадный указательный палец, потер тогда еще сохранившуюся кляксу, попробовал на язык, понюхал, раздуж кошачьи усы, затем по-солдатски сплюнул на дубовый пол, вытер палец о полы шелкового, в цветочках камзола и сказал сопровождавшему его обер-коменданту замка:

— Это шарлатанство, герр комендант: чернила-то совсем новехонькие, химические, это я чувствую на вкус и на запах.

Обер-комендант не осмелился, да и не нашелся, что ответить, только поморщился. А лет этак что-нибудь через полтора-два другой чужеземец — в просторном сюртуке и белой пуховой шляпе, человек с молодой дымчатой бородой и пронзительными серо-голубыми глазами — хотя и несколько медвежьими, — придиричиво, со знанием дела осмотрел тяжелый грубый деревянный стол, за которым Лютер перевел Евангелие на простой, народный немецкий язык, желая сделать священную книгу доступной не только для избранных, но и для самых простых людей, — а затем долго глядел в окно, рассматривая пейзаж с такой тщательностью, словно хотел открыть в нем что-то весьма для себя важное, какую-то самую сокровенную суть. Власть наглядевшись на этот саксонский пейзаж, он произнес загадочные слова: «Театр военных действий». Обмениваясь мыслями со зрителем замка, пожилым немецким служакой из отставных военных, чужеземец выказал изрядное знание немецкого литературного языка, но его мысли о боге, о народе, дворянстве, герцогах, королях, о войнах, которые в течение многих столетий терзали — и еще много раз будут терзать — эти живописные, прелестные среднеевропейские земли с их мягким климатом, плодородной почвой,

редкостными еловыми лесами драгоценных пород, как бы нарочно созданные природой для счастья человека, весьма смущали, даже сердили зрителя, принужденного слушать эти дерзкие, смутьянские речи, о чем он впоследствии написал в своих мемуарах. А когда историки прочитали эти мемуары, то заинтересовались оригинальным чужеземцем, имени которого зритель так и не удосужился узнать. Однако при просмотре толстой книги, где посетители записывали свои впечатления о замке Варбург, была обнаружена запись незнакомца и его подпись: граф Лев Толстой. Вот к каким открытиям привело слово «брамбахер», преследовавшее нас — и их — во все время, пока мы носились по рокадам Восточной Германии, по полям бывших и будущих войн.

Брамбахер.

«Разве вещь — хозяин слова? — слегка шепеляво говорил Изгнанник, высокомерно задирая маленькую лысеющую головку с жиденьким хохолком. — Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».

Вокруг какой вещи свободно блуждало это мучительно привязавшееся к нам слово, как бы нарочно созданное для того, чтобы вселиться в грохот сражения, а потом тревожно метаться в подавляющей мертвой тишине внезапно заключенного перемирия.

«Пиши безобразные стихи — ударение на «о», — если сможешь, если сумеешь», — говорил Изгнанник, стоя на тесном балконе пятого этажа и разглядывая все еще мирные крыши Замоскворечья, на которые уже незаметно напознала тень войны, ночных бомбежек, вой сирен воздушной тревоги, автогенный блеск зажигалок, скрещенные прожектора с кусочком плавящегося сахара над голубым пламенем жженки. «Пиши безобразные стихи — если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух черта».

Молнии еще нет, добавлю я, есть только та внезапно проведенная между небом и землей борозда — безмолвная и невидимая, может быть, лишь слегка шуршащий зигзаг, — как бы первый карандашный набросок молнии, ее Психея, след, по которому через мгновение, слепя и вселяя в душу восторг грозы, промчится подлинная молния, преображая окружающий пейзаж, делая мир черно-белым негативом. Может быть, это и есть один из главных законов мовизма — начертить бесшумный проект молнии.

«Как странно, как странно», — звучит из «Спидолы» на письменном столе, где пишутся эти страницы, мучительно-страстный голос, как бы опережая или прокладывая путь к чему-то еще более мучительному, страшному, непоправимому, как сама смерть, которая все-таки сильнее любви.

Не знаю, вокруг какого брошенного тела блуждало слово-Психея «брамбахер». Во всяком случае не вокруг бутылки немецкой минераль-

ной воды с привкусом залежей железного лома, ржавеющего под слоем этой серой земли со времен множества битв, некогда здесь гремевших, или, может быть, того самого железа, из которого иерусалимские кузнецы выковали некогда синие кустарные гвозди, которыми римские легионеры-захватчики прибили к деревянному кресту молодого пророка-мистика Иисуса Христа, создателя новой религии — «умеренного демократа», как его назвал однажды Пушкин. Вода в бутылке, ржавая на вкус, лишенная настоящей души, выделяла пузырьки сухого углекислого газа третьего сорта, во всяком случае не идущего ни в какое сравнение со свежим, острым углекислым газом минеральной воды «борзиг», «аполинарис» или нашего «нарзана», доставать который становится все труднее и труднее, а «брамбахер» преследует меня повсюду, как та оса, которая однажды решила меня во что бы то ни стало погубить.

Лично я предпочитаю «ижевскую» или в самом крайнем случае «перье» в зеленой, отчасти напоминающей ваньку-встаньку овальной бутылке, извлеченной из ведерка с колотым льдом, — воду, такую острую и холодную, что ее глоток обдирает гортань и язык, как битое стекло.

Дальше идет описание моей схватки с осой — воспоминание, вызванное, возможно, тончайшим, чисто музейным звуком дрожащего листового золота.

Все осы злы. Но не все умны. Бывают осы злые, как человек, к тому же еще и коварные. Я сразу узнаю их по нервному, целенаправленному полету. Они уже издали узнают меня среди множества других людей и немедленно бросаются на меня в слепой ярости, готовые вонзить свое жало мне в голову и убить на месте. Одна такая оса в течение нескольких дней преследовала меня. Я сразу узнавал ее, потому что она, влетев в форточку, имела обыкновение сначала плавно спуститься по воздуху вдоль стены, как бы измеряя глубину комнаты от потолка до пола, затем она снова поднималась тем же путем до потолка, причем никогда не изменяла строго горизонтального положения своего длинного тела, как бы слегка надломленного посередине вроде коромысла. Мне казалось, что она старается не сморгнуть в мою сторону для того, чтобы не вызвать подозрений, а все время что-то вынюхивает на потолке, и вдруг она стремительно бросалась на меня, кружась над головой и задевая мои волосы. Я с отчаянием отмахивался от нее руками, норовил убить ее газетой, даже кричал на нее: «Поди прочь, гадина!» Она делала вид, что оставляет меня в покое, но вдруг возвращалась и с удвоенной злостью продолжала свое нападение.

Я боялся этой завистливой, низменной твари, боялся ее полосатого тела, жесткого звука ее полета, в котором мне слышалась дрожащая струна смерти; мне трудно было понять ее необъяснимую ненависть именно ко мне, желание меня погубить. Я становился болезненно подозрительным, меня охватывало нечто вроде мании преследования. Я бросался на нее с открытой книгой, желая ее прихлопнуть, уничтожить, так как понимал, что не я ее, так она меня! Как-то я воевал с ней в течение целого длинного летнего дня и вконец обессилел. Настала ночь, и оса исчезла из поля моего зрения. Форточка была открыта, и я подумал, что насекомое улетело спать в свое мерзкое грушевидное гнездо, слепленное из серого воска. Я еле добрался до постели, лег щекой на еще прохладную подушку и сейчас же увидел свой постоянный, единственный, никогда не прекращающийся сон: человека с узкими глазами убийцы.

Я видел его в виде прямоугольного цветного портрета в обществе других портретов: кудлатого журналиста с крючковатым носом и пенсне без ободков, тывкоголового китайца, молодого рыжеватого неврастеника Бонапарта кисти Антуана-Жака Гроса. Поднятые на палках, они бежали, как на ходулях, над невежественной толпой на фоне парижских фасадов, зловеще озаренных багровыми дымными фестонами мусорных куч, подожженных вдоль всего Бульмиша, вдоль позолоченных пик Люксембургского сада и музея Ключи.

Вдруг я услышал нечто, прервавшее мой сон. Это был звук осы, котсрая вдруг завозилась где-то совсем близко от моего лица, под моей подушкой... Она вывернулась из-под горячей наволочки, выползла и так стремительно бросилась на меня, что я еле успел закутать голову одеялом, но сейчас же с ужасом понял, что она тут же, завернута вместе с моей головой и уже путается у меня в волосах, ползет по щеке, катясь, как маленький раскаленный уголек, пытается проникнуть в мое ухо,— Психея, избравшая своим временным убежищем мое похолодевшее тело,— я вскочил, обливаясь потом, с гудящей осой в шевелюре, вернутый вместе с нею в одеяло, и она, путаясь в тяжелых складках, вдруг вырвалась и прожгла мне через рубаху руку, и тогда я наконец бросился на нее, схватил пальцами ее извивающееся, упругое, как бы заряженное электрическим током тело, сжал его, как щипцами, превратил в комок, бросил на пол и окончательно раздавил босой пяткой, явственно услышав в ночной темноте хруст ее проклятого тела, неповторимый звук, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашенные усы, багровая индюшечья кожа его шеи, прищемленная стоячим воротником императорского мундира,— и шелест темного яда, проникшего в мою кровь, заставившего мгновенно распухнуть мою руку... А полосатый комочек все еще катался на полу, и я еще раз раздавил его, надеюсь, на этот раз уже окончательно...

Звук раздавленной осы. Не более чем крошечный «брамбахер», ничем не лучше звука разбитой об стену чернильницы. Не более чем филологический эксперимент. Осип считал, что Лютер был плохой филолог, потому что вместо аргумента запустил чернильницей. В свою очередь этот аргумент Осипа тоже не имеет ровно никакого значения, потому что на самом деле Лютер никогда не запускал в черта чернильницей. Даже и не думал! А все произошло потому, что на вопрос одного из обитателей замка, где он скрывался от преследования, что он делает по ночам в своей комнате, Лютер ответил: «Воюю с чертом», имея в виду свой перевод Евангелия на простой немецкий язык. «Как же вы с ним воюете? Каким оружием?» — «Чернильницей»,— ответил Лютер, показывая на свою рукопись и на письменные принадлежности: чернильницу и гусиное перо.

Это сразу же превратилось в легенду, которая облетела весь мир. Таким образом игра слов сделалась метафорой, а метафора в свою очередь чуть ли не реализовалась в историческое событие, в театральную сцену с участием Черта, нечто весьма похожее на «эффект присутствия», где изображение, переданное по лазерному лучу, игольчатому лучу квантового генератора — как предсказывает современная физика,— будет не только объемным, но создаст чудо «эффекта присутствия».

Метафора, рожденная в моем воображении, в один прекрасный день сможет материализоваться в комнате моего читателя в полном своем объеме, в абсолютной своей подлинности. Вероятно, к этому с помощью науки в конце концов и придет искусство будущего — мовизм. И, пожа-

луйста, не думайте, что это мои домыслы или, чего доброго, мистификация. Отсылаю неверующих к номеру «Правды» от воскресенья 29 сентября, ищи на первой полосе в самой середине:

«Лазер выходит в эфир. Киев, 28 (ТАСС). Сегодня здесь закончилась Всесоюзная конференция по проблемам передачи информации лазерным излучением. Возможности, которые открывает лазерное излучение для сбора, хранения и передачи информации, кажутся поистине фантастическими. В одном кубическом сантиметре вещества, обладающего эффектом объемной фотографии (голографии), получаемой с помощью оптического луча, может содержаться столько же сведений, сколько в пяти миллионах книг. Игольчатый луч квантового генератора может передать одновременно несколько тысяч телевизионных программ¹. Причем изображение будет не только объемным, но и создаст «эффект присутствия»...»

В конце концов я начинаю подозревать, что все мои странные цветные сны, мои метафоры, обладающие почти полным эффектом объемной фотографии, приходят ко мне откуда-то по вполне реальному лазерному лучу, а оса, с которой я сражался однажды ночью и которая так больно (но, к счастью, не смертельно!) ужалила меня, была, быть может, первым в истории удавшимся физическим опытом.

Слово, рожденное материей, обратно превращается в материю, в вещь. Самый надежный способ организации материи есть превращение ее в отпечаток мысли, а потом в слово, в метафору, которая в конечном итоге с помощью оптического луча квантового генератора станет не только объемной, но и создает «эффект присутствия». До этого, конечно, еще очень далеко — не надо обольщаться! — но ведь что такое далеко?

Надо уже сейчас готовиться к этому чуду, приучая себя мыслить образами, ибо это есть один из самых экономных способов художественного — да и не только художественного! — мышления: например, описание пятьюдесятью словами бабочки, моделирующее целый сложный ассоциативный не только художественный, но также научно-исторический комплекс:

«Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильно развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья. Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побывал и в Чесме и при Трафальгаре». Не хватает только лазерного луча, для того чтобы рядом с нами, вдруг, возникло объемное, цветное и вполне материальное изображение.

О, как страстно жаждет моя душа создания этого феномена.

«Желание создать есть уже создание», — сказал Скрябин, у которого желаний было все-таки больше, чем созданий, как и у всех нас, впрочем.

«Эффект присутствия» — вот сокровенная суть подлинно современной поэзии.

«Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы, — заметил Осип, — снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа,

¹ Какой ужас! (Примечание автора.)

но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы».

О, как страшен зрительный мир рыбы, в котором агонизирует Пушкин!

«Экутэ ля шансон гри», — грустно и мечтательно процитировал все тот же Осип строчку из Верлена. А я уже давно заметил, что он любил «экутэ». Его «экутэ» породило множество подражателей, например В. Набокова.

Мы окружены великой анархией вечно разрушающейся и вечно воссоздающейся материи, огромной, неизмеримой, без начала и конца. Она непрерывно уничтожает старые формы и создает новые.

Есть такие небесные тела — пульсары. Они вечно, с точностью атомных часов, увеличиваются в объеме и опадают: так сказать, раздуваются, как «лягушка, на лугу увидевши вола»...

А что, если мы тоже так же ритмично пульсируем?

Боже мой, из какой мелочи, из какой трухи, из какой мировой пыли мы все состоим!

Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю — да и зачем? — я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в мое бедное тело, в мою нежную, такую хрупкую Психею. Все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг свои сигналы, свои категорические приказы, как бы управляя мною на расстоянии: все эти пульсары, туманности, астероиды, белые и красные карлики, солнечный ветер, магнитные поля, северные сияния, вся беззвучно гремящая вокруг меня бесконечная и безначальная Материя, весь этот космический «брамбахер». Они насылают на меня объемные сновидения, мучающие меня, как события подлинной жизни. Они погружают меня в божественную кажущуюся летаргию Вселенной, против моей воли они заставляют меня мыслить, воображать, творить. Со стороны может показаться, что я творю из ничего. Но это совсем не так. Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся Материи. Я ее крошечный слепок. Каждый атом, из которого состоит мое тело, мой мозг, — модель Вселенной. Я ее раб, и вместе с тем я ее повелитель.

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы.

«Ум человеческий, — писал Ленин, — открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»

«Представление не может схватить движение в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 км. в 1 секунду, а мышление схватывает и должно схватить».

Мое мышление схватывает не только быстроту самого взрыва, но также тишину, наступающую после взрыва, тишину, более могущественную, чем сам взрыв. Чем страшней взрыв, тем страшней тишина. Пустота, возникающая на месте взорванного здания, материальнее самого строения. Строение разрушено, его больше не существует, тишина уже

стоит на его месте и будет стоять вечно. Пустота тоже материальна. Но она неразрушима. Ее ничем нельзя взорвать.

«Что ж: броди среди этих развалин, черным воздухом смерти дыши. Как он страшен и как он печален, этот город, лишенный души».

Город нельзя разрушить. Навсегда остается эффект его присутствия, более прочный, чем грубая каменная суть его домов, дворцов, колоколен, башен, эстакад. Разве можно изменить воздух, свойственный только ему одному: сухой, средневропейский, насыщенный запахом бурых брикетов, спрессованных из каменноугольной пыли и торфа. Все прозрачно в этом абстрактном городе зияющих архитектурных пустот, созданных из самой прочной тишины затянувшегося перемирия, где некогда при свете все того же пепельно-серебряного солнца можно увидеть среди университетских корпусов ту самую маленькую площадь, где некогда горел костер и почерневшие страницы великих книг устилали своим пеплом всю пустынную улицу вплоть до самых брамбахерских ворот, повернутых всей своей серой колоннадой в туманное Никуда с крылатым гением золотой победы, летящей над призрачной зеленью поустороннего парка.

...Отлично ложилось оно на музыку, ненадолго поселилось в слове «Вагнер», сразу же одухотворив его, придав ему внешний вид: выдвинутый вперед подбородок деревянного шелкунчика, бархатный берет, вставные глаза и стук дирижерской палочки по пульта из черного дерева, как бы по волшебству поднимая из оркестровой ямы первые парадные такты «Тангейзера», в одном названии которого было больше истинной музыки, чем во всей этой опере, некогда родившейся все в том же легендарном замке на вершине горы Варбург, где Лютер воевал с Чертом, а глубоко внизу, в Эйзенахе, в средневековом домике родился Иоганн Себастьян Бах и Психея брамбахера, покинув милое тело Вагнера, уже металась по маленькому музею старинных музыкальных инструментов, не в состоянии сразу решить, куда бы ей вселиться: в узкий треугольный еловый столик Цимбалó, откуда некогда своими могучими пальцами молодой Бах извлекал слабые, дребезжащие, какие-то проволочные аккорды, или в европейскую сестру тех самых почерневших от времени дощатых кобз, которые я еще застал в своем детстве на украинских базарах: на холщовых коленях сидящих среди базарной толкотни слепых белоглазых слепцов-кобзарей с седыми волосами, подстриженными «под горшок», которые пели старинные украинские псалмы и после каждой строфы вертели ручку этой странной «шарманки» с волосяными струнами, производившими жалобное, ноющее жужжанье — очень долго не утихающее, как бы дополняя смысл старинной баллады, поэмы еще каким-то другим, тайным значением, каким-то гоголевским предвечерним степным пейзажем с мучнисторозовым заходящим солнцем, сухой пылью, запахом скота, чебреца, полыни, предчувствием холодной лунной ночи с матовой росой, лежащей на кавунах и дынях, ночующих на твердой, потрескавшейся земле бахчи; или в семистольную цевницу Пана, или, наконец, в так называемый гармоний — изобретение Вениамина Франклина — его хобби, — инструмент со стеклянным цилиндром в середине, издающим под опытными пальцами музыканта мокрый звук удрученно поющего иенского хрустала, подобно тому как пьют винные бокалы, если осторожно провести мокрым пальцем по их верхнему фаяцету, — или в стаканы, которые тетя мыла в полоскательнице своими длинными музыкальными пальцами. Да мало ли куда каждую минуту порывалась вселиться непоседливая

Психея, пока мы как очарованные расхаживали по этой средневековой комнате-музею, похожей на старинную гавань, тесно заставленную судами и суденышками, начиная от маленького фарфорового кораблика итальянской окарины, как бы всегда наполненной нежным посвистыванием средиземного ветерка, — до громоздкого баркаса контрабаса с морскими канатами слабо натянутых струн... Стихия музыки, как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе Психею, и она, следуя за нами, залетала то под готические своды лейпцигской Томас-Кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма лежала, как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившейся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора; то — вдруг капризно променяв музыку на поэзию — проникала вслед за нами в готический погребок Ауэрбаха, с красноогим Мефистофелем верхом на громадной, овальной бочке, окруженной пьяными студентами...

Я уже не помню, когда именно тайный советник Гёте, надутый господин с высокомерными, отечными глазами немецкого сановника, любивший надевать черный фрак с белой звездой и высокий черный цилиндр, любитель античной скульптуры, анатомии, оптики, минералогии и физики — не говоря уже, конечно, о поэзии — автор военно-патриотических агиток и апофеозов, а также Вертера, маленький томик которого всегда возил в своем походном чемодане большой мастер истреблять людей — кровавый император Наполеон... Когда именно этот тайный советник превратил плод своей досужей фантазии, Мефистофеля, в пуделя — и превратил ли вообще? не ручаюсь! — но могу дать честное слово, что совсем недавно мы увидели глухой ночью в одном из средневековых закоулков Веймара, где-то на задах городской ратуши, а может быть, между большим домом Гёте и маленьким домом Шиллера, освещенных газосветными призрачными фонарями второй половины двадцатого века, — на мостовой, блестящей, как черная змеиная шкура, — мы увидели — человека с черным пуделем на поводке. «Это он!» — успел воскликнуть я, но в тот же миг человек и пудель повернули за угол и навсегда исчезли из глаз, как бы растворились среди круглых подворотен и нависших чердаков этого старинного переулочка, оставив после себя совсем слабый запах паленой шерсти и серы.

Не знаю, успела ли вселиться Психея брамбахера в черного пуделя — плод досужего воображения Гёте, — но кажется, не успела, потому что я еще долго чувствовал ее присутствие сначала в переоборудованном номере старинной веймарской гостиницы под вывеской «Слон», выходящей на средневековую рыночную площадь с фонтаном и весьма некрасивой статуей Нептуна, или Тритона, для чего-то вывезенной неутомимым тайным советником из Италии, а потом в разных других местах, где мы побывали, надеясь еще хоть раз увидеть легендарного Доктора с не менее легендарной собакой, еще раз доказавших мне могущество поэтической мысли, превратившей метафору в предмет, в милое тело, в вещь. Однажды нам показалось, что это именно они мелькнули в подземной пустоте, темной, как безысходная ночь, на черных гранитных ступенях, поблескивающих в слабом свете подземных фонарей искрами селитры: там беззвучные рельсы эсбана или унтергрунда плавно заворачивают в никуда, чем-то очень отдаленно напоминая неполное

кровообращение в результате удачной операции артериально-венозной системы. Затем пудель мелькнул за углом серого мавзолея, где перед ложноклассическими почерневшими колоннами стояли два серо-зеленых солдата в почти плоских — как тарелки — военных касках, — сухие, вытянутые, желтолицые, как два муляжа, поставленные при входе в гулкое помещение, где нет ничего, кроме черного Камня Каабы, на котором некогда лежал круглый венок из дутого крупновского железа с прорезями дубовых листьев — звонкий сквозной брамбахер, — а теперь там же твердо и вещественно лежит его пустота, его обратный слепок — плод моего воображения! — как бы выдутый «из ничего», прочного, как самая высококачественная послевоенная — или даже предвоенная — тишина... И сухие венки с выцветшими национальными лентами, и черная, никогда не высыхающая сырость под бетонными стенами, навсегда лишенными солнца, жестко, гулко отражающими каждый человеческий шаг, потревоживший кубическую пустоту этого старого городского резонатора, уцелевшего во время катастрофы.

И все-таки мы его наконец настигли, но уже где-то совсем в другом измерении, и тогда увидели, что это был совсем маленький черно-пепельный пуделек на узком поводке, который вечно кружился под ногами у Месье Своего Хозяина, когда он выводил его погулять. Дома же он бегал на свободе и вечером сидел под столом, иногда без всякого видимого повода рыча и покусывая ботинки гостей. Довольно часто собачку водили делать туалет в специальное заведение, по-моему, где-то недалеко от Бальмена или Кристиана-Диора, в районе Елисейских полей и Ронд-Пуанта, в шикарном доме, по всему фасаду которого снаружи в дни рождества среди гирлянд хвойной зелени ярко и празднично горели жирондели электрических свечей, не боявшихся ни дождя, ни снега...

...Но это уже из другой оперы...

Там Кубика фигурно стригли, мыли специальным собачьим шампунем, вычесывали хвост, а так как собачка была нервная, с плохим характером, а главное, избалованная богатой жизнью, то приходилось прибегать к успокоительным уколам.

Поверьте мне. Я сам однажды был избалованной собакой, правда недолго. Тогда меня все раздражало. На меня вдруг нападало необъяснимое желание кусаться. Я думаю, что меня больше всего раздражали запахи. В особенности я не переносил запаха того подлеца, который в собачьей парикмахерской занимался моей внешностью. От него пахло аткинсоновской лавандой, которую он по своему невежеству считал самым элегантным одеколоном в Европе, в то время как все порядочные люди никогда не употребляли ее после бритья, считая это дурным тоном. А он, дурак, почему-то вообразил, что самые изысканные французы употребляют именно эту лаванду. Мне же, с детских лет привыкшему только к туалетной воде Ланвена, одна мысль об аткинсоновской лаванде причиняла чисто физические муки, я начинал рычать и чувствовал непреодолимое желание немедленно укубить парикмахера, распротранявшего ненавистный мне запах. Когда же мне делали успокоительный укол, я сразу переставал раздражаться и покорно, даже не без некоторого удовольствия отдавался в руки этого человека, который, завязав мне на всякий случай морду специальной лентой, приводил меня в порядок. И когда за мной заезжал Месье и надевал на меня поводок, я уже был одним из самых красивых карликовых пуделей — не скажу всего Па-

рижа, но во всяком случае восьмого Аррандисмана, куда, как известно, входят Елисейские поля, с его лучшим рестораном Фукьеца, где я пользовался разными привилегиями, главным образом той, что меня в нарушение всех правил охотно пускали в общий зал вместе с моими хозяевами — Месье и Мадам — и подавали мне отличный шатобриан, разрезанный официантом на маленькие кусочки, и ставили мне серебряную мисочку, куда Месье собственноручно наливал для меня превосходную гигиеническую воду швейцарских ледников с красивым названием «звизан», единственное, что я переносил из напитков без особого раздражения. В самом крайнем случае я еще мог пить воду «витель». Не буду лгать: все это подавалось мне, конечно, под стол, во главе которого с одной стороны всегда сидела Мадам Моя Хозяйка, а напротив нее, с другого конца, — Месье Мой Хозяин, а между ними всякий сброд — биржевики, маклеры, валютчики, петрольщики, которых я ненавидел всей душой за омерзительный запах их дорогой, но неряшливой обуви, а также за то, что я внутренним чутьем понимал, что именно они когда-нибудь разорят и ограбят Моего Хозяина, пустят все его богатства под откос, доведут его до опеки и первые же будут потешаться над его крахом, предварительно хорошенько нагрев на нем руки. Я их всех называл про себя презрительной кличкой «и сопровождающие его лица». Иногда, не в силах совладать со своим характером, я кусал их за ноги, но не слишком сильно, потому что зубы у меня были мелкие и слабые, хотя в случае особенно сильного раздражения я мог ими укубить до крови, что и случилось однажды, когда в бюро я укубил за палец самого Месье Моего Хозяина, собиравшегося подписать ловко подсунутый ему страшно невыгодный контракт, и другой раз в скором поезде Париж—Довиль, где я цапнул за ногу одну даму, поднявшую такой скандал, что Месье Мой Хозяин едва его сумел потушить, и то лишь обязавшись платить пострадавшей пожизненную ренту в триста тысяч старых франков, что, в общем-то, для него было в то время сущим пустяком, хотя все же не очень приятно. Я бы еще многое мог рассказать о Своем Хозяине, например, о том, как он в конце концов, вдруг, совершенно неожиданно прогорел доглы и превратился почти в нищего, но мне больно об этом вспоминать, да и нет больше времени, так как моя душа снова вернулась в тело автора этих строк, а я, к несчастью, как был, так и остался довольно глупым и дурно воспитанным неграмотным пуделем и мой ум постепенно померк, как испорченный телевизор, и уже не способен больше ни на какие обобщения и абстракции.

Снова обретя свою живую бессмертную человеческую душу, я продолжу начатую здесь печальную историю, но уже не как участник ее, а лишь как свидетель хотя и не вполне посторонний, но достаточно беспристрастный.

Я бы, конечно, мог прибегнуть к старому, надежному литературному приему, которым иногда пользовались Наши Великие: перевоплотиться в животное и писать как бы от его имени. Но я вовсе не желаю очеловечивать этого пуделя с высокой, искусно сооруженной прической и африканскими глазами, весьма похожими на небольшие эскорго. Пусть собака остается собакой со всем ее сложным собачьим характером.

Самое основное в Кубике был черный цвет, несколько пыльный, матовый, — не только цвет самой шерсти, но также и кожи, из которой эта шерсть росла, — черный цвет носа, губ и когтей, — за исключением недоразвитого декоративного ротика — миниатюрной пасти, где за ожерельем мелких зубов шевелился узкий красный язык, покрывавшийся легкой горячей пеной, когда собачке вдруг хотелось кусаться. Вне-

запное желание укусить возникло как молниеносный припадок безумия — и тогда берегись!

Но, может быть, подобные припадки вызывал не только какой-нибудь неприятный запах, но еще какие-то частные причины, тающиеся в неисследованных глубинах спящего сознания.

Мадам Хозяйка и Месье Хозяин были уверены, что более умной собаки еще не видывал свет! Простим же им это невинное заблуждение, вполне понятное, если принять во внимание, что у них никогда не было детей. Собачка заменяла им единственного обожаемого ребенка — гениального, как все единственные сыновья, наследники более чем крупного состояния. С того дня, как Месье Хозяин принес двухмесячного Кубика в бархатном кармане своего великолепного демисезонного пальто от Ланвена на драгоценной шелковой подкладке с вышитой гладью большой монограммой и подал Мадам Хозяйке, держа в ладони, как маленькую прелестную игрушку, и Мадам Хозяйка, прижав его к дряблему, но нежному подбородку, под которым матово сверкали четыре нитки самого отборного крупного натурального жемчуга от Картье, воскликнула: «Ах, какой славенький Кубик!» — и бросила на мужа благодарный взгляд все еще прелестных карих иронических глаз, — с того самого мига собачка стала главным существом в этой богатой парижской квартире, занимавшей целый этаж в одном из самых фешенебельных районов, не буду уточнять каком: парка Монсо, Отейля, Фобур Сант Оноре или Марсова поля.

Поздно вечером перед сном Месье Хозяин лично выводил собачку погулять возле дома, предварительно надев на нее вязаное пальто; там он снимал с нее поводок, и собачка бегала по асфальту между кое-как поставленными на тротуаре автомобилями лучших мировых марок последних моделей, брошенными богатыми хозяевами на ночь. Запах дорогих автомобилей, самого очищенного высокооктанового бензина и набора превосходных смазочных масел, первоклассной резины и сафьяна сидений не раздражал собачку, даже наоборот — по-видимому, доставлял ей большое удовольствие, так как она вообще любила запахи богатства, роскоши и очень тонко в них разбиралась, в то время как запахи не то чтобы нищеты, а просто приличной бедности могли — как я уже говорил — вызвать в ней приступ мгновенного умоисступления и жажду кусаться.

Пока собачка бегала вдоль стен, возле фонарей, по чугунным составным решеткам, плоско лежащим на земле вокруг элегантных платанов, необыкновенно подходивших к стилю высоких парижских окон с низкими балкончиками, просторных подъездов с медными розетками электрических звонков, говоривших о богатстве и комфорте, Месье Хозяин без шляпы и пальто, подняв воротник пиджака вокруг шерстяного кашне, прохаживался по-домашнему от подъезда до угла и обратно, все время видя над крышей противоположного дома утолщение на верхушке Эйфелевой башни, откуда вырывались в туманный воздух влажной парижской ночи медленно вращающиеся по горизонту два или три луча маяка. Наверху всегда было туманно, и эти немного расширяющиеся лучи всегда напоминали Месье Хозяину какую-то русскую народную сказку в книжке с картинками, где старуха, а может быть, и не старуха, несет на палке конский череп, из круглых глазниц которого бьют в разные стороны страшные лучи, постепенно поглощаемые непроглядным русским туманом забытого детства.

В эти минуты Месье Хозяин был вполне доступен для людей, искавших с ним встречи, но только эти люди — увы! — не знали, что он прогуливает по ночам своего песика, а в другое время он был недоступен. Дойдя до угла, он видел ночные огни площади, стоянку такси рядом с

отделением Лионского кредита, несколько угловых быстро, устричных прилавков и два довольно приличных ресторана, создающих впечатление кое-где разбросанных рубиновых угольев,— ночной парижский пейзаж, который он предпочитал всем другим пейзажам мира. В это время он обычно обдумывал свои новые финансовые операции, то самодовольно улыбаясь, то болезненно морщась, если предчувствовал опасную неудачу. А собачка в это время пускала по серым цокольным стенам жиденькие потеки, принюхиваясь к запахам роскоши и бедности, которые всегда тонко сплетаются в туманном парижском воздухе. Она шныряла между мусорницами, полными всякой дневной дряни, выставленными из домов к обочине мостовой,— длинная шеренга баков и цилиндров, из-под крышек которых выпирал мусор: картонная тара, стружки, черные водоросли, пластмассовые бутылки, пергаментные стаканчики, комки оберточной бумаги, кожура фруктов, скорлупа лангустов, раковины устриц, обглоданные куриные кости, букет засохших цветов... На рассвете сюда придут мусорщики-негры и опрокинут всю эту дрянь в свои гремящие и воняющие машины — неуклюжие, как танки,— но прежде, чем придут эти машины, появятся с небольшим перерывом — один за другим — несколько нищих стариков и старух и будут копаться в мусорных бидонах, надеясь извлечь для себя хоть что-нибудь годное в пищу.

Собачка видела их однажды на рассвете, когда заболела расстройством желудка, наевшись в ресторане Фукьеца фирменным блюдом так называемого «косулё», которое там обычно готовят по пятницам, и ее пришлось несколько раз в течение ночи срочно выводить на улицу.

Старик копался в мусоре, и собачка видела, как он извлек из бидона куриную кость и половину круассана и, завернув все это в пергаментную бумагу, раздобытую тут же, бережно спрятал во внутренний боковой карман поношенного клетчатого жакета. Старик этот вызвал в Кубике припадок такого озлобления, что если бы не понос, обессиливший собачку, то она наверное куснула бы этого неряшливого человека, от панталон которого воняло плохо отстиранным бельем.

Дико озираясь по сторонам своими светящимися африканскими глазами, собачка бегала туда-сюда по улице, и черная прическа на ее голове время от времени еще больше поднималась, становилась дыбом, а усы топорщились под дрожащим носом, делая ее чем-то похожей на капитана Скарамуша кукольного театра Гранд Гиньоль.

Я склонен думать, что это была собака не натуральная, а искусственная, созданная человеческими руками, в лаборатории какого-нибудь гениального экспериментатора-кибернетика или бионика, сумевшего создать во времени и пространстве искусственное существо — подобие гораздо более сложного животного организма по типу обыкновенного карликового пуделя, каких миллионы, очень может быть, того самого, которого мы, как я уже упоминал, однажды ночью видели в Веймаре и который, по словам ныне забытой, но замечательной поэтессы Наталии Крандиевской, кажется, Фаусту прикидывался пуделем, женщиной к пустынноку входил, простирал над сумасшедшим Врубелем острый угол демоновых крыл — или что-то в этом роде.

Я думаю, что экспериментатор создал в своей лаборатории именно этот тип собаки, даже не подозревая, какой оборотень послужил ему моделью. Мне кажется, ученый слишком усложнил нервную организацию этой собачки, сделал ее чересчур восприимчивой к сигналам внешнего мира. Кубик был один из первых не вполне удачных экземпляров искусственного животного, созданного в упомянутой лаборатории с

чисто коммерческими целями — на продажу — ввиду большого рыночного спроса именно на такую породу собак.

В Кубике было множество недостатков, чисто технических просчетов, недоделок. Для обыкновенной натуральной собаки он, например, получился слишком глупым. Его мозг был создан небрежно из недорогого материала, без учета равновесия, гармонии, взаимодействия всех его сигнальных узлов, а уж о сером веществе и говорить нечего: оно получилось совсем не того высшего качества и клетки коры головного мозга не очень закрепляли впечатления и удерживали информацию.

...А потом со страшным скрежетом на улице появились уродливые гиганты-роботы, и негры со светящимися глазами и белоснежными, фосфорическими зубами с хохотом стали опорожнять мусорницы в разинутые пасти своих железных машин, облитых помоями, и распространилось такое зловоние, что Кубик завыл и потерял сознание.

Самый же главный дефект в конструкции этого животного был тот, что аппарат ощущения времени работал крайне некоординированно и эффект времени в ощущении животного не имел той диалектической непрерывности, без которой даже весьма сложное живое существо остается на самой низкой ступени своего интеллектуального развития. «...отмечая и подчеркивая прерывистость времени,— прочитал я в одной умной книге,— следует опасаться и абсолютизации этой стороны времени».

По-моему, в случае с Кубиком произошла именно эта абсолютизация.

«...уместно вспомнить априории Зенона, в которых ставится вопрос о прерывности и непрерывности времени, в частности априорию «стрела». В этой априории Зенон пытался доказать невозможность движения ссылкой на то, что летящая стрела находится в каждый определенный момент времени лишь там, где она находится, то есть что каждый данный момент времени она покоится, а стало быть, в целом она неподвижна».

Мучительная прерывистость времени, каждый миг которого, как проклятая стрела Зенона, останавливался над бедным недоделанным животным, причиняла невероятные страдания его несовершенному мозгу, и Кубик моментами впадал в буйный идиотизм, будучи не в силах справиться с миллионами угрожающих сигналов, летящих в него со всех концов не только возбужденного Парижа, находящегося на грани революции, но и всего мира со всеми его зонами напряжения и военными действиями с применением самого совершенного способа уничтожения людей, животных и растений.

Здесь нельзя не вспомнить задачу, которую великий экспериментатор Капица задал не менее великому теоретику Ландау: «С какой скоростью должна бежать собака, к хвосту которой привязана сковородка, чтобы не могла слышать грохот сковородки о мостовую?» Ответ Ландау был величественно прост: «Собака должна сидеть на месте».

Настоящая, натуральная собака — да. Но сидеть на месте в то время, когда весь мир грохотал по мостовой бесконечности, как сковородка, привязанная к его короткому хвостику, как бы состоящему из семи или восьми распущенных черно-серых веревочек, — искусственной собаке было не под силу. Стрела Зенона впивалась в ее черное тело, и собака вдруг начинала вертеться на поводке, как бешеная, сверкая своими безумно светящимися глазами, полными статического электричества.

В такие минуты лишь Месье Хозяин и Мадам Хозяйка могли кое-как его успокоить: в нем было надежно запрограммировано уважение к хозяевам.

Впрочем, это всего лишь мои догадки. Очень возможно, что я ошибаюсь. И даже наверное. Просто это была паршивая собачонка, воспитанная в буржуазном духе: она ненавидела бедность — все ее оттенки и виды — и бесилась всякий раз, когда чувствовала наступление какого-нибудь социального конфликта. В особенности ее раздражало приближение какой-нибудь забастовки; сначала оно приводило ее в состояние депрессии, а потом она — вдруг — теряла рассудок и могла укусить первого встречного из низших слоев общества.

Однажды в Монте-Карло, где Месье и Мадам вместе с приглашенными и сопровождающими их лицами проводили пасхальные каникулы — «ваканс», — занимая целый этаж в лучшей в мире гостинице «Отель де Пари», на прелестной тончайшей японской бумаге которой — с нежно-голубой коронкой наверху — пишутся страницы этой печальной истории, Кубик устроил большой скандал, укусив официанта, вкатывавшего в салон люкс стол с сервированным на нем пятичасовым чаем.

С утра назревала забастовка электриков, и уже было известно, что повсюду в Монако в течение трех часов будет выключен электрический ток.

...О, эти не слишком крупные грушевидные жемчужины яркой, живой белизны, в которой как бы вследствие некоего оптического чуда угадываются все семь светящихся цветов весенней радуги; они свисали с декадентских веточек, набранных из светлых изумрудов чистой воды... Что это? Вход в старинную станцию парижского метрополитена или первомайские ландыши, украшающие по бокам пасхальное яйцо из чистого золота, покрытого сеткой голубой или гранатовой драгоценной эмали, выставленное в пустой витрине легендарного Картье — золотых дел мастера и бриллианщика — на черной бархатной подушке среди скрытой электрической сигнализации как символ воскрешения Христа...

А Мадам, в прелестном весеннем костюме от Диора, в туфельках первой весенней модели, в темно-зеленых легких дамских очках на слабых, стареющих глазах, с милой улыбкой, уже несколько сгорбившаяся, идет мимо витрины дальше, все дальше, совершая с Кубиком предпраздничную прогулку по пустынному солнечному Монте-Карло, время от времени заходя в нарядные магазины и делая — нет, не делая, а совершая! — с о в е р ш а я небольшие покупки, делая заказы: там пасхальные яйца из шоколада «миньон», которые душистая продавщица с серебряными щипчиками в руках затейливо завертывает в золотую бумагу, здесь выбирает сырые цветы — темно-синие пармские фиалки, белую и лиловую отборную сирень, горшочки с кустиками азалии, густо усыпанными розовыми цветами, розы цвета кардинал — маленькие бутоны на длиннейших стеблях, — букетики первых незабудок и тигровые орхидеи в прозрачных кубических коробках, перевязанных лиловыми шелковыми лентами с праздничным бантом, а затем, присев на золоченый стул, пишет за крошечным будуарным столиком, скрытым в тропически-влажной глубине магазина, среди драгоценных растений, дышащих теплой сыростью оранжерейной земли, поздравительные карточки, вкладывая их в крошечные, совсем кукольные конвертики, а потом идет дальше, в другие лавки и магазины делать заказы на фрукты, касаясь небольшой, изящной ручкой в замшевой перчатке разных плодов: авокадо, персиков,

очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники, мандаринов, черешни — выставленных в плетеных корзиночках, коробочках, нейлоновых сетках, а Кубик — тем временем — вертится на своем поводке под ногами Мадам Хозяйки и сопровождающих ее лиц, благосклонно перенося запахи их, в общем-то, довольно тщательно вымытых тел, надушенных приличной туалетной водой и духами, а также их легкой, модной, очень дорогой весенней обуви, и ему нравится опережать их и первому останавливаться возле тех магазинов, куда они собираются войти.

Он прекрасно изучил эти магазины, наполненные драгоценными пасхальными сувенирами, а также поздравительными картинками, разноцветными восковыми свечами самых причудливых форм, подносами с воспроизведенными на них картинами постимпрессионистов, еще более ярких и художественных, чем их подлинники в холодных холщовых залах парижских музеев. Вряд ли Кубик понимал, что у нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками и с каким-то странным мохнатым существом в руках, в котором Кубик хотел и никак не мог признать своего брата собачку, но все же в глубине души чувствовал нечто родственное, заставлявшее его еле слышно повизгивать и еще шибче кружиться на поводке вокруг все еще прелестных ножек Мадам Хозяйки.

По календарю еще зима, февраль, но молодой предпасхальный воздух, льющийся вдоль побережья Ривьеры прямо из Италии, дрожит над божественно-лазоревым заливом, над квадратным акваторием гавани, где на якоре стоит яхта легендарного Арахиса — неряшливого старика, носатого грека-пиндоса в больших очках с залапанными стеклами, с плохо застегнутой ширинкой поношенных серых штанов — как говорят, самого богатого человека в мире и собственника всего, что видит вокруг бедный человеческий глаз — и ванны литого чистого золота в будуаре яхты, — кроме, конечно, высокой гряды приморских Альп, не пускающей сюда зимний холод, дожди, парижские туманы, назревающую на Левом Берегу революцию... — таким образом больше половины года здесь царит мягкая, прохладная весна, свежит солнышко и даже в январе, среди влажных газонов, прямо в открытом грунте, под войлочными стволами финиговых декоративных пальм, как бы среди вечного пасхального стола, цветут нежные цикламены, осененные водянистым перезвоном итальянских колоколов, доносящимся сюда из Вентимильи...

...и странные флаги над глупейшими куполами и безвкусеишими вышками игорного дома — казино, — где в похоронной тишине громадных, недоброжелательно-равнодушных залов днем и ночью бегают по кругу и шелкают по металлическим шипам костяные шарики рулеток.

Все было бы здесь хорошо — лучше не надо! — если бы не забастовка электриков, приближающаяся из метрополии, неотвратимая, как тень давным-давно уже предсказанного затмения, которая вот-вот пересечет высокий гребень приморских Альп и траурным покрывалом сползет на весь этот сияющий радостью и комфортом весенний мир экс-монархов и миллиардеров.

...сигналы тревоги, сигналы бедствия неслись отовсюду, ну и так далее.

У Кубика были слишком восприимчивые рецепторы и плохо работающая тормозная система. Он раньше всех почувствовал приближение тени,

сползание ее с горы. А ведь, в сущности, какой пустяк была вся эта забастовка электриков: с четырех до семи; всего каких-нибудь три часа без электрического тока — и то не абсолютно, потому что больницы, родильные дома, пункты скорой помощи, все медицинские учреждения, а также, разумеется, все громадное здание игорного дома с его могучим подземным хозяйством: дежурными пожарными командами, нарядами вооруженной охраны, бюро тайной полиции, сейфами, набитыми запасом резервной валюты и золота, драгоценностями, всяческими ценными бумагами...

Ну, и что за беда, если в течение каких-нибудь трех часов в «Отель де Пари» не будет электрического освещения? Там уже давно повсюду в апартаментах, ресторанах, холлах и коридорах на всякий случай были приготовлены спиртово-калильные лампы, свечи в серебряных шандалах, плашки с таким расчетом, что в нужный миг — когда, вдруг, всюду, как по команде, погаснет электричество — весь отель мягко, хотя и скупо засветится внутри как бы восковым церковным светом — таким теплым, живым, трепетным, а в роскошном баре нижнего этажа, скорее похожего не на бар, а на библиотеку какого-нибудь английского замка, с его глубокими кожаными креслами, старинными раскрашенными гравирами на мотивы скачек и охоты, не тесно развешанными на матовых, темно-зеленых, как будто дьявольски элегантно, суконного, охотничьего цвета, с солидной стойкой и круглыми столами ценного палисандрового дерева, что напоминало не только библиотеку, но также некую respectable контору в старом лондонском Сити, а в этом роскошнейшем баре, говорю я, — вдруг зашипели калильные лампы в стиле начала девятнадцатого века, воспламеняя красное опорто в толстых, как лампы, старинных стеклянных рюмках, поставленных на легкие кружочки прессованной японской бумаги все с тою же голубой коронкой «Отель де Пари»...

Могло показаться, что отсутствие тока даже к лучшему: гораздо красивее, праздничнее, таинственнее — в особенности робкие, даже как бы несколько греховные огоньки парафиновых плашек в конце длинных, заворачивающих куда-то гостиничных коридоров, поглощавших шаги толстой дорожкой, и уже совсем волшебным образом внизу в громадном холле против входной вертящейся двери бронзовая лошадка с выставленным вперед, как медная ручка, коленом, до золотого блеска натертая руками суеверных игроков в рулетку, верящих, что прикосновение к ноге бронзовой лошадки на высоком пьедестале принесет им удачу.

Однако остановились лифты, и тут уже ничего нельзя было поделаться: как бы ни был богат постоялец отеля, будь он королем нефтяного флота всего земного шара вроде южноамериканца греческого происхождения Арахиса, все равно ему — хочешь не хочешь — приходилось с легкой отдышкой тащиться вверх по ковровой дорожке парадной лестницы в свои апартаменты, выходящие окнами в морской простор. Даже сама мадам Ротшильд бодро поднималась пешком по лестнице в легком распахнутом мантио из серебристо-розовых норок, всем своим видом показывая, что ей это даже любопытно. Бывшая югославская королева, дама бедная и сварливая, тоже делала вид, что, в сущности, ничего особенного не произошло, хотя ее склеротические ноги порядком-таки побаливали и даже как бы слегка потрескивали на каждой ступени. Конечно, для Кубика ровно ничего не составляло, крутясь на поводке, взбежать на свой бельэтаж, но животное настолько привыкло ездить вверх и вниз в зеркальном лифте, что один лишь вид парадной лестницы, неярко озаренной канделябрами, по которой надо было бежать наверх, перебирая лапками по жесткому ковру, привел его в состояние скрытого бешенства. Сотни тысяч, миллионы тревожных, пугающих сигналов

возбуждали его несовершенную, болезненно-чуткую нервную систему, вселяя в животное ужас перед какими-то непостижимыми силами, власть которых делала бессильным даже Месье Хозяина,— несомненно, самое могущественное существо в мире, разумеется, после Арахиса...

Кубик смутно представлял себе всех этих подлецов в старых тергелевых костюмах, пропитанных запахом пота и ненавистной лаванды Аткинсона, которые, где-то собравшись вместе по ту сторону горной цепи, в полутемном помещении, молчаливые и неумолимые, приказали погаснуть яркому электрическому свету и остановиться лифтам ровно на три часа — ни секунды больше, ни секунды меньше, и плевать им на то, что короли, королевы и самые богатые люди в мире — даже Арахис, даже Арахис! — в это время должны, кряхтя и делая вид, что в мире ровно ничего не произошло, подниматься со своими породистыми собаками по великолепной мраморной лестнице середины девятнадцатого века с торжественными двойными спусками, как бы созданными для полонеза Огинского.

О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата, от подлецов, называющихся забастовочным комитетом...

...и тень упала на княжество Монако...

Стрела Зенона в каждый данный момент времени висела в состоянии покоя над возбужденной собакой, а стало быть, в целом она — эта стрела Зенона — была неподвижна.

Ну уж!..

Впрочем, все это весьма возможно, однако лишь при условии, если точно известно, что из себя на самом деле представляет слово «момент», не говоря уже о таком противоестественном сочетании, как «момент времени». Таким образом, лишь не зная, что такое время, можно себе представить неподвижно летящую стрелу. Но... кто знает доподлинно, что такое время и как его себе вообразить... У Кубика воображение было сконструировано на скорую руку, весьма халтурно, в самом зачаточном виде. Это были какие-то нервные вспышки, дающие обрывки картин и образов, ничем между собою не связанных, что причиняло собачке дополнительные муки. Вселенная постоянно грохотала за ее хвостом, как чугунная сковородка с многочисленными трещинами.

...сковородка Галактики...

Кубик ощущал всю опасность окружающей его вселенной, попавшей в руки негодяев, но эта опасность — или, вернее сказать, миллионы смертельных опасностей — была лишена зрительного или логического воплощения. Она раздражала нервную систему. И только. Если собака была действительно искусственная — в чем я не совсем уверен, даже совсем не уверен! — то, по-видимому, ее сконструировали и пустили в продажу люди определенной социальной среды; в противном случае откуда бы у собаки взялось это как бы врожденное презрение к бедности, ненависть ко всему хотя бы отчасти — не скажу революционному, а просто невинно-радикальному. Эта ненависть приливалась и отливалась по каким-то еще не исследованным законам. Именно в данный момент неподвижного времени, собственно говоря, и начался бурный прилив ненависти, и глаза Кубика налились кровью, когда он увидел из-под дивана ноги официанта, вносящего накрытый стол. Это был новый официант, совсем недавно устроенный в «Отель де Пари» корсиканской родней.

Актеры любят видеть своего Смердякова — в гримерном зеркале между двух голых электрических ламп — примерно таким: опрокинутое скопечское лицо сероватого оттенка, лакейский фрак, нервные руки в несвежих нитяных перчатках и под черной кожей штиблет на резинках с синими матерчатыми ушками — раскаленные мозоли, доводящие до исступления; отдаленно подобное было и в этом официанте плюс нечто корсиканское: жгучий брюнет, заросшая шея... Однако при наличии высокой чадаевской лысины и бритого иссиня-голубого рта, окруженного двумя толстыми саркастическими морщинами, он мог бы сойти за католического священника низших степеней, понапрасну бреющего дважды в день свою неистребимую щетину. Его третье имя было Наполеон. Жан Пьер Наполеон: дань преклонения перед Императором, обязанным семье нашего официанта своим спасением, когда вскоре после смерти Людовика XVI Корсикой управлял генерал Паоли, человек энергичный и жестокий, ненавидевший революцию, между тем как Наполеон Бонапарт, молодой артиллерийский офицер, проводивший свой отпуск на родине, в Аяччо, старался использовать все свое влияние, а также влияние членов своей семьи для торжества новых идей. Молодой Бонапарт и генерал Паоли уже враждовали между собой, и случилось так, что во время этой кровавой корсиканской вражды предки официанта спасли будущего императора Франции от неминуемой смерти от рук сторонников Паоли... Или что-то вроде этого... в результате чего впоследствии официант получил имя Наполеона от своей семьи, которая вот уже второе столетие плодилась и размножалась в Аяччо, в той самой узкой и темной, как щель, типично неаполитанской улице с развешанным бельем, где некогда в по-провинциальному большой, но нелепой и запущенной квартире промотавшегося дворянина синьора Буонапарте, едва успев вылезти из поргшеза, отпустить носильщиков и, подобрав юбки, добраться по грязной каменной лестнице до своей квартиры, с криками и воплями среди невообразимой суматохи, среди ночных горшков и фаянсовых тазов, на скрипучей двуспальной кровати красного дерева в стиле одного из Людовиков синьора Буонапарте произвела на свет злого, крикливого мальчишку, будущего императора Франции, умудрившегося залить Европу кровью и надеть много друзей гадостей. Ему-то было хорошо: имя Наполеон как нельзя лучше подходило к белоснежной горностаевой мантии с черными запятыми хвостиков, простертому скипетру и драгоценной императорской короне. Все возможности красоты и величия, заложенные в этом имени, были исчерпаны. А вот каково-то пришлось всем другим Наполеонам, расплодившимся с его легкой руки и постепенно вконец измельчавшим и выродившимся? В лучшем случае это были всего лишь жалкие эпитоны. Постепенно теряя все свое величие, это некогда блестящее, кровавое имя в конце концов стало водевильным: авторы маленьких театров с Больших бульваров вроде «Театра де Нувоте», куда обожали водить своих подруг приказчики, описанные Эмилем Золя, чаще всего наделяли этим именем какого-нибудь глуповатого лакея, тайно влюбленного в свою госпожу. Я заметил, что комплекс неполноценности в высшей степени свойствен людям маленького роста, носящим имя Наполеон. Они всегда немного комичны, и сознание этого постоянно держит их в состоянии скрытой ярости. Чаще всего они в конце концов попадают в дурное общество, делаются анархистами, становясь в надлежащее время под черное знамя Ровашоля.

Увидев Наполеона, Кубик сначала попятился к стене, а потом вдруг стремительно выскочил из-под дивана и, утробно рыча — ему даже не сумели как следует сделать аппарат лая, и этот аппарат часто отка-

зывал — и, говорю я, утробно рыча и дрожа мелкой дрожью, он, сверкая своими дьявольскими глазами, впился в лодыжку официанта, порвал черные шевиотовые брюки и трикотажные подштанники и слегка куснул икру Наполеона своими слабыми, совсем детскими зубками.

В течение одного неподвижного мига они — собака и человек, — содрогаясь от бешенства, смотрели друг другу в глаза. О, как они ненавидели друг друга!

«Ровно в 14 часов и одну минуту по астрономическому времени над Москвой будет закрыто 74 процента солнечной поверхности».

Радио 22 сентября 1968 года.

Они были наедине в сумрачном салоне, освещенном несколькими свечами, огни которых бесполезно отражались в огромном глазу померкнувшего телевизора, как бы покрытом пленкой катаракты.

— Ах ты, паршивая собачонка, — прошипел приглушенным басом корсиканец, дрожа и бледнея от негодования. — Ты посмел меня уку- сить? Да? Меня? Человека? Посмел? Укусить? Так я ж тебе покажу, подлец! — И официант, злобно, хотя и набожно бормоча: «О, санта ма- донна» — стал изо всех сил пинать ногой под диван, пытаясь попасть Кубику в самую морду или по крайней мере угодить в живот и отбить внутренности; при этом Наполеон все время оглядывался на дверь, ощерив клыки, из которых один был с золотой коронкой, и на всякий случай улыбался мягкой отеческой улыбкой, которая в случае внезап- ного появления Месье и Мадам Хозяев могла обозначать: «Ах ты мой милый, нехороший песик, разве можно кусаться?.. Или ты хочешь, что- бы я пожаловался на твое поведение Месье Хозяину? Ай-яй-яй! Ты же знаешь, дурачок, как это его огорчит! Смотри же у меня, будь паинькой!»

Все это происходило почти в полном молчании, как убийство кин- жалом из-за угла, не нарушая глубокой тишины этого огромного отеля; однако если бы можно было поймать и аккумулятировать все нервные импульсы, излучения и сигналы, летящие от одной животной системы к другой, то это был бы уже не просто шум скандальчика, а грохот новей- ших скорострельных батарей тактического действия, или такой брам- бахер ядерных устройств, что на месте семиэтажного «Отеля де Пари» со всеми его решетчатыми жалюзи, лепными балконами с видом на Сре- диземное море, — где в это время воровато шныряли посыльные суда, а на горизонте тяжело выступал из воды силуэт утконосого авианосца шестого американского флота, — с видом на океанографический музей, где в гигантских полукруглых окнах таинственно белели скелеты китов и горки старого мертвого жемчуга серебрились, как сухая рыба чешуя, и в подземелье в светящихся аквариумах плавали, поводя усами, мор- ские чудовища, — в один миг должно было возникнуть сернисто-желтое н и что с йодоформовыми краями гангренозной язвы, неумолимо по- крывая Монакское княжество... И в один миг все бы исчезло, перестало существовать — даже те сухие наивные деревянные кубики на веревоч- ках, которые следовало подкладывать под оконные рамы в случае сквоз- няков — надежное старинное средство, которым до сих пор пользовались в этом всемирном отеле, оборудованном по последнему слову техники... А серые деревянные кубики на веревочках не научились ничем заме- нить... А чем вы замените хорошее выдержанное дерево скрипки, фаго- та? «Не архангельские трубы, деревянные фаготы, пели мне о жизни грубой, о печалих и заботах»...

Однако, как ни старались животное и человек — оставшись с глазу на глаз — воевать молчаливо, их напряженно-тихий скандал тотчас же был услышан. За отсутствием времени и свободной бумаги у меня нет охоты описывать, как на пороге салона появились Мадам Хозяйка, Месье Хозяин и сопровождающие их лица и как все они ужаснулись представившемуся им зрелищу. Мадам, как добрая самаритянка, тотчас же перевязала — скорее символические, чем действительные — раны официанта; хорошенькими пальчиками с несколькими колоссальными солитерами чистой воды, каратов по тридцать каждый, она деликатно и отнюдь не брезгливо засучила черные служебные брюки с атласными лампасами и в то же время не забыла погрозить хорошеньким морщинистым мизинчиком затихшему под диваном Кубику.

Что касается самого Месье Хозяина, то он, по-видимому, не очень одобрял прилив подобного человеколюбия, считая его если не вполне притворным, то во всяком случае неуместным, так как Мадам приходилось сидеть на полу и Месье боялся, что она простудит седалищный нерв: Месье Хозяин предпочитал более реальные и быстрые действия. Нетерпеливо дождавшись, когда перевязка была закончена, он твердо обнял официанта за талию и энергично повел на свою половину апартаментов, приговаривая: «Не будем, мой друг, придавать этой истории слишком серьезного значения. Возьмите это в виде небольшого пасхального сюрприза. Здесь четыре штучки», — с этими словами он достал из бюро две тысячи новых франков еще не согнутыми, немного липкими, пахучими разноцветными пятисотками, попарно сколотыми особой банковской булавкой, и двумя пальцами подал официанту, который принял их с корректным полупоклоном, как чаевые, а Месье Хозяин, торопясь поскорее покончить с неприятным инцидентом, распахнул перед официантом все четыре створки гардероба, увешанного набором необходимых мужских костюмов, и слернул с планки несколько галстуков. Разумеется, я мог бы, как говорят, «со свойственной ему наблюдательностью и мягким юмором» описать эти толстые шелковые галстуки от Ланвена, из которых самый дешевый стоил франков сто двадцать, — но для чего? Кому это надо? А если вам так этого хочется, то «вот вам мое стило и — так сказать — можете описывать сами».

Один из трех галстуков, протянутых рукою Месье официанту, был винно-красный, цвета хорошего старого шамбертена, другой — ультра-мариновый, как Средиземное море в яркий солнечный сентябрьский день, и третий — жемчужно-серый, как парижское утро. «Дорогой друг, возьмите их себе, они более или менее подходят к любому костюму, и носите себе на здоровье»... Но этого мало. Вернувшись в салон, Месье Хозяин налил два необыкновенно высоких, строго цилиндрических стакана шотландского виски двадцатилетней выдержки, долил «перье», собственноручно достал специальными серебряными щипчиками с пружинкой из хрустального ведерка ледяной кубик, в тот же миг магически отразивший в себе навсегда освещенный восковыми свечами салон, и опустил его в стакан официанта. «А теперь выпьем». — «Но, месье, я на работе...» — «Ничего, это я беру на себя», — тонко улыбнулся Месье, и двое мужчин сделали по глотку.

Все это произошло так неуловимо стремительно, что обласканный официант первое время чувствовал себя вполне счастливым, как человек, которому неожиданно повезло, и лишь через два дня, поделившись своей радостью с земляком, тоже корсиканцем, шофером изящного грузовичка с плетеным кузовом, привозившим дважды в день в ресторан отеля устрицы, фрукты и свежую зелень, был крайне удивлен, когда земляк пожал плечами и заметил: «Вот уж я никак не думал, что ты такой лопух. Надо было содрать с него по крайней мере тысяч двадцать, даже

тридцать, конечно новыми. А в противном случае пригрозить скандалом. Закон на твоей стороне! Ты мог потребовать, чтобы он сам, мадам и все их сопровождающие лица и гости были подвергнуты в принудительном порядке прививкам против бешенства и разных других опасных болезней». — «Но собачонка вполне здорова, только у нее паршивый характер...» — заметил Наполеон. «Мало ли что! — закричал земляк-корсиканец. — Надо было требовать через полицию медицинской экспертизы и привлечь месье хозяина собачки к суду за увечье. Был бы я на твоём месте, клянусь девою Марией, я бы или содрал с него одновременно пятьдесят тысяч новых, или пожизненную ренту за частичную потерю трудоспособности! — все более и более распаляясь, кричал земляк-корсиканец. — А ты, кретин, польстился на четыре пятисотки да на пару вышедших из моды галстуков от Ланвена. Если об этом узнает твоя Матильда, то лучше не возвращайся в Аяччо, она тебе проломит голову медной ступкой для миндаля...» — «Но я не думаю, чтобы суд...» — начал Наполеон. «Чудак человек! Неужели ты думаешь, что твой месье допустил бы дело до процесса? Очень ему это нужно! Ты, наверное, понятия не имеешь, сколько у него миллионов. Для таких людей, как он, сто тысяч новых не играют никакой роли — лишь бы ему не испортили пасхальных каникул и не мешали наслаждаться жизнью. Чем подвергать мучительной экспертизе своего любимого песика и согласиться, чтобы его самого, его мадам и всех его гостей целый месяц каждый день колгали для профилактики в задницы, он бы, не задумываясь, выложил на стол сто тысяч наличными или чеком на швейцарский банк — и дело с концом: пасхальные каникулы спасены, а у тебя в кармане кругленькая сумма, и ты смог бы наплевать на «Отель де Пари», вернуться в Аяччо и открыть где-нибудь на берегу недалеко от «Дю Кап» отличную таверну для приезжих американцев, торговал бы себе потихоньку контрабандными форелями, лангустами, серым домашним хлебом, корсиканским сыром и местным беленьким винцом и в ус себе не дул». — «Ты думаешь?» — дрожа, спросил Наполеон. «Ха! Я в этом уверен». — «В таком случае я пойду к этому подлецу, брошу ему в морду галстуки и потребую деньги!» — «Но торпись, потому что мой друг Гастон слышал в баре разговор Арахиса с каким-то американцем, и этот грек-пиндос на паре колес клялся, что не пройдет и недели, как он пустит твоего месье в трубу вместе со всей его лавочкой. А что сказал Арахис — то закон. С этим не шутят. Во всяком случае поторопись. Впрочем, вряд ли что-нибудь выйдет. Надо было это сделать сейчас же после того, как песик тебя цапнул, а теперь, братец, я думаю, поздно. Что с возу упало, то пропало...» И земляк, хлопнув дверью своего пикапчика, уехал, а Наполеон остался стоять возле служебного входа в отель на тротуаре, как пораженный громом. Неужели он прозевал такой неповторимый, единственный в жизни шанс?

...Он видел безупречно стриженные газоны перед главным входом в казино, пальмы, магнолии, кедры, редчайшие породы каких-то тропических деревьев, нежные растения, окунающие свои слабые, декантские ветви в искусственные водоемы с розовыми лилиями, очень высоким итальянским камышом и лотосом, красные дорожки, кое-где в укромных уголках пустые скамьи, известные тем, что почти на каждой из них кто-нибудь застрелился, и Наполеон представлял себе всех этих самоубийц, несчастных игроков, которых так равнодушно — вот уже в течение ста лет — одного за другим убивала рулетка, но в его корсиканском воображении не менее живо возникали и другие картины — картины громадных удач, счастья, неожиданно свалившегося с неба в руки бедного человека и в один миг волшебного изменившего его жизнь.

Недавно Наполеон дежурил в ночном буфете казино и собственными глазами видел, как один приезжий итальянец из Вентимильи выиграл четыреста тысяч новых франков — что-то восемьдесят тысяч долларов! Сначала ему страшно не везло, он проигрался в пух, у него оставалась всего одна-единственная жалкая десятифранковая фишка, которую он сжимал в кулаке с побелевшими косточками суставов, не решаясь сделать свою последнюю ставку, после которой эн делался нищим...

Вот примерно что из себя представляют фишки казино Монте-Карло. Пять франков — голубой кружок, но его ставят главным образом в общих залах, куда пускают туристов и всякую другую шпану. В главных же залах ходят такие фишки: 10 франков — белый кружок, 20 франков — красно-томатный кружок, 50 франков — оранжевый кружок, 100 франков — зеленый кружок. Затем начинаются фишки высокого полета: 500 франков — уже не кружок, а прямоугольная плитка цвета слоновой кости, 1000 франков — темно-желтый прямоугольник, 5 тысяч франков — довольно большой белый прямоугольник с косой красной лентой через всю фишку, напоминающий этикетку шампанского «кордон руж». Затем 10 тысяч франков — большой чисто белый прямоугольник и, наконец, 20 тысяч франков — очень крупный сине-голубой прямоугольник, при одном лишь взгляде на который сладко кружится голова. И все эти фишки были сделаны как бы из прозрачной и твердой, как сталь, легкой пластмассы.

Некоторые веселые игроки называли в шутку прямоугольные фишки котлетками. Это было инфантильно, но, согласитесь, довольно остроумно.

...котлетки, котлетки, котлеточки...

Итальянец из Вентимильи нервно постукивал кулаком по зеленому солдатскому сукну овального стола, не находя в себе сил расстаться с последней иллюзией. Худой сорокалетний мужчина с испитым лицом мелкого собственника из числа тех, кто дома бьет детей, любит выпить стаканчика три анисовой и способен до закрытия стоять в траттории, склонясь над электрическим бильярдом, где, как обезумевший, мечется металлический кубик, то есть, простите, шарик. Теперь его испитое лицо было ужасно: наверное, он уже проиграл все свое имущество: лавочку, клочок земли и, может быть, даже обстановку, платья жены и остаток всех сбережений. На его лице с невыразительными, неподвижными глазами, словно бы отлитыми из темного стекла, был написан ужас, а его жена, такая же, как и он, худая, некогда — даже, может быть, не так давно — миловидная носатая итальянка в черном, очень коротком платье, которое в какой-то мере шло к ее шафранно-загорелому лицу с ввалившимися щеками, иссиня-черным волосам, высокой, но уже растрепавшейся прическе и золотому кресту на шее, который, видимо, должен был принести счастье, так как синьора время от времени незаметным движением страстно прижимала его к сизым губам, — сидела рядом с мужем прямая, неподвижная, как надгробная статуя.

«Ну, голубчики, вы уже готовы», — злорадно подумал тогда Наполеон, собиравший по столам пустые стаканы и красивые миниатюрные златогорлые бутылочки из-под голландского пива. Однако когда он через некоторое время снова вышел из буфета в игорный зал, то с удивлением заметил, что итальянец все еще держится и возле него даже появилось несколько ступочек белых фишек. Через час или два на столе возле итальянца опять уже ничего не было, и он снова сжимал в кулаке томатно-красную последнюю фишку, упершись неподвижным взглядом

во внутренность крутящейся деревянной чашки рулетки с перекрещенными над нею никелированными ручками, где, пущенный выхлещенными пальцами крупье в обратную сторону, прыгал по шипам белый шарик, носился, как безумный, туда и сюда по красным и черным клеткам и номерам и все никак не мог найти себе пристанище, пока наконец не упал в тесное стойлице и не застрял там, затих, навсегда утратив свое собственное движение, и неподвижно поехал в обратную сторону, покорно подчинившись движению маленькой карусели, которая стала носить его по кругу, как ребенка в своих легких саночках...

А еще через час официант увидел бледное лицо итальянца над довольно высокой стеной, выстроенной из самых разнообразных фишек. Потом эта стена постепенно разобралась, подобно тому как разбирается стена замка, построенного детьми из кубиков,— и когда уже перед рассветом Наполеон заглянул в полуопустевший зал, то увидел итальянца, который поднимался из-за стола с еще более ввалившимися, обросшими щетиной щеками и странной, полубезумной улыбкой, с которой он смотрел куда-то вдаль, мимо своей жены, судорожно поправлявшей вавилонскую башню окончательно развалившейся прически...

Вокруг них стояла неподвижная толпа. «Ну что, голубчики? — злобно подумал Наполеон.— Вот вы и лопнули!»— и ошибся, так как уже все вокруг знали, что итальянец грандиозно выиграл. Сначала он действительно был на краю пропасти, казалось, ему уже ничто не может помочь, но вдруг и совсем незаметно, как это нередко случается во время азартной игры, удача медленно, с большой неохотой повернула к итальянцу свое колесо, он стал понемножку выигрывать, и весь выигрыш тут же незаметно совал в карманы, дав мысленно страшную клятву деве Марии и сыну ее Иисусу Христу, а также всемогущему господу богу не прикасаться к выигранным фишкам до тех пор, пока окончательно не встанет из-за стола. Теперь Наполеон увидел, как они, итальянец и его халда-жена — он впереди, а она на полшага позади,— с неподвижными лицами, как заведенные, прошли через весь обморочно-огромный полупустой зал, остановились возле кассы размена, где их уже с равнодушным видом ждали клерки, и тогда итальянец стал разгружать свои внутренние и наружные, боковые, маленькие, для часов, и задние, для револьвера, брючные и жилетные карманы,— выкладывая на дубовый прилавок множество разноцветных, разнокалиберных фишек, среди которых ярко бросались в глаза пластмассовые котлетки с красной полосой по диагонали, еще более желанные, почти волшебные котлетки цвета средиземноморской волны, не говоря уже о прочей круглой мелочи, в общем напоминающей круглые конторские ластики для пишущей машинки или прессованные таблетки соснового экстракта, еще хранящие тепло человеческого тела,— все эти портативные аккумуляторы, содержащие в себе громадную денежную потенцию.

Молодые прекрасно и скромно одетые клерки тут же сортировали их, молниеносно выстраивая из них башенки и заборчики, высокие и низкие штабеля, и с корректной ловкостью сбрасывали их в особый ящик, а на их место выкладывали на прилавок пахучие кипы новеньких слипшихся разноцветных франков, скрепленных по тысячам небольшой тонкой банковской булавкой, как бы придававшей им еще больше ценности.

О, эти уголки французских ассигнаций со следами неоднократных булавочных проколов!

Итальянец, стараясь держать себя с достоинством, сначала довольно аккуратно, даже не слишком торопясь, запихивал компактные пачки денег во внутренние боковые карманы, но когда увидел, что это неудобно

и долго, то стал их брать сначала под мышку, а потом прямо накладывать на вытянутые руки—и в таком виде, с протянутыми вперед руками, на которых, как на двух брусках, кое-как лежали динамитные пачки денег,— направился к выходу, и они оба — он и она,— он на полшага впереди, а она на полшага сзади, поддерживая пачки, падающие у него из-под мышек,— проследовали, как лунатики, мимо игорных столов, часть которых уже закрывали попонами, как скаковых лошадей, через все громадные залы казино,— хотя и расписанные изысканными фресками в духе Пюви де Шаванна, а может быть, и самого Пюви де Шаванна — не знаю, не знаю! — несмотря на серые колонны со смугло-золотыми капителями, несмотря на паркет, блестящие под ногами, как великолепные деревянные озера, несмотря на величественную кафедральную тишину или, может быть, именно вследствие этой какой-то пугающей, шаркающей тишины, отсутствия смеха и музыки, юности и любви — даже, черт возьми, разврата! — все эти чертоги с распахнутыми дворцовыми дверями создавали чувство какого-то громадного, но старомодного вокзала — например, унылого, старого, полузаброшенного вокзала в Сан-Франциско, откуда уже давно не ходят поезда, а пассажиры по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за город, где и пересаживают в уже готовый трансконтинентальный экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми неграми-проводниками в золотых очках и белых перчатках, ласковых и предупредительных, как добрые няньки из хороших домов.

Они прошли через все двери, а затем мимо сухо поклонившегося им ливрейного швейцара, которому, впрочем, ничего не дали,— вышли по каскаду шикарной наружной лестницы прямо в застывший в предутренней летаргии парк и, не заходя в гостиницу, пошли прямо по ярким газонам, облитым зелено-ртутным сиянием газосветных ламп, смешанным с синеватым оттенком приливающего средиземноморского рассвета, мимо белеющих скамеек самоубийц — на вокзал...

Наполеон стоял и смотрел подавленный, очарованный, полный горького восторга и зависти, но швейцар, выдавший виды старый монегас, посмотрев не без презрения вслед удаляющимся итальянцам, заметил с мудрой, но недоброй улыбкой:

— Ничего. Они вернутся,— сказал он зловеще.— Можете на меня положиться.

Теперь, когда Наполеон вспомнил об этом, в нем с новой энергией вспыхнула надежда. Нет! Надо во что бы то ни стало вернуть потерянный шанс, который, конечно, больше уже никогда в жизни не повторится. Через несколько дней ему удалось подстеречь Месье одного, возле лифта. «Месье,— сказал он решительно,— я не могу рисковать жизнью. Несомненно, ваша собака бешеная. Я требую строжайшей медицинской экспертизы. Я буду настаивать на том, чтобы всей вашей семье и всем лицам, соприкасавшимся с опасной собакой, сделали принудительные прививки, что предусмотрено монашеским законодательством. В противном случае...» — «Позвольте,— мягко перебил его Месье, и его некогда голубые глаза приобрели красивый стальной оттенок,— оставим в стороне монашеское законодательство. Все это чепуха. Мне кажется, что мы с вами в расчете, не так ли?» — «Месье,— сказал официант,— у меня на Корсике семья: жена и дети. Я должен их обеспечить. Я не прошу многого. Дайте пятьдесят тысяч новых франков, и я замну, это неприятное для вас дело».

Увидев резко изменившееся, ставшее зловеще-мраморным, несмотря на некоторую старческую одутловатость и лысину, все еще прекрасное, хотя уже и мучнистое лицо Месье, Наполеон струхнул и почувствовал холод, распространившийся по его спине и ногам. «Для вас, месье, эта сумма ничего не составляет, а меня и мою семью она сделает обеспеченными до конца дней», — неуверенно, почти жалобно произнес официант, заискивающе глядя в непроницаемые, как у греческой статуи, глаза Месье. «Безусловно, для меня эта сумма ровно ничего не составляет, — спокойно сказал Месье, — но тут дело принципа: я не могу позволить себе дважды платить по одному и тому же счету — иначе я не был бы коммерсантом и очень быстро вылетел в трубу. Вы меня поняли?» — «Месье...» — начал Наполеон, но Месье резко его прервал: «Довольно. Вы, кажется, решили меня шантажировать? Не думаю, что дирекция отеля захочет держать у себя служащего-шантажиста!» С этими словами Месье вошел в лифт и, отражаясь в его многочисленных зеркалах, поднялся вверх, а Наполеон на ослабевших ногах дотащился до кафельной уборной, где в низких, очень широких писсуарах лежали, подобно кусочкам сахара, белые дезинфекционные кубики, придавая стерильной чистой уборной эlegantный запах первоклассного лечебного заведения, сел там на теплое сиденье и заскрежетал зубами: «Ах ты, мерзавец... скот... Презренный буржуа... Кровосос... Ну, погоди... Дай бог, чтобы тебя поскорее сожрал со всеми твоими вонючими потрохами Арахис... А потом... О, потом!.. — я всегда говорил, что потом всех вас нужно вырезать до одного или повесить на фонарях... Мы еще с тобой посчитаемся, подонок!»

Бедняга Наполеон даже не подозревал, что в этот самый момент всемогущий Арахис уже нанес Месье смертельный удар и его предпринятию остались считанные дни.

Через некоторое время встревоженные Месье и Мадам и все сопровождающие их лица спешно отбыли на трансатлантическом американском «боюнге», делавшем по дороге из Нью-Йорка в Париж короткую остановку в Ницце. Предварительно вкусно позавтракав в стеклянном ресторане аэропорта, любясь плоской песчаной косой, где каждую минуту спускались и поднимались лайнеры почти всех мировых авиалиний, вся компания — Мадам, Месье и сопровождающие их лица — забралась в самолет и поднялась в воздух, углубившись на мгновение в море, где на миг перед ними предстало божественное туманное видение Корсики, потом как бы опрокинулись над Лазурным берегом с мысом Атиб, Каннами, Сен-Рафаэлем, и вдруг внизу справа развернулась белозубая панорама Альп со всеми их знаменитыми вершинами, из которых одна была мучительно знакома по цветным путеводителям и открыткам — кривой конус со срезанным верхом — не то Маттерхорн, не то Монте-Роза, не то Монблан, — и все это было так сухо, белоснежно, божественно, в особенности после глотка ледяного шампанского, которое разносил маленький индонезиец — с виду совсем мальчик, а на самом деле седой старичок в очках, — держа в руке толстую бутылку, до горла завернутую в салфетку. Собачку же, которая не выносила воздушных путешествий, отправили с шофером в Париж — на вишнево-красном спортивном «паккарде» с черными сафьяновыми подушками — с таким расчетом, чтобы она встретила своих Хозяев в Орли, чем вся эта история с Кубиком должна была кончиться — и, безусловно, кончилась бы, — если бы не получила огласку у низших служащих «Отеля де Пари» и Наполеон сделался общими посмешищем. Теперь его не называли иначе, чем «этот идиот корсиканец, которого укусила собачонка миллионера и он

не сумел содрать с него хотя бы каких-нибудь паршивых ста тысяч но-выми». За спиной Наполеона делали непристойные жесты и хихикали в кулак. Об этом наконец узнала жена Наполеона и прислала ему из Аяччо яростное письмо, полное угроз и намеков на то, что он помимо того, что просто дурак, но еще и рогатый дурак, «кокю».

Сатана вселился в Наполеона.

Взяв расчет, он ринулся в Париж, намереваясь совершить что-нибудь ужасное, адское, кровавое, какой-нибудь поступок, от которого содрогнулся мир, вселенная, — эта треснувшая в нескольких местах старая чугунная сковородка, привязанная к хвосту взбесившегося животного, не сообразившего, что лучше всего было бы сидеть смиренно на раскаленной мостовой Галактики, нервно нюхая свою паленую шерсть. Он сразу же, как это часто бывает с провинциалами в Париже, попал в дурное общество, в темную компанию полууголовных типов — алжирцев-эмигрантов, сенегальцев, мусорщиков, длинноволосых юношей в узких сюртуках и дамских сорочках с рюшем на груди и грязными кружевными манжетами, выдававших себя за «хиппи», а на самом деле продавцов наркотиков, некотирующейся валюты и золота, промышленявших также поставкой агентурных сведений для Центрального разведывательного управления, итальянских анархистов и беглецов из социалистических стран, продавших свою родину, проевших и пропивших деньги в разных кабачках и бистро «Левый Берег», подпольных адвокатов, обещавших Наполеону выколотить из Месье за укусы собаки кругленькую сумму, а пока что вытянувших с официанта последние денежки, оставшиеся у него от ухаживаний за обольстительными девчонками с известково-белыми, почти серебряными, порочными лицами, на три четверти занавешенными волосами утопленниц, как бы вырезанными из белого волокнистого дерева, — умевшими брать деньги и ничего взамен не давать... Так что, когда однажды во Франции началась грозная, могучая и молчаливая всеобщая забастовка, охватившая десять миллионов рабочих, то вместо того, чтобы примкнуть к колоннам настоящего организованного пролетариата, Наполеон очутился среди люмпенов, во множестве примазавшихся к честным студентам Латинского квартала. Вконец опустившийся, пьяный, с немытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия, потрясая над головой черным знаменем Ровашоля, за что ему было выдано наличными пятьдесят новых франков и еще обещано впоследствии сто, и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубокому траншеям, проложенным среди гор давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом, и при их вспышках на темном небосклоне погруженного во мрак Парижа на миг возникали то купол Пантеона, то золоченые пики Люксембургского сада, а за ними — лысая могучая голова Верлена, похожего на Ленина, то силуэт церкви, куда некогда хаживал Данте...

Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами толпа ринулась обратно на бульвар Сен-Жермен. В общей свалке Наполеон потерял черное знамя, и кто-то сейчас же повелительно сунул ему в руки портрет «великого кормчего», и он понес

его, раскачивая над головой, что издали имело вид тыквы на палке. Против воинственного памятника Дантона поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками. Два черных аккуратных ажанчика в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и ноги и запихнули в черную полицейскую машину, стоявшую в сыром узком дворе Кур де Маршан, где некогда справа помещалась типография газеты «Друг народа» Марата, а слева против нее во втором этаже жил тихий и аккуратный доктор Гильотен, изобретатель известной машины для гуманных казней. Тем временем Месье Хозяин, как обычно, прогуливал своего Кубика по тихой улице, и если бы не отдаленная стрельба, не горы мусора и не отсутствие электрического освещения, а также слишком редкое движение автомобилей, то трудно было бы поверить, что где-то в других районах города происходят крупные беспорядки, почти революция, что мосты через Сену блокированы войсками для того, чтобы восставший народ не перешел на правую сторону и не ворвался в Елисейский дворец, оцепленный национальной гвардией с лошадиными хвостами на касках...

Кубик метался на своем поводке, крутился, как безумный, нервничал, почти терял сознание от охватившего его непонятного ужаса, тихонько завывал, и Месье Хозяин отвел его по темной лестнице с остановившимся лифтом на третий этаж, впустил в свою роскошную квартиру, тревожно освещенную несколькими красивыми восковыми свечами, при свете которых Мадам просматривала в салоне старые иллюстрированные журналы, отцепил поводок, и Кубик побежал по длинному темному коридору в спальню и залез там под громадную, низкую супружескую кровать и затих там во тьме, напоминая кучку древесного угля... Я мог бы еще, конечно, рассказать, как Месье Бывший Мальчик, подавленный, раздраженный, утомленный многодневным отсутствием электрического тока, отсутствием дел и газет, молчанием холодного телевизора, черными мыслями о близком разорении и гибели от руки всевластного Арахиса, для того чтобы хоть немного рассеяться, взял в кухне пустую корзинку, чтобы принести несколько бутылок минеральной воды и хорошего красного вина, и со свечой в руке пошел в домашних туфлях по бесконечно длинной черной лестнице вниз, в подвал, где были расположены винные погреба жильцов этого богатого дома, и там он осмотрел свои драгоценные пыльные бутылки, хранящиеся на бетонных полках, и бутылки минеральных вод из всех стран мира, коллекцию которых он собирал — это было его хобби, — и вдруг он почувствовал себя странно, как будто бы на него вдруг обрушилась страшная тяжесть его годов, и он увидел буквы ОВ, как бы написанные алмазной пылью на каменной стене погреба, и эти буквы завертелись вокруг него, как волчок, и он с трудом удержался на ногах и, обливаясь горячим потом, присел на ящик с немецкой минеральной водой «брамбахер», а в это время Мадам, встревоженная дурным предчувствием, спустилась в погреб, и Месье Бывший Мальчик увидел со свечой в руке неразборчиволицую фразийскую принцессу — мертвую девочку Саньку! — в своем сверкающем золотом венце. «Что с тобой? Тебе плохо?» — спросила Мадам Бывшая Девочка в ужасе, глядя на его открытый рот со вставными жемчужными зубами и страдальческие глаза. «Ничего», — с трудом ответил он и хотел, для того чтобы успокоить ее, улыбнуться, спросить, как себя чувствует собачка, и хотел произнести слово «Кубик», но рот его был набит какими-то другими стереометрическими фигурами, и он, сделав страшное усилие, сумел произнести вместо слова «Кубик» — слово «Волчок». «Вол-

чок», — сказал он, жалобно глядя на Мадам Бывшую Девочку, а вокруг них продолжали, действительно как волчок, кружиться алмазные буквы.

Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте.

Я бы, конечно, сумел описать майскую парижскую ночь с маленькой гелиотроповой луной посреди неба, отдаленную баррикадную перестрелку и узкие улицы Монмартрского холма, как бы нежные детские руки, поддерживающие еще не вполне наполненный белый монгольфьер церкви Сакре Кёр, вот-вот готовый улететь к луне... — но зачем?

1967—1968 гг.

Переделкино.



А. ТВАРДОВСКИЙ

★

С КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

Заметки эти в большей части — «расшифровка» и перебелка карандашных записей со страниц записной книжки в «Рабочую тетрадь» 1939—1940 годов. Занялся я этим тотчас по окончании боев в Финляндии из опасения, что по прошествии времени сам не смогу разобраться в тех записях, сделанных по выработавшейся журналистской манере с сокращениями и условными обозначениями, где иногда одна фраза и даже одно памятное словечко содержало для меня целый эпизод, биографию, картинку. На память я никогда не жаловался и чаще всего беседовал с людьми, не вынимая из полевой сумки своей толстой записной книжки не только потому, что иногда это было просто неудобно: замерзали руки, было темно или беседа проходила в пути. По опыту корреспондентских поездок в тридцатых годах я знал, что люди в большинстве хуже рассказывают «под карандаш», то и дело косясь на твой блокнот, сдерживаются, настороженно выбирают слова. Только по окончании беседы, будь она даже в тепле и при свете, за столом, я, улучив минутку, переспрашивал имена, уточнял даты, названия местности и записывал их в книжку. Только из документов (боевые донесения, письма и т. п.) я делал, если представлялось возможным, точные дословные выписки.

Так и лежала у меня эта тетрадь с перебеленными пером заметками почти тридцать лет среди других тетрадей, пока по встретившейся, как говорится, надобности я не стал ее перелистывать и не попал на эти страницы.

И мне показалось решительно невозможным делать в них теперь какие-либо исправления или дополнения, кроме необходимых подстрочных примечаний. Если эти заметки имеют какую-либо ценность, то лишь как занесенные в тетрадь для себя тогда, по свежей памяти.

Естественно, что разнообразие и глубочайшие впечатления Великой Отечественной войны отстранили и заслонили собой и для писателей и для читателей память трехмесячной зимней кампании в Финляндии.

Но и «на той войне незначительной», при всей несоизмеримости ее масштабов и исторического значения с Великой войной, были наши люди. И память их не может подлетать забвению. Воину не дано выбирать ни времени, ни места, где ему придется пролить свою кровь или сложить голову за родину — под Сталинградом или где-нибудь под Киркой-Муолой.

Мне уже приходилось говорить, что в моей газетной работе в первый год войны, до того, как у меня пошел «Василий Теркин», мне больше удовлетворения, чем стихи, доставляла проза — очерки о героях боев, написанные на основе личных бесед с людьми фронта. Мы все знали, как ценили сами герои эти очерки, заносившие их имена как бы в некую летопись войны. И если описывался подвиг, или, как тогда говорили, боевой эпизод, где герой погибал, то и тут было важно хоть лишний раз упомянуть его имя в печатной строке.

Такие очерки — «портреты героев» мне приходилось писать и в период боевых действий на Карельском перешейке, когда я вместе с писателями Н. С. Тихоновым, В. М. Саяновым, С. И. Ващенко и другими работал в газете ЛВО «На страже Родины». Жанр этот в существенных признаках не менялся и в практике фронтовой печати в годы Отечественной войны.

Но в публикуемых записках больше имен и боевых эпизодов, которые так и не были в свое время перенесены из записной книжки на печатную страницу или же нашли там место с известными ограничениями, без непосредственных, живых, хотя бы и беглых, наблюдений и впечатлений автора.

Заранее прошу извинения перед всеми, с кем встречался в пору боев на Карельском перешейке и кого упоминаю здесь со слов других товарищей, за возможные неточности и упущения, неизбежные в такого рода записках.

Ленинград. 30.XI.39.

Ина этот раз сильно не повезло. В самый момент, когда нужно было быть на месте, захворал глупой детской хворью. Ветряная оспа! А Вашенцев (сейчас звонил) уже был «там». Сижу, как Иов праведный, щупаю свои лишай, пытаюсь сочинить какие-то стишки, но мне уже не звонят, меня нет, информируюсь у коридорных да официантов — что на белом свете.

Только всего и имею покамест, что вывез из первой поездки в часть. Лес, землянки (домовитые, пахучие — сосна), люди из 68-го полка и 2-й батареи. «Праздний мост». Ожидание, настроение близящегося дела. Но все это уже позади. В свое время не записал, а теперь и записывать не хочется.

А знаешь, друг мой, как тяжело хворать одному в пустынной гостинице, в незнакомом городе и в такое время, когда об отдельном человеке забывают...

2.XII.39. Со вчерашнего дня пошло лучше и лучше. Завтра окончательно встану. Вчера пришел милый Крашенинников, «Чуть-что», как мы его зовем за этот его излюбленный оборот речи, принес яблок, мандаринов, хлопочет, беспокоится: «Лежи, лежи!» А сам еще более побелел, осунулся. У него родила жена. (Я ездил к ней, когда он был в командировке, с приветом от мужа, но уже не застал дома, на кухне соседки сказали, что она уже в родилке, что уже родила, девочку.) И вторично он пришел в тот же день, принес мне «На страже Родины» и другие газеты. Повеселел я. Написал стишок, хорошо заснул. Сегодня еще лучше мне, хотя еще не все прыщики утихли. Опять приходил Крашенинников, опять принес мандаринов и пил с нами чай (с ним еще был товарищ). Принес он и белье, как обещал, но я сказал, что завтра у меня свое будет готово. Завтра, пожалуй, поеду туда.

15.XII.39. Завтра в 3 часа утра едем под Выборг, где должно быть решающее.

Я здесь с 18-го прошлого месяца. Так много пишу и так тяжело и беспорядочно проходит жизнь, что почти ничего не записывал. То есть для себя.

А очень хотелось и очень нужно было записать все три состоявшиеся до сих пор поездки: Майнила (у границы), Перк-Ярви (50 км. от границы, 68-й полк), Кронштадт («Марат»).

Жуткая ночь. Жажда. Утро на опушке леса. Как я пил воду из неизвестного колодца. Как вкусен был суп из красноармейского котелка в арtpолку. Дальше. Опять лес, лес. Как мы вышли на поляну и остались одни с трупами. Марш. Грузовик, куда мы забралась. Как я жалостно просил хлеба. Перк-Ярви. Выстрел. Ужин. Утро. Обратный путь (не могли выехать из города). Гати, переезды, объезды, таскание машин.

1.I.40.12 часов. «Интернационал». Прошли первые сутки сороковых годов. Собирался зачистить конец 39-го года, в смысле записей. Подытожить все и начать вести регулярные записи. Ни черта, кажется, не получается. Пишу медленно, не успеваю то написать, что в газету идет. Много рассеивается времени, пока сидишь в Ленинграде. Обидно за себя. Но, может быть, причина все же в общей обстановке и условиях.

Вот закончится война, засяду на месяц-другой в доме отдыха и шаг за шагом буду восстанавливать виденное и пережитое. А кроме того, время не совсем даром уходит. Дороже записей то, что незаметно и как будто беспорядочно откладывается в голове из всех впечатлений, встреч и т. п. Правда, записи помогли бы и самому этому откладыванию.

19.I.40, 2 часа ночи. Возвратился из очередной поездки. Поездка на редкость удачная. Герои-артиллеристы (Лаптев, Пулюкин и другие). Полковник Бакаев. Вечера в штабной комнатке.

Когда-то у меня была хорошая привычка, беспокойная, но полезная потребность — после каждой поездки в колхозы записывать кратко: что нового по сравнению с тем, что я знал раньше, получил от этой поездки, с каким добытком внутреннего знания, окрепшей убежденности возвратился...

Здесь также каждая поездка, если следить и внутренне не распускаться, дает обязательно новое что-нибудь, и это новое довольно легко (для себя, покамест) выделяется из того, что является уже повторением виденного раньше. Так, собственно, и складывается, накапливается всякое знание жизни — когда следишь и отмечаешь. Правда, есть еще какой-то внутренний процесс, за которым не уследить, но он — пусть себе совершается.

Первая поездка — самое сильное впечатление от «подземной» жизни белого зимнего леса. Дымки над сугробами, узкие ходы в землянки, орудия на расчищенных от снега площадках. Брусника, раздавленная сапогами на снегу.

Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников, лезших из кожи. Концерт шел в комнате, набитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены — ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать. Так тогда думалось. И, помню, впервые испытывал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их, как родных, дорогих мне лично людей.

Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое положение «писателя с двумя шпалами» — оно не заслужено (не то слово). Я то и дело мысленно ставлю себя на место любого рядового красноармейца. Правда, все реже. В том походе¹ я не мог еще забыть, что я призванный в ряды РККА рядовой и что только командирская шинель на мне и проч.

Вторая поездка. Вторая встреча с людьми 68-го полка. Главное впечатление — люди, прошедшие уже несколько дней труднейшего похода, почерневшие, осунувшиеся. Оживление улеглось, но усталость еще не пошатнула основного настроения и веры, что в ближайшие дни...

Третья поездка — в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны. Комиссар и начподив уже втолковывают людям задачи, разрешение которых — не день и не два...

Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат.

¹ В Западную Белоруссию.

Пятая — неудачная. Впервые «под обстрелом».

Последняя — замечательная. Внутренний вывод, убеждение: ни хрена, жить можно.

Надо спать — уже только конспектирую, что не имеет смысла.

19.1.40. Вчера произошло событие, которое будет переломным в моей работе и самочувствии. Написал в один присест стихотворение «Мать героя». Оно было хорошо встречено в редакции, хотя я опасался, что оно испугает редактора и других лиричностью, непривычным решением темы. Писалось оно необычно. Я задумал написать что-то такое о переживаниях родных и близких, жен и матерей наших героев. Но что, как — ничего не было. Было только перед глазами место на первой полосе газеты, где должны были быть стихи. А перед этим я правил очерк Вашенцева, обрамленный двумя замечательными документами: письмом матери Лаптева в часть (что с ним, почему не пишет и т. д.) и ответом комиссара, где сообщалось, что он представлен к званию Героя. А еще раньше я вместе с Вашенцевым читал в полку эти документы в оригинале. И там уже плакал. Но так как о Лаптеве должен был писать Вашенцев, он и переписал себе эти документы в тетрадку. Вот они:

1. «Начальнику штаба от гр-ки Лаптевой Олены. Товарищ начальник, я к вам обращаюсь со своим наболевшим вопросом. Я мать красноармейца, мой сын достоин служить в нашей радостной непобедимой Красной Армии. Мой сын был взят в РККА в 1937 г. и служил хорошо и всю свою службу имел со мной переписку и писал — «все хорошо, служу, мама, хорошо и весело» — и я жила спокойно. Живу одна. Он меня все увещал — «мама, духом не падай». Но в настоящее время я просто погибаю, не знаю, мой сын жив или не жив. Тов. начальник, я вас прошу о большой милости, чтобы вы успокоили мое сердце — жив мой сын или нет. Мой сын — Лаптев Григорий Михайлович — Челябинской обл., ст. Бакал, село Рудничное, ул. Ленина, 15.

Остаюсь Лаптева Елена».

2. Ответ комиссара Дядющина, показанный им при нас на батарее Лаптеву:

«Многоуважаемая Елена Ивановна!

Ваш сын, Григорий Михайлович, — отважный, смелый и находчивый воин. Во время боя он, находясь под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, прямой наводкой расстреливал врага метким огнем из орудия. За проявленный героизм и отвагу командование представило вашего сына на присвоение ему звания Героя Сов. Союза.

Мы гордимся вашим сыном, патриотом великого советского народа, и от всего сердца благодарим вас за то, что вы сумели воспитать такого героя для нашей социалистической родины.

С почтением и уважением к вам».

Сейчас, переписывая, я опять чуть не заплакал над этими строчками и искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним (по памяти). Но когда я писал, мои стихи казались мне (наверно, по сравнению с тем всем, что я делал до сих пор в газете) очень хорошими. И я был снова растроган. Слабость эта, возможно, объясняется еще чем-нибудь, но и стихи при этом писались удивительно легко. Это совершенно не мой черновик. В нем не вычеркнуто ни одной строфы целиком. Для меня, страшного мара-

теля, это столь необычное дело, что я решаю дать место в моей тетрадке «творческой истории» этого стихотворения. С него, может быть, и начинается настоящая моя работа в газете.

8.III.40. После поездки на о.Койвисто — восьмой день в Ленинграде. Хорошее перемежается с плохим, ненужным. Написал очерк о герое Посконкина, «Балладу о красном знамени», и стихи к сегодняшнему номеру — «Письмо».

Неведение записей в этой тетрадке приводит к некоторым огорчениям неожиданного порядка. Все, что рассказал прибывшему сюда М—кову, он все уже занес на бумагу, в свой сценарий.

Единственным моим дневником являются стихи, которых пишу много. Некоторые из них, правда, не содержат в себе никаких следов пережитого или увиденного мною. А те, в которых хоть что-нибудь есть, начинаются с «На привале».

Кончится кампания, отдышусь от писания «в номер», засяду основательно. Строчка за строчкой пропущу все через сито. Все это должно и можно развить, отделать, завершить. Штука за штукой буду отрабатывать и переписывать в тетрадку. А до того и в журналы давать не стоит. Буду жив и здоров — будет книжка, какой я сам вообразить раньше не мог.

Как-то пошел в умывальную, «гор.» — «хол.» и проч. — и вдруг приходит мне простая такая мысль: а ведь я вижу войну, настоящую войну, суровую и ожесточенную. Я же столько уже видел и слышал.

Живем, пишем, болтаем, ездим, замерзаем, пьем, едим и т.д. Но ею, войною, уже безвозвратно отрезана какая-то половина жизни, что-то навек закрылось. Сознание постарело.

На днях пошли утром с Вашенцевым по городу. Утро морозное, а ощущение весны так безусловно и глубоко, что плакать хотелось. Ведь уже много-много весен я встречаю в городах, уже и городская весна трогает. И вдруг — мысль: а там, на фронте, еще не кончено, еще мы переваливаем через такие трудности, еще — черт ее знает что. Никакой весны. Война, а не весна. Стыдно, невозможно заниматься мечтами, воспоминаниями, собой.

13.III.40. В пятом часу позвонил Березин¹ из редакции: «Война — вся, мир...» Сейчас 7 утра. У нас Саянов. Должны поехать в типографию читать договор и проч. А затем сразу же по Выборгскому. Первая поездка, когда совсем другое чувство.

3.IV.40. Москва. Вот и снова — Могильцевский. С. Маршак не без оснований говорил, что после войны все может показаться очень пресным, малозначительным и т.д.

У меня есть чувство (я уже знаю, что оно неверное), схожее трудно сказать с чем. Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это общеизвестно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут. Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере, — что ничего больше ее нет. Это мне понятно. Но я только тогда смогу вновь в полную меру сердца волноваться всем тем, чем волновался

¹ Редактор газеты «На страже Родины».

прежде (ведь вот ехал «стрелой» из Ленинграда, смотрю на проталинки по откосам между елок и ничего не чувствую, что, бывало, обязательно чувствовал при этом признаке весны: что-то — может быть, на время — отошло далеко и живет, как в книге, которую читал когда-то, а теперь только помнишь смутно) — деревней, природой, землей, людьми и книгами, — когда выпишусь, выскажусь как следует на темы финляндского похода. Тем самым, может быть, преодолею окончательно и это свое неверное чувство.

4.IV.40. Это целая большая зима — от осеннего бездорожья до почти уже бездорожья весеннего. От первого неглубокого снега, на котором, раздавленные сапогом, краснели, как капли крови, ягоды крупной брусники, до серого, опавшего мартовского снега, из которого стали вытаскивать — то черная, скрюченная, сморщенная кисть руки, то клочья одежды, то пустая пулеметная лента и т. п. От суровых ночных метелей, от морозных страшно красных закатов на темном и белом фоне хвойных лесов, от первых дымков землянок — до свежих, легкоморозных утр, почерневших дорог, чистых, точно умытых елей и сосен...

От первого выстрела в 8 часов 30 ноября 1939 года — до последнего выстрела в 12 часов 13 марта.

Весь этот срок по своим характерным признакам делится на три части, на три периода. Первый период — с перехода реки Сестры, первых столкновений с противником и стремительного продвижения вперед — до первых крупных неудач у оборонительной полосы в декабре (около 17-го). Это один период, одно настроение, когда еще казалось, что победа — дело ближайших дней. Еще 27—28 декабря 90-я дивизия пыталась на своем направлении прорвать укрепрайон, понесла большие потери и остановилась «у проволоки». Тут уже было тяжелое чувство недоумения, непонимания — в чем дело?

Второй период — когда было решено, что нужно хорошо подготовиться, что не обязательно завтра, можно и послезавтра одолеть врага, но сделать это уже наверняка. Это период перегруппировки, подготовки, отдыха и устройства многих тысяч людей в лесах, в редких уцелевших строениях, в землянках. Длится он до 11 февраля. С одиннадцатого дня всеобщего наступления — третий, последний период, период решительного, убыстренного натиска, прорыва полосы дотов, продвижения на Выборг и жесточайших боев под Выборгом — до заключения мирного договора.

Когда-нибудь, на большом расстоянии, вся зима эта будет представляться более цельно и неразлично в смысле ее этапов. Но покамест в ней для меня довольно отчетливо существуют более ранние ее дни, подернутые уже какой-то дымкой, как давно прошедшее. Когда мы ехали последний раз с перешейка и проезжали, как обычно, Териоки — дело было вечером, — было очень странно видеть эти домики, уже обжитые, в которых виднелись огни. По дороге шел какой-то военный с женщиной под руку. Это уже был обыкновенный быт. Это уже не вызывало ничего интереса. Это все уже было далеко. Не умею передать, почему все так казалось грустно.

А когда вообще едешь этими лесами и видишь брошенные хвойные шалаши, видишь землянки, черные пятна от костров — вспоминается самый суровый период зимы. Здесь сидели люди. Чтобы обогреться, был единственный способ, которому тысячи лет, — закопаться в землю, разрыть снег, раздолбать мерзлую землю, вырыть яму, накрыть ее накатом неокоренных бревен, хвоей, присыпать землей и развести в одном углу огонь в какой-нибудь жестяной печке, а то и просто так. Вспоминаются

клубы пара и дыма над снегом в лесу, визг танковых и тракторных гусениц, сухая жесткая стрельба из орудий, движение, движение. Люди в обгорелых шинелях, с опухшими от холода лицами, немые, небритые.

Буду записывать, что вспомнится по записной книжке, в приблизительно хронологическом порядке — по поездкам.

Первое время писал исключительно плохие стихи, хотя впечатления первой же (до 30 ноября) поездки уже подсказывали какие-то детали, мотивы.

По серому шоссе гремели танки,
Орудия, броневики, грузовики.
А по лесу дымились молчаливые землянки
И вспыхивали осторожно огоньки.
В лесу сосновом разбредлись роты —
Шел стук и гром:
Кипела плотничья веселая работа,
Промерзшее крошилось дерево под топором.

У границы все было наготове и шла подготовка к переходу р. Сестры. Когда мы приехали в 68-й полк, там нас встретил хороший парень, старший лейтенант из редакции, Федя Крашенинников. Был он так заботлив и нежен с нами, что становилось неловко. Каким-то образом занял он свежесрубленную из сухих бревен какой-то старой постройки небольшую избушку. До нас там жили артиллеристы. Стояла она рядом с домиком кулацкого типа (крылечко, мезонин, тесовая крыша) и глядела прямо на лес, синевший вдалеке за рекой Сестрой, не видной отсюда. Федя — «Чуть-что» — затапливал печку, кипятил чай и пр. Там я жарил ветчину в кастрюле. Спать было первую половину ночи страшно жарко и душно, вторую дико холодно. Сколько раз за недолгие дни пребывания на границе всматривался я оттуда на «ихний» лес, думал, старался угадать, почувствовать, что здесь будет. Допускал, между прочим, мысль, что на месте нашего домика ни черта не останется. Население отсюда было все вывезено.

Пошли в батальон капитана Макарова, «испанца», награжденного Красным Знаменем. Он был не очень здоров на вид, человек очень хороший. Из тех, что, приобщившись в какой-то степени к культуре, дорожат этим. Он картавил немного и довольно мило, но стеснялся этого, как и своего маленького роста. Поэтому он говорил очень осторожно, медленно, выбирая слова, всячески стараясь избежать слов, на которых спотыкался. Впрочем, может быть, это было еще оттого, что он старался говорить совершенно правильно. И — нет-нет — выскакивало словечко, сразу напоминавшее, что он из крестьян, пастушонок, просто деревенский парень. Рассказывал, как он с товарищами ходил в Париже (по пути в Испанию) в театр (надевали взятые напрокат фраки).

Утром мы лазали по опушке леса вдоль изгибов р. Сестры. Хотелось увидеть финнов. В лесу всюду шла работа. Валили сосны, связывали переносные мостки, заготавливали накаты для больших мостов.

Заметили двух финнов-пограничников. Шли они от леса к своей «стражнице» в каких-то тулупах, с винтовками за плечом — вроде охотников. Заметили нас, хоть мы и прятались за редкими елочками на опушке. Один показал в нашу сторону рукой, поговорили, постояли, пошли.

Подошли мы с группой саперов к мосту через р. Сестру. Мост настоящий, на бетонных быках, когда-то по нему ездили. Граница перерезала его пополам. Часть моста была много лет назад подпилена и обрушена вниз. На накате, заваленном землей, выросла сосенка толщиной в оглоблю и высокая, верхушкой выше уцелевшей половины моста, отделенной от нас колючей проволокой. Особое впечатление производил этот «праздник мост», как я его тогда назвал для себя. Он здесь стоял искони, он был нужен, он теперь не служил, но и не был снесен до основания — и это заставляло воображать и представлять себе, что придет срок и он будет исправлен и вновь будет служить. Так, видимо, обе стороны и смотрели на него. А сосенка росла, вытягивалась и была признаком странного запустения.

Наши подошли к мосту, стали, размахивая руками, рассуждать насчет исправления моста — так что финны, стоявшие за елками на том берегу, не могли иметь сомнений, что речь идет именно о мосте, и в известных целях. Сразу за мостом у них был окоп. На елке, в темноте ее верхушки, стоял финн-дозорный. За рекой слышался стук и треск — валили деревья. Это финны устраивали завалы.

Если б эти записи велись в свое время день за днем, они были бы куда ценнее. А так, когда помнишь о том, что было после, даже трудно писать. Все это, предварительное, кажется таким малозначительным и малоинтересным. Но иначе никакого порядка не будет — нужно записывать.

Собственно, С. привез нас в 70-ю. Оттуда мы направились в 68-й, а через день приехал сюда и С. — со своим ромбом в петлицах. На одной батарее он для проверки готовности людей устроил, по-моему, странную инсценировку. Командир и комиссар дивизии послушно осуществляют его затею. К пареньку, командиру батареи, подходит командир дивизии и, прерывая его рапорт, играет: оттуда-то бьет противник, там-то наша пехота, принимайте, мол, решение.

Тот: Я позволю туда-то.

Комдив: Не знаю, ничего не знаю. Я посыльный. — Пожимает плечами, поправляет пенсне, разводит руками.

Тот (даже условно не принимая, что это посыльный) опять, наугад, растерянно, вопрошающе:

— Я свяжусь с... Я открою огонь...

— Ничего не знаю. Что вы с посыльным советуетесь! — И т. д. до слез на глазах у бедного младшего лейтенанта.

Нарвались мы на эту картину и были не рады. А С. отвел нас в землянку и в обычном своем тоне предложил «сигнализировать» о результатах его остроумной проверки в газете.

Частенько мы это вспоминали: «Я посыльный...» И командир и комиссар, между прочим, вскоре были сняты — как несправившиеся. А что с этим лейтенантом — кто его знает!

Раевский. Еще у границы все — и бойцы и командиры — были в ватниках — знаков различия не видно. Полушубки на командирах были еще не замаранные. Добротная зимняя одежда была еще непривычна и всем нравилась. Все, казалось, боялись, что вдруг прикажут сдать все это, так как обойдется дело без войны.

Сидим в штабе макаровского батальона. С нами инструктор политотдела дивизии, политрук, которого я по полушубку, спутав с другим

человеком, весь вечер называл батальонным комиссаром (он не поправил).

— А вам что? — обращается он к человеку в ватнике, стоящему довольно небрежно у косяка двери.

— То есть как — что? — отвечает тот, покраснев и приняв более строгую позу.

— Товарищ боец...

— Я командир роты.

— А!

Это и был Раевский, красавец, силач и прямо-таки головорез по смелости и дерзости. Затем я его видел на походе, в шинели и каске, после пяти-шести дней пути и боев, загорелого, немного заросшего. Но краснел он так же, как прежде. Черты лица крупные и немного бабьи, вернее — девичьи. Был он, между прочим, до армии водолазом. Убит.

При переходе границы я хворал. Первая поездка по фронту была числа 5—6-го в 68-м полку 70-й. Мы его догоняли, искали дня два. Впервые увидел я Териоки, пожарища, двухэтажные печи, торчащие на пожарищах. В Териоках, помню, у дороги валялись убитые и еще живые лошади, подорвавшиеся на минах. Очень хотелось пристрелить их, но мы не решились это сделать. Выстрелы могли вызвать тревогу и даже панику.

Впервые мы видели завалы. Огромные парковые ели и сосны были повалены таким образом, что ствол не отделялся от высокого пня, без подруба (в обычное время валить так деревья — величайшее безобразия). Кроме того, на стволе на месте надреза финны наматывали из колючей проволоки петлю восьмеркой, так что, когда дерево валилось, оно еще оказывалось привязанным к своему пню, что очень должно было затруднить растаскивание завалов — и топором не вдруг возьмешь. Но во всех этих завалах, рвах, эскарпах и даже надолбах очень много бессмысленного. Огромный труд, а препятствие несерьезное. Сделан один проход — и все. Правда, в дальнейшем, у дотов, эти проходы (в надолбах) доставались большой ценой.

Впервые я узнал, что такое «пробки» на дорогах. Из-за них мы заночевали в лесу. Пробивались по какой-то совершенно невероятной дороге, она была только что проложена. Свежие пни и горбы корней страшно затрудняли проезд для машин. И еще — все расквасилось. Артиллерия, прошедшая впереди, разворотила колеи, в них хрустел лед, перемешанный с водой и грязью. Много раз таскали машину. Ночью, отдыхая в машине, заснули — все и шофер. Колонна впереди рассосалась и прошла. Сзади никого не было. Оставалось продвигаться одним. В одном месте основательно засели, пришлось буквально умолять догнавших нас обозников, чтоб помогли. И опять остались одни. А тогда все полно было разговорами о нападениях, обстрелах, бандах в тылу. Где-то среди леса мы наткнулись на грузовик, брошенный своей колонной. Один, как перст, часовой с винтовкой сидел в нем, страшно рад был поговорить с нами, с робкой надеждой предложил: «Оставайтесь, переночуем вместе. Дальше там — еще хуже дорога».

Но мы не остались. Ко всему добавить, что шла какая-то стрельба, правда редкая, и мучила жажда: еще о «спецпайке» и речи не было. Я ел, ел снег, ни черта не помогает. Вспоминал всю воду, какую видел в жизни. К раннему рассвету выбрались из лесу, которому, казалось, нет и нет конца. Увидели костры — ночевала какая-то часть. У колодца стоял часовой. «Брали здесь воду?» — «Не знаю». — «А что колодец — отравлен?» — «Не знаю». Привязали к шести котелок, достали. Шофер

смотрит на меня. Я приложился к котелку. Обыкновенная болотная, довольно скверная вода. Попил и шофер. Подъехали к кострам, кому-то представились. Первый раз ел из чужого котелка чьей-то только что облизанной ложкой чудесный, горячий, жидкий суп с макаронами. Тут мы ожили. Я обошел весь бивуак, роздал газеты, которые у меня буквально вырывали из рук. Тронулись дальше.

Догнали мы 1-й батальон 68-го (не макаровский). Люди были утомлены, невеселы, неразговорчивы. Уже были потери, неудачи, утомление — утомление первых дней — самое тягостное, поскольку непривычное. Пошли пешком догонять макаровский батальон, а машину оставили двигаться в обозе.

Обходя обоз, прошли километра два-три по лесу. Дорога была разминирована, но кое-где неизолированные мины были примечены вешками, каким-нибудь едва заметным прутиком. На одну такую мину я чуть не наступил. Встретились с Макаровым, он ехал верхом в хвост колонны. Очень удивился, что мы таки сдержали свое слово и нашли его батальон. Но сразу же и нас и его, по-видимому, стеснила какая-то неловкость. Мы точно стеснялись друг друга. Все было другое, чем думали там, когда стояли у границы и когда давали свое обещание.

Мы видели, что он, Макаров, очень утомлен. Пропалил на спине шинель. Был в подшлемнике и каске. И говорить было почти не о чем. Шли долго. Макаров отдал лошадь бойцу и шел с нами, может быть, из вежливости, чтоб не ехать рядом одному.

Мы устали и захотели есть, но все ожидали, что будет привал, обед и все устроится само собой. Но батальон шел и шел. Разговорились было по пути с полковником Бриченком, командиром артполка, действовавшего во взаимодействии с 68-м стрелковым. Прошли мызу Мысниеми. Мост, речка, а мыза на взгорке. В откосе взгорка пулеметные гнезда — дзоты, хотя мы еще эти землянки тогда так не называли. Зашли в большой двухэтажный дом мызы. С балкона был вид на озеро. Красиво, наводит на мечты о какой-то приятной дачной жизни. Между прочим, серьезность войны еще не осознавалась мною — я всю дорогу смотрел на хороший строевой лес и думал о постройке дачи в смоленских краях, о своей работе и т. п.

У мызы была какая-то остановка, задержка. Мы с Бриченком и группой командиров прошли далеко, оторвавшись от колонны. Потом Бриченок предложил своим сесть на коней, и все они ускакали, а мы втроем пошли дальше. Шли, шли узкой прямой просекой, которая видна была далеко-далеко. Наконец, вышли на поляну, большую, открытую, и здесь увидели первых убитых. Лежали они, видно, уже дня два. Налево, головой к лесу, лежал молоденький розовощекий офицер-мальчик. Сапоги с ног были сняты, розовые байковые портяночки раскрутились. Направо лежал перееханный танком, сплюснутый, размеченный на равные части труп. Потом — еще и еще. Свои и финны. У всех очень маленькими казались руки (окоченевшие). Каждый труп застыл, имея в своей позе какое-то напоминание, похоть на что-то. Один лежал на спине, вытянув ровно ноги, как пловец, отдыхающий на воде. Другой замерз, в странной напряженности выгнувшись, как будто он хотел подняться с земли без помощи рук. Третий лежал рядом с убитым конем, и в том, как он лежал, чувствовалось, какой страшной и внезапной силой снесло его с коня — он не сделал ни одного, ни малейшего движения после того, как упал. Как упал, так и окаменел. Жутко было видеть, например, туловище без головы. Там, где должна быть голова, — что-то розоватое, припорошенное снегом. Особенно жутко и неприятно,

физически невыносимо, что все, что раздроблено или рассечено, выглядит совершенно как мясо, немного светлей, розоватей, но мясо и мясо.

После я уже не рассматривал так подробно трупы и не находил в них столько жуткого.

Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелью, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все. Нужно еще удивляться, как удерживается какое-нибудь имя в списках награжденных. Все, все подчинено главной задаче — успеху, продвижению вперед. А если остановиться, вдуматься, ужаснуться, то сил для дальнейшей борьбы не нашлось бы.

Нам стало жутко на этой поляне смерти, и мы повернули назад и встретили вскоре охранение батальона. Тут уже начало вечереть. Вскоре вся колонна подтянулась к шоссе, в которое уперлась наша дорога. По пути, на поляне, мы обратили внимание Макарова на какие-то фигуры справа, то приподнимавшиеся, то скрывавшиеся за камнями. Макаров приказал Раевскому выяснить, и мы видели только, как из роты Раевского отделилась группка бойцов и пошла в целик по снегу вправо. Кажется, это были наши саперы, обследовавшие местность.

По шоссе шла бесконечная вереница танков, орудий, грузовиков. Они подхватили и нас. И мы вновь пошли с Макаровым, пока он не велел подать себе своего Росинанта (он как-то очень трогательно искажил это слово — отчасти по картавости, отчасти потому, что вряд ли читал «Дон-Кихота»). Тут Сергей Иванович намекнул, что мы голодны. Было очень тяжело видеть, как Макаров, при всей его готовности сделать что-нибудь, ничего не мог сделать. Кухни были уже приглашены, ничего не было. Пришлось ждать ночевки в Перк-Ярви. Мы потеряли стыд и совесть, попросились именем нашей благородной профессии в какой-то закрытый грузовик, где было не то радио, не то электроустановка и два бойца. Там мы сели, как могли, и закачали головами. Сергей Иванович вскоре заснул, как обычно. Меня томил голод. Грузовик шел по какой-то дороге, ветви каких-то деревьев стегали его по крыше, нас качало, подбрасывало. Закуривая, я при свете спички успел заметить хлеб в ящике с инструментами. И вдруг неожиданно для себя очень жалобно попросил «хлебца» у бойцов. Они дали, но без особой готовности. Я отрезал своим товарищам по ломтику и себе, заморил червяка и заснул. Проснулся в Перк-Ярви, во дворе дома, занятого штабом 68-го полка. Пробрались в штаб, были радостно и приветливо встречены полковником Коруновым и старшим политруком Пьянцевым, накормлены, напоены чаем. Тут произошел случай с выстрелом в штабе, в соседней и смежной с нами комнате, который мы часто потом вспоминали и рассказывали. Кто-то держал руку в кармане ватных штанов, где у него был трофейный «вальтер» без кобуры, и по забывчивости отвел предохранитель и нажал на спуск. Но это выяснилось спустя несколько минут. А в ту минуту это был выстрел в только что занятом штабом помещении, где можно было ожидать в той обстановке чего угодно.

Запомнилось, как полковник Корунов, немолодой уже, «папашистый» мужчина в ватнике, под ремнем без портупен, когда все ринулись было на пол, мгновенно бросился к двери той комнаты, где грохнул выстрел, выхватив из-за пазухи наган...

Утром, часов в шесть, полковник созвал командиров батальонов. Мы встретились с Макаровым, который, видимо, ночевал у костра, был еще более утомлен, почернел и не то обижен на нас, не то испытывал неловкость за то, что не накормил нас и что все так вышло. Скорее первое.

Взяв беседы — Вашенцев у Корунова, я у Пьянцева и еще кое у кого, побеседовав, между прочим, со знаменитой Хованской (очерк Вашенцева «Паша Петровна»), мы поехали домой. Долго не могли выбраться из этого обгорелого и побитого городка, линия фронта была в непосредственной близости, когда никого своих на дороге — уже беспокоило.

Из этой поездки запомнились, кроме истории с выстрелом, такие забавные мелочи. Полковник получил как раз посылку из дому. Мармеладные конфеты были частично залиты почему-то керосином. Комиссар разостлал у себя на коленях какой-то платок или салфетку и презабавно отбирал неиспорченные от испорченных конфет, каждую беря пальцами и долго и подозрительно нюхая.

Еще занятно, как мы боялись, хоть и смеялись сами над собой, оправляться — на дороге человек, а по обочинам и в канавах всюду предполагались мины. На этот предмет мы даже сочиняли в машине глупые и малоприличные частушки.

Из этой поездки у меня, помимо газетного материала, было еще стихотворение «На привале» — первое сносное стихотворение мое в «На страже Родины»:

Дельный — что и говорить —
 Был старик тот самый,
 Что придумал? Суп варить
 На колесах прямо...

В середине месяца ездили в Кронштадт. Затея эта называлась «обмен опытом». Описывать почему-то не хочется. Впечатления слишком поверхностны и наивны. И потом это дело случайное.

Следующая поездка на фронт была в 43-ю дивизию, стоявшую под Киркой-Муолой. Вечером мы были на совещании у комиссара дивизии, куда нас не очень охотно пустили. Нас очень звал к себе ночевать командир 181-го полка, а ночью, между прочим, там была заварушка, финны попытались окружить штаб, но были отбиты.

В эту поездку мы начали понимать, что на подступах к укрепрайону наши несут большие потери.

181-й полк. Комиссар Терехов, командир Гноевой.

Комроты Дергачев, беспартийный, проникнул с разведгруппой в глубь 48-й. Вел там бой в окружении три или четыре часа. Убит. Четверо раненых. Даже говорили, что неизвестно, убит ли Дергачев или захвачен в плен.

Все это было еще в новинку, казалось чем-то необычным, а что еще было потом!

Начинж Федоров столкнулся с финским офицером, залегшим за камнем метрах в двадцати пяти. У Федорова пистолет, и у того — парабеллум. Началась дуэль до последнего патрона у Федорова. К счастью, у него еще была финская трофейная граната. Он изловчился и метнул ее в офицера. Убил, подобрал парабеллум.

Этот Федоров потом наводил мост через канал, соединяющий два озера. Под огнем. Под прикрытием нашего артогня. Всю ночь до рассвета работали. Раненый утром в руку, Федоров просидел под своим мостом до новой ночи, охраняемый по-прежнему с опушки леса своими.

Связист Иоффе, продавец из Ленинивермага, очень плохо и неполно описанный мною в стихике, по рассказам, очень замечательно работал.

Наводил связь в любых условиях. Когда один взвод пехоты попал под огонь, командир растерялся, не мог ни рассредоточить людей, ни вывести их из-под огня. Иоффе решил, что комвзвод убит, и, приняв на себя командование взводом, вывел его из-под огня, в том числе и самого комвзвода.

С тремя товарищами, ведя связь, в лесу был окружен бандой. Принял бой, гранатами проложил себе дорогу и выбрался без потерь к своим.

Я его не видел, может быть, поэтому и написал так плохо.

Младший политрук Смирнов Иосиф Егорович. Очень молодой, высокий, грубокостный парень. Лицо свежее, наивное. Был в мирное время работником клуба, теперь при комиссаре.

— Товарищ писатель, младший политрук Смирнов явился по вашему приказанию.

Я просил вызвать его, узнав, что он ведет дневник. Дневник он вел с первого дня кампании в желтой «Полевой книжке» старательным и форсистым почерком, какой бывает у не очень грамотных людей.

Он описывает впечатление от артподготовки, самый переход границы, первые потери (на минах).

«Потеря товарища нас в панику не бросает и не заставляет бояться за свою собственную жизнь, нет, наоборот, это делает тебя еще мужественнее, и ты проникаешься чувством жестокой мести врагу за товарища.

Противник применяет хамские средства борьбы. Еще три товарища... Два танкиста и санинструктор. Корольков, командир танка, проводит ночь в танке, обстреливаемом финнами. Он в страшном беспокойстве за своих товарищей — башенного Калашникова и водителя Тарасова. А те в момент выхода из машины попали на мину и были убиты. Сам Корольков был только контужен.

Погибших похоронили. Речь произнес комиссар Терехов. Потом был произведен трехкратный ружейный салют».

Эта запись Смирнова свидетельствует о тех жертвах войны, которые вскоре перед фактами новых и более значительных жертв были если не забыты, то никого уже не волновали. А люди-то поплатились тем же, чем и другие, может быть, большие, чем они, герои, — жизнью. И так в войне все забывается по мере нарастания — менее значительное вчерашнее перед более значительным сегодняшним и завтрашним. Но когда перейден самый страшный рубеж, произошли самые большие бои данной кампании, тогда уже помнят только это, а последующее, когда люди тоже умирают, но не на столь важных для исхода войны высотах и т. п., — все это уже почти не учитывается. Трудно на войне выбрать день, когда наиболее выгодно погибнуть, выгодно — в смысле того следа, который оставит твой подвиг и гибель в памяти товарищей, армии, народа.

«В составе 6-й стрелковой роты иду в бой. Организовываю перебежки 3-го взвода.

История с коровой, которая, позвякивая колокольчиком, пришла на командный пункт и наделала переполоху (не выписал).

Утро. Меняем командный пункт. Первый раз за все время этого похода ложусь спать в хорошем уютном доме. Быстро засыпаю. Вижу много снов, в большинстве из боевых действий».

Он так юношески здоров, этот молодой политрук, так восторжен и неутомим душевно, что каждый день войны для него — праздник.

Даже потери товарищей не угнетают его, потому что его не пугает мысль о собственной смерти или ранении. Он к этому готов и счастлив от сознания, что и ему довелось быть там, где все так всерьез. Война вообще — для людей либо самых еще молодых, не привязанных к жизни цепкими мелочами и прочим, либо для людей, переживших уже все искушения личного существования, стоящих духовно выше собственной физической данности, спокойных и равнодушных ко всему, кроме исхода данной операции, данной кампании.

Четвертого числа Смирнов получает от Терехова (комиссара) задание войти в комиссию по передаче ценных вещей и имущества, оставленного бежавшими торговцами и др., нашим тылам — «для раздачи бедноте».

«Работу спешу закончить побыстрее, так как хочется попасть к моменту атаки в 3-й батальон и идти с ним в бой.

Десять часов убийственная орудийная стрельба по противнику. Комиссар и штаб уже уехали на новый командный пункт. Быстро налаживаю свои трофейные финские лыжи. В течение нескольких десятков минут догоняю их на расстоянии 3—4 км.

Комиссар на этот раз разрешил пойти в наступление».

На другой день Смирнов дописывает:

«Я был рад. Быстро становлюсь на лыжи и догоняю свои передовые подразделения. Небольшое напряжение, и я догнал главные силы. По дороге мне красноармейцы передали захваченный у финнов их государственный флаг. Привязав его к полевой сумке, двигаюсь дальше. По дороге опять останавливают бойцы и просят, чтоб я ехал с ними и рассказывал последние новости. Не успел я приступить к рассказу — вылетел на своем сером коне артиллерийский лейтенант Кузменко и со всего галопа наскочил на меня. Если б не бойцы, пришлось бы погибнуть бесславно, да к тому же очень глупо. Отделался без повреждений.

Затем вырываюсь вперед и с передовым подразделением иду в разведку. Проходим несколько населенных пунктов, которые противник не успел сжечь, не встречая ни одного выстрела.

20.00. Входим в пункт, намеченный приказом дивизии, — Тэллкяля. Все кругом горит. Противник это сделал для того, чтобы лучше видеть наше продвижение. Своего он добился. Мы были замечены. И открылась бешеная ружейно-пулеметная стрельба. Мы сразу же припали к земле. Необходимо нам залезть в канаву. А чтобы пробраться туда, нужно сломать изгородь. Быстро прикладом отбиваю одно из перил. Обстреливают, но мне удается подлезть под изгородь, и я на спине выдергиваю всю перекладину с кольями. Не успел перебраться в окоп, как враг с высоты послал несколько очередей из пулемета, но обошлось все благополучно. Пули просвистели у самого виска, даже не ранив. Через несколько минут со стороны противника началась сильная орудийная стрельба по нас. Даем ответ из минометов и полковой артиллерии. Противник замолкает. С боем занимаем дер. Тэллкяля (точнее выражаясь, не деревню, а несколько труб и печек). В одном из уцелевших домов расположились на четырехчасовой отдых. Пришел капитан Марченко.

— Меняйте расположение, иначе в 30—35 м. расстреляют финны».

Сколько нужно энергии, живейшего интереса к происходящему и юношески ясного и бесстрашного отношения ко всему, чтобы просто найти силы и время для ведения этих записей. Над одной записью карандашом приписано: «Последние неразборчивые строчки были написаны мной в полусонном состоянии, в 4 часа утра».

Безусловно, автор делал лично гораздо больше, чем сам отмечает.

После, например, описания наступления с ротой Хохлакова идут такие строчки:

«Описывать все, что произошло, я не желаю, ибо считаю это не совсем правильным для себя...»

«б. XII. Лейтенанты Бастяев и Зиньков отправились в разведку. Противник выпустил их из лесу, а потом — огонь. Мы начинаем вести огонь по противнику, не зная, что впереди наши товарищи. Видим, ползет по канаве фигура к нам. Финн? Сдающийся? Окружены? Приказываю не стрелять. Оказывается, наш боец, посланный Бастяевым для предупреждения. Высылаю танк, чтоб эвакуировать Бастяева и др. Отходя под прикрытием танка, Бастяев получил контузию, по рассказам, и пропал без вести».

В записях наряду с патетически-приподнятыми моментами наличествует и своеобразный, непритязательный юмор. В одном месте автор говорит, что кое-кто из его товарищей, боясь умыться снегом, оберегая «цвет лица, утратили всякий цвет такового» — то есть стали страшно грязны.

Повара Мирошкина, сообщает он, за фамильярность и пререкания с командованием прозвали «поваром-демократом».

Миска, найденная им в одном из домов и приспособленная к делу, — «братская миска».

Хорошие мясные щи — «наступательные».

Размышление о смерти он заканчивает словами: «Поживем — увидим, кто из нас сильней».

Пушки полковника Самяна — «кормилицы».

Кроме газетной заметки на основе этого дневника и «Бориса Иоффе», из этой поездки я привез еще «Рассказ танкиста». Из этого стихотворения еще что-то может получиться¹.

Поездка в 90-ю дивизию.

Выехали поздно, в Райвола заночевали. Райвола — это еще был фронт. Не забыть картины этой большой армейской жизни в поселке, которому довелось стать историческим. Там был штаб, там был член Военсовета. Стояли с заведенными моторами танки, часовые тревожно и тщательно проверяли пропуска, на ночь предупреждали, как вести себя в случае тревоги. В Райвола нас, в сущности, задержали. Это был чуть ли не первый день действия приказа о запрещении въезда на фронт всем штатским людям — корреспондентам, писателям, артистам и т. п. При нас заместитель начальника Пуарма звонил члену Военного совета — можно ли нас пропустить. Выдали нам командировки от Пуарма. Выехали мы рано утром, в темень глухой декабрьской ночи.

¹ Среди полученных мною поздравлений к Новому, 1968 году было следующее письмо:

«Многоуважаемый т. Твардовский!

Вам будет странно и трудно вспомнить, от кого это поздравление. Но я часто вспоминаю Вас, когда вспоминаю годы войны, это было 28 лет назад, во время войны с белофиннами.

Мы, танкисты, шли в наступление, подойдя к заминированному лесному завалу, в это время Вы подъехали к нам. Я был комиссаром 161-го отдельного танкового батальона 40-й танковой бригады. Проверив, кто Вы такой, передал с Вами политдонесение. И потом Вы написали о «Казбеке», когда под Кирка-Муола в моем танке мех.водитель старшина Дегтяренко был убит, а заряжающий Лебедев попросил у меня закурить, я ему отказал во избежание опасности курить в танке. Вы об этом писали, правда! Т. Лебедеву не суждено было жить, в другом бою он повис на танке, сраженный пулей врага. Вот кратко я напомнил Вам, кто я такой.

А эту, большую, войну после прорыва блокады Ленинграда прошел с боями до Берлина. Сейчас в отставке. Вот пока и все.

С ком. приветом

М. И. Ламнусов»,

Ехать было местами страшновато, но приходилось быть внутренне посрамленным и вместе обрадованным всякий раз, как в морозном тумане вдруг выделялась фигура регулировщика, одиноко проводящего ночь у костра близ дороги.

Приехали часов в 10—11. Шла артподготовка. Возле батарей пахло кузницей. За линией огня было неприятно идти — слыша над головой свист, шелест, визг и проч. Причем не знаю и сейчас, какая пушка бьет так противно — звук выстрела не округлен никаким гулом, жесткий, хриплый, мучительный для перепонок — как шилом в кость.

На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо. Это было последнее наступление на укрепленный район в декабре. Командир дивизии грозил командирам полков, командир корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:

— Вперед. Немедленно вперед...

Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволок, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя.

По телефону доложили, что один танк возвращается пробитый, командир не то ранен, не то убит. Через несколько минут в землянку спустился человек и как диковинку протянул в ладони блестящий, маслянистый от крови 37-миллиметровый снаряд противотанковой пушки. Снаряд только что извлекли из тела танкиста, который, между прочим, был жив, в сознании и чувствовал себя сносно. Снаряд пробил броню танка, вонзился в плечо танкиста, но не разорвался.

— Унеси эту штуку отсюда, — приказал кто-то из начальства.

Помнится, чаще всего говорили с комполка Бондаревым.

— Мелкими группами вперед! Не лежать...

Вскоре стало известно, что комиссар Лаврухин, пошедший поднимать людей, убит. Вечером я писал в дивизионной редакции стихи, посвященные его памяти.

К вечеру мы были на командном пункте полка. Когда стали близко рваться снаряды — ушли. В лесу разрыв тяжелого снаряда — жуткое и вместе исключительно красивое зрелище (конечно, это можно отметить, только находясь на порядочном расстоянии от места данного разрыва). Кажется, что снаряд вырывается из глубины земли, раздвигая, разваливая в стороны сосны.

Между прочим, когда мы еще шли на КП, я сказал, что вижу наши снаряды в полете. Я отчетливо видел некоторые из них в полном соответствии со звуком. Летит, вертясь, как кажется, вроде волчка черный комочек с камень, какой можно запустить на небольшое расстояние, и, совершая траекторию, скрывается за лесом. Надо мной стали смеяться. Мол, как же вы можете видеть снаряд, когда он летит со скоростью, скажем, 700 с чем-то метров в секунду. Однако нашелся добрый человек, артиллерист, который подтвердил, что снаряд действительно можно видеть в полете, если смотреть ему прямо в затылок, то есть находиться как раз на линии полета.

К вечеру же мы видели, как потянулся поток всякого транспорта с передовой — везли раненых. Их везли на машинах, на танках, на санях, на волокушах, несли на носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в санях на животе, протянув вперед темные, оковеневшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака — пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик

почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:

— Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук — теплые. Возьми, слышь...

Еще, помню, шел довольно быстро танк, и на нем лежал один легко раненный боец, обнимая сверху двоих, по-видимому, тяжелых, придер- живая их.

Финский снаряд разорвался поближе — черный столб земли взметнулся чуть не вровень с соснами и, как вулканический выброс, тяжело и даже медлительно опал на белый снег.

Саперы выравнивали дорогу, по которой эвакуировали раненых, подпиливали пеньки, спиливали бугры, гатили болото.

К ночи стало очевидно по общему настроению, что успеха нет. В районе КП дивизии бойцы начали углублять и утеплять землянки.

На ночь была задача сменить людей, лежавших на снегу. Это было сделано, кажется, только к рассвету.

Из этой поездки я возвратился в тяжелом состоянии подавленности, какого-то недоумения. Это все было очень тяжело видеть в первый раз и справляться внутренне с этим самому.

Поздним вечером я ходил с младшим лейтенантом Колобковым в медсанбат. Это — очерк «Беззаветная работа». Здесь я, между прочим, впервые узнал о самострелах, «эсэсах», как их еще называют.

Военврач Печатникова М. З.: «Бывает, что к вечеру расстроишься от всего этого и поплачешь, а днем, правда, некогда». Финна с отмороженными ногами пришлось после перевязки эвакуировать отдельно — столько было ненависти у наших раненых.

«Сдунешь снег с лица — жив? Мертв?»

В эту же поездку мы узнали о большом заходе белофиннов в наши тылы 23.XII. Рассказывали, что финны были страшно голодны. Они напали на наши обозы, и большинство их убитых остались с краюхой закусенного хлеба в руках или с буханкой, крепко прижатой к груди.

В диковинку еще было, что финны везли пулеметы по снегу в специальных лодочках.

В редакцию поступила корреспонденция от военкора П. Критюка о героической смерти комсомольца связиста Виктора Зеленцова.

Зеленцов исправлял по заданию комбата старшего лейтенанта Барцева линию связи огневой позиции с наблюдательным пунктом, когда его окружила большая группа белофиннов — человек сорок. Залег, стал отстреливаться. Во время перестрелки был ранен в грудь и в руку. Финны бросаются к нему, он, собрав последние силы, бросает одну за другой две гранаты. Гранатами были убиты на месте 23 финна. Больше о Зеленцове ничего не известно.

Нам с Вашенцевым было задание — разыскать часть, откуда Зеленцов, расспросить о нем все и у кого будет возможно, посвятить герою полосу. Передовую уже написали по корреспонденции, но решили все придержать и дать разом. В газете, следовательно, покамест не было ни строчки об этом деле. Был слух, что что-то такое дала «Боевая». По почтовому адресу определили полк — 47-й КАП. В Райволе пошли к начарту 7-й армии, ныне Герою Советского Союза комдиву Порсегову. Он встретил нас хорошо, прочел корреспонденцию.

— Гм. Да. Это было, было. В корпусе вам скажут подробнее. А пока что я вам хотел указать на других наших замечательных героев. — Тут он, между прочим, назвал людей батареи Маргулиса, где мы в следующую поездку и побывали.

Приезжаем к начарту корпуса.

— Да. Гм... В полку скажут подробнее.

Приезжаем в полк (а до того еще справлялись у начарта дивизии), проверяют по спискам. Нет такого. Нет и нет. Наконец кто-то вспоминает, что Критюк — личность известная — артист, эстражник по профессии. Но где он — черт его знает. Дальше выясняется, что один дивизион этого полка остался на Петрозаводском направлении. Возможно, он там был — Зеленцов. Следы потерялись. Потом стали к этому относиться, как к легенде. Потом столько было других героев, что об этом забыли. В списках Героев СССР его нет.

Поездка в поисках Зеленцова навела нас на 28-й КАП, где была знаменитая батарея Маргулиса. Туда мы поехали в следующий раз, а в этот раз были только в 47-м КАП, где в момент нашей беседы с начальством противник открыл огонь по землянке командного пункта (там была прежде батарея, засеченная, по-видимому, финнами). Мы сидели и делали вид, что продолжаем беседу, но командир полка заметно нервничал, особенно когда оказалось, что связь с батареей, которая могла открыть ответный огонь, прервана. Аджютант вваливался и, бледный, попросту перепуганный, докладывал о новых раненных снарядами у машин, у медпункта. Всего 8 человек, один, кажется, смертельно — в живот. Шофер наш отлеживался в ямке у своей машины, фотокорреспондент Бернштейн только что предложил радисту расположиться у своих аппаратов, чтобы снять его, как начался обстрел, и радист был ранен.

Вашенцев беседовал с молоденькой лекпомшей, очень молоденькой, красивой, разбитной, розовощекой. Он был смущен, что от нее пахло водкой — она, видно, только что приняла «спецнаек». Я — с комиссаром, который мне не понравился, и записывать от него было нечего. Затем мы, осмотрев места разрывов, пошли питаться в землянку комиссара.

Интересно было видеть, что в лекпомшу влюблен весь этот гаубичный полк — от комиссара и командира до какого-нибудь бойца.

Подобные явления потом доводилось наблюдать и в других частях.

28-й КАП ¹.

До записей, связанных с поездкой в этот полк, надо не упустить кое-что из того, что в записной книжке перечислено реестриком.

Пейзажи. Сильная и суровая красота этих мест порой просто наполнила душу какой-то торжественностью и грустью. Леса в снегах, валуны огромные, как дома, как копны сена, как...

Что-то древнее, могучее, северное, печальное.

И в этих лесах, снегах уцелевшие кое-где дома свидетельствовали об особой культуре жилья, теплого и уютного, о традиционной строгой домовитости. Чудесные финские печи вроде наших «бураков», но меньше, изящней и во много раз продуктивней. Два полена — и печка тепла и способна держать тепло хоть всю ночь.

Потолки в домах-дачах, домах вообще зажиточных жителей, подшитые вагонкой. Окна большие, но не итальянские, которые как-то лишают комнату, жилье вообще уюта и уменьшают вместительность его.

Как вообще выглядели эти места, полностью представить себе невозможно. Жилье дополняет пейзаж, прямо-таки меняет его, а по Выборгскому направлению уцелевшие дома — редкость. Трубы, трубы с печами на огнищах, правда, потом занесенных снегом. Стоит печка. Она уцелела. Вот загнетка, над ней кожух, какой над очагами

¹ Корпусной артиллерийский полк.

когда-то делался. И этот символ уюта и домашности обвеивается вьюгами, запорошен метелями. А мимо несутся машины, гремят и повизгивают гусеницы танков и тракторов, скрипят сани на буксире у грузовиков.

Все время, между прочим, было такое ощущение, что нечто громадное и необычное еще впереди, что еще будет, будет всего. То едут какие-то невероятные пушки, какие и артиллеристы не все видели, то какие-то приспособления, щиты, бронесани, то еще черт знает что пододвигается, подтягивается силой несчетного, несметного количества моторов и меньшезакаты, но все же значительного — коней, заиндевевших, лохматых тяжеловозов.

Закаты — не верилось, что тут всегда и до нас были, и после нас будут такие закаты. Казалось, что в них краски пожаров и крови — так яркие, красно-огненные они были на фоне снегов синеватых, голубых, затененных темно-зелеными елями. Осенью, видя рождественские финские открытки, я думал, что это только на открытках такие подкрашенные снега и такие закаты. Но и в действительности они такие. Только на открытках пропадает величие и суровость пейзажа, остаются обезжизненные краски.

Тишина здесь тоже особая. Вдали от линии фронта иногда наступала такая тишина (может быть, это по контрасту, после канонад и пр.), что в соединении с однообразным видом снегов, камней и хвойных лесов создавалось впечатление, как будто Земля уже остыла или все это где-нибудь на Луне.

Днем же бывала еще дикая голубизна неба, что можно ее, пожалуй, сравнить только с южной голубизной. Только та гуще, а эта прозрачней. И тени днем были голубые и еще какие-то — не могу назвать.

В такие дни особенно много было в небе самолетов, но это не были загородные учебные вылеты — это были боевые вылеты. В эти ясные, голубые дни появление этих самолетов по ту сторону линии фронта, наверно, производило сильное впечатление.

Животные. Что не успевали финны забрать с собой, старались уничтожить на месте. Скот часто резали. Но все же оставались коровы, бесприютно бродившие по снегу, пока их не прибирали к рукам.

В редакции дивизионной газеты (90-я) жил курчавый пес Белофинн. Котов нескольких я видел в землянках у бойцов. Одного я 14.III взял у пустого и холодного дома на окраине Выборга. Отогрел его под полкой полушубка, он и замурлыкал. Большой старый кот — шерсть с проседью. Отогревшись, начал куда-то стремиться. Отпустил.

Одного жеребенка, рассказывают, артиллеристы наши долго подкармливали хлебом и проч. Так он и шел с батареей. А там его, возможно, убило осколком или пулей. А может, и до сих пор живет и будет хорошим конем.

20.IV.40. Переписывая в тетрадь карандашные записи для порядка, я все время думал о том, что же я буду писать о походе всерьез. Мне уже представился в каких-то моментах путь героя моей поэмы. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях. Какое-то знакомство с девушкой — лекпомом или сестрой. Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было. Вчера вечером или сегодня утром герой нашелся. и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он. Вася Теркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу,

а по форме почти то же, что он был на страницах «На страже Родины». Нет, и по форме, вероятно, будет не то.

А как необходимы его веселость, удачливость, энергия и неунывающая душа для преодоления сурового материала этой войны. И как много он может вобрать в себя из того, чего нужно коснуться. Это будет веселая армейская штука, но вместе с тем в ней будет и лиризм. Вот когда Вася ползет, раненный, на пункт и дела его плохи, а он не поддается — это все должно быть поистине трогательно.

Благодаря тому, что в первый раз он ранен в начале кампании и что, отоспавшись в госпитале, он, где пешком, где с оказией, пробирается через весь Карельский перешеек, ему удастся видеть очень много — тылы, дороги и т. п. Тут столько может быть занятных моментов. Нет, это просто счастье — вспомнить о Васе. И в голову никому не придет из тех, что подписывали картинки про Васю Теркина, что к нему можно обратиться и всерьез. Моральное же мое право на Теркина в том, что я его начинал, в том, что я правил чужие подписи к картинкам Брискина и Фомичева, и, главное, в том, что никто за это дело не возьмется, а если возьмется, то не сделает так, как это сделаю я, если все пойдет по-хорошему.

Вася Теркин из деревни, но уже работал где-то в городе или на новостройке. Весельчак, остролов и балагур вроде того шофера, что вез меня с М. Голодным из Феодосии в Коктебель¹.

Теркин — участник освободительного похода в Западную Белоруссию, про который он к месту вспоминает и хорошо рассказывает. Холост. Очень умелый и находчивый человек. Играет на чем придется — балалайка так балалайка, гармонь так гармонь.

Хоть в бою, хоть где невесть —
Но уж это точно —
Перво-наперво поесть
Вася любит прочно.

Он умеет и кашеварить. На походе случается ему и блины печь, и курицу жарить, и корову доить.

В нем сочетается самая простодушная уставная дидактика с вольностью и ухарством. В мирное время у него, может быть, и не обходилось без взысканий, хотя он и тут ловок и подкупающе находчив. В нем — пафос пехоты, войска, самого близкого к земле, к холоду, к огню и смерти.

Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот — неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде.

При удаче это будет ценнейший подарок армии, это будет ее любимец, нарицательное имя. Для молодежи это должно быть книжкой, которая делает любовь к армии более земной, конкретной.

Даже в нравах армии это может сделать свое дело — разрядить немного то, что в ней есть сухого, безулыбочного и т. п., не подрывая ничуть священных основ дисциплины. Одним словом, дай бог сил!²

¹ В тетради, которая по времени предшествует этой, запись: «1. IX. 39. Феодосийский шофер. Это тот герой, которого как раз недостает в нашей литературе, — весельчак, балагур, остряк в любую минуту жизни и т. п. Я попытался бы сделать что-нибудь из него в стихах, но для этого нужно бы от него больше послушаться».

² Первоначальный замысел «Книги про бойца», самый момент находки образа Теркина и все тогдашние предположения насчет будущего его развития — все это для меня самого было как бы в новость, когда я попал на эти записи почти тридцатилетней давности, до которых почему-то не добрался во время работы над статьей «Как был написан «Василий Теркин»».

21.IV.40. Вчера — 20.IV — принят единогласно в члены ВКП(б).

Придется нарушить последовательность записей и привести в порядок самые последние записи, сделанные в 35-й орденоносной танковой бригаде (откуда Кошуба¹). В бригаде двенадцать Героев Советского Союза.

Командир роты 112-го батальона — капитан Архипов Василий Сергеевич. Скромный, красивый, необычайно простой и симпатичный.

Только мочка правого уха с чего-то разрослась в заметную шишку — это так портит красивое, мягкое и спокойное его лицо, что когда глядишь на него, стараешься не замечать шишку, «отмыслить» ее.

Из крестьян-бедняков Челябинской области. Родился в 1906 году. До 1921 года ходил в пастухах у кулака Колесникова в селе Тютеняры. Окончил три класса сельской школы, после учился в школе взрослых. В армии, в 1931 году, окончил пехотную школу младших командиров и остался на пожизненную службу. В январе 1940 года награжден Красным Знаменем.

Из беседы с В. С. Архиповым

Миновали 2 декабря деревню Ликуа. Получен приказ обойти противника с левого фланга.

Ночь. Противник ведет минометный и орудийный огонь. Роте удалось выйти на исходное положение. Вывели за собой один из стрелковых батальонов 461-го полка. 3-го утром майор Калядин, впоследствии погибший, поставил мне задачу сделать сорокаминутную танковую артподготовку.

Впереди — роща, противотанковый ров, завалы и проч.

Вслед за артподготовкой — пошли в наступление. Местность труднопроходимая. Протискивали танк танком. Дошли до рва (два метра на два). Политрук Анаскин (после погиб в этом же бою) первым вышел из танка. Под огнем стали наводить мост через этот ров. Обрубили деревья из завалов и таскали бревна на мост. Перебрались с двумя своими взводами и одним стрелковым подразделением. Ворвались в деревню Монтельки и вышли к деревне Мяктяля. Главные силы прошли свободно по нашим следам.

За станцией Раута у Паркемяки противник опять открыл сильный огонь. Машина лейтенанта Макеева получила шесть пробоя и осталась на территории противника. Макеев пять часов находился под танком и в танке (мех.-водитель у него был ранен), чинил машину в 50 метрах от противника и вывел ее. Чинил он провода стартера, чтобы можно было заводить изнутри.

Утром деревню Мяктяля заняли.

17—21.XII — рота каждый день ходила на высоту 65,5 во взаимодействии с батальоном 255-го стрелкового полка (Титов). Так, 19.XII после артподготовки — пошли. В надолбах был один, и довольно узкий, проход. Мой танк, шедший впереди, был подбит — бензобаки — и загорелся. Выскакиваем из машины, приказываю экипажу укрыться в окопе, а сам влезаю в танк младшего командира Судакова. Надолбы мы прошли. Стали бить снарядами по дотам — горох об стену. Пехота подошла к надолбам.

¹ В это время я был занят совместной с С. Я. Маршаком работой — очерком о Герое Советского Союза генерал-майоре В. Н. Кошубе, напечатанном в том же году в «Знамени».

Действовавшие с нами два «Т-28» заблокировали центральный дот, дали мне с одним взводом пройти вперед, сами остались на месте.

Система огня противника была в силе. Выбито было 3 танка. Погибло 5 человек. Высота до 23 часов была под нами, но ввиду того, что система дотов не была нарушена, мы по приказу отошли.

— Задачу вы выполнили,— сказал командир полка. То есть мы разведали боем высоту, обнаружили новые точки и т. д.

20.XII мы опять ходили на высоту, но опять ее не удержали.

21.XII младший командир Туган (сейчас в госпитале) уничтожил одну пушку противника.

Январь был месяцем учебы, наблюдения и т. п. Провели 12 занятий во взаимодействии со стрелковыми полками. Учили пехоту не отставать от танков.

11.II.40. Общее наступление. Действовали мы с 1-м батальоном 272-го сп (123-я). Я шел с ротой во втором эшелоне, развивал успех. Скоро пришлось броситься в бой. Я перевалил за высоту 65,5. Справа — большой ров, а нам нужно справа обходить противника. Перелезли. Второй ров отрезал нас от опушки роши «фигурной», до которой было метров двести. За рвом — траншеи. Противник ведет сильнейший огонь, не давая нам строить мост. Мы и 12-го еще не могли перейти этот ров.

13.II — была поставлена задача преодолеть ров. Утром был сделан единственный для всей дивизии проход через ров. Первым прошел я, младший лейтенант Сачков, лейтенант Найловков и командир 3-й роты Кулабухов (ныне Герой Советского Союза). С опушки роши нас встречает 152-миллиметровая батарея противника. Мой башенный Дмитриев, заметив ряд касок, торчавших из траншей, поперек которой стоял наш танк, открыл осколочный огонь по траншее. В это время наша пехота вскочила в траншеи. Двадцать финнов было взято в плен. Батарея противника продолжала бить. К вечеру к батарее подошел взвод больших танков 13-й бригады, два батальона 245-го и 272-го полков, моя рота в составе двух взводов и взвод Кулабухова. Землянки-блиндажи обнаружил мой лейтенант Клецов (направляющий взвода). Они были охвачены «БТ» и нами.

Ставлю задачу атаковать эти блиндажи. Танки открывают огонь. Пехота бросается в блиндажи. Уцелевшие финны бегут.

Взвод Сачкова имел особую задачу — выйти к дороге и обогнуть рошу «фигурную» с запада. Его встретил огонь из противотанковой пушки. Эту пушку Сачков уничтожил. Вторая ударила в его пушку, но эту, вторую, раздавили вскоре «БТ».

Командование 272-го сп оценило работу роты как отличную.

21—22.II. Действовала моя рота с 245-м сп (комполка Рослый). Пехота заняла траншею и дзот. Роте было приказано удерживать занятую позицию. Всю ночь я отбивал контратаки. Танки выходили по трое, расстреливали свои снаряды и патроны и, возвратившись, служили заслоном для пехоты, а другие шли опять. Тут действовал один огнеметный танк. Жутко было видеть, как двадцати-тридцатиметровая струя огня выбрасывалась в сторону противника, сжигая все, а главное — наводя ужас, и невозможно было представить этот огонь обращенным в нашу сторону.

Позиции были удержаны.

Утром взводы поочередно заправились горючим. Дзот в результате действия огнемета и вообще всех остальных огневых средств обнаружился. В дзоте было человек 15 финнов, от них остался только пар...

Рота противника, сидевшая в траншее справа, бежала в панике и была достигнута нами только в деревне Селенмяки(?).

Радиоустановка играла «марш атаки». Всеобщее воодушевление было необычайно велико. «Ура», не прерываясь, гремело по всему лесу.

Вышли за Селенмяки, за рощу и там встретили два действовавших орудия противника. Первое — противотанковое — сразу уничтожили, а вслед затем и 76-миллиметровое. Продолжали победное продвижение вперед. Дня через два взяли полустанок Ханиниemi — заняли его северную окраину. Около роты пехоты взяли на танки и километра два-полтора продвинулись еще до наступления темноты. Ночь провели в обороне.

Утром 26.II противник пошел в контратаку. Кроме моей роты, здесь был 1-й батальон 245-го сп. Шесть танков «виккерс» и до роты пехоты со стороны противника. В наличии нашей пехоты тоже было не больше роты, да и то половина ее пошла на завтрак.

Противник ударил из-за линии железной дороги.

Один из «виккерсов» проскочил так близко, что задел мой танк гусеницей. А «виккерсы» до того похожи на наши «Т-26», что я сообразил, в чем дело, только когда рассмотрел синюю полосу на башне. И, может быть, я еще не совсем поверил себе, что это машины противника, как вдруг второй «виккерс» сыпнул в меня из пулемета.

«Ага!..»

Первым снарядом я ударил в первый танк, угодив ему в моторную группу. Следующий снаряд — осколочный — по выскочившему экипажу. Экипаж был положен на месте во главе с командиром-финном.

Второй «виккерс» шел справа прямо на меня. За ним следом шла, ничего еще не сообразив, наша пехота с завтрака. Человек двенадцать. «Виккерс» разворачивает башню в их сторону: одна очередь — и все легли бы на дороге. Но я успел дать по этому «виккерсу» два броневых. Сбил.

Третий «виккерс», кинувшись от меня в лес, застрял на камнях. Экипаж, пытавшийся выскочить и удрать, был взят в плен.

Я уже передал командование вторым взводом лейтенанту Напловкову (после ранен). Наконец все поняли, в чем дело.

«Танки!» — такого сигнала нам до этого дня еще не приходилось применять. Несколько «рено», подбитых ранее, не в счет — на деревянных колесах.

Напловков из четырех своих танков ударил по финской пехоте. Она сразу побежала, но и побитых осталось много.

Этим и закончилась первая, с какой нам пришлось встретиться, контратака финнов, поддержанная танками.

Остальные три танка противника, завидев, какая участь постигла их товарищей, повернули в лес. Напловков вел по ним огонь.

После этого я попросил разрешения у комбата заправиться взводу Сачкова (трех машинам). Еще одну машину я прихватил из другого взвода. Еду до командного пункта полка. Командир полка Рослый едва дал мне доложить о только что происшедшем.

— Если есть сколько-нибудь снарядов и горючего — поезжай, отбей вторую атаку.

Я с ротой уже дней пять не имел ни часу отдыха, но раз надо... В эту минуту подъехал на танке Кулабухов.

Рослый говорит:

— Поезжайте вдвоем. Кулабухов присмотрится на месте, а потом сменит Архипова.

Разворачиваюсь, Кулабухов следует за мной.

Три ушедших было «виккерса» идут вновь на нас. Взвод мой сразу влево, в лес. А я на моей машине прямо, за мной Кулабухов и еще одна машина.

Один «виккерс» вывел пушку из строя у Напловкова и легко ранил башенного. Но один из напловковских танков вывел этого «виккерса» из строя. Второй «виккерс» — в лес. Третий попал между мной (метрах в 200) и Кулабуховым. И мы его пронзили — один с левого борта, другой с правого.

Тот, что удирал в лес, был изрешечен нашими снарядами. В самый последний момент противотанковая пушка пробила у меня бензобак. Нам удалось сразу перевести мотор на запасной бензобачок и выехать.

Отбив эту атаку, я отошел с ротой на заправку и отдых.

Это было по существу первое и последнее применение финнами танков.

10—11.III. Действовал с 255-м сп в направлении на Выборг. Противник большого сопротивления не оказывал. Мы разбили лыжный финский батальон, взяли много пленных.

Осложнили наше продвижение вперед водные переправы в направлении станции Тали. Там была финнами взорвана плотина. Вода стояла местами до 1 метра глубиной. Значит, переходить было очень рискованно. Переходили, соединив тросом «Т-26» с «Т-28», шедшим сзади. Если б «Т-26» застрял, «Т-28» вытащил бы его назад.

Потом шли с 245-м сп на ту же ст. Тали. В лесу сидели финны с 25-миллиметровыми пушечками-пулеметами. Один (или одна) из них был нами уничтожен.

Мы внезапно выскочили из лесу на ст. Тали, где была переправа через реку и мосты — железнодорожный и шоссейный. Станцию мы быстро очистили, подскочили к мостам. Железнодорожный был справа, шоссейный прямо. Но мосты были взорваны. Шоссейный на моих глазах.

В ночь саперы навели переправу.

11.III. Был приказ: продолжать преследование противника. Прошли мы с $\frac{3}{4}$ км. за станцией Тали. Но справа части наши сильно отстали. Противотанковые пушки вывели у меня из строя три танка. Ранены были — Напловков, замполитрук Кравченко.

Затем встретилась вторая водная преграда. Один «Т-28» пошел по мосту — провалился. Роте — задача: за ночь навести мост. К 2 часам навели.

Люди моей роты.

Экипаж моей машины: мой башенный радист — Дмитриев Николай Алексеевич, мех.-водитель — Коробка Алексей Родионович.

Мои потери: лейтенант Makeев Николай Васильевич, младший лейтенант Сычко Илья Иванович, командир машины Кариенко и др.

Младший командир Судаков Алексей Петрович, кандидат ВКП(б). Награжден Красной Звездой. Облазил все доты, ничего не боялся, вывозил раненых.

Однажды мой танк застрял в лесу в воронке от нашей авиабомбы. Дела мои были плохие. Но машина младшего командира Колебакина Василия Яковлевича (механик-водитель Горов, башенный Федчук), оказалось, вела за мной наблюдение, и ребята вытащили меня из этой воронки с риском для собственной жизни. Нужно ведь было вылезать, возиться с тросом и пр., а огонь был очень интенсивный.

Ныне все трое представлены к Героям.

Младший командир Кушнарев Никита Иванович, командир танка. Ходил раз пять на ПУР. Был контужен. 12.11 была ему задача закрыть амбразуры невзорванного дота. Он забил их бронебойными. Но он слишком близко подошел к доту и нарвался на фугасы. Танк свалился на бок. Водитель его погиб. Башенный контужен. Кушнареву засорило глаза, но на другой же день пошел в бой. Награжден Красным Знаменем.

Младший командир Калинов Анатолий — секретарь комсомольской организации роты. Смелчак. Уничтожил под Селеняки противотанковую пушку. Боевые листки выпускал в бою.

Отзывы всех полков о нашей работе — отличные. Пехота особенно полюбила «Т-28». В морозы и погреться возле них можно. И вообще — веселей. Так уж и считалось в последнее время: если «Т-28» прошел — пехота пройдет, дело обеспечено ¹.

«Экипаж малышей» ²

Из рассказа Д. Диденко.

10.11. В районе Хотинен (Сотая сд 85-го сп) была нам поставлена командиром блоквзвода Таракановым задача дать возможность продвинуться пехоте к дотам слева и закрыть амбразуры одного из дотов, если представится возможным.

Шла моя машина, танк Тараканова, огнеметный, и еще один огнеметный танк.

В 150—200 метрах от дота противник ударил по нас из 76- и 36-миллиметровых пушек. Люк водителя, как и башня моего танка, был экранирован. Осколок снаряда только согнул нам ствол пулемета и повредил немного пушку. Стали отходить назад — снаряд угодил нам в ходовую часть, другой в каретку. Отбит ленивец, отбиты верхние подвески.

Кричу башенному:

— Меняй пулемет! Вытаскивай!

— Трудно! — отвечает. Свернута была шаровая установка.

Тогда мы вылезли из танка, забрав с собой запасной пулемет и три диска. У пушки вытащили ударник с бойком. Сидели в 50 метрах от танка, решили не допустить, чтобы его подожгли.

Сперва сидели в воронке от авиабомбы, но по воронке слишком сильно стал бить противник. Мы перебрались в траншею, откуда уже отошла пехота. В траншее мы нашли сперва два, потом еще один станковый пулемет. Стали учиться стрелять из них. Научились, приспособились довольно быстро. Так у пулеметов и дежурили до 3 часов ночи,

¹ С Василием Сергеевичем Архиповым еще мне случилось встретиться осенью 1941 года на Юго-Западном, под Полтавой. Из той поездки мы с С. И. Вашенцевым, между прочим, вывезли словечко «сабантуй», приобретенное потом большим распространением на фронте. От Архипова я там записал и тот случай, что изложен мною в стихотворении «Рассказ танкиста» (о неизвестном мальчике, указавшем танкистам Архипова пушку противника).

² Командир машины Даниил Диденко был ниже среднего роста, башенный стрелок Арсений Кривой — еще ниже, а механик-водитель Евгений Крысюк — совсем небольшого роста. Для танкиста малый рост — совсем не помеха, в те годы вообще в танковые части подбирали малорослых крепышей, какими и были эти ребята. Но когда они выстраивались у своей машины, то получалась лесенка: мал мала меньше. Этим они выделялись во всей бригаде, и этот экипаж издавна дружески и ласково называли «экипажем малышей». Все трое были награждены званием Героев Советского Союза, и редакция газеты «На страже Родины», помещая мой очерк о них, нашла неудобным оставить заглавие «Экипаж малышей» и дала — «Экипаж героев». Но, кроме того, она внесла в текст очерка такие исправления, исключения и добавления в соответствии с тогдашними требованиями газеты, что я ахнул и для себя отказался от него. Здесь я привожу рассказ Д. Диденко из моей живой записи.

отгоняя финнов от нашего танка. В 3 часа пришли машины из нашей роты, эвакуировали нас и наш танк.

Нам сменили башню и произвели прочий ремонт танка.

Снова мы пошли в бой, когда уже укрепрайон был прорван.

20. II была задача идти с саперами, прикрывать их своим огнем и с ними взорвать надолбы в районе «школа».

Наиболее уязвим танк с боков. Противник всегда ладит садануть в бок. Но мы ему бок никогда не подносили. А башня и люк водителя — экранированы. Шла за нами еще одна машина экранированная, а за ней вся рота. Прикрывая саперов, прошли одну надолбу, подошли к другой.

Башенный заметил вспышку огня противотанковой пушки. Я начал бить по этой пушке, замаскированной насаженными в снег елками. Прислуга побежала, я — по ней. Свалились. Пушку мы также разбили. Саперы сделали в надолбах проход, используя финские же фугасы.

У Дерюгина, шедшего за нами (2-я экранированная машина), была подбита фугасом гусеница. Мы ему помогли. На другой день мне и Дерюгину (ныне Герой СССР) была дана задача порвать проволоку за этими же надолбами. Это было сделать легко. Мы ее порвали, растаскали быстро. Решили кстати осмотреться на местности для будущего. Кривой заметил подползавших к нам с бутылками финнов. Лезут из-за камня один, другой, третий (справа). Доложил мне, я дал по ним рядом, сшиб сосну, накрыл их — убежали, один остался на месте.

К вечеру возвратились на исходное.

На третий день задача была — расстрелять бронебойными снарядами третьи надолбы.

Задача была не выполнена. И вот почему. Опять был с нами Дерюгин — шел впереди. Механик его был убит в танке, башенный выскочил, но был убит снайперами возле машины. Дерюгин кое-как вылез из машины раненый, без ноги и свалился на дороге. Он кричал, шевелился — снайперы его вот-вот бы прикончили. Тогда мы приняли решение. Мы развернули машину и пошли прямо на Дерюгина, лежавшего на дороге. Сперва он, видимо, ужаснулся, но потом понял и стал подбирать руки, чтоб нам ловчей было на него наехать. Мы накрыли его машиной (это нужно было проделать очень осторожно), а затем втащили в машину через нижний люк. Отвезли в медсанбат. Поехали за башенным, хотели подобрать тело, но получили повреждение (ходовая часть) метрах в 30—40 от него. Разбит был картер, ведущее колесо и еще кое-что. Решили мы просто охранять дерюгинскую машину. Потом нас сменили, и мы пошли на ремонт.

Дня через три, сменив ведущее колесо и сделав иные исправления в машине, мы опять поехали на передовую. Я захворал малярией. Хотели меня отправить в тыл санпоездом, но я убежал из госпиталя.

Около 10 марта мы имели задачу разведать подступы к станции Т. Сзади за нами шла машина командира взвода младшего лейтенанта Тихонова и еще одна «химичка», а рота наблюдала.

По пути мы стащили с дороги подбитые танки из 2-й роты.

Саперы предупредили нас, что дальше по дороге будет много мин и фугасов, а снять покамест невозможно.

У вторых надолб вторую нашу машину подбили, и она загорелась. Механик был убит и сгорел в машине. Остальные вылезли и отползли. Нам ни взад, ни вперед.

Решили сидеть и защищаться. Сидели до 2 часов ночи. К нам подполз один пехотный командир, указал пулеметные точки противника в лесу, по ним мы и вели огонь.

В 2 часа ночи финны пошли в контратаку и обошли нашу машину. Заметил механик.

— Окружают...

Гляжу, ползут слева из кустиков, а туда не ударить ни из пушки, ни из пулемета, так как мы стоим в надолбах.

Говорю башенному:

— Женя, гранаты приготовь...

Когда они подошли метров на 15, я стал бросать гранаты. Кривой подготавливал. Одного, помню, убил, видно было, а другие разбежались. Бросил я 6—7 штук одну за другой.

Так мы и стояли, ждали, пока сгорит танк сзади. Еще до контратаки финнов подполз к нам башенный из нашей роты — Калачев Ермолай:

— Как вы тут?

— Хорошо.

— Что передать командиру роты?

— Передайте, что машину не покинем.

Когда танк сгорел позади — огонь опал, — я вылез, зацепил тросом. Но нужно было выключить скорость в сгоревшем танке — иначе трудно стащить. Полез я туда, дотронулся рукой до механика — он и рассыпался. Зола.

Освободили дорогу и в четвертом часу ночи приехали домой.

13.III. Завели машину, приготовились, ждем команды — вдруг:

— Отставить! Мирный договор...

Мы, правда, и сами считали, что минимум по ордену должны нам дать.

2.V.40. Обдумываю своего Теркина. Уже иной раз выскакивают строчки.

Стал сторонку,
Изловчился,
В ту воронку
Помочился,—

это Вася на передовой, когда ребята приуныли под обстрелом минометов. Одна разорвалась совсем близко.

Под обстрелом Теркин начинает рассказывать какую-то потешную историю:

Вышел поп однажды в поле,
Захотел он...
(Разрыв)

Дальше продолжается с естественным пропуском чего-то:

Хочет встать — никак не может,
Тут идет один прохожий,
Поп сидит и весь зарделся,
Не поднимет головы.
А прохожий присмотрелся:
-- Отец Федор — да ведь вы...
(Разрыв)

А когда Вася один ползет раненый и шутить ему не перед кем — другое. Вася — не поддавайся. Грезы. Снежная пыльца — пыль в столбе света в избе, в детстве.

К Васе Теркину:

Старшина, выливая остаток водки себе в кружку:

Все равно (такою каплей)
Не согреть в бою бойца.

Отступление лирическое:

Лучше нет воды холодной...

Поездка в 28-й КАП

Из этой поездки было написано длинное, подчиненное чисто газетной задаче написать «портрет в стихах» стихотворение «Григорий Пулькин». Из Пулькина еще, может быть, у меня что-нибудь получится, поэтому нелишне будет восстановить все, что он мне рассказывал, по порядку.

Пулькин Григорий Степанович, 1916 г. рождения. Из Башкирии. Кузнец из взвода управления 1-го дивизиона. Третий год срочной службы.

В 12 часов 23 декабря вышел он со своим товарищем Лаврентием Жудро проверить лошадей в дивизионе. Проверили и стали перековырять кобылицу Каплю на все четыре («кругом»). Пулькин, как и все, знал уже, что банды «просочились», бродят где-то. Поэтому на работу вышел с винтовкой и 75 патронами при себе. Только принялся за вторую ногу Капли — выстрел. Поднял голову, сколько мог поднять, согнувшись и не выпуская конской ноги, — белые холсты на опушке. Послышалась команда Маргулиса:

— Ложись! Огонь!

Финны уже успели обойти кругом батарею Маргулиса два с половиной раза.

— Огневикам открыть огонь прямой наводкой.

Огневики были сбиты финнами сразу же.

Пулькин с винтовкой расположился у первого орудия батареи Маргулиса. Потом переполз ко второму, где находился один Лаптев. Со станины его орудия уложил офицера, пробравшегося меж березок к самой почти батарее.

(Большая почтовая сумка-планшет этого офицера висела в штабе.)

У Лаптева между тем был перебит весь расчет. Один он, сутулый, рыжий, заросший бородой, управлялся, как медведь, у пушки.

— Давай буду помогать.

Помогать, не будучи обученным, трудно. Однако Лаптев предложил:

— Ладно! Будешь дергать за шнур. Заряды подносить.

У них, как и у всех оставшихся в живых на батарее, не было и уже не могло быть иного ощущения, как то, что они окружены, отрезаны и минуты их сочтены. Ну что ж, тут что ни успеешь сделать, чем ни причинишь еще ущерб противнику — и то дело. Но в это время из-за леса раздался громкий голос капитана Хоменко:

— Держись, Маргулис, я иду.

Маргулис, можно предполагать по всему, растерялся... Но это дело прошлое. А факт тот, что ребята эти — Лаптев, Пулькин, там еще Соцкий и другие — спасли положение. Они били из тяжелых орудий по противнику, залегавшему в 180—500—50 шагах. Убивало не столько снарядом, сколько воздушной волной. Снаряды разрывались так близко, что собственными осколками был пробит щит у орудия.

Пулькин, помогая Лаптеву, в свободные промежутки бил из винтовки. Финская пуля попала в магазинную коробку. Подавался в канал ствола только один патрон. Пришлось бросить эту винтовку и взять другую, у ближайшего убитого. В момент переползания за винтовкой Пулькина ранило — оцарапало осколочным бедро возле кармана.

«Тут я, правда, рассерчал. Когда Хоменко стал поджимать финнов сбоку, они зашли за шалаши из хвои, под которыми стояли лошади. Тут шла битва «через лошадей». Капля была убита. Наркоз ранен в ногу».

Все это длилось часа 2¹/₂. Темнеет в это время там очень быстро.

Уже еле видно было, когда финны стали отходить, оставив много трупов на месте.

Человек пять Пулькин убил — видел кого, — не считая офицера и не считая работы у орудия.

Царапина на бедре, растираемая штанами, беспокоила. Но это ему только придавало злости. А тут еще — стоны раненых товарищей, гибель Жудро (пал в первые минуты боя), с которым два года вместе были, дружили, в землянке рядом спали.

По окончании боя младший лейтенант Козырев приказал не сходить с поста — не вернуться ли финны.

Потом в землянке ветфельдшер Пиняев жег спички, смотрел у Пулькина его рану. Чем-то прижжет, чего-то поковырял — до свадьбы заживет, говорит.

Был очень усталый — ведь в снегу покатался. Ночь опять пришлось стоять в усиленном карауле.

На другой день пошел туда, где с Жудро кобылицу подковывали, подобрал на снегу инструмент.

В заключение спрашиваю: как, мол, настроение?

— Да что ж настроение — ребят наших тоже много убито. Вот. Можно идти, товарищ писатель?

Прохоров Илья Николаевич. Боец третьего года службы. 3-я батарея, взвод управления. Старший телефонист. 23-го находился у аппарата. Передали: «Будьте готовы — белофинны зашли в тыл к нам». Затем послышались выстрелы. Побежал к кухне, слышит: «Окружают 1-ю батарею». Туда на помощь комбат лейтенант Смирнов отправил пулемет и младшего лейтенанта Гусева. Меня комбат оставил при себе связным. Показались белые халаты на опушке леса (кругом). Наши? Нет.

— Огонь!

Подходят ближе, ранили лошадь — Отважного. Со мной был еще Буданицкий. Пуля сперва попала ему в рукав. Парень засмеялся, пошутил что-то. Вторая пуля — в заустье — насмерть.

Командир батареи, волоча обмороженную ногу, на которую нельзя было втащить сапог, бросился вперед:

— За мной!

Нас было мало, мы сильно рассредоточились. Я один в лесу встретил четырех финнов. Одного сразу убил, одновременно крикнул: «Руки вверх!» Один не поднял, я ударил в него — ранил. Тогда все трое бросили оружие. Подхожу. Раненый сунулся было рукой под противогаз — за финкой — я хрякнул его прикладом. С подошедшими товарищами подобрали мы оружие в снегу, повели пленных. Потом я сбегал за валенками для командира батареи. Ногу он обморозил еще больше. Привел его кое-как. На ночь заступил на пост.

Лосев Петр Исакович. Из приписного состава. Срочную службу служил на Дальнем Востоке в 1932—1933 годах. Зенитчик-пограничник на маньчжурско-монгольской границе. Перед этой войной работал в Ленинграде на деревообделочном заводе имени Халтурина. Стахановец. Премирован патефоном.

Связист 7-й батареи.

В ночь на 23-е тянул связь на передовую.

Утром — только сел закусить — комбат, старший лейтенант Нилон:

— Нападают на восьмую батарею. На помощь, ребята.

Это была ошибка, что на 8-ю. Мы быстро собрались из разных взводов и батарей. Пошли левее финского пулеметного огня и попали к 1-й батарее, где и были нужны.

Видимость плохая: снег, а они в белых халатах. Вижу одного за камнем в 30 метрах с автоматом. Но достать его из-за камня трудно. Левай — другой, с пулеметом, на лыжах. «Ала-ла-ла». Ударил по первому, вышиб автомат, по-видимому, попал в руку. Автомат — в снег, белофинн — в лес. Второго убил. Подбегаю к пулемету — не подтащить. Вырвал замок, откинул раму. После подобрали мы еще диски.

А еще до 23-го я поймал финна, будучи в охране батареи. Цюцкор со знаком. 80 десятин земли!

«**Брат-за-брата**». Когда я беседовал в землянке с Пулькиным и другими, мне говорят:

— А тут у нас есть еще брат-за-брата один. Вот он.

Ко мне подвинулся лежавший в углу земляных нар человек в полубубке. Кирилл Владимирович Калмык. Скромный, молчаливый, постарше других. Он из Молдавии. Служил в армии несколько лет. После польской кампании демобилизовался, по болезни, что ли. Приехал домой погостить, имел путевку в Баку на работу.

В первый день, ради радостной встречи, старики не сказали ему, что младший брат Николай тяжело ранен на финляндском фронте. Утром заплакали — сказали. Он утешил их, как мог, и сразу же принял решение, но старикам ничего не сказал, как бы пользуясь тем, что от него целый день таили факт ранения брата. «Поеду в Баку», — сказал и уехал в Ленинград. По пути в Москве проголосовал за Сталина (шли выборы в местные Советы). Зашел в ЛВО, попросился в Действующую. Просьбу уважили. Хотел попасть в звукобатарею, как специалист, и еще потому, что там был ранен брат, — хотелось заменить его в буквальном смысле слова. Но его направили в батарею Маргулиса, где были большие потери. Здесь он — помкомзвод по разведке.

Брату написал в госпиталь: «Выздоровливай, Коля. Приезжай. Будем воевать вместе».

Отцу — Владимиру Семеновичу — 78 лет.

Матери — Агафье Емельяновне — 66.

Сестра замужем — за дважды орденосцем, депутатом Верховного Совета Молдавии.

В этом 28-м корпусном арtpолку мы жили в штабе. Командир полка полковник Бакаев — очень начитанный, образцово знающий свое дело человек, любитель пошутить, видящий всех насквозь. Сидел он все время за столом, придвинутым к кровати, на которой они — полковник и комиссар — спали. Полковник за ужином, за завтраком и за обедом неизменно подмигивал, пошучивал: «Комиссар, а ну, комиссар!» — и доставал из-под кровати четвертинки, поллитрочки, может быть, и превышая наркомовские сто граммов, но никогда не пьянея. В штабе, как во всех штабах, в помещении было невероятно жарко, душно. Из-за светомаскировки окна были закупорены — день так мал, что не стоит и на день откупоривать.

Среди книг и бумаг в той комнате, где помещался полковник с комиссаром, мы нашли пачку бумаг — черновики стихов, пьес и прозы, страницы дневника некоей Е. Халабиной, — этот дом занимали родственники, у которых она жила. С литературной стороны — малоинтересно: в духе эпигонских писаний дореволюционных лет. Только — образ самой девушки, жившей в этом доме у озера с камышами, полузанесенными снегом на его открытой равнине...

Седьмой отдельный понтонный. Искали мы его два дня. В эту поездку особенно сильное впечатление производили дороги. На них было

такое могучее, нескончаемое движение и уже закрепившийся порядок — регулировщики и т. д. Колеса грузовиков, легковых, броневых машин, артиллерии, гусеницы тракторов и танков безостановочно бороздили, укатывали, трамбовали, взрывали серый пыльный снег на дорогах, который оседал на железе, на спицах и кузовах — мельничной пылью. Машины неслись и неслись по лесам, по белым новым мостам, мимо холодных черных труб и печей на занесенных снегом пожарищах. Вперед, вперед. Страшно и радостно было ощущать эту ни с чем не сравнимую силу техники, моторов, механизмов, металла, ринувшуюся в снега, в леса, все преодолевающую — нелегко, нет! — но непреодолимо.

Характеристика В. К. Артюха, данная ему командованием при представлении к награде: «Артюх Владимир Кузьмич. Красноармеец-шофер, беспартийный, русский, 6 декабря 1939 г. получил приказ выполнить свою задачу при наведении понтонного моста через реку Гайполеенйокл. Пути-подходы к реке на расстоянии трех километров находились под прицельным огнем противника. Попытка выбросить для десанта лодочный парк саперного батальона успеха не имела; часть машин была расстреляна по пути, часть оставлена шоферами на дороге. После этого поврежденные и брошенные машины были разведены понтонерами по канавам. По пути к берегу двинулась колонна машин понтонного парка. С целью сохранения имущества от обстрела машины шли на повышенной скорости. На головной машине за рулем сидел шофер Артюх. При появлении машины Артюха в секторе обстрела противник открыл по колонне артиллерийский и пулеметный огонь. Один из снарядов сбил у головной машины фару. В это же время заглох двигатель. Несмотря на смертельную опасность, шофер Артюх вышел из машины, завел ее и снова двинулся вперед, на всем пути преследуемый огнем противника. Увлекаемые примером шофера головной машины Артюха, к месту переправы мчались остальные 73 машины парка. Проявляя мужество и беспримерный героизм, шофер Артюх привел машину к месту переправы. Внезапное появление машины на берегу ошеломило белофиннов, и некоторое время не было ни артиллерийской, ни пулеметной стрельбы. После того, как понтонеры приступили к разгрузке машин и переправе десанта, вновь поднялся ураганный огонь. Боевой пример шофера Артюха есть выражение выполнения бойцом РККА своего священного долга. Действия шофера Артюха достойны оценки и высокой награды.

Командир батальона старший лейтенант Григорьев.
Военком старший политрук Печерица.
Начальник штаба капитан Голукович».

Вождению машины Артюха обучил приятель Виктор Егоров, на одной станции росли когда-то. Работал Егоров в Союзтрансе. Артюх сознательно, по-деловому использовал свое приятельство, чтобы приобвыкнуть к машине, ибо это сулило в будущем определенность профессии, верный заработок. Егоров, показав ему на первых порах кое-что, давал посидеть за рулем, погонять машину по двору фабрики «Возрождение» от ворот до ворот. Затем Егорову негде было жить, Артюх взял его «на свою площадь» и еще больше пользовался его опытом и указаниями. Егоров уже позволял ему заводить машину, мыть ее и прочее.

— Сам как барин, а мне это — ничего. Я свою цель помню.

Потом Артюх учился на курсах. Стал настоящим шофером, как и его друг. Зачем же теперь им тесниться вдвоем на Артюховой «площади»?

— Ты, говорю, присмотришься к соседке напротив. У ней площадь хорошая и сама она не сказать чтоб безобразная была. Так я их потихоньку узнал, и все пошло как надо. Теперь уже у них на той площади трое детей.

— Нет, я холостой. Я думаю так, что прежде чем жениться, я должен себя полностью оправдывать. А жениться так, чтоб недостатки терпеть — нет, это лучше так как-нибудь.

— Я и до Героя не так худо зарабатывал. Рублей семьсот — восемьсот у меня всегда есть в месяц. Я под каждый выходной в ресторане «Волна» проводил вечер...

— Жена брата старшего (сидит в тюрьме) провожала меня. Желая, говорит, с орденом вернуться. Вот, думаю, зайти к ней теперь в Ленинграде.

Когда его вызвали в штаб, чтоб ехать в Ленинград за получением награды, он явился с винтовкой. Так с ней и хотел ехать. И опять деловито, по-хозяйски рассуждает:

— Не-ет, с винтовочкой верней. В дороге ли что...

В 7-м понтонном, стоявшем в маленькой лесной усадьбе на берегу озера, ходили в баню. Баня очень хорошая, предбанник отопляется, в нем мягкая мебель. Хозяин, помывшись, мог еще помечтать, подремать у печки, просушиваясь.

Воды горячей было немного, но она была действительно горячая. Разводили ее холодной, с кусками льда, водой из другого котла. Вода — из озера, немного пахнет задохнувшейся рыбой и какая-то красноватая на свет, но хорошая, очень мягкая. Волосы сразу закрипели и стали мягкими.

Какое благо баня на фронте! Ни с чем этого не сравнить. И удивительная штука: банька маленькая, уже достаточно захламленная нашими, народу моется много, тесновато, грязновато, воды маловато, а все выходят чистые, все успевают отпарить и смыть с себя грязь, пот и усталость.

Глядишь на бойца: вот он вышел, голый красный богатырь, на берег озера, о котором и не слышал до похода, ступает босой ногой на снег и спокойно, благодушно мочится на эту столь страшную и суровую издали землю, за которую немало погибло его товарищей и сам он умрет, когда придется.

Сто двадцать третья

Макс Рабинович описан мною в очерке (газета «На страже Родины») в общем правильно, только опущено много тяжелого. Там при мне не только оживали, но и умирали. Этот самый Рабинович, стоя на коленях над раненым, при свете «летучей мыши» пытался, например, сделать укол, гладил, выщупывал безжизненную руку бойца, целился шприцем и говорил, приговаривал, как бы упрекая тех, кто сколько-нибудь оптимистично смотрит на это дело:

— И вы думаете, я попаду? Ни за что не попаду. Как возможно попасть, когда ничего не проявляется. Попаду? Вы ошибаетесь.

И все же пробовал, попадал, но порой это было уже бесполезно. Тогда доктор пожимал плечом и в том же тоне упрека людям, ожидавшим другого исхода, тихо говорил:

— К сожалению, это смерть, товарищи. Это смерть — не что другое. Да.

Со мной он все время был очень вежлив, его попросту трогало, что я уделил внимание его пункту, человек в шапке, какую носили только начальники, писатель. Я же, грешным делом, залез в его землянку от разрывов снарядов и сидел в ней уже потому, что раненых подносили и подносили, было просто невозможно пробираться к выходной дыре через носилки. Потом настала такая жара, что и я понадобился — стал светить фонарем, подавать воду раненым, вообще помогать.

Очерк свой я написал очень не скоро — другие задачи отвлекали. Но все ж Рабинович его заметил и прислал мне письмо, благодарил очень трогательно.

В ночь на 11.11 стало понятно, что готовится наконец всеобщее наступление. В записной книжке у меня такая запись:

«Ночь приказа с 10 на 11 февраля. Звездное небо над лесом, над землянками. Неумолкающая артперестрелка. Дымы, дымы. Стук машин, скрежет гусениц — движение, движение.

В землянку подива входит связной. Металлический наконечник ножен шашки — белый от инея.

В соседней комнате землянки (это большая комфортабельная землянка) оживленный рассказ артиллериста о готовности и пр. Все рады — или стремятся радостным видом скрыть действительное, более глубокое переживание.

Но на нарах спят так тесно, что некуда посунуться. Спят разувшись, но в брюках и гимнастерке.

Скоро должны прийти из редакции за стихами, а стихи страшно плохие — в них ни этой ночи, ни этих людей, ни себя».

С инструкторами политотдела (Черныш, Марон, Виник), славными интеллигентными ребятами, я провел несколько суток до наступления. Относились ко мне эти люди исключительно тепло. Едва ли не в первый раз за все время моих фронтовых поездок здесь меня просили читать стихи. Делились со мной спецпайком. Винику, раненному в первые часы наступления, я так и остался должен пачку папирос. И все любили петь. Вечером соберутся из частей, выпьют по сто, закусят, и, смотришь, то Черныш затынет «Эх, Лушенька», то Марон-лысый «Кармалюка», то по уговору все вместе что-нибудь.

Утром 11-го завтракали страшно рано — часа в 4. Потом на скрипучем, промерзшем автобусе поехали на передовую. Я был с Виником.

Близость противника. В морозном воздухе как-то удивительно звучно взывали редкие пули и чокались о мерзлые стволы деревьев. Я даже не сразу понял, что это пули.

Из штаба полка нас повел человек в батальон, где мы должны были провести в дотах митинги перед наступлением. Он по ошибке повел нас не до второго овражка, а до третьего, за которым были уже «танки» — наши танки, подбитые еще в декабре. Место так и называлось: «Танки». Дальше наша пехота покамест не ходила. Тут пули остановили нас, провожатый сообразил, куда завел, и, пригнувшись, кинулся обратно. В землянке батальона, которая в тот же день стала командным пунктом полка, мы присутствовали при завтраке и раздаче водки. Там я видел того старшину («этим бойца не согреешь»), которого и без записи не забуду никогда.

В одной роте, когда я стал выступать и сказал несколько не казенных и, может быть, не уставных слов о том, что родина знает, какие подвиги совершают бойцы и какие видят они трудности, несколько сидевших в полутьме землянки бородатых (щетина) людей плакали —

нервы у всех были в перенапряжении. Люди только вчера вернулись «оттуда» и знали, что нужно идти обратно туда, знали, что вряд ли кому вернуться. Может быть, и нельзя действительно (как мне заметил Виник) в эти минуты говорить ничего такого, что трогает.

Но я видел и настоящих вояк — «головорезов», как они не без гордости называли себя, — которые просили у Виника разрешения «не брать в плен».

В 10.00 должна была начаться артподготовка, о которой командиры заранее говорили, что это будет что-то неслыханное. Я прилепился к КП 215-го полка. Виник должен был идти еще в батальон, лежащий на снегу у самого переднего края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень решительно. Командир полка приказал мне остаться на месте.

До начала артподготовки люди стояли в овражке у входа в блиндаж, покуривали, пошучивали и, казалось, были в самом бодром расположении духа, как перед большим, полным трудовым днем. Вот сейчас докурим — и за работу. Посматривали на часы. Ожидалась авиация, но по погоде можно было уже заключить, что «птичек» не будет. Ну что ж, значит, артиллерия даст побольше.

Я тоже похаживал, покуривал, заговаривал с одним, с другим из командиров. Мне уже тоже начинало казаться, что предстоит добрый день, будут, наконец, какие-то иные новости, чем до сих пор. Я немного даже сдерживал себя в этом приподнятом настроении: забываешь, мол, что предстоит бой, будут убитые, раненые. Но эти напоминания самому себе только подчеркивали значительность момента: вот подвезло, участвую, можно сказать, в генеральном наступлении. До сих пор боя видеть так и не доводилось.

В овражке я говорил, между прочим, с одним танкистом-лейтенантом, которого видел за день в землянке. Почти мальчик еще и необыкновенно красивый с лица. К таким лицам никакая грязь не пристает. Я спрашивал его о том, о сем. Женат ли? Женат. А дети? Да нет, какие ж дети. Мы еще недавно совсем, перед войной только. Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его молодости. Я знал, что он уже много видел здесь, был, что называется, у смерти в гостях и обратно вернулся.

— А вот он еще моложе был, — показал лейтенант ногой на фанерную дощечку, торчавшую из снега у самой стежки. «Геройски пал... 1921 г. рождения». Я не заметил раньше этой дощечки. Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил.

Вдруг я увидел, что все, кто был в группе командиров у блиндажа, стали смотреть на часы.

Я, кажется, тоже добрался кое-как до своих (я был в халате, в полушубке, в ремнях) — вижу, осталось полторы-две минуты до начала артподготовки. Но потом я еще успел забыть, что осталось так мало времени, успел еще закурить новую папиросу. Вдруг сухой, колющий треск вырвался из леса. Удар, другой, два-три разом, сплошной — покапилось, поехало. Различного тона и тембра удары — глуховатые, мягкие, резко-отрывистые, — и воздух над овражком наполнился жутким воем. Снарядов, конечно, видеть нельзя было, но их вой, шепелявенье, свист как бы чертили в воздухе путь их полета. Голова невольно уходила в плечи. Страшная сила огня сразу как бы нагрела это морозное туманное утро. Со стороны леса, где находились батареи, поднялись огромные клубы дыма и снежной пыли, стряхнутой с ветвей сосен и елей.

— В блиндаж! — раздался строгий и несколько нервный окрик комиссара полка. — Чтоб ни одной души здесь.

Я не стал дожидаться повторения команды и нырнул в землянку, где еще были даже свободные места для сидения. Это был до сего дняшнего утра командный пункт батальона. Хилые подпорки держали двух-трехнакатный верх. Необставленные стены осыпались, как в деревенском погребе весной.

— Прекратить топку печей,— приказал еще комиссар; хотя печка здесь была одна и она уже не топилась.

Гул канонады доносился здесь глуше, но по струйкам песка, осыпавшегося из-под бревен наката, чувствовалось, как она сильна. Вслушавшись в общий гул и грохот канонады, можно было в нем различить то явный — только многократно усиленный — ритм молотбы на осеннем подмерзшем току, то грохот какой-то страшной громовой езды, то все сливалось в мощный гул и шум большого завода. Страшно было даже представить такой огонь обращенным на себя, на этот овражек, на землянку. Чего стоят людям последние минуты их жизни в каком-нибудь убежище в ощущении, что вот сейчас, сейчас снаряд слепо и неизбежно найдет тебя и накроет этими нетесаными бревнышками, рытой землей и песком или поднимет со всем этим и разнесет в клочья, в щепки, в дым, в прах! Командир и комиссар все время держались у телефонов.

— Помнят ли сигналы? Посмотреть еще раз по таблице...

— Лошадки? Сейчас выходят.

Я невольно подивился этому «испанскому» способу шифровки. «Лошадки» — танки, это без труда понял бы подслушивающий противник. Впрочем, «лошадки» — это, может быть, было такое словечко, которое шло в тоне, принятом командиром полка, шутивом и приподнятом. Когда связист как-то искажил одну фамилию, майор быстро поправил его и предупредил: здесь не загс, просьба не менять фамилии. Но одновременно он был строг и жесток в приказах:

— Табличку еще раз посмотри... Приуныли? Нюни не давать распускать.

Комиссар у другого аппарата напутствовал:

— Не спешите людей выводить из укрытия, но напоследок решительно...

Майор опять шутил и подбадривал:

— Артиллерия — хорошо? Понравилась.— И слыша, как комиссар уже начинает повышать голос и напоминать кому-то об ответственности, мягко его останавливал: — Не нужно кричать.

А тот — в свою очередь — порой не удерживался и напоминал майору, что «грозить не нужно». Видимо, оба они решили быть в бою спокойными, не повышать голоса и т. д. Даже, может быть, уговорились так, зная, что это очень хорошо действует на людей, которыми командуешь.

В землянку ввалился весь выкатанный в снегу начальник связи полка. Он стал жаловаться на то, что ему дали людей из нового пополнения, которых на позиции не поднять с земли... Затем опять выпрыгнул из землянки, и вскоре связь заработала. Я еще не знал фамилии этого человека, но уже понял по всему, что это спокойный, дельный работник, который — чтоб там ни было, а связь «обеспечит».

К канонаде, длившейся около 1½ часов, уже привык слух, люди уже перестали вслушиваться.

Начальник особого отдела вынул из-за пазухи полушубка письмо:

— Почитаем, пока светло...

— Десять минут до выхода танков.

Вдруг канонада усилилась, как внезапный порыв грозы, и отдельные выстрелы, даже залпы стали неразличимы в этом одном, сплошном

вое и гуле. Казалось, что все орудия как бы сорвались со своих позиций и со страшной быстротой катятся в сторону фронта, на нас, на ходу непрерывно изрыгая огонь.

Мы, штатские люди в военных полушубках — как я, начальник особого отдела, еще кое-кто, — мы, даже сидя в блиндаже, пригнули головы.

— Последний огневой налет!..

Майор кричал в трубку телефона:

— Все вышли? Наготове? Хорошо! Смотри же, чтобы сразу все...

— Комendant, приготовить ракеты.

— Прекратить все разговоры по телефону.

И вот во все трубки майор, комиссар и начштаба закричали какими-то особыми голосами:

— Внимание! Внимание! Буря!

— Атака! Атака! Атака!

— Во все телефоны передать еще раз!

— Атака!

А комиссар уже кричал в трубку как бы вдогонку командиру, принявшему сигнал атаки:

— Поближе к разрывам! На хвосте своих снарядов — в блиндажи противника!

Далее я едва успевал заносить отдельные реплики, распоряжения, сообщения.

— Луга! Бросок сделан? Пошли? Все?

— Первый пошел на «Язык».

— Снаряды впереди хорошо ложатся?

— Я вам дам сигнал! Уже пять минут, как пошли, а вы сигнала ждете!

— Ну как там, как?..

— Пошли, пошли...

— Эх, так твою мать... — (Эго сорвалось у майора.)

— Быстро идут? По занятии траншеи доложить.

Опять вбежал начальник связи Никифоров. Танки порвали связь. В эти минуты слышались близкие разрывы снарядов.

— Он бьет.

Это было страшно и дико. После нашей «молотбы», думалось, там уже никого и ничего не осталось, и вдруг — он начинает гвоздить.

— Близко кладет, сукин сын. Вот он! Еще.

Выбегавший из землянки на наблюдательный комиссар закричал, приоткрыв полотнище плащ-палатки:

— А ну, кто хотел видеть, — у дота наши во весь рост. Пошла пехотушка!..

— Правая группа в двадцати метрах у дота.

— Траншея занята.

Комиссар:

— Ну так как, командир полка, по сто грамм выпьем сегодня?

— Подожди, подожди. Может, и выпьем.

— Знамя на доте!

Комиссар выбежал, потом вернулся, поискал глазами в землянке и крикнул:

— Твардовский, иди запечатлей картину!

Я выбежал. Траншея, ведшая к «kozyрьку» наблюдательного пункта, была очень мелкая, я гнул, спешил, путался в халате — наконец добрался до НП. Там было тесно и страшно холодно — земляная щель в обрыве пригорка.

Я видел в дыму на высоте, которую не узнать было по сравнению

с прежним ее видом (вся почернела, дымилась), несколько фигур, часть из них была уже на том каменном строении, которое как бы выросло после бомбежки из земли.

Вообще говоря, я вернулся быстренько.

В блиндаже уже погасло то радостное возбуждение, которое было вызвано самим фактом выступления чехоты. Пошли мучительно тревожные донесения:

— Пехота отходит, блокгруппы не успели.

— Посылайте «Т-28» на помощь пехоте.

Комиссар с изменившимся красным потным лицом, присев на корточках, кричал в трубку:

— Ребята! Вперед, ребята! Товарищ старший телефонист, передайте, что все участники этого штурма будут представлены к правительственной награде. Снять шинели — и вперед! — На глазах у него были слезы.

— Выбрасывайте второй эшелон!

— Коммунисты и комсомольцы, вперед...

В землянку вошел командир-танкист. Майор не успел выслушать его — все, кроме главного, было неинтересно.

— Скажите танкам, чтоб заткнули амбразуры.

— Осмелюсь доложить, пулеметные заткнем, а орудийные невозможно.

— Давай!

— Но я не посыльный.

— Я не говорю, что вы посыльный. Я вам даю почетную задачу.

— Есть, товарищ майор.

— 005 в моих руках, но еще действует. Опаздывают лошади (нужно закрыть амбразуры).

— Дот 006 взят! (Это уже второй.)

— Второй эшелон идет. А ты гранатами забрасывай.

— Не давайте жить!

Комвзвод-танкист:

— Две пробоины. Бензин течет.

— Закройте амбразуры.

— Бензин течет...

— Немедленно противотанковые пушки вперед, к доту! Смирнов, вы представитель от меня, — (это говорит командир полка), — вы отвечаете.

Люди входят и уходят, когда их посылают, хотя каждый рад был бы лишнюю минутку продержаться здесь. Раненые уже есть даже в нашем овражке.

— Надо взрывчатку подбрасывать.

— Танков нет.

— На тракторах давайте...

— Нет ни одного.

— На лошадях.

— Не довезешь. Лошадь сразу будет убита.

— Давайте на себе.

— Есть!..

— По доту 005 противник ведет орудийный огонь. — (Там наши.)

— Самолеты идут!!!

В небе слышится знакомое гудение. Никогда оно мне не казалось столь милым и приятным. Дело просто в том, что финны при появлении

наших самолетов прекращают свой артогонь. Но пользы от самолетов было на этот раз не заметно.

Никифоров: Радист Протасенко сообщает, что сидит на доте со своей рацией.

Начштаба, посланный ранее командиром полка, сообщает по телефону:

— Говорю от камня...

— Сотая и Девяностая имеют успех!

— Теперь пойдет. Теперь саперам хлеб. Подрывай да подрывай.

Майор Никифорову:

— Передайте приказ закрепиться в траншеях...

Тут один замначполитотдела, присутствовавший здесь (вообще большой дурак и шеголь), начал составлять текст обращения для передачи по радио нашим, занявшим известные рубежи и пункты. Я ему помогал...

— Из дота 005 вышла группа финнов до взвода. Ведет огонь.

— Бросают друг в друга гранаты, не разобрать, кто где.— (Наши и те в белом.)

— Передайте, что финны в комбинезонах. Бить — передайте — тех, что в штанах. А в балахонах наши!

(Но наши артиллеристы тоже в «штанах», правда, там артиллеристов сейчас не могло быть.)

— Тщательно проверяйте траншеи. Со штыком и двумя гранатами наготове... Дави!

— Одного пленного захватить и доставить.

— Протасенко передает: саперы продвигаются по траншее...

— Кирпичников, вперед! Отрезать группу (финнов) от дота.

С КП дивизии:

— Ликвидировать дот (подорвать) и доложить...

— Команда дота обратно скрылась.

Гробовой (командир саперного батальона):

— Тол есть, везти не на чем.

— Второй батальон лежит в траншеях и не двигается. У дота во весь рост рота Комлюка...

Комиссар:

— Пехотушка пускай обтекает. Вот-вот...

— Обрати внимание на вторую роту.— (Она уже два дня на снегу.)

— Всех подкормить, дать водки... Все заработали...

Вносит адъютант сундучок. Раскладывает закуску, достает водку.

Начинаются шутки...

Раздается очень близко сильный разрыв гяжелого...

Комиссар и майор продолжают закусывать. Я не пойму, действительно ли им не страшно или только они держатся так.

— Товарищ Никифоров, двинуть бы связь к доту...

— Ведется, уже ведется.

— Финна поймал, веду. Ранен. В плечо.

Ранены из командиров: начальник блокгруппы, командир танковой роты, инструктор политотдела Винник. Мой Винник. (Оказывал помощь раненому в 1-м батальоне.)

4 часа. Затишье. Перекуска идет нормально. Никифоров, оказывается, читал мои стихи (заговорил, когда комиссар назвал меня по фамилии).

2-й батальон. Подошли вплотную к роще «Молоток».

Входит в землянку заместитель начальника штаба корпуса по тылам. Рассиращивает, как с ранеными, с доставкой боеприпасов.

Проверяет вежливо и корректно ход операции. Ставит очень конкретные вопросы, следя по карте. Неуловимая улыбка при таких выражениях, как: «Подбираемся к самому»... Командир и комиссар вдруг начинают запинаться, и, видимо, им неловко за свою, может быть, преждевременную закуску...

Лейтенант Афонин пишет в донесении: «Дот подрывать не следует, так как тут очень хорошо, можно чай пить». (Намерзся, бедняга, в своих импровизированных землянках.)

«Пленный» — утка. Просто схватили своего парня, сбросившего шинель и действовавшего в свитере. Ранили, кажется.

Сигнал «воздух».

Разрыв.

Входит начальник приданного артдивизиона (красивый, отпускающий усики, как многие на войне): «Троих» — показал три пальца.

— Где? — тихо спрашивает комиссар.

— Здесь, — показал в сторону наблюдательного пункта. (Пункт подкинуло. В числе раненых редактор дивизионной газеты.)

— Третья рота (оказывается) траншеи не взяла...

Связной 1-й роты:

— Мало наших осталось.

— Из 002 забрасывают гранатами.

— Крепко ранили?

— Нет, бревном...

При взрыве первый раз отказал бикфордов шнур.

— Пропал запал...

— Третья рота заняла траншею...

— Пехота третьей роты уже за траншеей.

— Первая рота засела и не двигается...

Доктор Рабинович, побывавший у дота:

— У вас много «связистов». Наткнешься там на лежащего: «Почему лежите?» — «Мы связисты». Кругом «связисты»...

Огонь минометный.

Снег в нашем овражке черен от разрывов. Снаряды и даже мины перелетают через нас — блиндаж в откосе.

Когда свечерело, я решил убираться. Наши уже стали закрепляться на ночь. Никифоров указал мне, где перебежать, где идти спокойнее. Я, кажется, чаще перебегал.

Вечером в опустевшем политотделе выпил спецпайковые 100 г., поел горячего и заснул на нарах, в последнюю минуту чувствуя только с невыразимым удовольствием, что над землянкой много накатов и что сюда вообще снаряды не долетали.

Из записей о подвиге Трусова

Задача была выполнена отлично (бомбежка живой силы противника в районе укреплений). Зенитки открыли огонь. В левом моторе мазаевского «СБ» — пробойна. Оба мотора заклинились. Правый мотор загорелся. Мазаев прекрасно посадил горящую машину на маленьком озере (на лед, покрытый глубоким снегом). Скучно стало, когда прогивник начал бить из пулеметов и пушечки. Климов, штурман, старший по возрасту и бывший пехотинец, скомандовал ложиться. Стрелок-радист Пономарев как выскочил из машины, бросился к командиру, думая, что тот ранен. Видят, планирует «СБ» (Трусова). Лобаев тоже хотел было, но Локотанов, командир эскадрильи, покачал плоскостями: не надо, хватит одного.

Мазаев: Это был второй вылет в тот день. Я летел левым ведомым. Видимость была плохая. Как только открыли по нас огонь зенитки, слышу удар под сиденьем, вся машина содрогнулась. Мотор поврежден, вытекла вода. А мотор без воды, как известно, ни туды и ни сюды.

Радист передает: горит правая плоскость. Вижу сверху справа огонь, красное пламя,— прогорело снизу. Озеро... Додал левому... Сели.

Истребители наши устроили над озером целую карусель. Штук одиннадцать, крушат, ведя непрерывный огонь по опушке, откуда к нам стремились финны. Трусов сел, недоруливая метров сто от нашей машины (горящей).

Трусов: Я решил, что его нет, зная его, как он ходит в строю. А тут облачность. Он под нее, а я решил пробить, чтоб не потерять его. Жму «на все железки». Шел на расстоянии 50—100 метров. Сел. Подбегают. Привстал я на сиденье. Глаза у тебя были больше обыкновенного (это к Мазаеву). Одного в бомболюки, двоих к стрелку-радисту, Мазаева и Климова. Лыжи — точно пристыли: шестеро вместо троих. Восемь раз — полный газ. На девятый раз оторвались (применив очень рискованный прием — удар хвостом по земле).

При посадке (на заливе — дома) штурман подал обычную команду:

— Прочь от бомболюков.

Трусов был трактористом (работал один сезон).

— Ваше имя-отчество?

— Мишка Трусов.

Мазаев тоже Михаил.

Ахмед Кургалеев (штурман Лобаева): Видя, что помощь Мазаеву будет дана, мы стали виражировать, ведя огонь... Когда Трусов взлетел, все выстроились опять, как будто поднялись со своего аэродрома.

Поездка с Н. Тихоновым в Соту

Уже приходилось догонять войска, фронт. Приехав в расположение штаба 123-й, мы ничего не могли расспросить, что, где, а сами призабыли. В землянке политотдела, где я провел несколько хороших часов, ночей и дней перед наступлением, где жили инструкторы, с которыми я успел тогда сдружиться,— в этой землянке только что поместились работники какого-то госпиталя, очень тылового учреждения, было все как-то загрязнено, печи не топились, холодно, наставлены какие-то ящики. В эту ночь мы ночевали в покинутой землянке 100-й дивизии.

Доты (подорванные) мы увидели наутро. Издали это было похоже на какую-то бесплодную долину, заваленную безобразными камнями, точно скатившимися с каких-то гор. Вблизи все это выглядело еще неприютней и суровой, хотя и трупы уже в основном были убраны. Только в одном месте, в нескольких шагах от развалин подорванного дота, в гряде остатков сгоревшего танка мы видели танкиста без ног — один валенок с мясом в нем торчал неподалеку. Лицо танкиста так иссохло, что было маленькое, почти детское. Оно было черное, совершенно черное. Волосы наполовину обгорели, ото лба, на макушке торчали торчком — от мороза, что ли. Рука у него была тоже невероятно маленькая.

Все от точки до точки было завалено камнями — бетонными глыбами с торчащими из них прутьями арматуры. Иногда эти прутья-жилы еще связывали куски бетона между собой. Среди груды развороченного

бетона лежал паровой котел центрального отопления или что-то в этом роде, клубок труб. В одном отчасти уцелевшем доте сидели наши, топили что-то. Наверху из подземелья выходила только гигантская стальная шляпка наблюдательной будки. Она была не то взорвана, не то сбита еще артиллерией. Внизу под ней виднелся темный колодец-люк, металлическая лестница с блестящими, вытертыми до блеска перекладинами — вроде тех, что мы видели на линкоре.

Через все это «битое поле» уже были проложены дороги и двигались, двигались войска. Но саперы еще бродили, выискивали мины и наши невзорвавшиеся снаряды. В сторонке от дороги на одеяле, разложенном на снегу, старшина делил сахар, раскладывая его по кучкам. Мимо двое бойцов двигали санки с наваленным на них трупом полусгоревшего. Одна его рука торчала, как сук из колоды. Боец упирался в эту руку, помогая товарищу.

За полосой разваленных укреплений начинался лес, иссеченный, обмолоченный, поломанный артогнем. Дальше лес постепенно превращался в обыкновенный.

Войска и обозы двигались узкой дорогой в лесу, встречное движение было невозможно, его и не было. Один раненый шел кое-как пешком (ранен в рот, в зубы), сосупая то и дело с дороги в снег. День мы провели в бесплодных попытках как-нибудь пробиться, пробовали ходить вперед — нет ли где пробки. Пробки не было. Это была живая очередь машин, повозок, техники к передовой позиции. Сколько там продвигались, столько и мы следом. Заночевали среди леса. Костров нельзя было зажечь. Мороз был не меньше 30 градусов. Мы мечтали о том, как доберемся наконец в штаб одного полка, куда нам было нужно, как отогреемся, соснем под крышей. Наутро, выбравшись к фронту, мы узнали, что ночью этот штаб, заняв один из уцелевших хуторских домиков, взлетел на воздух. Мы пришли в другой полк. Гремела артиллерия, противник был очень близко. Люди были какие-то иные, чем прежде. Уже начальство и то располагалось в только что вырытых ямах, где оттаивал мерзлый песок и вообще все текло, когда развдодили огонь в каком-нибудь приспособленном бидоне или бензобачке. Нас не угощали, не приглашали. Не было обычной заинтересованности в том, чтоб что-то рассказать о себе. Люди, казалось, были уже ко всему равнодушны. Механически, сонными, усталыми, хриплыми голосами рассказывали кое-что, сбивались, забывали имена, детали.

Оттуда мы, выпросив кое-как бензину у заправочной машины, выехали по Выборгскому обратно. Всего и материала было, что собрали по дороге сюда, в тылу, у начальника подива 100-й, который каким-то образом еще оставался на ночь на месте.

У Лазаренко. Ехали туда побережьем. Обгоняли бесконечные вереницы лыжников в белых ватниках и таких же теплых штанах. Глядя на их снаряжение, на утомленные, хоть и здоровые, лица и на то, как путались с лыжами меж машин на узкой раскатанной дороге или утопали с ними в снегу, чуть свернув с дороги, думалось, что лучше б уж идти пешком. Некоторые из них так и несли лыжи на плечах. Костюм их, как потом нам объясняли в лыжном батальоне, был не очень хорош. Плотная верхняя материя ватников не пропускала воздух, тело быстро нагревалось до поту, человек расстегивался, и его «прохватывало».

Проезжали в одном месте дорогой, висящей высоко на срезе горы над низиной самого побережья. В одном месте проезд был загорожен тягачом, везущим пушку. Часа полтора «маневрировали» на узкой площадке, пока кое-как завели орудие в небольшое углубление в отвесной стене горы, чтоб дать проехать нашей и другим машинам.

Фронт непривычно подвинулся вперед. Ехали лесом, никого ни впереди, ни позади. Регулировщиков нет, дорога незнакомая, время позднее. Едем, держимся за свои замерзшие пистолетики и изо всех сил стараемся не верить всерьез, что нам придется стрелять. На такой дороге не разгонишься, и в машине чувствуешь себя, как в мышеловке.

В расположении дивизии нас обогнала машина. Она остановилась у дома, где по всем признакам должен был быть штаб. Вышедший из машины командир показал нам, как пройти в штаб, а сам нырнул в другую дверь. Это был, как оказалось после, Лазаренко. Нас это тогда обидело, но зато впоследствии (по заключении мира), когда мы дали полосу о его дивизии — и приписали одной ей, по своей доверчивости, взятие Койвисто (Койвисто брала еще 43-я дивизия), — он стал с нами очень ласков.

Встретили нас два батальонных комиссара — комиссар и начподив, который разыгрывал из себя полководца, водил нас по карте и т. п. А между прочим сказал, что он сам журналист, и довольно скоро выяснилось, что он большой трепач. Комиссар, высокий, черный, немолодой, тоже старался придать себе весу. Но поужинать они нам не предложили. Ночевать отправили в политотдел, где жили инструкторы, встретившие нас уже по одному тому, что мы не остались в штабе, с начальством, не очень приветливо: «Негде тут». Стараниями редактора дивизионной газеты, который тут оказался, мы были устроены — последовательно в течение часа — в соседней комнатке, в прокуратуре и, наконец, в медсанбате у врачей, молодых ребят, где было довольно тесно, но люди рады были нам. Там мы кое-что записали.

Старший военфельдшер Савицкий В. Ф., лет 20. Уже был награжден медалью «За боевые заслуги». Ходил в разведку с группой лейтенанта Турманова.

— Наткнулись на финский лыжный след. Пошли дальше, слева нас осветила ракета. Остановились в леске. Слева выстрел. Турманов послал лейтенанта Кожурина обойти справа место, откуда был выстрел. Оказалось, наткнулись на дот. Были ранены — Кожурин, Маслеников и еще один. Лыжный дозор, на след которого мы наткнулись, зашел нам в тыл. Все наши раненые были ранены в ноги. Нужно было нести открытой поляной около километра. Турманов дал мне 10 бойцов, приказал выбираться необстреливаемым сектором. Но нас обстреляли и окружили. Четырем бойцам я приказал отстреливаться. Сам — пятый. Лежу, ветер раздувает халат, демаскирует меня.

— Закрой мне халат...

Потом подоспел пулемет. Дорогу расчистили. Ветков был «ранен» — нуля прошла под мышкой, не задев ни на волос тела.

Помнится, еще рассказывал, как он сидел где-то довольно долго с несколькими ранеными, в том числе одним финном, и пек для них картошку. Угощал и финна. Но записывалось уже очень плохо, хотелось спать.

Утром ходили в 445-й полк, где нам рассказали о Зубце. Там же очень хороший был инструктор пропаганды Абатуров Борис Анатольевич, из ленинградских рабочих (после убит). Он-то и рассказал нам, как шел бой за знамя, водруженное на не занятом еще нами доте. Первая, газетная, редакция «Баллады» более близка к фактической истории дела. Финны покинули дот сами, как будто не выдержав психологически того, что над ними уже было наше знамя.

7.XII.40. Ленинград.

Приехал из Выборга, из 123-й, с границы.

Вновь увидел те самые снега и елки, рвы и надолбы, печные трубы, голубенькие дачки, уцелевшие кое-где. Все было, как в прошлогоднюю зиму. Даже валил почему-то особенно памятный мне липкий, пушистый снег. Только ехал не в машине, а в вагоне поезда Ленинград—Выборг, грязноватого, холодноватого, неуютного.

Кое-кто из пассажиров еще начинает изредка:

— Вот здесь мы обходили... А он, значит, на высоте укрепился.

Но рассказы не очень привлекают посторонних слушателей. Давно это все прошло, давно эти места стали обыкновенными, населенными нашим разнообразнейшим людом, занятым своими заботами и обязанностями. И как я ни пытался, вглядываясь в эти елки, стоящие на нижних своих лапах на снегу, во все, что было по дороге, оживить в себе то, что было тогда, а может быть, пришло потом, в Москве и под Москвой летом,— не получалось... По дороге читал книжку Чуковского, в ней между прочим шла речь о Репине, Куоккале, но и это все было точно где-то в другом месте, а не здесь, где проезжаю.

В Выборге еще много развалин, обгорелых, прогнутых балок, труб, груд кирпича, пустых окон, но на улицах прибрано, ходит трамвайчик, машины, санки. Дети и взрослые гоняют по улицам и бульварам финские санки, подсакаивая на одной ноге. И в городе, где еще никто, ни одна душа не живет больше года, уже ходят с детьми какие-то домашние старушки, девушки — по трое, под руку, артисты в шляпах и белостокских пальто.

Город полон и переполнен. Прошли те дни, когда старшие политики занимали особняки консулов,— в городе уже трудно достать жилье.

Сидел вчера день и вечер на дивизионной партконференции. Другой жизнью, другими задачами живет армия. Суровость и трудность обстановки те же, но «романтики» — ни грана.

Генерал-майор, которому я представился в кулуарах, любезно посадил меня на заднее сиденье своей машины, а сам сел в кабине с шофером, видимо, не желая слишком преувеличивать мое значение в глазах тех, которые замечают, как и с кем кто сидит. Привез в штаб корпуса, завел в свой кабинет, обставленный тяжелой трофейной мебелью, с книжными шкафами и книгами с золотым обрезом, на финском языке. Показал комнату-фонарик, прилегающую к кабинету с угла и оборудованную для отдыха.

Он принимал и поздравлял сержантов с присвоенным званием. Ребята хорошие, несколько — с орденами и медалями.

Поехали обедать. Великолепным жестом генерал-майор предложил мне вступить в некий отдельный кабинет корпусной столовой. Только выбрали первое, только выпили по рюмочке травнику (он, я, командир дивизии, начальник отдела пропаганды и др.) и, осторожно пошучивая, нацелились хватить по другой — входит только что прибывший генерал-лейтенант из округа — мягкий, рыхлоносый, огромный дядя — и все занемело. Генерал-майор залепетал что-то, предложил «согреться», но тот сказал «не хочу» и стал по-стариковски выбирать блюда не очень тяжелые, спросил себе лимонаду.

— Хороший лимонад. Вы не находите, товарищи? Или вы не пьете лимонаду? — И засмеялся.

— Нет, почему же,— слабо возразил генерал-майор, наливая себе лимонаду.

Необычайно толстый батальонный комиссар в кожаном черном пальто рассказывал о своей встрече с командующим (во время боев), который ходил в таком же черном пальто.

«Вылезаю из машины, слышу:

— Что это за хрен в машине по фронту разъезжает?

— Батальонный комиссар такой-то...

— А что ж это вы в машине разъезжаете? Вы — в танке, в танке, дорогой товарищ...

А в танке — знаешь — какая езда. Бьет, трясет, ничего не видишь, гремишь куда-то. Одно хорошо, что все дорогу уступают. Ну, а если забита дорога — он обочиной как хватит по снегу. А там черт их знает мин сколько. Сидишь — и вот — к Иисусу, к Иисусу, к Иисусу — думаешь».

От Выборга до границы ездил на машине. Видел мало чего, только испытал прошлогодние ощущения езды. Снег, елки, лес, дремота, тряска. Раза три таскали машину до того, что в мякишах ладоней боль осталась.

Бойцы живут на этом краю советской земли в хуторских домиках повзводно, топят финские жаркие печки, глядят в огонь (только что пришли с работы), который единственно и освещает помещение, кто-то потягивает гармонь, на лицах добрая понятная грусть от непривычки: новое пополнение.

Верстах в пяти от заставы, в лесах, в снегах расположен гарнизон. В маленьком двухкомнатном финском домике живет полковник с сыном и дочерью, с женой, потихоньку высохшей от переездов с места на место и, видимо, уже потерявшей женскую привязанность к стационарному жилью. Поставили самовар, стали угощать грибами (которых здесь после войны было очень много в опустевших невытопанных местах). Посматриваешь на часы, а полковник:

— Танки в лесисто-болотистой местности — не то что ведут пехоту, а должны за пехотой идти. Это закон. То же самое ночью. Вот у меня было под станцией Ляйпесуо...

Кстати, это тот самый полковник Шолев, который при самой смертельной усталости, всякий раз, когда начинали говорить о тактике и кто-нибудь выдвигал какой-нибудь вариант условного наступления, спускал ноги с постели и говорил сердито:

— Ничего не выйдет... — И горячо вступал в спор.

8. XII. Ленинград.

Прошло время, когда все определялось тем, как армия, часть, боец воюет, какие у них успехи. Это было единственной меркой и оценкой всего. Недисциплинированный боец? Да, но он первым добрался до дота, взорвал его и т. п. Он — герой. Отстающая по боевой и политической подготовке дивизия? Она прорывает линию Маннергейма, она награждается орденом Ленина (123-я). Сейчас все по-иному. Все подводится к некоей общей норме, которая отказывается от случая, удачи и т. п., идет к организованности, предусмотрительности, обобщению. А романтика — в сторону. Орденосная дивизия может стать одной из отстающих. Боец, награжденный орденом, совершает проступок, за который его приходится судить, и т. д.

Об уроках этой войны говорят много, говорят критически и беспощадно к самим себе, к привычным понятиям и т. п. Потери и неуспехи на первых порах объясняются тремя причинами. Первая из них — неподготовленность нашего запасного состава. Вторая — то, что все это — снега, доты, характер сопротивления — было в п е р в ы е. Меру трудностей никто не мог предугадать. Третье — успех предшествовавшей кампании в Западной Украине и Западной Белоруссии, снизивший боеспособность некоторых частей, приучивший их к легкости.

Все это нужно выразить и по-иному, но это все так.

Новое пополнение заставляло еще участников боев. «Старики» вели себя как герои. Море по колено. Дисциплина — низкая. Новички первоначально переняли этот дух. А тут их охладил: взыскания, суд дисциплинарный. Многим показалось, наверно, небо с овчинку.

Бойцы из западных областей Украины и Белоруссии еще, случается, говорят: «Пан командир...»

9.II.41. Москва.

Очень трудно отступление «Там, за той рекой Сестрюю...». А вообще — что-то получается.

Не преувеличиваю, не обольщаюсь.

Исключительной вещи мне на этом материале скорее всего не сделать. Но она нужна до зарезу, даже такая, какую смогу. Делать нужно и буду делать, переделывать, терпеть...

19.II.41. Москва.

Уезжаю сегодня в Ригу с В. С. Гроссманом собирать по заданию ПУ РККА материал по истории 90-й дивизии.

12.III.41. Москва.

Возвратился из Прибалтики... Работа над Историей требует еще усилий. Надо дополнять, сверять, отделять...

Надо написать песню 90-й...

Уже пропустил два занятия на курсах в Военно-политической академии...

«Теркин» запущен за этот месяц, хотя за время поездки надумалась (по материалам истории дивизии) очень подходящая глава для начала — «Переправа» (Кивиниemi)...

21.III.41. Москва.

Вчера читал Маршаку главки «Теркина». Он был просто взволнован, но необходимо помнить, что это с ним бывает, а потом он ничего моего, кроме «Муравии», не помнит. Одно важное его замечание: стихи свободные, без стремления к эффектам на каждой строчке. Помнить о деле, о том главном, что хочешь сказать, а строчки сами собой будут хороши.

Что-то в этом роде я сам не то придумал, не то во сне видел — что-то чрезвычайно ясное, правильное насчет формы и содержания. А вспомнить не могу. Какое-то смутное, но очень радостное воспоминание, что-то очень новое для меня и в то же время не противоречащее резко моей прежней работе и пристрастиям.



А. ПОБОЖИЙ

★

СКВОЗЬ СЕВЕРНУЮ ГЛУШЬ

1

Четырнадцатого июня 1966 года, в шестнадцать часов, от тобольской пристани отвалил трехпалубный теплоход «Гагарин» и, развернувшись, поплыл вниз по течению на север. Город с реки был виден как на ладони. На высокой горе, над самым обрывом, — кремль: каменная стена, соборы стоят густо, один к одному. Берег низкий, сплошь заваленный лесом, штабелями стальных труб, железобетонными блоками, контейнерами; у причалов буксиры и караваны барж.

С первого взгляда ясно было, что город строится, что он растет не только быстро, но и поспешно: над всей южной окраиной, где возводились новые дома, возвышались подъемные краны.

На противоположном берегу часто поднимались и садились самолеты. В небе проплыл вертолет-гигант «МИ-6», держа курс туда же, куда направлялся наш «Гагарин».

Отсюда хорошо было видно все три «слоя» города. Доживает старый, губернский город, почти неотличимый на вид от любого уездного города европейской России. Рядом с ним готовится встать современный, индустриальный центр. А кремль на горе хранит память о тех временах, когда отряды казаков, отправляясь из Тобольска к Полярному кругу и на восток, поставили в низовьях Оби городки Сургут, Березово и Обдорск (Салехард), zaloжили на реке Таз самый северный город — Мангазею. В Тобольск XVII века стекались богатства — пушнина Севера, золото и серебро Алтая, отсюда велась торговля с Китаем и Бирмой, а пышностью двор тобольского воеводы, по преданию, спорил с царским двором. Но только кремль, высящийся над старым городком, напоминает теперь об этой былой славе Тобольска. Тобольск добывает себе иную, новую и лучшую славу.

Отдалившись от города, теплоход шел сперва между пустынных берегов. Потом река оживилась: навстречу нам проплыл целый караван нефтеналивных барж, у левого берега работали земснаряды, а рядом с ними пролегли длинные плети стальных труб. Здесь строился железнодорожный мост, и земснаряды через всю пойму намывали подходную к нему насыпь. По высоководному мосту помчатся поезда, Тобольск впервые услышит гудки локомотивов.

Картина развертывающейся стройки была очень внушительна. Но дальше снова пошли пустынные берега.

— Ох, и надоело же мне смотреть на тайгу, на протоки да острова, на черный лес, — сказал мне незнакомый попутчик; он, видимо, не мог сдержаться желаний поделиться хоть с кем-нибудь своей скукой.

Однако на нас, изыскателей трасс для железных дорог, вид этой земли не наводил скуку — он нас волновал. Чем-то эта местность была

похожа на раньше виденное, но было в ней и что-то другое, неизвестное. Хотелось понять, что же оно такое, это другое, что это за места, где нам придется жить, где будем, трудясь, искать, как побыстрее и подешевле соединить открытые в районе Сургута нефтяные месторождения с Тюменью.

Инженер нашей партии Александр Таряников, стоя рядом со мной на палубе, не спускал глаз с ландшафта, открывающегося за каждым поворотом реки. Этому еще молодому инженеру пришлось повидать уже много разных мест, но и в нем всякая новая обстановка вызывала также и новое напряжение чувства и ума. Он был не из тех молодых людей, что любят болтать по пустыкам, толкаться на людной улице и заглядывать в рестораны. Став на тропу изыскателя, Таряников узнал радость совсем другой жизни, связанной с лишениями, заботами и опасностями. Ежедневный труд в глухой тайге или под палящим солнцем в Средней Азии, где он недавно прокладывал трассу железной дороги к мангышлакской нефти, стал для него необходимостью. Лямки тяжелого рюкзака растирали ему плечи, часто он уходил на работу еще до рассвета, а возвращался в лагерь при звездах, не съев за весь долгий день крошки хлеба. Но он, коренной житель Москвы, в первые месяцы этой работы легко привык к грубой одежде и скудной пище и вскоре чем-то стал похож даже на коренных жителей тайги, а не на своих старших товарищей-изыскателей.

— Вы что, зеваки, долго еще глазеть собираетесь? А обедать не думаете? — прервал молчание наш хозяйственник Владимир Калинин.

Он встал перед нами, все загородив своей могучей фигурой. Это приглашение, бесспорно, было грубоватым по тону; но довольно было взглянуть на лицо Владимира, чтобы понять, какой это добрый и веселый человек. Даже рассказывая про войну, этот бывший танкист вспоминал чаще всего веселые и смешные или трогательные истории, случившиеся с ним или его товарищами. На его тон мог обидеться только дурак.

Мы пошли в салон. Великолепное и по конструкции и по ходу судно было безукоризненным и по внутренней отделке. Стены, двери, оконные переплеты, покрытые отполированной фанерой из красного дерева, и огромные зеркала, вставленные в стены и двери, — все блестело непривычной для Севера роскошью. Но пассажиров на теплоходе было очень мало: люди, привлеченные на Север вестью об открытии нефти и газа, обычно не желали терять времени и предпочитали лететь на самолетах и вертолетах; только те, кто обременен был багажом, как мы, да пассажиры на ближние расстояния плыли по Иртышу.

В салоне почти все столики были свободны. Закусив консервированным муксуном и съев тарелку супа, заправленного мясной тушенкой, я вернулся на палубу, чтобы найти кого-либо, с кем можно поговорить о здешнем крае. Я заговаривал с одним и с другим, но о тех местах, где должна была пролечь трасса железной дороги Тюмень—Сургут, все знали мало, и то понаслышке; говорили только, что край пустынный, без дорог и что там люди не живут. Ни от кого я не услышал хотя бы, что те места отличаются природной красотой — нет, все говорили, что новичку местность, наверно, покажется сущим адом. Правда, там совсем нет некоторых болезней — там не болеют ни гриппом, ни дизентерией, — зато весной тебя может убить укус лесного клеща, заражающего энцефалитом, зимой свирепствуют морозы, а летом комар и гнус доводят до иступления даже самого выдержанного человека.

Не хотелось, но приходилось этому верить: глядя на карту, трудно было определить, чего в этом крае больше — болот и озер или сухой земли. Болота наступали сюда с востока почти до самого Иртыша, словно

стремясь поглотить всю эту северную землю. Ведь это они, покрыв ее топами, долго скрывали несметные нефтяные клады, и только благодаря небывалой широте геологоразведывательных работ и усовершенствованию научных методов разведки советским людям удалось открыть эти богатейшие залежи.

В небольшой поселок, куда мы прибыли,— это был районный центр Уват, расположенный на левом берегу Иртыша,— съехались из различных городов и учреждений многочисленные экспедиции. Были и строители нефтепровода Усть-Балык—Омск. Люди жили и в коридорах маленькой гостиницы, и на сеновалах частных усадеб. Раньше нас сюда приехали из Москвы уже около ста сотрудников нашей экспедиции — инженеры, геологи и молодые рабочие, студенты. Через день пришла из Тюмени и баржа с громоздким нашим снаряжением. Теперь, чтобы приступить к делу, не хватало только рабочих, хотя бы еще человек двадцать. Но нанять их в Увате надежды не было.

Мы с хозяйственником пошли в райком партии — просить помощи.

Первый секретарь райкома Владимир Иванович Рыбкин встретил нас по-товарищески и очень охотно стал рассказывать о своем районе, территория которого превышала площадь многих центральных областей страны.

Главным здесь было строительство нефтепровода Усть-Балык—Омск, пролежавшего через всю территорию района с севера на юг. Секретарь сетовал на строителей этого нефтепровода за то, что они в бездорожном крае не использовали больших и малых судоходных рек так, чтобы завезти по ним в навигацию прошлого года продовольствие, горячее и многое, что требуется для такой большой стройки во многих ее пунктах. Строители надеялись зимой штурмовать тайгу в лоб с берега Иртыша, из района Демьянска, но застряли в болотах и покалечили технику. Ошибку отчасти исправили только этой весной в половодье.

Владимир Иванович рассказывал нам также о лесных богатствах и об их трудной доступности.

— В районе заготавливается много леса, который мы сплавляем по мелководным рекам к Иртышу,— и сколько, бывает, теряем его!— говорил он.— Будет железная дорога к нефти — и с лесом тоже все изменится. Нам нужно уже теперь знать, где пройдет дорога, чтобы наметить, как развивать производственные базы лесников.

Я показал ему на карте варианты и сказал, что наиболее вероятным можно считать так называемый Нижне-Демьянский вариант, по которому трасса начнется от реки Туртас и проляжет на север через всю территорию Уватского района, пересекая реку Демьянку у деревни Соровой; со стороны Тюмени и севернее нас уже давно работают экспедиции «Сибгипротранса».

С интересом слушая слова секретаря райкома, так хорошо знающего свой район, мы все же не без тревоги выжидали подходящей минуты, чтобы закончить разговор о рабочих экспедиции. Скорее всего мы услышим отказ. Но Владимир Иванович неожиданно сказал:

— Рабочих найдем!— И тут же отнял у нас радость, добавив:— Ваших же москвичей-тунеядцев дадим. Вы там, в Москве, не смогли из них сделать полезных людей, к нам их прислали, так вот и займитесь-ка их воспитанием здесь.

О «тунеядцах» я, конечно, читал и слышал еще в Москве. Но из всего прочтенного и слышанного я не сумел составить себе точного представления, что это за люди: ведь старинное слово «тунеядец» означает попросту «дармоед»,— но, очевидно, применялось оно, уже как юридическая квалификация, к чему-то худшему, что приравнялось к преступлению против общества. В общем, понятно было, что публика эта

малоприятная, особенно с нашей точки зрения, потому что главными признаками хорошего человека мы, изыскатели, считаем честное отношение к труду, верность и деликатность в отношениях с товарищами.

Мы с хозяйственником сидели молча, обдумывая неожиданное предложение, а Владимир Иванович встал из-за стола и, прохаживаясь по кабинету, рассуждал:

— Там, в Москве, большие и крепкие рабочие коллективы, сильные организации и то ничего не могли с этими самыми тунеядцами поделывать. А у нас здесь и без того много шатающегося народа, таких молодцов, кого надо еще к оседлой работе приучать, а тут на тебе — еще и этих прислали. Ни штатов, ни жилья, ни средств на их воспитание нам не дают. Вот и берите их, москвичи, своих земляков, только вчера партию прислали, и работайте с ними. Но уговор такой — держать их до последнего. Если уж ничего с ними поделывать не сможете и они у вас в тайге будут только дрыхнуть да хлеб есть, тогда другое дело... Главное, чтобы они работали и чтобы спиртного и не нюхали. Ваши инженеры пусть чаще с ними беседуют. Снабжайте их газетами, книгами, хотя вряд ли кто из них читать станет.

Мы согласились. Обрадованный Владимир Иванович немедленно переговорил об этом деле по телефону, видимо с кем-то из милиции, и сказал нам:

— Сейчас их соберут и приведут к вам в штаб.

Через час наши столы уже окружали приведенные милиционером «земляки». Милиционер положил на стол их документы и, сказав: «Желаю успеха», — поспешил уйти, видимо, боясь, как бы мы не передумали.

Бледные и худые, небритые, с опухшими глазами, стояли вокруг нас люди, припечатанные кличкой «тунеядцы». Среди них были три женщины — разных возрастов, но все с грубо размалеванными лицами и взбитыми копной волосами, цвет которых невозможно было определить: у корней они были черные, а потом переходили в рыжие и заканчивались не то русыми, не то седыми. Вид, в общем, самый удручающий.

Владимир разобрал документы и решил поговорить с каждым в отдельности.

— Прокопенко Тамара! — вызвал он, как школьный учитель, беря в руки трудовую книжку.

Из группы вышла женщина, которой по документам было тридцать лет, но по лицу можно было дать и все сорок.

— Бондарина Евдокия! — Владимир поднял глаза от документов и, недоумевая, спросил подошедшую, самую молодую худенькую женщину: — А почему вас только что назвали, я слышал, Таней?

— Мне это имя больше нравится, — улыбаясь и поведя крашеными бровями, ответила она. Ей было двадцать один год.

Затем подошла Кочкина Вера Петровна. Можно было догадаться, что если б она сама себя так не уродовала, то была бы даже красивой. Ей было всего двадцать четыре года, двое ее детей остались в Москве, а она очутилась поневоле здесь, на северной земле, лишенная по суду прав материнства.

Она сказала нам об этом, и на ее лице не видно было ни страданий, ни печали. Отойдя от стола, она подошла к начальнику партии Дмитрию Алексеевичу Иванову и, бесцеремонно положив на его плечо руку, попросила закурить.

Иванов растерялся и полез было в карман за сигаретами, но остановился, помрачнел и ответил:

— Неужели вы не считаете это неудобным — просить сигарету у совсем незнакомого вам человека, притом начальника партии?

— Не сердись, цыпа, — как могла нежнее сказала она.

Чтобы отделаться от нее, Иванов положил ей в протянутую руку распечатанную пачку сигарет.

— Мерси.— И, видимо, гордясь своей удачей, Вера кивнула подругам, приглашая их покурить. А Иванов пробурчал ей вслед что-то невнятное.

В среде изыскателей, и именно среди самых сильных, смелых и закаленных, не боящихся опасностей, часто встречаются люди, которые боятся обидеть даже самого закоренелого проходимца — возможно, потому, что, несмотря на весь их жизненный опыт, мир представляется им весь таким же, каким бывает дружный мир счастливо подобранный изыскательской партии. Им непонятны воры и жулики, карьеристы и кляузники, лодыри и предатели. Таким сильным и умным «простаком» был Иванов.

— Ивин Петр Григорьевич! — вызвал Калинин.

Этот был капитаном артиллерии. По-видимому, судьба замотала его так, что ему самому трудно было найти ее начало, а о конце он сказал так:

— Последние годы часто менял работу. Жена с сыном ушла от меня лет двадцать назад. Все так осатанело, что самого себя боюсь.

Тридцатишестилетний Варенников Борис зарос клочковатой бородой и выглядел пятидесятилетним. Он рассказал, что всю жизнь хотел работать по торговой части, но все дело испортила непонятная ему самому лень. За всю жизнь он проработал всего два года — зато в двадцати организациях!

— Я, будьте любезны, мечтал занять пост директора ГУМа, — сказал он, открыто издеваясь и над собой и над нами. — Но все у меня всегда срывалось. Может, завхозом возьмете? — И сам рассмеялся, скаля золотые зубы, которые выдавали, что не только за лень его выгоняли с работы.

Орлов Юрий, Бахиев...

Среди них не нашлось ни одного профессионала, настоящего рабочего или служащего. И на всех легло, как клеймо, — «тунеядцы». Их выселили из Москвы и привезли сюда, в Уватский район, под конвоем. Здесь они должны будут прожить по три — пять лет и, по замыслу авторов этой меры, уехать обратно в Москву совсем другими людьми.

Но вот это-то, пожалуй, и есть самое трудное — сделаться другим человеком.

Если бы их могло сделать другими воздействие окружающей среды и своего естественного человеческого чувства, это произошло бы еще в Москве. Ведь по их же собственным рассказам, да и по документам понятно было, что им много раз и в семье, и в общественной жизни прощались не только безалаберность, но и серьезные проступки. Не помогли ни слезы матерей, ни детский плач, ни свои, все более слабеющие, усилия воли, ни уговоры и угрозы милиции, управдомов и соседей.

Я стоял перед ними и говорил им, как мог убедительней, что все худшее у них позади, что они будут работать бок о бок с приехавшими на эту ударную стройку из Москвы комсомольцами, что им выпала честь участвовать в строительстве железной дороги Тюмень — Сургут — той дороги, о которой говорилась на XIII съезде партии, что рядом с ними, на одной просеке, будут работать замечательные рабочие, с которых кто угодно мог бы взять пример. Женщин я предупредил особо, что они здесь должны забыть все прошлое и вести себя по-товарищески, чувствовать себя участницами общей работы.

Я говорил — и чувствовал, что все это зря, что мои слова проходят мимо ушей, которым приходилось уже сотни раз слушать не слыша такие же, а наверно, и более убедительные, согретые личным чувством или жалающие беспощадной строгостью увещевания.

В голове моей невольно появилась совсем другая мысль: взять бы узловатую веревку, подумалось мне, и, прежде чем посылать в тайгу, где каждый должен думать прежде всего о товарищах, выпороть бы их, приговаривая: «Это тебе за жену, это за детей, это за мать, это за мужа, а это чтобы ты человеком стал и о товарищах думал»...

Я сам удивился потом, как могла мне прийти в голову такая недостойная мысль? Конечно, никто их у нас и пальцем не тронул. Но распущенный и наглый в ту минуту вид этих людей, которых еще надо ублажать — не то, того гляди, откажутся от тяжелой физической работы, которую делают у нас все, — вызвал во мне редко случающееся ожесточение.

Но вообще что-то тут не так. В наказание за то, что они испортили жизнь своим близким, им запрещено выезжать за пределы Уватского района; но ведь они могут и здесь зажить так же, как жили в Москве? Сейчас они соглашаются ехать в экспедицию лишь потому, что дошли, что называется, до точки. В карманах у них нет ни гроша, одежда и обувь истрепались, а в тайге мы их обещали кормить в долг «под будущую зарплату», одеть, обуть и дать им постель. Отправимся мы с ними в тайгу. Ну, а дальше что будет?

Когда закончилась церемония первого знакомства, к нам снова подошел Варенников и, немного помявшись, сказал:

— Мы в уголке посовещались и, будьте любезны, пришли к единодушному решению — разжиться у вас по десяточке. В баньку надо с дороги сходить, бельишко, носки купить да покушать. Сами понимаете... — передернул Варенников плечами и в подтверждение своих слов вывернул пустые драные карманы. Разведя руками, он добавил: «Будьте любезны!»

Хозяйственник так посмотрел на Варенникова, что его сотоварищи испугались, поняв, что им могут отказать, и стали умоляющими голосами кланяться.

— Ладно, по два рубля можно дать, — решил Владимир и стал считать вслух. — Баня двадцать копеек, три раза поесть по шестьдесят — рубль восемьдесят. Как раз два рубля. А завтра на подножный корм в тайгу улетите. Подходите, расписывайтесь.

Варенников, всовывая карманы обратно в брюки, посовещался полголоса с товарищами и скромно признался:

— По десяточке — это мы, правда, много запросили, через край хватили. Но, может быть, ну хоть по восемь, по семь рубликов?

Владимир Владимирович набросил еще по три рубля. Но те не сдавались и кланялись хоть по шесть рублей.

— Тогда ничего не получите. Сначала заработайте, — рассердился Владимир и повернулся уходить.

— Ладно, ладно, — загалдели «тунеядцы» все разом и окружили его стол.

2

Был полдень. Июньское солнце прогревало северную землю. Пользуясь хорошей погодой, мы решили слетать на рекогносцировку, чтобы проверить с воздуха наши предположения о Нижне-Демьянском варианте трассы и попутно подобрать посадочные площадки для переброски в тайгу двух изыскательских партий.

Командир вертолета «МИ-4» Илья Михайлович Жернов, перенеся на свою карту намеченные нами маршруты, велел занимать места.

Начальники партий, инженеры, геологи разместились у неболевших круглых окон. Триск мотора мешал разговаривать, да разговоры не были и нужны: маршрут полета изучили по карте все и опознавали

проплывавшую под вертолетом местность по еле заметным ручейкам и речкам.

Долетев до поселка Кускачка, приютившегося на берегу реки Туртас, в том месте, где намечался переход ее трассой, Жернов развернул вертолет влево на девяносто градусов и взял курс на север. С высоты сто — двести метров земля просматривалась хорошо.

Вот Старая гарь, зажатая со всех сторон, словно тисками, между болотами: границы гари были границами болот, когда-то преградивших путь огню. Отмечаем на картах трассу, в этом месте ее нужно проектировать по гари.

Пролетаем над долиной реки Выя. Приходится долго кружить, отыскивая, где наметить мостовой переход, но всюду к реке подступают болота. Наконец нашли место, где к левому берегу подходит гарь, а на правом берегу огромное болото от самой реки до коренного склона разрезано узкой мечевидной полоской леса. Потом находим совершенно чистое болото у самой реки. Решаем партию Иванова высаживать завтра на это болото, а лагерь ставить на берегу Выи.

Дальше ищем переход реки Сон. В том месте, где с севера в нее впадает речка Кармышачихи, карта оказалась неверной. На левой, высокой террасе этой речки вместо указанного на карте болота была опять гарь, тянувшаяся километров пятнадцать. Корректируем на карте направление трассы и из долины Кармышачихи, по которой вначале думали ее уложить, переносим на эту гарь: раз гарь — значит, место, вернее всего, сухое, иначе бы лес не сгорел.

Правее гари — бесконечное множество больших и малых болот. На двух болотах видели лосей. Они стояли спокойно, не боясь низко летящего вертолета — видимо, уже привыкли к их стрекотанию, а может быть, им очень уж не хотелось убежать в лес, где их поджидали полчища комаров и оводов.

За верховьями Кармышачихи начинался плоский водораздел, сплошь заросший лесом, и только с востока болото протянуло сюда свои огромные щупальца со множеством мелких отростков, тонкие концы которых заканчивались опять же широкими пятнами, словно стремясь и эту сухую землю покрыть непроходимыми топями. Волнообразные болота, простиравшиеся по водоразделу, были похожи на зеленые поля, застывшие после того, как по ним гулял морской прибой. Эта волнообразная поверхность болот заинтересовала геолога партии Татарина, и он что-то неслышное для нас объяснял главному геологу экспедиции Яковлеву, крича ему в самое ухо.

Минут пятнадцать летели мы над тайгой, потом она резко оборвалась. Опять начались болота, а лес здесь рос только в долине реки Перил. Болота простирались на десятки километров, и посреди них попадались большие озера. Но вот показалась наконец лента реки Демьянки, окруженной лабиринтом староречий, заток и озер.

На берегу одной из заток приютилась деревушка из четырех домиков — Сорочья. Это было первое встреченное нами поселение — а пролетели мы почти сто километров! Покружившись над ней, стали отыскивать намеченный на карте мостовой переход через Демьянку. Сделать это было нетрудно, и мы полетели дальше над огромными болотами, держа курс на реку Нелым.

Но вот местность изменилась, и за рекой Нелым мы увидели сухую, покрытую густым лесом грядку. Она вытянулась далеко на север. В самой середине этой гряды виднелась широкая просека с ленточкой свежевзрытой земли. Здесь строился нефтепровод Усть-Балык — Омск.

Возвратились мы в Уват, когда горячее было уже на исходе.

Когда мы вышли из вертолета, ко мне тут же подошел хозяйственник.

— Бульдозер нигде не могу найти,— сказал он.

У меня еще гудело в голове, и я не понимал, зачем помощнику понадобился бульдозер.

— Бульдозер нужен,— повторил он и добавил: — Тунеядцев сгребать в кучу, на берегу Иртыша пьяные валяются.

Мы допустили ошибку, дав им денег, и вот они, утомленные месяцем пути из Москвы сюда, вместо того, чтобы пойти в баню, купить белье и пообедать, выпили водки и сразу же свалились. Наши инженеры и техники стаскали и сложили их к вечеру за школьную ограду, и там они под открытым небом провалялись на разостланных брезентах до утра.

Почему они так поступили? — допытывались мы у них утром.

«Тунеядцы» оправдывались по-разному. Ивин и Орлов сказали, что напились с горя, потому что поняли, что для них все пути-дороги отрезаны.

— Заложили по всей форме,— заключил Ивин,— и легче стало, вспомнили дни хорошей жизни, вспомнили, как воевали на фронте и были равными среди людей...

Говорливый Варенников и женщины, болтая наперебой, оправдывали свой поступок необходимостью вознаградить себя за долгую тяжелую дорогу из Москвы.

— Будьте любезны! Ведь целый месяц везли нас,— с жаром оправдывался Варенников.— Как не sprыснуть такую дорожку?

Остальные отмалчивались или говорили, что напились «за компанию».

Мы, конечно, злились на них, но что было делать?

Ведь и правда: они здесь, в Увате, были словно стая, замкнутая в своем собственном кругу, и местные жители смотрели на них, как на настоящих преступников, от которых надо держаться подальше.

Еще когда в Увате появились первые «тунеядцы», население поселка возмущалось этим. считая, что их, жителей далекой северной окраины, перестали считать за полноценных людей, если посылают к ним из «цивилизованного мира» на жительство отбросы общества, словно баля всех в одну кучу, чтобы там, на этой далекой окраине, они и барахтались все вместе — и местные жители, и сосланные «тунеядцы» — и сами разбирались, что к чему...

Устроить «тунеядцев» на квартиры к местным жителям милиции не удавалось, а хоть какого-нибудь помещения, чтобы поселить в нем сосланных, она в своем распоряжении не имела. Они кружили стаей по поселку в поисках жилья, а перед ними с бранью плотно закрывали калитки.

Но жить-то все равно где-то надо, и, подолгу бродя группами и в одиночку, они устраивались, кто где мог. Чаще всего находили приют у тех немногих в большом поселке жителей, которые сами были похожими на них. «Тунеядцы» находили такого хозяина, который живет в своем доме бобылем и тоскует по таким людям, с которыми ему можно было бы поговорить по душам, которые его не только не осудят, как соседи, а еще и посочувствуют: ведь эти его соседи, живущие семьями в добротных домах со справным хозяйством, так же сторонятся его, как сторонятся и приезжих «тунеядцев», а для него эти приезжие — «свой народ». Чердака, сеней или места где-то в избе на полу ему не жаль. Кроме того, в доме у него давно все прожито и пропито, а постояльцы, смотришь, и копейку принесут.

И «копейка» обязательно будет: ведь эти ссыльные должны работать, а то комендант их посадит в тюрьму — не для того их сюда ссы-

лали, чтобы на боку лежать да мух давить! Какой там ни будет у жильца заработок, а за квартиру заплатит в первую очередь: на улице гут, на Севере, не проживешь.

Так и селились «тунеядцы» по домишкам мелкими роями, словно пчелы, чтобы в первый же день разлететься по поселку — кто в поисках работы, кто перехватить рублик в другом таком же рое, если там кому повезло и пришел денежный перевод из Москвы. Потом они жили у хозяина домишки уже как свои, не разбирая, кто из них больше тунеядец — хозяин или они. Хозяин живет хоть бедно, но прочно, он может нигде не работать: ссылать его уже некуда, он живет на краю земли. Но все же он живет на земле и от земли не отрывается. Себе на пропитание и на выпивку он разживается случайными работами — кому дровишек напилит, кому печку починит, забор поправит, а то и рыбки наловит: Иртыш рядом, рукой подать...

От поселка он все-таки не отрывается, а оторвись он от него, ему было бы, наверно, еще хуже, чем его постояльцам. И от своего клочка земли он не оторвется: у него есть своя изба, где он может сколько угодно отлеживаться, и есть огород, где он накапает картошки и луку — еды, хоть и немудрящей, на весь год ему хватит...

Доставшиеся нам «тунеядцы» прибыли только-только и еще не успели оглядеться в Увате, чтоб присмотреть себе эти домишки и пристроиться на жилье. Не успели они еще и сойтись с «тунеядцами», высланными раньше их, да для первого знакомства и деньжонки нужны — сухая ложка рот дерет, — а продать им было уже нечего.

Положение, что и говорить, незавидное.

Мы решили ускорить отправку их в тайгу и утром стали одевать «тунеядцев» в новые рабочие костюмы, обувать их в резиновые сапоги. Выдали каждому меховой спальный мешок, накомарник, выдали пологи от комаров и еще многое из снаряжения, что необходимо для жизни и работы в тайге.

Обмундированные во все новое, они выглядели уже по-другому. Свои истрепанные пустые чемоданы — последнее, что у них оставалось от московского имущества, — они бросили под навес на базе экспедиции, как ненужные.

— Никого не отпускайте ни на шаг, — командовал Владимир, — иначе все замахнут. Душа у них после вчерашнего горит, — с некоторым даже сочувствием к провинившимся пояснил он инженерам.

Варенников попросил было еще денег на мыло и полотенце, но, встретив свирепый взгляд своего начальника партии, Петра Степановича Баулина, осекся.

— Все сами купим и в тайге дадим, — буркнул Баулин, — а сейчас грузитесь.

Наконец баулинская партия погрузилась на самоходную баржу, чтобы плыть вниз по Иртышу, а потом вверх по реке Демьянке к месту намеченного мостового перехода. Петр Степанович стоял наверху, распоряжаясь укладкой багажа.

Этот опытный изыскатель провел много лет на Дальнем Востоке, работал там на прокладке трасс железной дороги Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань, Байкало-Амурской магистрали и многих других линий. Дальневосточная тайга, Саяны и Уссурийский край сроднили его с дикой, нетронутой природой, и вот сейчас он жаждал поскорее попасть на свой участок, где надеялся увидеть совсем другую тайгу, еще ему неизвестную, непохожую на дальневосточную, и, может быть, встретить неизвестных людей, отважившихся жить в этом глухом краю.

Как и все его рабочие и инженеры, он был одет в «энцефалитный

костюм» — так называли мы специально сшитые костюмы, предохранявшие тело от лесного клеща, зараженного в этих местах энцефалитом. (Этот костюм не прокусывали также ни комары, ни оводы.) На поясе Баулина висели патронташ и охотничий нож, в руках он держал двустволку и накомарник.

Молодые ребята — почти все студенты — заканчивали погрузку. Женщины-«тунеядки» — которые все три поехали в эту партию, так как Иванов от них отказался, — приводили себя в порядок и прихорашивались. Они причесывали волосы, смачивая их водой из Иртыша, красили губы, держа в руках крохотные зеркальца, пудрились и, как могли, отвечали на не совсем лестные реплики молодых парней. Вчера они много пили и только сейчас приходили в себя. Закончив туалет, они долго уговаривали хозяйственника, надеясь, видимо, что тот сжалится и даст хоть по рублю, — а ларек рядом, на берегу, рукой подать, и вино там есть. Но Владимир был словно камень.

Погрузка закончилась, хотели было уже отчаливать, но обнаружили, что нет Варенникова. Нашли его за магазином: он стоял, опершись на изгородь, и, вытянув левую руку в сторону Иртыша, медленно, как трагический актер, говорил:

— Это ландыши во всем виноваты...

Когда я сказал, что нужно садиться в баржу, он посмотрел на меня рассеянным взглядом и повторил: «Во всем ландыши виноваты», — и, с силой отбросив от себя пустой флакон из-под одеколлона «ландыш», пошел к берегу.

— Нигде не причаливайте! — кричал Владимир лощману и Баулину. — Двести километров меньше чем за сутки пройдете. А если будете причаливать, так только не у деревни, а к пустому берегу!

— Ладно, ясно! — крикнул в ответ Баулин.

Самоходная баржа отвалила от берега.

3

Отправив баржу, мы пошли на аэродром, куда должна была прийти с базы партия Иванова.

Таряников распределял людей и грузы по рейсам. Набралось их всего рейсов на восемь. Первыми полетели с грузом Таряников, Иванов, трое рабочих и я. Владимир Владимирович должен был распорядиться отправкой остальных.

До места, при рекогносцировке выбранного нами накануне для лагеря на правом берегу реки Выя, мы летели недолго. Вертолет, покружившись, стал резко снижаться прямо на болото, и летчик Жернов крикнул мне, чтобы мы готовились к высадке.

Работая на больших оборотах, вертолет еле коснулся поверхности болота и повис над ним, а мы, выбросив вещи, один за другим попрыгали туда же. Ветровые вихри воздуха от вертолета валили с ног, прижимали людей к болотной топи. Но вот машина снова поднялась вверх, звук ее стал затихать, и, словно сливаясь с ним, появился новый монотонный звук — звон и стон полчища комаров. Они налетели на нас с диким остервенением и в минуту облепили с ног до головы.

На эту напасть все реагировали по-разному. Таряников спокойно достал пузырек с демитилфталатом и смазал этой маслянистой жидкостью лицо и руки, после чего, взвалив на плечи палатку, потащил ее к лесу, на берег реки. Вслед за ним потащил вещи рабочий Виктор Павлович Бочкарев. А двое рабочих из «тунеядцев» — Михаил Подушкин и Виктор Лотов, которые сперва стояли неподвижно и смотрели в сторону улетевшего вертолета, причем на их лицах были написаны скорбь и

отчаяние, словно они навеки расставались с цивилизованным миром,— нелепо замахали руками, когда на них набросились комары, как будто так можно от них отбиться, и, накрыв головы куртками, думать забыли о порученных им вещах.

— Работать надо,— подойдя к ним, спокойно сказал Иванов и добавил: — Мажьтесь комариной жидкостью и давайте таскать вещи.

Жидкости они с собой не взяли — стоит ли утруждать себя «всякой мелочью?» — и мне пришлось отдать им свой пузырек.

До реки было метров триста. Саша Таряников уже кричал с берега, что нашел место для лагеря. Ввалив на плечи спальные мешки и по одному теодолиту, мы с Ивановым направились на голос Таряникова. Они с Бочкаревым уже успели развести дымокур и расчищали площадку от кустарника и мелких елок.

Вья была почти до краев наполнена водой. Оба берега заросли густым лесом: береза, ель, пихта росли вперемежку. Деревья клонились к воде, образуя над рекой живую зеленую арку, но сам лес с множеством поваленных деревьев был неудобным и черным, как бы и неживым. Сквозь густую листву солнце почти не пробивалось, земля была сырая, а с болота и реки поднимались испарения, от которых в лесу было душно.

Подошли «тунеядцы».

— Что так долго шли? — спросил Таряников.

— Не асфальт,— проворчал, сбрасывая с плеч спальный мешок, Подушкин и тут же сел на него, как тяжело уставший.

Посмотрев на него, Таряников пошутил:

— Играл ты в детстве на асфальте, в школу ходил по асфальту, спекулировал на асфальте, да и в милицию водили по асфальту,— а тут вдруг его и нет!

Подушкин не ответил.

Вертолет прилетел снова, и восемь человек высыпали из машины прямо на болото и потащили вещи к настилу из жердей, который мы уже успели сделать.

Обустройством лагеря поручили Виктору Иосифовичу Данилову, бывалому изыскателю, много поработавшему в дальневосточной тайге. Он хорошо знал, как быстро и надежно ставить большие палатки, натягивать над постелью пологи от комаров, строить навес над кухней и складывать из жердей столы и лавки для столовой, рыть в крутом берегу печку для кухни. Из предосторожности Данилов велел спилить возле лагеря несколько деревьев, которые при сильном ветре могли свалиться на палатки.

Вертолет прилетал еще и еще. Наконец вся партия с имуществом и снаряжением была на месте. Когда привезли бочку бензина, Бочкарев заправил бензопилу «дружба», и расчистка площадки пошла много быстрее. С треском и грохотом падали вековые ели, и над головой засветился хоть кусочек неба.

Саша пошел со студентами строительного техникума делать плот для переправы через Вью, а мы с Ивановым пошли осматривать прилегающую местность.

Более угрюмой и пустынной земли мне еще не приходилось видеть: только прибрежная полоса, где был узкий прирусловый вал, была сравнительно сухой, а дальше от берега, к коренному склону, тянулось голое болото без травы и даже без кочек. Его покрывал тонкий слой зеленого мха, мокнущего в воде. Не видно было ни одной птицы, не слышно ни одного звука, словно все вымерло на этой угрюмой земле.

Устройство лагеря заняло у нас и весь следующий день. Двумя ровными рядами поставили десяток палаток, натянутых на каркасы. На болоте соорудили из бревен в два наката посадочную площадку для

вертолета. Таряников со студентами построили плот и превратили его в паром, перекинув через реку трос.

Можно было бы начинать работу. Но где тут прокладывать трассу? Кругом тайга, изрезанная многочисленными притоками Выи и местами сильно заболоченная.

Река Выя, на правом берегу которой стоял наш лагерь, течет с востока на запад, она берет начало в болотах и впадает в реку Туртас — левый приток Иртыша.

Трасса железнодорожной линии Тюмень—Сургут, которую нам предстояло прокладывать, должна была взять направление почти строго на север и неизбежно пересекала Выю. Южнее нас экспедиция института «Сибгипротранс», действующая на смычке с нами, уже наметила переход трассы через реку Туртас, текущую, как и Выя, с востока на запад.

Найти переход через Выю, русло которой гораздо более извилистое, а долина почти сплошь покрыта болотами, было задачей многотруднейшей. Однако, пожалуй, еще труднее было решить, по какой долине подниматься с трассой на водораздел рек Выя—Демьянка в тридцати километрах севернее нашего лагеря. Попутных долин в том направлении было две: долина речки Кармышачихи и долина речки Карагайки, берущих свое начало в болотах этого водораздела. Кармышачиха впадала в реку Сон (приток Выи), а Карагайка — прямо в Выю, выше устья реки Сон, то есть восточнее его. Чтобы попасть с трассой в эти долины, нужно было сначала пересечь реку Сон; но выбор места для перехода через нее зависел именно от дальнейшего направления трассы, от того, куда мы ее поведем — по Кармышачихе или по Карагайке. Так были все эти вопросы взаимно связаны, что решать их нужно было не по отдельности, а все сразу.

Смущало нас еще и то, что на картах были ошибки, обнаруженные нами в рекогносцировочном полете: в нескольких случаях на месте, где по карте должны быть болота, мы видели гари, и это давало надежду проложить трассу по более сухим местам.

Обсудив все это, мы наметили по снимкам и картам возможные варианты и решили пройти местность километров на двадцать—тридцать вперед: вести трассу наугад было бы глупо, ее почти наверняка пришлось бы бросать и начинать новую. Но рекогносцировка местности посредством пешего передвижения не могла занять меньше пяти дней; чтобы партия, в которой было более сорока человек, не простаивала эти дни в ожидании, мы решили от нашей смычки с «сибиряками» — то есть отсюда, где они уже окончательно выбрали переход через реку Туртас, — прокладывать ход на первых пяти километрах. Возглавить эту работу поручили Данилову и старшему геологу партии Лидии Михайловне Морозовой.

Как обычно бывает в комплексных партиях, долго спорили при распределении рабочих между трассировщиками и геологами. Геологи всегда считают, что рабочих им дают меньше и похуже: начальником комплексной партии обычно бывает трассировщик, и он, по их мнению, заботится прежде всего о том, чтобы лучше обеспечить себя.

— Не нужны мне эти ваши тунеядцы! — горячилась Лидия Михайловна. Она стояла у стола, полная и пышущая здоровьем, крепко поставив ноги, и, по привычке отгонять комаров, непрерывно махала веткой, хотя под огромным марлевым шатром камералки комаров вовсе и не было.

— А кого же я вам вместо них дам? Ну, скажите сами! — начинал тоже горячиться Иванов.

— Ивана Зеленчуса и Виктора Бочкарева дайте, а с этими, с Подушкиным и Лотовым, сами возитесь, — отрезала Морозова.

Они долго спорили, потом Морозова все же согласилась взять Подушкина, а Лотова Иванов оставил себе, уступив ей Бочкарева.

Мы потом еще долго сидели у костра. В огонь подбрасывали целые бревна и ветки с хвоей, и костер разросся в целое озерко пламени. Круг раздвигался. Почти вся партия собралась у костра.

Здесь были люди с самыми разными характерами и судьбами. Все они, за исключением Иванова, Таряникова и Данилова, впервые попали в тайгу. Даже старший инженер-геолог партии Морозова, побывавшая во многих республиках и краях, с тайгой встретилась впервые.

Инженеры и техники стояли кучкой. Среди них были молодые муж и жена — Юра Калинин и Галя Власова, молодой инженер Виталий Пономарев, тоже приехавший с женой: она уговорила, чтобы он взял ее в тайгу, и согласилась быть в партии поварихой. Был в этой группе и Саша Афонин, тоже еще молодой инженер-геолог, сухощавый, немного сутулый и в очках, кажущийся слишком хрупким и интеллигентным для нашего дела, особенно по контрасту с его соседом у костра — пожилым старшим буровым мастером Ксенофонтовым, прикрывающим сейчас от жара большой рукой угловатое и хмурое лицо; человек он был крепкий, работник надежный, но угрюмый и неразговорчивый (говорили, что он угнетен частыми запоями и поехал в тайгу, надеясь, что здесь сама обстановка поможет ему с собой совладать).

Молодые рабочие и студенты держались тоже отдельной стайкой. Им было весело. Все здесь было им интересно. Каштанову, старшему из них, исполнилось только еще девятнадцать лет, но они все отпускали бороды, чтобы явиться в Москву матерями таежниками.

В группе более взрослых и пожилых рабочих, сидевших у костра, шел свой разговор. Центр этой группы образовали «тунеядцы» Подушкин и Лотов — оба лет по тридцати, и оба бойкие на язык.

— Так, говоришь, отец у тебя профессор? — допытывался у Подушкина рабочий Афанасий Гришин, дотошный и хитрый мужик, который почему-то от всех требовал, чтобы его звали просто Афоней.

— Говорят тебе, шербатый дед, что профессор.

— А ить врешь, — подраживал Афоня. — Ну, ладно, отец профессор. А ты зачем же мебелью спекулировал?

— Не твоего ума дело, старый хрен, что с профессорским сыном может случиться, — отрезал Подушкин.

Но Афоня не унимался. Он и сам был, так сказать, не из героев труда, и было у него особенное любопытство к чужой жизни с изъяснами.

Живя то в Тобольске, то в Увате, Афоня по нескольку раз в год перебегал с одной работы на другую или месяцами сидел дома, браконьерствуя на реке. Он хвалился, что по всему Иртышу нет такого, как он, мастера добывать самоловами стерлядь и осетра; этот способ ловли строго запрещен, и Афоня не раз платил штрафы и даже саживал в тюрьму. Зная это, Иванов не хотел его брать в партию, но нужна была повариха, а жена Афонни, очень хорошая и работающая женщина, согласилась ехать с мужем и еще взяла с собой девятнадцатилетнюю дочь.

— Не давайте Афоне водки — он работать будет, — уверяла жена.

Иван Зеленчис, из-за которого так много было спору между Ивановым и Морозовой, — молодой, белокурый, плотного телосложения рабочий, заметно выделялся среди всех остальных. Не то чтобы он был красив, но с первого взгляда он располагал к себе людей. Его приятель Иван Солищев как-то сказал мне: «Ваня — добрая душа, он своего труда ни для кого не жалеет». И это было так. Зеленчис всегда был готов помочь и брался добровольно за самую трудную работу.

Горел костер. Группы, вначале отдельные, смешались, и разговор стал общим.

«Кажется, уживутся в тайге,— думал я, глядя на людей.— Только бы не было несчастного случая, не заблудился бы кто, не убило бы кого упавшим деревом...»

Беспокоился я не зря — путь будет долгий и тяжелый, а они тайги не знают. Тайга же здесь особенная: даже Данилов мне признался, что он, бывалый изыскатель, поначалу растерялся здесь, в необыкновенно сложных условиях.

4

Рано утром отряд Данилова переправился на плоту через Выю и ушел на смычку с сибиряками, а мы — Иванов, Таряников, геолог Саша Афонин, Бочкарев, Подушкин и я, — захватив с собой на пять дней продовольствия, бур геолога для зондировки болот, спальные мешки, полоти от комаров, топоры и ружья, отправились на рекогносцировку местности.

Подушкина мы брать не хотели, но рабочие уже были распределены с вечера, и Морозова заявила, что, кроме Бочкарева и Подушкина, на зондировку никого не даст.

Когда спросили Подушкина, с охотой ли он пойдет с нами на рекогносцировку, он ответил:

— Я именно не хочу идти.

Это «именно» меня обозлило, и я ему велел собираться.

У всех, кроме Подушкина, настроение было приподнятое: нам не терпелось углубиться в таежные дебри. Мы ведь всегда словно золотоискатели, которые спешат открыть золотые россыпи. И это на деле почти так — удачно выбранный вариант дает при строительстве железной дороги сотни тысяч, а в этой местности миллионы рублей экономии: ведь один километр постройки оценивается здесь в семьсот тысяч рублей.

Мы шли вверх по Вые, отыскивая место, где бы поудобнее было пересечь реку и ее широкую заболоченную пойму.

Болото шириной около трех километров начиналось почти от самой реки и уходило по долине на восток так далеко, что не видно было его конца: только узкий прирусловый вал, по которому мы шли, был сухой, и на нем росли береза, ель, сосна и осина, образуя полосу густого леса.

В этом лесу было много завалов, которые то и дело приходилось обходить. Иванов и я шли впереди, за нами — Саша Афонин с рабочими, и замыкал шествие Таряников с Шариком: этого большого черного пса с белым пятном на лбу, из породы лаек, Саша выпросил на лето у хозяина в Увате, и Шарик, уже верный новому хозяину, держался к нему поближе, лишь временами отбегая в стороны в поисках какой-нибудь живности. Но тайга была пустая, только далеко за рекой несколько раз подала голос кукушка.

Припекало июльское солнце, парило, в густом лесу становилось очень душно. Противоэнцефалитные костюмы не пропускали воздух, и мы страшно потели. Накомарники мы не надели, а перед походом намазали лица и руки жидкостью от комаров, и теперь она, смешиваясь с потом, стекала со лба и ела глаза.

Мы думали, что идем быстро, а когда проверили по карте, то оказалось, что делали всего по два километра в час. Глаза так болели и так много клещей прицеплялось на костюмы, что пришлось останавливаться. Утерев с лица пот и обобрав друг с друга клещей, мы немного отдохали и, снова намазавшись демитилфталатом, шли дальше.

В середине дня у нас была удача — нашелся подходящий для трассы переход Выи: с левого берега к самой реке, где она течет по прямо-

му отрезку русла, подходил сухой коренной берег с горелым лесом, а справа, на север от реки, против этого места был узкий перешеек между двумя болотами. Лучшего места и искать нечего! Это стало совсем ясно, когда мы вышли на перешеек, откуда хорошо видно было раскинувшееся на несколько километров по долине голое болото с волнообразной поверхностью.

Идя по перешейку на север, мы натолкнулись на заболоченный лес. Оставив Сашу Афонина, чтобы сделать несколько зондировочных скважин, мы пошли обследовать окрестности.

Вернувшись, увидели такую картину: бур геолога крутили Саша Афонин и Бочкарев, а Подушкин сидел у дымокура.

— Почему сам буришь, а не Подушкин? — спросил Афонина Иванов.

— Да ну его, — отмахнулся тот, — эта кляча воз не тянет, только на хомуте виснет.

— Слушай, Подушкин, какого черта ты дурака валяешь? — возмутился Иванов.

— Не оскорбляйте меня, — невозмутимо ответил Подушкин, принимая непринужденную позу.

— Убирайся тогда отсюда ко всем чертям, иди обратно в лагерь, нам обуза не нужна, — выругался Иванов.

— Можно и повежливее с рабочими обращаться, — наставительно пропел Подушкин. — А в лагерь, отчего же, это можно, только сопровождающего дайте, я теперь дороги не найду. А если заблужусь, вы ответите, — с издевкой закончил он.

Времени на препарирательства не было, и Таряников, скинув рюкзак, стал бурить с Бочкаревым еще одну скважину, влево от перешейка. Максимальная глубина торфа в заболоченном лесу оказалась три метра, а ниже шла супесь, и болото было шириной всего восемьсот метров, так что для перехода можно было считать это место удачным.

Немного отдохнув и сделав записи в журнале, мы пошли дальше на север, в сторону коренного склона долины Выи. Тропы, конечно, никакой не было, и мы шли, ориентируясь по аэрофотоснимкам. Старых таежников, умеющих так ориентироваться, было двое — Иванов и я.

Дмитрию Алексеевичу Иванову недавно минуло сорок лет, а на тропу изыскателя он ступил впервые в 1947 году в моей экспедиции, на прокладке Байкало-Амурской магистрали. Тогда мы прокладывали трассу от Лены до Нижне-Ангарска, что на северной оконечности Байкала. С тех пор он и полюбил тайгу. Кроме технических знаний и опыта, настоящий изыскатель, каким стал Иванов, должен хорошо знать природу и, как бы она ни была сурова, он должен перед нею не теряться, а чувствовать себя ей сродни.

Человеку, впервые попавшему в глухие неведомые края, растеряться бывает нетрудно, и у таких товарищей, как Дмитрий Алексеевич Иванов, он находит поддержку, неоценимую в минуту опасности.

Он вынослив, такие походы, как этот наш, ему — сущий пустяк: за спиной у него сейчас висел большой рюкзак, в руках он нес ружье, а шел он легко. Кто не бывал в тайге на Вые, тому трудно себе представить, что это значит — идти легким шагом. Тайга между Леной и Нижне-Ангарском тоже сурова, но по сравнению с той, по которой мы шли сейчас, ее можно назвать распланированным цветущим парком...

Иванову я доверял — во всяком случае не меньше, чем себе; но как он будет ориентироваться здесь? Ведь местность кругом плоская, ни скал, ни распадков, ни озер, ни даже ручьев, которые могли бы служить ориентиром...

Я не вмешивался и предоставил ему вести наш небольшой отряд.

Выйдя из долины Выи, Иванов остановился и, достав из сумки аэро-снимки, стал по ним опознаваться на местности.

Как он это умеет делать! На паре смежных аэроснимков он видит стереоэффект простым глазом, без стереоскопа, предназначенного специально для этой цели.

Он показал мне на плоском снимке:

— Вот это — тот ложок, рядом с которым мы стоим, а вон там — уступ небольшой террасы, которая сквозь деревья едва заметна.

Таряников и я тоже пытались увидеть стереоэффект без прибора, но глаза свои настроить так и не смогли.

Пока мы рассматривали местность, сравнивая ее со снимками, по макушкам деревьев неожиданно пронесся порыв ветра и повеяло свежестью. Обрадованные прохладой, мы собирались немедленно продолжать путь, но новые, все более сильные порывы ветра стали раскачивать деревья, и над головой блеснула молния. Страшный раскат грома загрохотал над северной глушью. Ветер рванулся так, что умирающие деревья затрещали и одно за другим пошли валиться на землю. Глухое безмолвие сменилось в тайге чертогонем. Ураган загнал нас под корни огромного поваленного дерева, за гигантский черный щит. Но не одни мы укрылись за ним от ветра: полчища комаров собрались там же и набросились на нас с таким остервенением, что снова пришлось мазаться жидкостью, от которой уже вспухли веки, слезились глаза, а теперь эта жидкость еще разъедала вдобавок ранки, покрывшие во множестве лицо. Комаров было так много, что одежда на нас казалась серо-рыжей, гудение их выводило из равновесия даже привычные к тайге нервы.

Подушкин сидел, закрыв голову плащом, из-под которого неслись проклятия всему, что было и есть на свете от дня его рождения и вплоть до этого дня.

— Наверно, создавший меня бог сейчас и сам плачет, — скулил он.

Мазь уже не помогала.

Морозы или зной редко могут довести до отчаяния: от морозов можно спастись теплой одеждой, от палящего солнца хоть как-то укрыться под одеждой или в тени. Но от гнуса, от комаров в лесу не спасает ничто. Они преследуют тебя в днем и ночью. Они, как тень, движутся за тобой со своим нудным завыванием, и так продолжается недели и месяцы, пока не наступят холода.

Как только вспышки молнии и глухие раскаты грома переместились на север, мы выбрались из нашего укрытия, оказавшегося западней, и пошли дальше: в ходьбе и под дождем комары досаждали меньше. Поднявшись на склон, мы резко повернули вправо, на восток. Болото, покрывавшее долину Выи, тянулось теперь от нашего маршрута справа, а мы шли по густому лесу.

Дождь вскоре перестал, и по-прежнему все стихло. Нигде ни одного звука: не вспорхнет рябчик, не постучит по дереву дятел, не видно даже сороки — не слышно ни одного птичьего голоса. Тайга была мертвая. Только и слышно было, что звуки капель, падающих с высоких деревьев на папоротники.

К вечеру мы добрались до реки Сон в том месте, где в нее с противоположной стороны впадает речка Кармышачиха, и здесь решили переночевать. На высоком сухом берегу развели костер и, обсушившись, пошли заготавливать дрова. Рубили целые бревна, чтобы горели дольше.

Таряников варил суп. Запустив в ведро мясную тушенку, он попробовал суп, на раскрасневшемся его лице пробежала довольная улыбка, и, повернувшись к лежавшему рядом Подушкину, он сказал:

— Сходи-ка за водой, чай надо вскипятить.

— Я устал, — угрюмо пробурчал Подушкин.

— Устал, говоришь? Что-то рановато устаешь, мы и половины пути не прошли — впереди потруднее будет.

— Могли бы и не брать именно меня с собой, — пробурчал тот. — Словно тень за вами хожу, а толку все равно чуть.

— Сходи за водой, говорят тебе, — по-прежнему добродушным тоном настаивал Таряников. — Вот и первый от тебя толк будет.

Но за водой в конце концов пошел сам Иванов.

После тяжелого перехода все спали крепко — благо под пологом комары не донимали. Только Шарик зло лаял ночью и бросался в сторону реки, куда, видимо, приходили на водопой лоси.

Утром позавтракали поплотнее, имея в виду, что обедать в пути не придется. Отыскали брод, перешли на левый берег реки Сон и двинулись вверх по долине, к устью Кармышачихи. Речка эта, текущая с севера на юг, оказалась совсем небольшим ручьем, теряющимся в заболоченной, заросшей лесом и кустарником глубокой долине, склоны которой были круты и сильно изрезаны боковыми логами. Сперва мы шли у самого ручья, но по обоим его берегам тянулось кочковатое болото с зарослями кустарника, идти было трудно, и мы свернули к крутому западному склону долины. Из подножья его круч сплошь сочилась вода. Влага, выпадающая из атмосферы, мало впитывается здесь в глинистый грунт и скатывается по склону. Да и сам грунт с наступлением лета оттаивает и по мельчайшим капиллярам отдает на поверхность косогора влагу, она непрерывно покрывает его и стекает к подножью.

Местность здесь, на Соне, еще угрюмей, чем на Вые, в зарослях здесь еще темнее, и всюду сыро, как в подземелье. Ручьи, впадающие в Кармышачиху, пробиваются по логам сквозь заросли, дышащие сырой прохладой. Хотя долина Кармышачихи и была попутной для трассы, но строить дорогу по ней из-за болот и крутых склонов с глинистыми грунтами было бы слишком трудно.

Пройдя вверх по долине километров шесть, мы решили из нее выбраться и, перевалив водораздел, осмотреть долину речки Карагайки, параллельной Кармышачихе.

Поднявшись по крутому склону, мы оказались на ровном широком плато и были приятно удивлены: вместо обширного болота, нанесенного на карту, здесь оказалась сухая гарь. Пройдя по ней метров пятьсот, мы вышли на большую поляну, в центре которой было два небольших озера, окруженных травянистыми болотами.

— Марсианский лес, — сказал Таряников, показывая на огромные стволы белых берез; макушки их были ровно срезаны, а на стволах не осталось ни одной ветки.

Белые исполинские столбы стояли так густо и они были так не похожи на обычные деревья, что, казалось, мы и вправду попали в какой-то другой мир. У подножья этих белых столбов росли только огромные папоротники, редкая зеленая трава да низкие кусты. Стволы были чистые и сияли белизной от корней до срезанных верхушек. Вначале я подумал, что вершины этих деревьев испепелил пожар, но признаков гари вблизи не было, и исполинские стволы нигде не обуглились, не потемнели. Так эта роща обезглавленных берез, раскинувшаяся далеко на юг и на восток, и осталась для нас загадкой.

На поляне в этом необычном лесу, на берегу озера, мы сделали привал, намереваясь и заночевать здесь. Отдохнув, я предложил сходить до речки Карагайки, а Подушкина оставить с вещами здесь. Но он запротестовал:

— Не останусь, именно не останусь, — бубнил он.

— Это почему? — удивился я.

— А вдруг вы меня потом не найдете? — с неприятным страхом пояснил он. — Тайге-то ведь конца края нет, а на обратную дорогу мне одному не выйти.

Мы стали его уговаривать, что часа через четыре вернемся, но он никак не хотел поверить, чтобы без дороги и тропы по такой тайге можно было вернуться в то место, откуда ушел. Да и медведь может напасть...

— Ну, ладно, идем, — согласился Иванов, — только уговор: не отставать! Как ты говоришь: вот именно не отставать!

Сложив вещи и прикрыв их куском брезента, мы пошли в сторону Карагайки. Идти было легче: хотя на пути было много поваленных сухих деревьев с острыми, как копы, сучьями, на которые лучше с размаху не падать, чтобы насквозь не пробило, — зато не было на нас рюкзаков, оттягивающих плечи.

Через километр склон к долине Карагайки стал более пологим, гарь кончилась, и мы уткнулись в заболоченный лес. За ним открылось ровное моховое болото. Посреди него, поодаль друг от друга, стояли два лося. Здесь, на открытом месте, чувствовалось дуновение ветра, и лося, конечно, здесь отдыхали, спасаясь от гнуса. Нас они сперва не заметили, и мы спокойно ими любовались. Но Таряников громко свистнул, чтобы поглядеть на их красивый бег, и они встрепенулись, закинули головы и помчались к противоположной опушке.

По этой долине прокладывать трассу из-за болот тоже нельзя было, и мы вернулись на гарь, чтобы пройти по ней севернее.

Тайга и здесь была мертвой и однообразной. Сухая гарь, тянущаяся по западному склону долины Карагайки на север, местами сменялась небольшими болотами, на которых росли деревья, преимущественно сосна и береза. Эти места мы оконтуровали на снимках, чтобы потом не попасть на них трассой.

Шли долго и останавливались только на несколько минут. Подушкин выбился из сил. Через поваленные деревья он уже не перелезал на ногах, а переползал на животе.

Гари не было конца. Сверив данные воздушной рекогносцировки с пройденным на местности участком и убедившись, что это и есть та гарь, которую мы видели с вертолета, и что тянется она на север во всяком случае еще километров десять, мы решили дальше не ходить, а возвратиться к двум озерам и «марсианскому» лесу.

Когда повернули назад, Подушкин зашагал веселее, хотя все еще ворчал и не верил, что, идя даже не по своему следу, а ориентируясь по непонятным ему снимкам, мы выйдем на озера. Но через два часа ходьбы перед нами открылась поляна, маленькие озера и белые стволы берез — самый приветливый уголок среди огромного пространства угрюмой, прорезанной болотами тайги.

Мы так изнемогли за день, что, закусив консервами с хлебом и попив чая, тотчас легли спать. Но мне не спалось. Сквозь марлевый полог виднелось небо, усеянное звездами. Глядя на них, вспомнил «мертвую дорогу» у Полярного круга, где мы так же много ходили, отыскивая для нее трассу. Сейчас, когда я подумал о ней, вспоминая, как она строилась и что с ней случилось, мое сердце сжалось. «Ничего, — успокаивал я себя, — еще пригодится», — совсем как мой дед Фома, который, бывало, говорил это, заботливо подправляя несколько лет подряд стог старой соломы. Призвав себе на помощь эту утешительную мысль, я надеялся заснуть. Но спать не пришлось. Шарик зло зарычал, потом залаял и бросился к кустам на берегу озера. Там что-то затрещало, а Шарик со вздыбленной шерстью примчался обратно. Проснулись все, Подушкин даже выскочил из-под полога.

— Наверно, лося пришли на водопой, — успокоил я его.

Минут пять было тихо, только зло ворчал Шарик. Потом в кустах опять затрещало, и Шарик с остервенением кинулся туда. Через минуту рывкнул медведь, собака опрометью примчалась к нам, стала жаться к ногам и скулить.

— Давайте костер разведем, — стуча зубами, засуетился Подушкин.

— Ну что ж, иди за дровами, — ответил Таряников.

— В лесу именно медведь меня сожрать может, — зашептал Подушкин.

— А без костра уж наверняка именно с тебя скальп снимет, — подбадривал его Таряников.

Но медведь, видно, и так ушел: Шарик только рычал, но никуда не рвался. Подготовив на всякий случай ружья, заряженные жеканами, мы решили костер не разводить: на востоке уже занималась белая заря и короткая северная ночь должна была скоро смениться днем. Однако медведь возвращался к озеру еще дважды, и Шарик каждый раз бросался к кустам, которые были от нашего бивака всего в ста метрах.

Утром мы пошли к озеру и тщательно осмотрели берег.

С разных направлений из леса к озеру протянулись хорошо проторенные лосями тропы: здесь был их излюбленный водопой. В кустах, вблизи одной из троп, мы нашли остатки убитого лося. Кости, разодранная шкура, требуха и куски протухшего мяса валялись в одной куче, от которой несло смрадом. Видно, сюда и приходил медведь ночью поужинать. Он задрал лося, и теперь лоси ходят к другому водопою, а медведь остался единственным хозяином озера. Но мы скоро прогоним медведя и завладеем озером и его окрестностями. А там, глядишь, спустя время, когда окончим строительство, лоси опять сюда вернуться на безопасный водопой в заповеднике.

Мы решили соорудить на травянистом болоте рядом с озером посадочную площадку для вертолета. Торф здесь был довольно плотный, и можно было ограничиться настилом из бревен только в один ряд, положив предварительно под него поперек бревна через метр; летчики требовали, чтобы площадка была квадратной, десять метров на десять, а подходы к ней свободны от леса в радиусе не менее ста метров. Деревья рубили в соседнем лесу и таскали их на площадку двумя парами: Иванов таскал с Таряниковым, Бочкарев с Подушкиным. Мы с Афониним очищали бревна и затесывали колья для крепления настила.

Подушкин работал — за весь поход впервые! — но Бочкарев им все же был недоволен, и имел на это право.

— Ну что ты все за вершинку хватаешься? — упрекал он Подушкина. — Хоть бы раз взвалил на плечо комель.

— Не втянулся еще, — увильнул Подушкин.

— Нет уж, давай так: меняться через бревно, — решительно заявил Бочкарев. — Один раз я за комелек, другой раз тебе придется пожилиться. Здесь тебе прятаться больше не за кого — не Москва, каждый на виду. А то смотри как бы тебе хуже не было.

— Ну, ладно, — согласился Подушкин. — Бери это бревно за комель ты, а уж следующее именно я возьму.

— Нет, хватит, — зло посмотрел на него Бочкарев и сам взялся за тонкий конец.

Подушкин кряхтел, охал, взваливая комель на плечо. Но то ли из озорства, то ли ему действительно было тяжело, он, не пройдя и десяти шагов, сбросил свой конец так, что чуть не контузил Бочкарева.

Бочкарев долго тер плечо, а потом сказал:

— Что ж, приятель, придется тебя поучить. Вот только на Выю вернемся...

Как я узнал позднее, Бочкарев уже давно был зол на таких, как Подушкин. После демобилизации из армии он некоторое время работал милиционером, и ему много пришлось повозиться, улаживая конфликты в семьях по просьбе жен, детей, родителей или в камере отделения милиции. Один раз оголтелые хулиганы так вывели его из себя издевательствами и оскорблениями, что нервы его не выдержали, и он стал стрелять в милиции из пистолета в потолок. Хотя он никого и не ранил, все же это было серьезное «чепе»: Бочкарева судили. В нашу экспедицию он нанялся на работу вскоре после освобождения, и вот судьба опять свела его с такими людьми, как те, что довели его до тюрьмы.

Неизвестно, привел ли Бочкарев в исполнение свою угрозу Подушкину. Похоже, однако, что он выполнил свое обещание — дней через десять. Мне рассказывали — не то в шутку, не то серьезно, — будто случилось это при таких обстоятельствах. Пробурили одну скважину, нужно было трубы, наконечники и штанги перенести по трассе для бурения другой. Бурмастер Ксенофонтов, взвалив на плечи хомуты, ушел вперед по просеке, а трое рабочих, в их числе Подушкин и Бочкарев, должны были перенести все остальное оборудование. Однако оставшись без прямого начальника, без бурового мастера, Подушкин ничего брать не захотел и заявил, что даже штангу не понесет. Видя, что уговоры не помогают, а вдвоем им всего оборудования не поднять, Бочкарев и рабочий Силантьев будто бы его «слегка поколотили». Что не более чем слегка — это видно из того, что Подушкин никому не пожаловался и больным не сказался. Это тем более было похоже на правду, что с этого приблизительно времени Подушкин стал все-таки работать. А Бочкареву этот случай, очевидно, напомнил его стрельбу, и он, недовольный собой за то, что дал волю рукам, ходил мрачный и на Подушкина даже взглянуть не хотел.

К вечеру настил был готов. Иванов связался по радиотелефону с партией и передал мою телеграмму в Уват, чтобы завтра за нами прислали вертолет.

Приятно было думать, что в тайге, где никогда не появлялся человек, есть эта крохотная площадка, которая будет нанесена на нашу карту, станет какой-то притягательной точкой для множества работающих людей. Здесь высадится изыскательская партия, а потом, вслед за ней, появятся первые строители, и отсюда пойдет начало человеческой жизни в этом краю...

Таряников хотел было сделать ночью засаду на медведя, но мы его отговорили: ведь в темноте можно оплошать и зверь разорвет охотника, да и другим может не поздоровиться. Кроме того, охота на медведей в этих местах была запрещена. А чтобы медведь не вздумал охотиться на нас, решили ночью поддерживать костер.

Поужинали рано, и, сидя у костра, каждый занялся своим делом. Иванов чинил порвавшийся кирзовый сапог — ни шила, ни дратвы не было, нашелся лишь кусочек тонкой проволоки.

— Ходить мне теперь все лето в кедах, — сокрушался начальник партии. — И какой это умник придумал устанавливать срок носки для кирзовых сапог целый год? Экономия липовая...

— А что тут нового? — подхватил Таряников. — Все нас стараются хоть в чем-то урезать. Бухгалтерия в Москве, когда выписывала мне накладную на новые кирзовые сапоги, дала разъяснение, что срок носки их не календарный, а из того составляется, сколько я буду в них обуваться в летние месяцы. Грамотная девушка, — добавил он, — знает, что в мороз в этом добре околеешь!.. Теперь она в моей карточке каждый

месяц отмечает, сколько раз я обувал и снимал эти сапоги ценою восемь рублей сорок копеек.

— Да, умников хоть отбавляй. Разок бы их сюда послали,— вмешался обычно молчаливый Афонин.

— А что от этого изменится? — спросил его Иванов.

— Как что? Увидели бы тайгу, лесные завалы, болота...

— Ну и, думаешь, срок носки уменьшат? — прервал его Иванов.— Черта лысого! Думаешь, они не знают, какие морозы в Тобольске и в Ханты-Мансийске бывают да какие метели воют? А вот записано кем-то когда-то, что полушубки до шестидесятой параллели не положены, что без шапок-ушанок и меховых рукавиц тоже терпеть изыскателю можно. Значит, выдавать их не положено. А терпеть без них положено?

Разговор этот был не случайный. И не потому он начался, что у Иванова через три дня порвался кирзовый сапог, а носить его по норме он должен еще два-три сезона.

Нет, этот вопрос меня волновал не меньше, чем Иванова и других моих товарищей: ведь я отвечал не только за их работу, но и за их здоровье,— отвечал за людей, согласившихся поехать со мной в такой суровый край. В Москве я ничего не добился, хотя выступил по вопросу снабжения спецодеждой на профсоюзной конференции нашего института, ходил в управление и министерство. Всюду я встречал сочувствие и слышал один и тот же ответ: нормы утверждены, помочь ничем не можем.

А ведь не всегда так было! В первые пятилетки норм на спецодежду вообще никаких не было. Когда мы собирались на изыскания, завхозы записывали, какого размера обувь и одежду носит каждый из нас. Если думали задержаться в экспедиции до зимы, завхозы брали с собой валенки, полушубки, шапки, меховые рукавицы, ватные брюки и даже теплые портянки. Если работать собирались в болотистой местности, получали на всех непромокаемые кожаные болотные сапоги с высокими голенищами. В общем, мы брали все, что потребуется в экспедиции, и спецодежду выдавали изыскателям по мере надобности. Если сапоги порвались, отдашь их, бывало, завхозу для починки, а если пришли совсем в негодность — завхоз выдаст новые. Приходит зима — получаем все зимнее. Вот так оно было, совсем просто.

Я рассказал об этом моим товарищам.

— И теперь просто,— заметил Иванов.— Появело в сентябре ходоком — сматывайся в Москву. На будущий год снова приедешь, на доделки. Десятку на полушубке сэкономили—тысячи на новой организации работ потеряли. Сапоги продрались, лишний раз не пошел осмотреть местность — и с трассой по болотам лишних тысяч кубометров насыпей нахватал. А пошел бы, гляди,— и обвел трассу по сухому ровному месту.

Иванов помолчал и добавил:

— Если бы все это подсчитать и кому следует показать, то над нашей спецовой работали бы такие же знаменитые модельеры, какие работают над спортивными костюмами для соревнований.

— Ух, куда хватил! — удивился Таряников.— На спортсменов люди смотрят, а на нас разве медведь глянет, и то вон только ночью приходит.

— И в самом деле, для чего вы так стараетесь? — вмешался в разговор Подушкин. (Мы-то о нем как-то позабыли, разговаривая между собой.) — С утра до ночи ходите, сами бревна таскаете. Все равно ведь никто ваш труд не оценит.

— А нам не надо, чтоб нас оценивали, цену мы себе и сами зна-

ем,—отрезал Таряников.— Не о цене тут разговор, пойми ты это! — И он стал объяснять Подушкину: — Люди, далекие от нашего дела, привыкли думать, будто наша работа — это сплошная романтика. Как-то так это укоренилось с помощью легкой журналистики, литературы и кино, что даже очень неглупые люди часто не понимают главного — что от нас, изыскателей, зависит стоимость строительства железной дороги. Взять хотя бы это место, где мы работаем сейчас. В Москве нам рекомендовали укладывать трассу по долине речки Кармышачихи. Допустим, мы так и сделали бы, и нас никто за это не стал бы ругать, так как на карте вокруг долины показаны болота. А мы вот полетали над этой местностью, походили по тайге и болоту — и оказалось, что есть тут узкая полоса сухой гари чуть не двадцать километров протяжением. В долине Кармышачихи что за местность? Лог на логу, болота, крутые склоны, а на гари место ровное, сухое, хоть на боку катись. По грубому подсчету, по Кармышачихе километр дороги обойдется в пятьсот тысяч рублей, а здесь в два раза дешевле... Вот тебе и романтика, вот и кирзовый сапог,— закончил Саша Таряников свое объяснение Подушкину.

— А по-моему, все же правильно вас считают любителями романтики,— не сдавался Подушкин.— Я вот, например, как заработаю на брюки и ботинки — сразу подамся от вас в Уват. Пусть кто хочет комаров кормит. Да и сапоги больше месяца, в такой чашобе бродя, не выдержат.

— Тебе, конечно, здесь не климат,— согласился Саша Таряников.— Уж если в Москве не ужился, так тайга куда там для такой персоны! — И спросил: — От чего это тунейдцы плодятся?

— Наверно, именно один от другого,— смеясь, ответил Подушкин.

— Значит, вас надо под корень?

— А черт его знает, как с ними надо,— зло ответил за Подушкина Бочкарев и сплюнул.

Сидели молча, но каждый, видимо, думал об одном — в самом деле, как сделать, чтобы не было «тунейдцев»? Что тут не в водке причина — во всяком случае не в одной водке,— это все понимали: кто же у нас водку не пил? А все работали и совесть имели.

Первым нарушил молчание Подушкин.

— Вот ты комсомолец,— обратился он к Таряникову,— и эту стройку, наверно, объявят комсомольской, это ведь модно. А что мы работаем здесь, об этом никак не объявят?

— Не знаю, объявят ли эту стройку комсомольской. Если тысячи ребят и девчат приедут на нее — тогда наверняка объявят. А вам, тунейдцам, я посоветовал бы объявить своей какую-нибудь такую отдавленную и трудную стройку, чтобы, кроме вас, там никого не было. Пусть там будут столовые, общежития, дома отдыха, поликлиники. И все это обслуживайте сами. Ну и, конечно, чтобы никаких спиртных напитков.

Саша Таряников еще хотел что-то сказать, но Подушкин перебил его:

— Не согласен. Если снабжать стройку мебелью мне поручат, вот тогда соглашусь!

Сказал он это, как я понял, просто из озорства. Опять все замолчали, а потом Иванов спросил:

— Неужели никогда тебя не тянуло к настоящей работе?

— Работать? Нет. Жить хорошо — это хотелось.

И Подушкин стал не без удовольствия рассказывать о своих приключениях.

— Именно я ни учиться, ни работать не хотел, но деньжонки и девочек любил. Без денег не будет девочек, деньги без девочек тоже ни

к чему, не та им цена,— глумился Подушкин все так же напоказ.— Это ведь правда, что мой папаша профессор по медицинской линии. Сперва он меня не стеснял. А потом хоть он и профессор, а понял, куда идут его трудовые. Тогда этот источник иссяк, и я стал промышлять с приятелями по мебельной части. В хороших, больших магазинах. Кому поможешь буфетик доставить домой, а то в очереди постоишь, чек добудешь на ценную вещицу и за десяточку лишку сбудешь. Но это — низкая, черная работа. Вот когда именно ко мне присмотрелись некоторые работники прилавка, тогда началась настоящая работа. И покупатель доволен, что добыл нужную мебель, и мы не в обиде. В хорошие месяцы зарабатывал не меньше папаши...

Никому не было охоты продолжать этот разговор. Легли спать.

Ночью медведь приходил несколько раз. Шарик кидался в кусты, но мы спокойно спали у тлеющего костра, решив, что нас он не тронет — поест своей тухлятины и уйдет.

Утром я получил ответ на свою телеграмму: «Вертолета дней пять не будет. Жернова направили на перевозку экспедиции гидрогеологов. Калинин».

Я знал, что эта экспедиция работает уже много лет вдоль Оби и Иртыша, от Салехарда до Тобольска, изучая огромную территорию бассейнов этих рек, предназначенную к затоплению для Нижне-Обской ГЭС. В моей голове никак не укладывалось: как же затоплять эту землю, на которой открыты богатейшие месторождения нефти? Неужели они навеки будут похоронены под водой? Ведь что ни день, то радио и газеты приносят вести, что там-то забил нефтяной фонтан, в другом месте вспыхнул газовый факел... Куда уйдут из родных мест народы — ханты и манси? Куда денутся песцы, белки, лисы, медведи? Что станет с лесом, когда хлынет вода и покроет все бескрайней гладью? Как затопление изменит климат? Не появится ли много новых болот и Ледовитый океан не продвинется ли в глубь Сибири?

Об этой проблеме я читал статьи в «Правде», в «Литературной газете», в журналах «Коммунист» и «Природа». Читал статьи Сергея Залыгина. По некоторым подсчетам, понадобится пятьсот лет, чтобы Нижне-Обская ГЭС с ее сказочной мощностью могла выработать электроэнергию, равную той, какую способны дать недра Приобья. Ведь если все нефтяные и газоносные площади зальет водой, попробуй-ка их добыть! И что же — на воде строить морские города нефтяников?

Нет, я не верил, что это может случиться, что огромные средства сейчас тратятся на открытие подземных кладов лишь для того, чтобы их потом похоронить...

Но почему же тогда ведутся такие изыскания для Нижне-Обской ГЭС? Может, просто так, по инерции, или для какой-то далекой перспективы, на сотни лет вперед?

Теряясь в догадках, я злился не потому, что без вертолета нам предстояло идти пешком на Выю и несколько дней сидеть без хлеба. Злила безалаберщина в планировании. Казалось бы, нашей работе на Севере должно уделяться внимание: ведь строительство этой железной дороги записано в решениях XXIII съезда партии! А выходит, что...

Спустя полмесяца, когда единственный вертолет, обслуживающий экспедицию сибиряков и нашу, у нас опять забрали и наши партии, разбросанные по тайге, остались совсем без продуктов, нам с Александром Александровичем Паршковым, начальником экспедиции «Сибгипротранса», случайно удалось встретить в Увате Юрия Александровича

Южакова, распорядившегося вертолетами. Разговор был примерно такой:

— По договору вы должны предоставить нам два вертолета,— говорил Паршков,— а забрали последний, единственный.

— Что делать, нет машин, больше половины их на ремонте, а когда отремонтируют — не знаю, ремонтная база плохая,— невозмутимо отвечал Южаков.

— Но люди в тайге голодают,— говорил я.

— Ждите, будет,— отмахнулся он от нас, как от назойливых мух.

К нему подошли пилоты, и он поспешил с ними уйти на «МИ-6». Его поведение нас крайне встревожило, и я предложил Паршкову немедленно лететь вместе в Тюмень, в обком партии, и там ставить вопрос о вертолетах.

Александр Александрович со мной не согласился:

— Пожалеемся — еще хуже будет. Южаков нас совсем прижмет.

Не раздумывая дольше, я взял билет на пролетавший из Сургута самолет «ЛИ-2» и через полтора часа был в Тюмени.

Принявший меня секретарь обкома Евгений Александрович Огородный после моего рассказа о вертолете, не говоря мне ни слова, вызвал к телефону Южакова и сказал ему:

— Немедленно заберите вертолеты у экспедиции гидрогеологов. Обком партии против строительства ГЭС на Оби. Газеты вы читаете?

Минуты две Евгений Александрович молча выслушивал объяснения Южакова, а потом добавил:

— Не давайте им вертолетов, пусть себе уезжают, если хотят. А вертолеты дайте железнодорожной экспедиции. И еще нефтяникам.

Секретарь помолчал, сдерживая свое возмущение, и сказал мне:

— Вертолеты будут. Если что не так — звоните.

Но это произошло позднее, через полмесяца. А сейчас нам предстояло добираться до Выи пешком.

Опять два дня пути по буреломам, да еще на голодном пайке: надеясь на вертолет, мы весь свой последний хлеб съели утром. На Вые, наверно, оставалось хлеба тоже не больше как на один день, в расчете на вертолет, который должен был прилететь сегодня.

Все складывалось плохо. Ведь мы сделали только первый бросок вперед, разведав первые пятнадцать километров. А сколько их надо будет пройти за лето еще?

Там, дальше на север, начинается плоский водораздел с однообразным лесом, с такими же завалами и похожими одно на другое болотами. На этой бескрайней равнине, где нет никаких заметных местных предметов, а всюду море тайги, даже летчикам будет трудно найти крохотную вертолетную площадку, построенную изыскателями...

Мы шли молча, держа направление по компасу, с расчетом выйти на старую ночевку у Соны.

Кажется, сущий пустяк — пройти десять километров. Но когда лесные завалы преграждают путь, а ноги тонут в моховом покрове да идешь в комариной туче,— тут вспомнишь всех сорок мучеников.

Как мы ни спешили, обливаясь потом, но к речке Сон подошли, когда солнце уже пряталось за тайгу. Старый наш бивак остался выше по течению реки, и мы решили ни туда не идти, ни здесь не ночевать, а доев оставшуюся от завтрака кашу, двигаться дальше.

Наши остановки стали учащаться, и мы вышли к Вые, когда уже совсем стемнело. До лагеря оставалось еще около трех километров. В темноте, без тропы, сквозь густой лес, постоянно натываясь на сучья и ветки, мы еле брели. Подушкин уже не охал, а выл. Да, наверное,

каждому из нас временами казалось, что дойти не хватит силы. Мучительно хотелось снять мокрые сапоги, сковавшие, как тисками, ноги, сбросить насквозь пропитанный потом энцефалитный костюм.

На востоке небо уже стало белеть, когда мы доплелись до лагеря, разделись, залезли в спальные мешки, чувствуя уже не себя, не свой отдых, а только наслаждение от расслабления измученных мышц, каждого мышечного волокна, наслаждение каждой истощившей себя клетки.

Проснулись мы во второй половине дня. Еще никто не вернулся с трассы, но завхоз партии Николай Иванович Истратов позвал нас обедать. Хлеба у них, как мы и предполагали, не было, зато была мука, и на столе стояла тарелка с горой оладий, и каша в кастрюле пахла мясными консервами. Было хорошо.

Нанеся на фотоснимки и карты результаты нашей рекогносцировки, Иванов позвал меня посмотреть лодку. Я был удивлен: откуда она взялась? Досок мы сюда не привозили, и в лесу здесь не найти деревьев, из которых можно было бы сделать долбленку. Но, как известно, голь на выдумки хитра: Афоня сумел клиньями разделить бревна на доски. Ему, конечно, пришлось много поработать топором, но в кустах уже стоял остов лодки с днищем и валялись еще три довольно тонкие доски.

— Через пять дней поплывем,— решительно заявил Афоня.

А Иванов добавил:

— Ждем обещанный моторчик «Москва».

Видя такое усердие, я согласился отдать последний мотор, оставшийся в экспедиции.

Когда все пришли с трассы, началось купание, и это было занятное зрелище. Первыми начали купаться женщины. Как раздеться и одеться? В лагере и над рекой висели тучи комаров, и за доли минуты они искусают голое тело.

Раздевались женщины в палатке, под пологом, а потом опрометью бросались к реке, хлеща себя на бегу березовыми ветками, и с ходу прыгали в воду. Выкупавшись, они подхватывали березовые ветки и опять бежали в палатку.

Интереснее всего был финиш: купальщицы влетали в палатку, а с ними и туча комаров; проскочив в дальний угол палатки, женщины делали обманное движение, резко возвращались к пологу и прыгали под него. Обманутые комары, упустив свои жертвы, вились в дальнем углу палатки, а купальщицы катались под пологом, давя тех комаров, которые все же успели в них впитаться.

Мужчины купались, разводя на берегу огромные дымокуры. Но, несмотря на тучу дыма, комары успевали, пока мы раздевались, облепить голое тело.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ НАРОДУ

К столетию со дня рождения Н. К. Крупской

Когда я вспоминаю Надежду Константиновну Крупскую, думаю о ней, то всегда вижу ее такой, какой увидела 26 января 1924 года в Большом театре. В этот день здесь происходило траурное заседание II съезда Советов СССР.

Бледная, изможденная, совершенно обессиленная, она все же сумела мобилизовать всю свою волю, весь остаток энергии и мужественно поднялась на трибуну.

Ее скорбь растворилась во всенародной скорби. Сидя у гроба Ленина, Надежда Константиновна видела, как четверо суток подряд, невзирая на лютые морозы, непрерывным потоком шли к нему со всей России люди, чтобы сказать последнее прощание. Мужчины и женщины поднимали высоко над головой своих детей, чтобы они запомнили навсегда дорогие черты... А школьники — девочки и мальчики — часто отделялись от толпы, от родителей, чтобы пробраться поближе к гробу и положить цветок или веточку ели.

Поэтому не согбенной, убитой горем женщиной выглядела Крупская на трибуне. Нет, на трибуне стояла достойная соратница ушедшего из жизни народного вождя, которая звала следовать и дальше по указанному им пути.

Невозможно забыть слова, которые она произнесла тогда:

— Товарищи, за эти дни, когда я стояла у гроба Владимира Ильича, я передумывала всю его жизнь, и вот что я хочу сказать вам. Сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. Никогда этого он не говорил сам, да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую, менее торжественную минуту... Товарищи... смыкайтесь дружными рядами, становитесь под знамя Ленина, под знамя коммунизма.

Невозможно забыть и то, как она произнесла эти слова. Надежда Константиновна говорила не просто тихим голосом, а почти шепотом. Она была совершенно охрипшей и не силилась говорить громче. Но, странное дело, ее слова были слышны во всех уголках огромного зала, дошли до слуха всех, кто там был. Это походило на акустическую загадку: ведь тогда не было радиорепродукторов.

Люди, сидевшие до того в зале печально-молчаливыми, угрюмыми, с поникшими головами, скованные тяжестью постигшего горя, слушая речь Надежды Константиновны, казалось, выпрямились, чуть приободрились...

Слова Крупской шли от ее сердца к сердцам слушателей. У каждого было ощущение, что она обращается именно к нему, говорит только с ним одним.

Вскоре после этого мы с товарищами навестили Надежду Константиновну в Горках. На нижнем этаже, в столовой, мы застали Марию Ильиничну, занятую правкой материалов для «Правды». Она сильно побледнела, похудела и казалась очень утомленной. Обменявшись с нами несколькими фразами, сказанными вполголоса, она повела нас вверх, в угловую комнату, где жил и умер Ленин. Мария Ильинична приоткрыла дверь и сказала тихо: «Надя, к тебе пришли».

Надежда Константиновна вышла к нам.

Говорить всем было очень трудно. Надежда Константиновна сказала только, что ей здесь очень тяжело — все напоминает о нем.

— Поеду-ка в город. На работе буду с Ильичем без Ильича.

Она действительно совсем недолго пробыла в тот раз в Горках и снова вернулась в город.

Позднее Надежда Константиновна рассказывала, что, стоя у гроба, бродя по опустевшим комнатам горкинского дома и по зараставшим травой дорожкам парка, она действительно передумала всю жизнь Ильича.

Надо полагать, перед ее мысленным взором проходили картины их совместной жизни. Крупская считала эту жизнь счастливой. Но это была жизнь трудная. Любовь, единомыслие и единомушие, взаимопонимание и совместный труд помогли превозмочь все — и преследования, и ссылки, а иногда и нужду. «Разве в роскоши счастье?» — говаривала она.

Но тяжелей всего для нее бывала разлука с Владимиром Ильичем, хотя никогда прямо об этом она не говорила. Когда у Ленина кончился на год раньше, чем у нее, срок сибирской ссылки и он уехал в Псков, а затем в Питер и за границу, она вынуждена была еще целый год отбывать остаток ссылки в Уфе. «Очень жаль было расставаться, — вырывается у нее, — когда только что начиналась «настоящая» работа, но даже и в голову не приходило, что можно Владимиру Ильичу оставаться в Уфе, когда была возможность перебраться поближе к Питеру».

И вот наконец она свободна. Снова жизнь и работа вместе с Владимиром Ильичем. Она едет к Ленину за границу. Но как сложен, труден и запутан был тогда каждый шаг их жизненного пути! Сейчас это даже трудно себе представить. Она приезжает в незнакомую страну, в незнакомый город (Прагу) со слабым знанием языка. Никто ее не встречает. Едет по имевшемуся у нее адресу в надежде найти Ленина под фамилией Модрачек. Модрачек — это чех. через которого лишь держится связь. И, как выясняется, надо ехать в другую незнакомую ей страну — Германию, в Мюнхен, к некоему Ритмейеру. Ритмейер наконец найден, но и он не тот, кого она ищет. И это тоже только условный адрес, лишь отдельная точка, «перевалочный пункт» на длинном пути к Владимиру Ильичу.

Оказывается, последняя записка с точным адресом и ориентиром, которую Ленин послал ей через товарища в книге, вообще до Надежды Константиновны не дошла.

Сколько тревог и огорчений ей приходилось испытывать буквально на каждом шагу! Как часто необходимость конспирации, недоговоренность приводили к недоразумениям и лишним хлопотам! Другая на месте Надежды Константиновны отчаялась бы, растерялась. Но Крупская была на редкость терпеливым, выдержанным и дисциплинированным человеком. К тому же ей помогал ее оптимизм, юмористическое отношение к жизненным перипетиям.

Кончилась и вынужденная эмиграция. В России началась первая революция. И они приехали вместе в Питер. Но из-за слежки и преследований полиции им приходилось снова жить врозь, искать ночлег в разных местах. Ленину пришлось уехать в Финляндию. Крупская мечется между Питером и Куоккалой. Вскоре революция была подавлена, наступила реакция. И снова потянулось десятилетие второй вынужденной эмиграции.

Наконец в феврале семнадцатого радостная весть: новый революционный взрыв в России, самодержавие пало, Ленин и Крупская снова на родине и вместе. Теперь, казалось, вся их жизнь пойдет иначе. Конец подполью, слежкам, преследованиям. И общественная и личная жизнь — все слито воедино в революции.

Но так продолжалось не долго.

На Ленина начали клеветать, травить его. И у Надежды Константиновны возникает серьезное опасение за его жизнь. «Меня все больше тяготила, — вспоминала она позднее, — моя работа в секретариате... хотелось... чаще видеть Ильича, за которого охватывала все большая и большая тревога».

После июльских дней разгромлена «Правда». Ленин вынужден скрываться от преследования Временного правительства. И снова Крупская, повязавшись платочком, носится с поручениями Ленина по разным адресам. Опытной подпольщице приходится изыскивать все новые способы конспирации. Она является к жене старого партийного товарища Владимира Ильича под видом крестьянки, продающей кур, чтобы передать ей записку. Но прислуга гонит ее, не допускает к хозяйке, так как курица им не нужна... В такие трагикомические ситуации ей приходилось попадать не раз.

В условиях непрерывной слезки ее свидания с Лениным были затруднены чрезвычайно. Позднее, вспоминая об этом времени, она писала: «Письма были короткие, деловые, с разными поручениями; и после каждого такого письма до жути хотелось повида-ться, перекинуться хоть парой слов». Им почти не удавалось видиться в эту пору. Запасшись удостоверением на имя работницы Агафьи Атамановой и соответственно обрядившись, она ездил к нему в Гельсингфорс. Кстати, отправляясь к нему на свиданье, она чуть было не заблудилась, хотя Владимир Ильич прислал ей даже план. Но так получилось потому, что при проявлении тайнописи кончик плана обгорел...

Надежда Константиновна стойко несла на своих слабых плечах такую ношу, от которой гнулись даже мужские спины. Ничего не было для нее трудного, когда речь шла о Ленине, его безопасности.

Владимир Ильич отвечал ей тем же. Он относился к ней с любовью, вниманием и заботой. Как тревожился он за нее, когда она болела! Как заботился о ней во всем, вплоть до мелочей! Не забыла ли Надежда Константиновна перчатки или муфту? — озябнут руки. Не потревожить бы ее сон, когда он, засидевшись до глубокой ночи в рабочем кабинете, тихонько приходил домой и грел себе чай...

Даже тяжело раненный, в августе 1918 года, находясь буквально на грани жизни и смерти, Владимир Ильич, увидев, как она, взволнованная, примчалась с работы, собрался с последними силами и заботливо сказал:

— Ты устала, пойдй ляг.

Он относился к ней — в полном смысле этого слова — по-рыцарски. Известно, что, когда Сталин оскорбил Надежду Константиновну, Ленин написал ему, что рассматривает это как оскорбление, нанесенное лично ему, и потребовал, чтобы он принес ей извинение, предупреждая, что в противном случае порвет с ним всякие отношения.

* * *

Впервые я увидела Надежду Константиновну Крупскую полвека назад. Это было в 1918 году, сразу после переезда Советского правительства в Москву. Я работала тогда в Московском Совете рабочих депутатов и в его большевистской фракции. Мне и еще одному товарищу было поручено поехать за Владимиром Ильичем в связи с предстоящим его выступлением на пленуме Моссовета. Вот тогда я и увидела Надежду Константиновну. Едва только мы очутились на пороге их квартиры, она поднялась нам навстречу, пригласила сесть за стол, за которым они, видно, до этого пили чай. Предложила стакан чаю и сказала, что Владимир Ильич уже готов и сейчас выйдет. Принялась затем расспрашивать нас, как идет работа в Совете, сколько депутатов и т. д. Хотя Надежда Константиновна перекинулась с нами всего несколькими фразами, но все говорилось в таком задуманном тоне, что она сразу произвела на меня большое впечатление. И это впечатление лишь усиливалось, укреплялось по мере того, как я стала встречать ее чаще и узнавать ближе.

Нынешнему молодому поколению Надежда Константиновна Крупская обычно представляется в облике старой женщины, полной, даже грузной, глаза ее из-за обострившейся базедовой болезни кажутся слишком выпуклыми. Таковы, к сожалению, ее «канонические» фотографии и портреты. Они даже в отдаленной степени не отражают ее облика в наиболее яркую пору ее прекрасной деятельной жизни, оставившей такой неизгладимый след в истории нашего общества. Кто ее видел тогда хоть раз — запомнил на всю жизнь.

В то время, когда я впервые увидела Надежду Константиновну, ей было под пятьдесят, но выглядела она молодо, была статной и внешне очень привлекательной женщиной. Одевалась она скромно: простенькое платье (вроде сарафана), светлая блузка с отложным воротничком и манжетами. Гладко зачесанные волосы собраны сзади в пучок. Крупская не была красива в обычном смысле этого слова. И все же она была прекрасна своей духовной красотой и огромным человеческим обаянием.

У нее было необыкновенно одухотворенное выражение лица. Высокий лоб, большие лучистые глаза, в которых светилась доброта и улыбка, красивый, хорошо очерченный рот. Во всей ее фигуре было что-то нежное, женственное, даже хрупкое. Мягкие жесты, плавная походка, тихий голос...

А ее интерес и внимание к собеседнику, умение слушать, ее манера разговаривать, усадив человека рядом с собой, — все это точно магнитом притягивало к ней людей и сразу устранило у них всякую робость. С первого же разговора, с первой же встречи она сразу настраивала их на откровенность и доверчивость. Казалось, люди в ее присутствии делали лучше и чище. Впрочем, нет, не казалось, а это действительно было так. Позднее я читала у Герцена, что есть «женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением и привлекают тем сильнее, чем это делается совершенно незаметно для нас... В таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокаивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю, всегда больше благодарит душа современного человека, беспрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная». Мне кажется, что это может быть сказано и про Надежду Константиновну. Потому что ни в ком еще мне не приходилось видеть такого полного воплощения всех этих прекрасных черт. И становилось непонятным, почти загадочным, как такая женщина была еще и столь деятельным, мужественным и стойким борцом-революционером.

Современная молодежь знает о Крупской преимущественно то, что она была женой Ленина. Разумеется, человечество всегда будет ей благодарно и никогда не забудет того, что она была самым близким и преданным другом Ленина, что она скрашивала суровые дни Ленина в далекой сибирской ссылке (куда она, как невеста, отправилась сама, добровольно, вместо назначенной ей более близкой и легкой ссылки в Уфимскую губернию); что она облегчала ему долгие годы одиночества и тоски в эмиграции, что она тридцать лет шла с ним рука об руку по тяжелому пути преследований и борьбы и никогда с этого пути не свернула. Несомненно, уже одним этим Крупская заслужила, чтобы ее имя вошло в анналы истории.

Но сделанное ею не исчерпывается одним этим. Она была не только женой вождя мирового пролетариата — она была его соратником, его ближайшим помощником. Крупская с юных лет, еще до знакомства с Лениным, приобщилась к революционному движению и тогда еще стала сознательной, убежденной марксисткой. Надежда Константиновна, по ее собственному признанию, пришла совершенно самостоятельно к марксизму в ту переломную пору, когда революционное движение оказалось в тупике. Она, как и Ленин, в это же примерно время (после казни старшего брата, Александра Ильича) стояла на распутье и мучительно искала ответа на вопрос: куда идти, каким путем идти дальше? И совершенно самостоятельно Надежда Константиновна нашла выход из этого тупика. Она поняла, как сама писала, что не в терроре одиночек, «не в толстовском самоусовершенствовании надо искать путь. Могучее рабочее движение — вот где выход», — сказала она себе.

Характерно, что, познакомившись в 1894 году впервые с Лениным у Классона¹ (под предлогом вечеринки у него было устроено нелегальное совещание), она сразу же разгадала его гениальную одаренность, многогранность, разносторонность, почувствовала все душевное богатство его натуры. И это вопреки общему мнению ее товарищей, знавших Ленина раньше и уверявших, что он, дескать, страшный сухарь и ничем, кроме экономической науки, не интересуется. Здесь, несомненно, сказались ее ум, культура, интеллект

¹ Р. Э. Классон (1868—1926) — инженер, один из первых питерских марксистов.

и, если так можно выразиться, особая, ей свойственная женская интуиция. Встретив Ленина уже убежденной марксисткой, глубоко верившей в неотвратимость победы социализма, она на всю жизнь связала с ним свою судьбу. У некоторых вызывает недоумение, что, когда Ленин сделал ей предложение стать его женой, она ответила так «прозанчно»: «Женой так женой». Но в том-то и дело, что у них, помимо молодой влюбленности, было такое взаимное понимание, такая духовная общность, что высокие слова были и не нужны. С той питерской поры, когда он стал провожать ее домой после занятий в кружках, со времени тех воскресных дней, когда он заходил к ней, а она с энтузиазмом рассказывала ему о своей работе в воскресной школе, куда «бегала, точно на крыльях», о своих беседах с рабочими, которые ей были дороже всего на свете, «хоть хлебом не корми», — им обоим стало ясно, что у них чувства и мысли едины и что они должны быть вместе.

Начиная с первого дня их совместной жизни Надежда Константиновна сделалась незаменимым помощником в теоретической и революционной работе Ленина. С нею он делился всем, что только зарождалось в его голове, он ей читал тотчас же все, что выходило из-под его пера; ей первой отдавал он на суд все написанное им! Она же — непосредственный участник всей его бурной организационной деятельности по созданию партии.

Это был длительный и трудный путь поисков. Было тут и размежевание со вчерашними друзьями, и принципиальное расхождение с недавними единомышленниками, и откол инакомыслящих. Особенно трудно пришлось, когда вспыхнувшая мировая империалистическая война захлестнула многих волной шовинизма. Начались отходы, измены, предательство. Но на всех этапах этой острой политической борьбы рядом с Лениным стоит Надежда Константиновна, твердо уверенная в правоте его идей и дела.

Клара Цеткин как-то сказала: «Легче умереть за революцию, чем десятки лет бороться за нее». А Надежда Константиновна десятилетиями работала в подполье. Она была и секретарем ленинской «Искры», и секретарем ЦК партии. Она одна держала в своих руках нити всей нелегальной работы в России. От нее эти нити шли во все концы Российской империи. На нее возлагалась отправка товарищей на нелегальную работу в Россию для укрепления партийных организаций. А ведь людей этих надо было отправлять тайным путем, чтобы охранка еще в дороге не сцапала их. Сколько требовала усердия, труда и изобретательности одна только заготовка паспортов. В недавно вышедшей за рубежом книжке с впервые публикуемыми письмами Ленина есть и письмо Крупской к жившему в эмиграции большевику Шкловскому: «Не можете ли раздобыть как можно больше заграничных паспортов (у латышей, у наших)... Отвечайте немедленно, как скоро и сколько штук можно достать. Начинайте собирать немедленно. Страшно занята и не могу сегодня написать о другом, хотя хотелось бы!»¹. А отсылка газеты в Россию из разных точек по всевозможным адресам, связь с агентами «Искры»!

Она с самого начала (под именем Кати) вела из разных заграничных городов оживленную конспиративную переписку со всеми действующими в России комитетами Российской социал-демократической рабочей партии. А ведь это было не просто: все письма необходимо было зашифровать. Надежда Константиновна сама писала одному своему старому товарищу, что таких писем ей приходилось составлять тысячи и тысячи. Это был титанический труд, длившийся не год и не два!

К чести Крупской надо сказать, что, как бы ни был велик Ленин, как бы ни был длинен и сложен путь, пройденный вместе с ним, она не растворилась в нем, не обезличилась, как это бывало с женами великих политических деятелей. Крупская сумела сохранить свою самобытную личность, самостоятельный, оригинальный ум и характер.

Одновременно с огромной партийно-организационной и политической работой Надежда Константиновна всю жизнь непрерывно совершенствовала свои знания в области педагогики, самостоятельно разрабатывала марксистские педагогические принципы.

¹ L e n i n. Unbekannte Briefe 1912—1914. Herausgegeben von Leonhard Haas. 1967, S. 60.

Вклад ее в этой области огромен. Она была первым педагогом-марксистом, и Ленин высоко оценил ее труд «Народное образование и демократия», написанный в эмиграции. В Крупской стойкий революционер и педагог великолепно дополняли друг друга. Именно сплав этих двух качеств, двух ее призваний и сделал ее тем, чем она была, есть и будет для советского общества, для советских людей.

Свое призвание педагога она прекрасно использовала при строительстве советской государственной системы. После победы революции Надежда Константиновна работала в области культурного строительства, основным лозунгом которого стало «Знания — массам!». Она была, как выразился А. В. Луначарский, «душой Наркомпроса».

Весь жар своего сердца отдала Надежда Константиновна наиболее слабой, наименее защищенной части человечества, которая больше всего нуждалась в опеке, защите и воспитании, — женщинам, детям, молодежи. Еще на заре рабочего движения направляла она свое пристальное внимание на положение женщин в современном обществе. Ее брошюра «Женщина-работница» вышла нелегально в 1901 году. Теперь же, после победы пролетарской революции, она отдалась практическому делу. Мое более близкое знакомство и сотрудничество с Надеждой Константиновной как раз и началось тогда, когда я была направлена на работу среди женщин.

* * *

Начало 1920 года. Я только что приехала с Южного фронта, где была одержана победа. Приходили радостные вести и с других фронтов. Настроение у всех хорошее, приподнятое. А Ленин, который всегда держал руку на пульсе республики, или, как говорила Надежда Константиновна, любил прикладывать ухо к земле и слушать ее голос, уже поставил новый диагноз: на смену кровавой гражданской войне пришла война бескровная; военный фронт надо сменить трудовым. И в феврале на сессии ВЦИК, на IX съезде партии, а затем на VIII съезде Советов Ленин рисует перед страной грандиозную перспективу ближайшего будущего еще кровоточащей молодой Советской республики — невиданное хозяйственное строительство, электрификация... Горячим энтузиазмом встретили трудящиеся ленинские планы. Всюду замелькали лозунги: «Все на фронт мирного строительства!», «Выше трудовую дисциплину!»...

Помню, в комнате секретаря ЦК РКП(б) Елены Дмитриевны Стасовой, куда я пришла «распределяться», в коридоре стоял сплошной гул. Кругом толпились, шагали взад и вперед демобилизованные; радостными взглядами встречали они старых товарищей, с которыми их разлучили разные фронты гражданской войны. Все стремились попасть поскорее к Стасовой.

Это была совершенно исключительная женщина. «Абсолют» была ее подпольная кличка. В нем, в этом слове, была заключена вся суть Стасовой. Для нее не существовало жизни вне партии, которой она посвятила всю себя целиком. Высокая, худая, строгая с виду Елена Дмитриевна свою сдержанность и суровость подчеркивала еще и аскетическим внешним видом: зачесанные вверх волосы собраны на макушке в пучок, на носу — пенсне, мужская рубашка со стоячим воротничком, длинная, до пят, юбка, почти закрывающая высокие ботинки на шнурках — она носила их и зимой и летом. Но, несмотря на напускную строгость, приказной тон, Елена Дмитриевна была сердечным человеком и хорошим товарищем. Для нас же, молодых, она была и прекрасным наставником и советчиком. В этом я убедилась не только работая в ЦК, но и будучи в Германии, где Стасова была на нелегальной партийной работе. Между прочим, я была поражена, увидев ее. Как умела она менять свою внешность, когда того требовала конспирация. Она выглядела «всамделишной» немкой и вполне респектабельной дамой.

Еще недавно — тревожной осенью 1919 года — Стасова дни и ночи была занята составлением списков мобилизованных на фронт коммунистов. Теперь же она распределяла их на мирную работу. Относительно многих уже состоялось решение Оргбюро.

По уговору с фронтовыми товарищами я намеревалась вернуться в места, отвое-

ванные нами у врага, чтобы заняться там хозяйственной работой. Увидев меня в военной форме, Елена Дмитриевна прошептала:

— Ишь каким военспецом заделалась! — А затем, чуть улыбнувшись, сказала: — Впрочем, хорошо, что явилась. Как раз вовремя. Дело в том, что женкомиссия при ЦК преобразована в отдел по работе среди женщин. Вот и направим тебя туда!

Меня точно ушатом холодной воды окатили. Заделаться «женотделкой» вовсе не входило в мои планы. И я, естественно, попыталась было протестовать. Но Стасова не слушала меня и продолжала свое:

— При отделе создается специальный журнал, во главе которого будет Надежда Константиновна Крупская. Тебе надо подробно поговорить с Арманд и Крупской.

Потребовав у меня военный аттестат, она наложила на нем свою резолюцию красными чернилами (он хранится у меня по сей день). На этом разговор был окончен, и она занялась следующим товарищем.

Поговорить с Инессой Федоровной было легче и проще. Я ее знала еще с 1917 года — со времени ее приезда из эмиграции в Россию — и встречалась с нею позднее на советской работе. А вот перед тем, как отправиться к Надежде Константиновне, я почему-то оробела. Правда, знала ее мало, да и совестно было отрывать ее от дела: ведь она была членом коллегии Наркомпроса. Я позвонила ей по телефону и с неуверенностью в голосе попросила ее уделить мне несколько минут. Она не заставила меня долго ждать и вскоре приняла у себя дома. Сразу же, с первой минуты, всю мою робость, все мое смущение как рукой сняло. По обыкновению, Надежда Константиновна усадила меня рядом, попросила рассказать сперва о фронте, а затем перешла к делу.

— Разумеется,— подчеркнула Крупская,— задача женотдела и нашего журнала состоит в том, чтобы помочь женщине освободиться от тенет уродливого прадедовского быта... Наша обязанность обогатить новые планы советского строительства выдвижением целого ряда мероприятий, которые в первую голову коснутся женщин, облегчат их долю, уничтожат их закабаленность и нанесут удар по отжившим нравам старого мира. И все это тоже должен пропагандировать вновь создаваемый журнал. Все наиболее важные проблемы должны там всесторонне освещаться... Владимир Ильич придает очень большое значение этой работе,— в заключение добавила она.

От Надежды Константиновны я ушла убежденной «женотделкой».

* * *

Первое — организационное — заседание редколлегии журнала состоялось в Горках. Совершенно неожиданно оно завершилось скромным празднованием дня рождения Надежды Константиновны, о котором она сама позабыла, и вспомнил об этом лишь один Владимир Ильич.

И в будущем заседания редакции, как правило, происходили у Надежды Константиновны в кремлевской квартире или же в Горках, чтобы беречь ее время и силы: ведь она и без того была сверх меры загружена работой в Наркомпросе. К тому же редколлегия (не в пример редакциям прежних и нынешних журналов) была очень малочисленная и свободно умещалась в ее маленькой комнатке.

Наша редакция была утверждена Оргбюро ЦК в таком составе: Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай, К. И. Николаева, Н. И. Бухарин и автор этих строк. Коллонтай первое время не принимала участия в заседаниях — хворала. Не бывала на них и Николаева, которая жила в Петрограде. Хотя она и не приезжала в Москву на заседания редакции, но была в курсе всех наших дел и очень много делала для журнала (именно она наладила нам печатание журнала в питерской типографии, так как московские типографии работали не все и были очень перегружены).

Мы обычно заседали вчетвером в комнате Надежды Константиновны — маленькой, очень скромно обставленной. Там стояла кровать, покрытая клетчатым пледом, над кроватью висел портрет маленького Ильича, рядом — небольшой дамский письменный столик и шифоньерка. Позднее мы стали заседать в столовой. Это когда к нам присоединился Михаил Степанович Ольминский. Он написал Крупской, что ему очень понравился журнал и он «хотел бы быть ему полезным». Надежда Константиновна охотно

пригласила его, как очень опытного и талантливого партийного журналиста (он выступал в прошлом под псевдонимом «Галерка»). Но и столовая «Ильичей» была очень тесной. В ней умещались только обеденный стол, несколько стульев, буфет и часы. Зато в Горках столовая была просторной.

Заседания эти незабываемы. Никакой официальности. Всегда царила свободная, непринужденная атмосфера. О чем только на них не говорилось! Какие только проблемы не выдвигались, какие только темы не затрагивались! И формы семьи в настоящем и будущем, и мораль нового общества, и проблема детей. Помню, Александра Михайловна Коллонтай любила заводить спор о том, какой будет форма семьи при коммунизме.

Сама Коллонтай была убеждена, что при коммунизме никакой семьи не будет, поскольку отпадут не только вообще хозяйственно-бытовые заботы, но и забота о детях, об их воспитании. Она поэтому решительно заявляла:

— Можно логически вывести, что брак при коммунизме не будет носить формы длительного союза.

Теория Коллонтай была подхвачена мелкобуржуазными слоями, ожившими в годы нэпа, и стала весьма модной. Когда она стала выступать со статьями, докладами, брошюрами вроде «Любовь пчел трудовых», «Крылатый Эрос», Надежда Константиновна предложила соответственно ответить на это, чтобы ее точка зрения не принималась как директивная, поскольку журнал был органом ЦК. Редакция открыла дискуссию на своих страницах и предложила читателям высказаться по этому вопросу. Выступили мы и на страницах других журналов. В «Красной нови», например, была помещена моя большая статья; ее предварительно просмотрела и одобрила Надежда Константиновна. На одном из заседаний Крупская очень тактично заметила также, что вопрос о форме семьи при коммунизме — вопрос будущего, о котором сейчас можно только гадать, ибо все зависит от многих, нам в данное время еще неизвестных слагаемых...

Выступила она и с большой статьей, посвященной первому революционному кодексу о браке, — «Брачное и семейное право в Советской республике», где шаг за шагом разъясняла женщинам их новые права.

Надежда Константиновна очень любила людей, но хотела перевоспитать их, изменить, улучшить, чтобы стали они счастливыми. Она часто повторяла на наших заседаниях, что социализму нужны не только новейшие огромные фабрики, заводы, сельскохозяйственные предприятия, но и духовно растущие люди. И постоянно подчеркивала, что перед нами наряду с задачами вовлечения все новых и новых пластов женщин в хозяйственное строительство стоит еще одна — возвышенная, благородная задача: воспитывать эту наиболее отсталую, униженную часть общества. Что здесь нужна кропотливая, длительная и терпеливая работа с каждым человеком в отдельности. И что только по мере роста каждого индивидуума будет создаваться спаянный единством цели и чувств социалистический коллектив. Тогда для каждого будет неотделимо «я» и «мы». Несколько ее статей было посвящено этой теме.

Почти все самые серьезные, как тогда говорили — руководящие, статьи в нашем журнале писала И. К. Крупская. Я листаю сейчас комплекты журнала. Пожелтевшие, истлевшие от времени серые страницы ломаются в руках. Бледный шрифт почти стерся. Но как горячи, как страстны ее статьи, каким боевым революционным духом веет от них. Они отзываются на все события тех грозных лет. Увязаны крепко с жизнью, с практикой, указывают трудящимся женщинам их задачи не только в общих перспективных планах страны, но на каждом этапе ее развития, на каждом крутом переломе. Вот, например, статья «Работницы в советском строительстве». В ней она пропагандирует идею «орабочения» советского аппарата, обучения женщин управлению и работе в самих же советских учреждениях. Это как бы «добровольные» женские депутаты.

«Делегатки от фабрик и заводов, — писала она, — распределяются по разным отделам советской работы. Там их знакомят с делом... В прорисе работы делегатки учатся делать общественные работы, одновременно работая сами, и контролируя работу других, и учась управлять. Трехмесячная работа в советских учреждениях дает им порядочный опыт и понимание дела. О своей работе делегатки делают доклады на делегатских

собраниях и у себя на предприятиях». Это была и учеба, и работа, и борьба с бюрократизмом особенно в таких учреждениях, как жилищные, школьные и дошкольные отделы наробраза, отдел социального обеспечения, то есть тех учреждений, в хорошей работе которых женщины были особенно заинтересованы. И дело пошло. Старорежимные чиновники, еще сидевшие там, вынуждены были считаться с «самозванными депутатами», как они их называли. А сколько выросло дельных, государственных людей из этих делегатов!

Когда прошел в сложной обстановке очередной съезд партии, в «Коммунистке» появляется статья Н. К. Крупской «Итоги X партийного съезда и наши задачи». Партия применяет гибкую тактику, осуществляет переход от продрозверстки к продналогу, и Надежда Константиновна выступает со статьей «Новая экономическая политика и задачи работниц». Когда надвинулась на страну новая беда — голод в Поволжье, — Крупская первая выступила со статьей о помощи голодающим, с той конкретной роли, которую женщины должны были сыграть в этом деле.

И, разумеется, она пишет на темы о коммунистическом воспитании детей. Да и на наших заседаниях она часто говорит о политехнической единой трудовой школе, о профессионально-техническом образовании. Тут Надежда Константиновна не могла не покритиковать О. Ю. Шмидта, тогда члена коллегии Наркомпроса, взгляды которого она считала устаревшими. Она даже звала его «бородой». Правда, это был и намек на длинную стариковскую бороду, которую тогда носил еще совсем молодой О. Ю. Шмидт.

Надежда Константиновна, как известно, всегда боролась в теории и на практике за идею единой политехнической школы. И на заседаниях редакции она убедительно доказывала, что именно политехническое образование, которое предполагает наряду с изучением общеобразовательных предметов обучение техническому и сельскохозяйственному труду, принесет пользу стране и послужит великолепным воспитательным средством для самих учащихся. Но, подчеркивала она при этом, обучать школьников надо не ремесленному труду, а труду, стоящему на высоте современной новейшей техники. Она доказывала, что в школе должна существовать самая тесная связь между учебой и общественно-производительным трудом. Она критиковала тех, кто под предлогом хозяйственной разрухи пытался в те годы подменить обучение школьников основам техники и агрономии обучением только домашнему труду.

Но особенно резко она критиковала тех сторонников профтехобразования, которые отрываю труд от общеобразовательной учебы. Политехнизм у них превращен, по ее словам, в монотехнизм. Именно тут у Крупской были большие расхождения с О. Ю. Шмидтом.

Несмотря на доброе сердце, у Крупской тоже были свои симпатии и антипатии. Но в отличие от других она никогда не переносила это на деловые отношения и охотно и уживчиво работала со всяким, кто только приносил пользу делу. Она никогда не вносила в рабочие отношения личных моментов. И это понятно: ведь сами эти привязанности и антипатии были всегда связаны или же вытекали из ее принципиальной позиции в том или ином вопросе. Вот тут-то она переставала быть уступчивой, доброй. Здесь прекращалась всякая терпимость.

Крупская предложила отвести в журнале специальное место для рассказов о пробужденных и выдвинутых революцией советских деятельницах. Помню, как радовалась она тому, что в городах и селах росли, крепили и проявлялись женские таланты, не находившие себе выхода в прежних условиях. Как сняли глаза Надежды Константиновны, когда она на съездах и совещаниях слышала умные, дельные выступления женщин, ставших во главе комбедов, сделавшихся председателями сельсоветов, волсполкомов. Она неустанно следила за работой и ростом многих из них, состояла с ними в переписке.

На одном из заседаний Надежда Константиновна поставила перед нами задачу собрать материалы о женщинах — жертвах гражданской войны и кулацких восстаний чтобы на примере их героической жизни воспитывать подрастающее поколение.

— Чтобы никто не был забыт, — предупреждала она.

Это было делом далеко не легким: еще не окончательно утихла гражданская

война. Но тем не менее скоро на страницах нашего журнала появились фотографии и краткие биографические сведения о безвременно погибших товарищах. Помню, первую корреспонденцию подготовила нам начинающая тогда писательница Люся Аргутинская. Мы напечатали краткие сообщения о тех, кто принял мученическую смерть в застенках белогвардейских контрразведок. Среди них были Ксения Ге, о мужестве которой перед казнью свидетельствовала даже белогвардейская газета «Доброволец»; Алексеева-Солина, питерская работница, которая сама выпила яд, чтобы не быть казненной; Зоя Кувшинникова, труп которой обнаружили наши красногвардейцы в реке Хопер, — она мужественно, до последнего патрона обстреливала из пулемета белых, занявших мост через реку; Домна Каликова, героиня Северного фронта, о допросе и пытках которой упоминалось в документах, оставленных англичанами при эвакуации, и многие, многие другие. Здесь же мы рассказали о женщинах — жертвах взрыва Московского комитета партии, совершенного эсерами, — А. Ф. Николаевой, М. Волковой, И. М. Игнатовой, А. Халдиной.

Мы собрали материалы и опубликовали некрологи о тех, кто, подорвав свое здоровье в тюрьмах, стал жертвами эпидемий, свирепствовавших в стране. Это были Конкордия Самойлова, Серафима Дерябина, Инесса Арманд и другие. Надежда Константиновна сама написала об Инессе Арманд и о Лидии Книпович («Дяденьке»), старых членах партии, близких друзьях Надежды Константиновны и Владимира Ильича. Разумеется, журнал отзывался и на трагическую гибель Розы Люксембург, Жанны Лябурб и других иностранных коммунисток.

Как я уже говорила, на заседаниях редакции царил очень непринужденная атмосфера. За деловой частью — составлением плана номера, обсуждением статей — обычно следовала «товарищеская часть». За чашкой чая подолгу разговаривали, спорили на самые разнообразные темы: о литературе, искусстве, новостях науки, последних телеграммах из-за границы. Однажды, помню, мы говорили о поэме Блока «Двенадцать», о своеобразном восприятии им революции. А то вдруг загорался спор о левом направлении в живописи и декоративном искусстве — о Кандинском и Татлине, или о поэзии Маяковского, о театральные постановках Мейерхольда. И все это перемежалось обычно обсуждением только-только полученных тревожных политических новостей: нота Керзона, угрозы панской Польши и т. д.

А как интересны были обсуждения статей, полученных журналом. Ведь среди наших авторов были Луначарский, Семашко, Ярославский, Куйбышев и другие видные деятели Советского государства и в то же время великолепные литераторы. Выступал на страницах «Коммунистки» и Ленин. В связи с созывом Второго конгресса Коммунистического Интернационала и первой Международной конференции коммунисток он написал статью специально для нашего журнала. Сотрудничали в «Коммунистке» и многие видные деятели международного коммунистического движения: Вайян-Кутюрье, Клара Цеткин, Бомбаччи, Сен Катаяма, Коларов и другие. В этом, разумеется, немалую роль играло личное обращение к ним Надежды Константиновны. Кто мог ей отказать в чем-либо? Вообще ей мы были обязаны отчасти и тем, что в пору, когда типография то и дело останавливалась и почти не было бумаги, наш журнал все же удавалось издавать.

Да и Владимир Ильич с самого начала проявлял интерес к «Коммунистке» и помогал ей и в большом и в малом. Он присутствовал на нашем первом, организационном заседании. И когда было предложено сделать журнал исключительно теоретическим, Ленин заметил:

— Здесь «геллертерство» не обязательно. Надо держаться ближе к «зеленому дереву» жизни.

Он тут же сформулировал — кратко и ясно — стоявшие перед журналом задачи, особенно подчеркнув, что, вовлекая огромные массы женщин в строительство, надо принять все меры, проявить всяческую инициативу, поднять все «женские» вопросы, чтобы высвободить силы и время женщины от загруженности непродуманным трудом по домашнему хозяйству. Больше прислушиваться к их нуждам, чтобы наконец сделать

тяжкую «долюшку русскую, долюшку женскую» счастливой, светлой. Особое внимание советую он уделять письмам женщин — этим самым красноречивым человеческим документам. И в дальнейшем Ленин часто захаживал на наши заседания. То ли потому, что они происходили тут же рядом, в квартире, и он, имея несколько свободных минут, заглядывал, то ли иногда ему надо было что-то спросить у Надежды Константиновны или у кого другого из членов редколлегии.

Но как бы Ленин ни торопился, как ни дорожил он временем, которого всегда у него было в обрез, если на наших заседаниях читались письма, он обязательно оставался послушать одно-другое.

Надо сказать, что в редакцию «Коммунистки», как только было объявлено о предстоящем ее выходе, сразу же стало поступать много писем. И интересно, что большинство из них было адресовано лично Крупской, не как «Лениновой жене» или «женской редакторше» (так тоже адресовали ей), а как человеку, о котором шла молва, что она «добрейшая» и справедливая. Действительно, она была по натуре очень добрым, отзывчивым человеком. Если Ленин, по меткой характеристике одного рабочего, был «прост, как правда», то о Крупской работница Калыгина сказала: «Естественно и щедра, как сама природа». В Наркомпросе ее звали: «Комплекс доброты и бескорыстия».

Доброта Надежды Константиновны, ее гуманность поддерживали и согревали людей. Но это была не абстрактная гуманность, не гуманизм вообще. В народе, особенно среди трудящихся женщин, шла молва о ее «золотом сердце». Письма к ней — самые разные — шли непрерывно. Когда Надежда Константиновна в 1919 году уехала с агитационным пароходом по Волге и Каме, она продолжала интересоваться ими. Ленин ей писал тогда: «Письма о помощи, которые иногда к тебе приходят, я читаю и стараюсь сделать, что можно». А разбирать многочисленную почту, поступающую в редакцию «Коммунистки» на имя Крупской, стало нелегким делом с самого начала. Чаще всего к ней обращались женщины, обремененные детьми: ведь они больше всех страдали от голода, холода, разрухи в стране, от распада семьи и семейных неурядиц.

Одно письмо, которое Надежда Константиновна прочитала в присутствии Ленина, запомнилось мне на всю жизнь. И не только потому, что самый факт, о котором говорилось в письме, вызвал активное возмущение Владимира Ильича, но потому, что Ленин, прослушав его, посоветовал Надежде Константиновне выступить в печати. Не исключено, что именно это письмо послужило в дальнейшем толчком и для важного государственного решения.

Надежда Константиновна выступила тогда по совету Ленина с большой статьей в «Коммунистке». Статья эта теперь почти забыта, и никто не знает, по какому поводу и в связи с чем Крупская взялась писать на эту необычную для нее тему.

Письмо это было от работницы Прохоровской мануфактуры. Она рассказывала, что, не став дожидаться, пока делегация рабочих их фабрики поедет в деревню за хлебом для всего коллектива (напомню, что Ленин для борьбы с мешочничеством и разрушением транспорта выдвинул тогда идею создания продовольственных отрядов из рабочих заводов и фабрик и следил за тем, чтобы местные власти оказывали им содействие), — решила поехать одна. Невмоготу было ей глядеть, как восьмилетняя дочка Аксютка, бледная, иссохшая, с ввалившимися щеками и глазами, полными слез, денно и нощно молила: «Мама, дай хлебушка!» Собрав в узел все, что имела — костюм мужа, погибшего в империалистическую войну, шаль, в которой венчалась, — женщина уехала, оставив Аксютку у знакомой вдовы-солдатки. После долгих мытарств, хождения по деревенским избам, переговоров с мироедами-кулаками она попала наконец в одну из «теплушек» товарного поезда, где было холодно и темно. Задремав, счастливая, что везет еду ребенку, она увидела сон, как Аксютка медленно и осторожно ест выпеченные из этой муки лепешки и щечки ее розовеют. Вдруг на остановке в теплушку ворвались два вооруженных молодца. Назвав себя заградительным отрядом и высоко держа над ее головой фонарь, они потребовали у нее показать, что в мешке. Женщина заплакала, просила ради дочки не отнимать муку. «Нехай везет», — сказал меньшой из парней и выпрыгнул из теплушки. А другой задержался и накиннулся на нее, цинично буркнув: «Хлеб нынче дорог, а тело дешево»... Муку-то она спасла, да слишком дорогой ценой. «Что делать мне с ребенком, который должен теперь наро-

диться? И зачем мне это дите, только лишний рот? — с горечью вопрошала женщина. — Остается одно — только руки на себя наложить».

В кабинете Надежды Константиновны воцарилось молчание. Первым заговорил Ленин.

— В комментариях этот вопиющий факт не нуждается. Но ограничиться помощью одной только женщине нельзя и недостаточно. Ясно также, что в заградительные отряды стараются пробраться мародеры и вредители с целью грабежа и насилия. Этому отребью, их глумлению над беззащитными женщинами вся общественность должна объявить войну. А государство должно издать против них строжайшие законы, должно карать их жестоко, вплоть до расстрела. Но есть тут, — продолжал Владимир Ильич, — еще одна сторона: суровой правде в глаза надо смотреть прямо, надо открыто и смело касаться наболелых вопросов. Скажем, таких, как вопрос о детях, которые появляются на свет помимо воли матери. О детях, которые являются на свет уже потенциальными беспризорниками. И вообще пора прессе во весь голос заговорить о женской доле, о такой, какой она есть и какой должна стать. Надо широко и правдиво освещать эти вопросы.

Надежда Константиновна написала статью. Она называлась «Война и деторождение». В ней от драматического эпизода из жизни работницы Крупская поднялась до общих важных проблем, которых выдвигала та трудная переходная эпоха.

Поразительно, как мало изучено и исследовано литературное наследие Надежды Константиновны. Никто не полюбостудовал, не задумался над причиной появления этой статьи на столь щепетильную тему, касающуюся интимной жизни женщины. Всякий, кто прочтет эту статью, удивится тому, как Надежда Константиновна, никогда не имевшая детей, сумела так тонко проникнуть в психику и переживания женщины-матери, удивится ее умению зорко присматриваться к жизни, ее пронизательности, знанию реальной действительности. И, наконец, какую смелость и правдивость она проявляла, рассматривая такой болезненный вопрос. Крупская не побоялась обнажить самые отвратительные язвы, уродства того тяжелого времени. И при этом такая объективность и широта взглядов! Касаясь сугубо интимных, деликатных вопросов, она никогда не вносила никакой отсебятины, никакого субъективизма.

Гибель мужей на войне, эвакуации, стоянки армий, голод — все это способствовало брачным связям, заключенным на новой основе и носившим временный характер, заведомый для обеих сторон. «Однако в современных браках, — замечает Крупская, — существует своя страшно темная сторона... Нищета заставляет продаваться, продаваться не проститутку, которая делает из этого промысел, а мать семейства, часто ради детей, ради старухи матери. Жертва Сони Мармеладовой¹ стала бытовым явлением, только рассматривается ее жертва, как простой эпизод поездки за хлебом. И явления первого порядка — связи временной, по взаимной симпатии, и связи второго порядка (связь из-за куска хлеба) одинаково делают мать единственным лицом, на которое ложится вся тяжесть вскармливания и воспитания ребенка... До тех пор, пока матери не обеспечена возможность родить, вскармливать, воспитывать ребенка во вполне благоприятных условиях, пока этого нет, пока государство этого еще не организовало, — надо дать матери возможность отказываться от материнства с наименьшим ущербом для ее здоровья и душевных сил».

Выход Крупская видела в одном: не покладая рук работать над строительством новой жизни, где материнство займет подобающее ему место.

Мне запомнилось еще одно письмо, которое Крупская прочитала на другом заседании редакции. Оно касалось юношеского движения. И это было не случайно. Ведь Надежда Константиновна так же горячо, как о женщинах, заботилась и о молодежи, была очень тесно связана с нею. Она даже принимала участие в разработке устава комсомола. Недаром ее считают пионером комсомольского движения. Она учила молодежь сливать личную жизнь с жизнью общественной

¹ Героиня романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

— Это не аскетизм...— говорила она.— Благодаря этому личная жизнь обогащается. Она не становится беднее, она дает такие яркие и глубокие переживания, которых никогда не давала мещанская семейная жизнь.

Крупская лучше многих других понимала, что теперь «иные времена, иные песни». Но в то же время Надежда Константиновна предостерегала молодежь от крайности, от шараханья из стороны в сторону. Помню, как после одного из ее докладов на ситцебумажной фабрике, в котором она призвала работниц идти в партию, чтобы помогать строить новую жизнь, выступила молодая работница и под впечатлением ее слов сказала, что обязательно вступит в партию и отдаст ей свою жизнь до конца, никогда не выйдет замуж, не обзаведется детьми. Надежда Константиновна ее тут же поправила. Она сказала, что партия вовсе не требует подобного самоотречения и аскетизма. При царском режиме истинным революционерам приходилось тяжело — тюрьмы, ссылки, вечные преследования делали порой недоступным личное счастье и семейную жизнь. Совсем другое дело при советской власти. Ей нужны полноценные работники, цельные люди, умеющие гармонически сливать личную жизнь с общественной.

Молодежь любила Крупскую, ей нравилось умение Надежды Константиновны слушать, ее манера разговаривать с ними, не подлаживаясь, не заискивая, но и без менторского покровительственного тона, без нравоучительства, как равный с равными. Но если их было за что покривить, то она делала это столь же прямо и горячо.

В письме, о котором я хочу рассказать, комсомольцы одного из районов Москвы сообщили Крупской, что они решили устроить большое собрание молодежи, посвященное предстоящему тогда конгрессу Коминтерна. Докладчиком они пригласили Лазаря Шацкого, который в 1919 году участвовал в первом учредительном Международном конгрессе молодежи в Берлине. Он дал было согласие, но в последнюю минуту потребовал, чтобы за ним прислали машину. «Какие у нас могут быть машины и кто нам их даст? — вопрошали комсомольцы.— Мы сами меряем версты пешком по непролазной грязи нашего района и не ропщем. Но Шацкий наотрез отказался прийти, заявив: «Не буду я месить грязь своими ботинками»,— бросил трубку и был таков. Сорвал нам большой митинг».

Помню, Надежда Константиновна с возмущением сказала:

— А ведь Шацкий — член ЦК комсомола. Какой же пример он подает остальным?!

Но Ленин, присутствовавший при этом, уже успел по-своему увидеть и оценить этот факт. И тут же заметил:

— Этого парня я знаю, он неплохой, очень смелый и преданный, но он старается во всем подражать взрослым. Эту спесь с него легко сбить: его надо вызвать и сделать хорошую головомойку. Беда в том, что взрослые часто поддают молодежи плохой пример, а ведь молодежь очень восприимчива. Ударить надо по старшим.

На юбилейном вечере в честь пятидесятилетия Владимира Ильича, устроенном Московским комитетом партии вскоре после этого, Ленин в своей краткой ответной речи предостерегал от занаяства, чванства, барства. Многие недоумевали по поводу такого выступления Владимира Ильича — оно совершенно не соответствовало торжественности момента. Но никто не знал, что, пробирая партийцев, он в то же время метил и в комсомольцев, будущих членов партии. Что же касается Шацкого, то Надежда Константиновна его действительно вызвала и, как хороший педагог и старший товарищ, сделала ему внушение. И надо сказать к чести этого товарища, что преподанный ему урок он усвоил. И слово, данное тогда Крупской, сдержал. Он вырос скромным дельным комсомольским вожаком, который пользовался в дальнейшем заслуженным доверием и уважением комсомольских масс вплоть до своей преждевременной гибели.

* * *

Отдавая много сил работе среди женщин, Надежда Константиновна всегда подчеркивала важность идей интернационализма в борьбе женщин за свое освобождение. Только в солидарности, в совместной борьбе с русским рабочим классом и с пролетариатом других стран они добьются победы. Она писала об этом еще в 1914 году в эми-

грации, когда, помогая наладить в России выход журнала «Работница», подготовила для него передовую статью. Она заявила об этом и на Международной женской конференции, созданной в Берне в 1915 году. А когда в 1919 году был создан III Коммунистический Интернационал, Надежда Константиновна приложила много сил, чтобы сплотить также и международное женское коммунистическое движение.

По инициативе Крупской и Арманд была созвана в 1920 году первая Международная конференция коммунисток, приуроченная ко времени созыва Второго конгресса Коминтерна. Эта конференция была еще немногочисленной, но посеянные ею семена дали хорошие всходы. По мере того, как креп и рос Коминтерн, росла и международная организация женщин.

Ленин в статье «Второй конгресс Коммунистического Интернационала», написанной тогда по просьбе Крупской специально для нашего журнала, отмечал: «Конгресс создал такую сплоченность и дисциплину коммунистических партий всего мира, которые никогда не бывали раньше и которые позволят авангарду рабочей революции пойти вперед к своей великой цели... Конгресс укрепит связь с женским коммунистическим движением благодаря организованной одновременно международной конференции работниц».

И действительно, благодаря этой конференции были установлены прочные личные контакты. Связи расширились. При Коминтерне был учрежден Международный женский секретариат, в который вошла и Надежда Константиновна.

Летом 1921 года, почти через год после первой Международной конференции коммунисток в Москве, по предложению Крупской было решено созвать вторую конференцию, приурочив ее к созыву Третьего конгресса Коминтерна.

Не было уже в живых Инессы Федоровны Арманд. Отделом по работе среди женщин заведовала А. М. Коллонтай. Но Крупская продолжала по-прежнему заниматься журналом. Помню, на одном заседании, происходившем, как обычно, у Надежды Константиновны, она поставила вопрос о том, что к будущей международной конференции надо тщательно подготовиться.

— В Европе сейчас происходят революционные бои,— говорила она,— и женщины принимают в них самое активное участие. Вот почему так важно, чтобы на этой второй конференции было как можно больше делегаток из разных стран и чтобы среди них было побольше работниц. Поэтому надо как можно лучше подготовить конференцию. Отсюда мы сделать всего не сможем. Надо попросить Клару Цеткин, чтобы часть подготовительной работы она провела у себя в Германии. Но для этого придется послать к ней кого-то в помощь.

Выбор пал на меня. Нагруженная проектами длинных тезисов, резолюций и краткими приветствиями, с паспортом какой-то шведской дамы, я пробралась нелегально в Германию.

Я попала сюда в самое горячее время. Там происходили знаменитые мартовские события. Вся средняя промышленная Германия была охвачена невиданным до тех пор стачечным движением. Правительство ввело на бастующие предприятия польнейские отряды. Рабочие в знак протеста объявили всеобщую забастовку, которая затем перешла в вооруженное восстание. Восставшими были захвачены предприятия, участок железной дороги, некоторые правительственные учреждения...

Клара Цеткин горячо откликнулась на нашу инициативу относительно созыва второй международной конференции. Она со свойственной ей энергией немедленно принялась за работу.

В Берлине было создано многолюдное собрание работниц, на котором я зачитала привезенное мною приветствие от русских трудящихся женщин. Оно было встречено восторженно: ведь впервые после страшных военных лет до них дошел голос русских женщин, которые протягивали им руку из страны победившей революции. По всей Германии, где только было возможно, Клара Цеткин устроила с помощью местных коммунисток такие же собрания, посвященные предстоящей конференции и выбору делегаток. Клара Цеткин выпустила также специальный номер журнала «Интернационал», где

были широко освещены все вопросы, связанные с конференцией, и где была помещена и статья о женщинах Советской России¹, написанная мною по просьбе К. Цеткин.

Было решено также устроить предварительное совещание иностранных коммунистов в Берлине. Клара Цеткин разослала приглашения и циркулярное письмо в разные страны. И такое заседание, носившее совещательный характер, состоялось в Берлине. На нем, помню, были представительницы Чехословакии, Австрии и других стран. Они обсудили тезисы, выработанные в Москве, которые я привезла с собой. В тезисах подчеркивалось, что без активного участия широких женских масс в международном рабочем движении невозможна и победа над буржуазией отдельной страны. Совещание выработало текст письма к работницам всех стран.

И результаты проделанной работы не замедлили сказаться. Несмотря на то, что правительства многих стран отказали делегаткам в визах и им пришлось пробираться в Россию нелегально, с риском для жизни, тем не менее на конференцию прибыли делегатки из двадцати восьми стран. Среди них было много работниц.

В перерывах между заседаниями делегатки знакомились с Москвой. Жадно приглядывались они к новой жизни. Ездили по заводам и фабрикам. Знакомились с условиями труда. Посещали бытовые, просветительные и детские учреждения.

На конференции был принят манифест к работницам всех стран. В нем, между прочим, говорилось: «Это не сказка и не вымысел: есть такая страна на земле... где власть находится в руках самих работниц и рабочих, крестьянок и крестьян... Эта сказочная страна — Россия, — первая в мире трудовая Советская республика... Мы не скрываем от вас и того, что рядом с творчеством, с созданием новой, более справедливой жизни мы видели и великое страдание трудового люда России. В одной руке — меч для защиты от врагов, в другой — заступ для строительства... Своей кровью они запечатали все свои победы».

Но самым ярким, что запомнилось мне на всю жизнь, было последнее, заключительное заседание. На нем произошла впервые встреча делегатов Запада и Востока. Делегатки, среди которых были узбечки, туркменки, татарки, киргизки, персиянки, прямо с вокзала примчались в Кремль. Вспоминаю, как под яркие вспышки магния фоторепортеров они вереницей медленно входили в зал. Тонкие, загадочные фигуры, закутанные в темные паранджи, с черной сеткой — чачваном — на лицах. Молча выстроились они на трибуне. Весь зал, как один человек, завороженный этим необыкновенным зрелищем, встал и зааплодировал им. Оркестр заиграл «Интернационал», и вдруг, словно по чьему-то знаку, эти молчаливые тени зашевелились, задвигались и стали срывать с себя паранджи. И перед нами предстали прекрасные лица с сияющими глазами. На лицах — выражение восторга и изумления. Впервые эти глаза свободно смотрели на мир, на людей.

Увидев Надежду Константиновну, они, сложив по-восточному ладони, стали шептать: «Ленинова, Ленинова, Ленинова...» Глаза Крупской увлажнились, а сидевший рядом с нею французский коммунист Вайян-Кутюрье сказал, обращаясь к ней:

— Ведь это слезы великой радости.

Клара Цеткин, приветствуя делегатов — женщин Востока, сказала:

— Ваша родина далеко от нас, как сказка, но ваши сердца близко нам, они бьются вместе с нами за освобождение от векового угнетения.

* * *

Говорят, человек — это стиль. Больше, чем к кому-либо, это относится к Крупской. Так же просто, хорошо, естественно, как она говорила, она и писала. Но по скромности своей она не признавала за собой литературных способностей. Сколько раз на заседании редакции «Коммунистки» она, бывало, говорила:

¹ Статья называлась «Russische Arbeiterinnen und Bäuerinnen im Bürgerkrieg». Она была затем издана в виде брошюры и имелаась, между прочим, в личной библиотеке Ленина (занесена в каталог библиотеки Ленина в Кремле).

— Как жаль, что мы не умеем писать, а ведь это очень нужно, когда пишешь для женщин, и особенно важно, когда обращаешься к юношам и детям.

Что греха таить, у нас был великолепный женский актив, были дельные, умные организаторы, красноречивые агитаторы, но как только они брались за перо — каждая почему-то старалась высказаться «позаковыристой», помудреней. Надежде Константиновне часто приходилось на таких рукописях делать пометки: «Необходимо перевести эту статью с эзоповского на простой русский язык». Или же: «Статья написана для кого угодно, но голько не для нашего читателя». Но сама она умела делать это прекрасно, хотя и говорила про себя: «Я ведь человек непишущий».

К тому же Надежда Константиновна обладала чудесным даром словотворчества, умением создавать свои, какие-то особенные слова и словосочетания, очень колоритные, сочные и в то же время лаконичные. Нередко одним «своим» словечком она давала совершенно исчерпывающую характеристику человеку, явлению и т. д. «Этот тип — мелкозлобный», «Тот товарищ отчаянный первняга», «Она какая-то нутряная», «Я совсем обезножела», — говорила она о себе, когда ее сваливала болезнь. «Ну и трёпа же я», — заметила она, увидев свой портрет, написанный Т. Жирмунской. «Получилось у вас дичее дикого», «Там стояла толчая непротолченная», «Все тянут в одну дуду, а надо сказать по-своему», — говорила она после безличных выступлений на заседании. И писала она, как говорила. А ее письма к родным, полные юмора и жизнерадостности! Особенно письма к матери Владимира Ильича — Марии Александровне. Наблюдательность Надежды Константиновны, ее отзывчивость, умение глубоко вникать в жизненные явления плюс четкая форма изложения привлекали к ней взрослых читателей и детей.

* * *

Так же спокоен, тих, как ее походка, был и голос Крупской. Он придавал особую задушевность ее словам и очень гармонировал со всем ее обликом. Она не только сама говорила тихо, но не любила громких речей.

Вспоминается такой эпизод. В ноябре 1920 года было созвано Всероссийское совещание политпросветов. В порядке дня его стоял очень важный вопрос, который был также проблемой № 1 и для отдела по работе среди женщин при ЦК партии. — это вопрос о ликвидации безграмотности. Среди многих миллионов неграмотных, которые остались нам в наследство от царизма, большинство в ту пору составляли женщины. Это очень тормозило нашу работу. Как можно выдвигать женщин на государственную и местную советскую работу, если они совершенно неграмотны, если не могут поставить свою подпись и вместо нее прикладывают палец? Даже те женщины, которые знали азбуку, учили ее когда-то по часослову. Аз, Буки, Веди и т. д. называли они буквы. Враги успели уже сочинить по этому поводу частушки:

Неграмотной прислужой
Варам жарила котлеты,
А теперь сижу в Совете,
Издаю декреты.

Наряду с ВЧК — грозой врагов — была образована тогда еще одна ВЧК с приравлением «л/б» — Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В центре и на местах Главполитпросветом были созданы десятки тысяч пунктов ликбеза. Надежда Константиновна уделяла им очень много внимания. Всюду шла мобилизация грамотных на пункты для обучения неграмотных. В ту пору по ликвидации безграмотности была объявлена такая же повинность, как трудовая, гужевая и т. д. Всюду замелькали лозунги: «Долой неграмотность!», «Все на борьбу с темнотой!», «Грамотный, читай сам и рассказывай неграмотному!», «Борись с неграмотностью!»

Во время съезда политпросветчиков собрали еще специальное совещание «ликвидаторов неграмотности». Надежда Константиновна предложила, чтобы на этом совещании выступил представитель отдела по работе среди женщин при ЦК и особо подчеркнул бы важность их дела для женщин. Вполне естественно было, что выступил А. М. Коллонтай. Но в самую последнюю минуту оказалось, что она занята на другом

совещании, и заменить ее предложили мне. Легко представить мое волнение. Ведь Коллонтай была блестящим оратором, прошедшим специальную большую школу. Она старалась воздействовать на аудиторию не только словом, но и мимикой, жестами, вибрацией голоса, своим внешним видом. Александра Михайловна нередко по-дружески посмеивалась над нашими доморощенными цicerонами. Она критиковала даже такого опытного и прекрасного оратора, как Клара Цеткин, за то, что, обладая природными данными, она не прошла специальной школы.

— Цеткин,— говорила она,— может в докладе сделать вдруг совершенно нелогическое ударение на союзе «и», между тем это «и» ничего, кроме союза, не обозначает.

И вот, выступая перед аудиторией учителей и ликвидаторов неграмотности, я решила хоть в какой-то мере восполнить отсутствие Коллонтай и старалась ораторствовать «под Коллонтай»: говорила как можно громче, пускала фразы попышнее, делала жесты поэффектней, паузы подлиннее. Слушали меня внимательно, не прерывали, но на лицах я заметила выражение недоумения. Сразу же после выступления в перерыве ко мне подошла Надежда Константиновна и сказала:

— То, что вы говорили,— по существу правильно. Но чтобы сказать, что наибольший процент безграмотных среди женщин и что надо при ликвидации безграмотности обратить на них наибольшее внимание, вовсе не нужна такая аффектация, зычный голос, пышные фразы, многозначительные паузы. К тому же это совершенно не подходит для такой аудитории. И вообще помните: «Аркадий, не говори красиво!»

Огорченная и несколько озадаченная, я спросила:

— А как же Коллонтай?

Крупская безнадежно махнула рукой и отошла от меня... Она не выносила красивостей, цветистости, внешней мишуры. Считала все это ненужной шелухой. У нее никогда не было лишних слов. За каждой фразой стояла глубокая, поучительная мысль. Она никогда не подлаживалась ни к какой аудитории, всегда оставалась сама собой.

У Крупской, как я уже говорила, была очень легкая походка. Она точно скользила, не касаясь пола. Помню такой эпизод.

Однажды я пришла к Надежде Константиновне домой вечером. Мы сидели у нее в кабинете, когда ее зачем-то позвали на кухню. Оставшись одна, я приподнялась на носки, чтобы лучше рассмотреть детский портрет Владимира Ильича, висевший на стене. Это был написанный маслом портрет с известной семейной фотографии. На меня смотрел мальчик с огромными, проникновенными и в то же время удивленными глазами. На большой выразительный лоб свисал светлый локон. Одет он был в белую рубашечку, подпоясанную ремешком. Я так засмотрелась на него, что не услышала легких шагов вошедшей Надежды Константиновны. Постояв немного за моей спиной, она положила руку мне на плечо и сказала:

— А вы залюбовались маленьким Ильичем! — И задумчиво, еле слышно добавила: — Я очень жалею, что у меня не было детей. Как хорошо было бы, если бы тут бегал такой вот Ильичек! — Но тут же спохватилась и добавила: — Впрочем, у меня ведь много ребят. Все дети Советской России — мои дети. Они мне часто пишут, и я им отвечаю.

Все мы знали, как Надежда Константиновна любила детей, как радовалась она этим новым росткам жизни, как умела понимать их, какие задушевные письма писала она своим маленьким корреспондентам. Она никогда не сюсюкала с ними, а всегда писала просто и всерьез. Того же она требовала и от других. Она резко критиковала бессодержательные детские книжки и всегда повторяла: для детей надо писать, как для взрослых, но только еще лучше.

А главное, она в течение всей жизни горячо отстаивала необходимость воспитывать детей в коллективистском духе с самого раннего детства, чтобы дети не росли эгоистами или, как она образно выражалась, не выросли бы «молодыми старичками», которым скучно среди людей.

* * *

В 1923 году был отмечен трехлетний юбилей журнала «Коммунистка» на большом собрании активисток, созванном Софьей Николаевной Смидович, заведовавшей тогда женотделом. В специально выпущенном номере журнала были помещены итоговые статьи, фотоснимки. Вскоре Надежда Константиновна отошла от активной работы в редакции — это было вызвано прогрессирующей болезнью Владимира Ильича.

Рассталась с журналом и я — трудно стало совмещать работу с учебой в Институте красной профессуры. Но не прекратились мои встречи с Надеждой Константиновной, хотя они стали реже.

Помню, мы приехали однажды в Горки. Здоровье Ленина тогда ухудшилось. Мы нашли Надежду Константиновну очень расстроенной. Лицо ее сильно побледнело, большие глаза были печальны, голос тише обычного. Она рассказала о течении болезни Владимира Ильича, о том, как меняется порой его состояние. Мы спросили Надежду Константиновну: не повлияло ли на течение болезни Ильича ранение, которое он получил в 1918 году, когда в него стреляла эсерка Каплан? По лицу Надежды Константиновны словно скользнула тень, она стала еще бледнее прежнего, почти прозрачной, тяжело вздохнула, провела рукой по лбу, как бы смахивая внезапно налетевшее неприятное воспоминание, и с грустью сказала:

— А ведь Владимир Ильич на меня тогда впервые в жизни даже рассердился. Но моей вины в том не было.

И она рассказала следующее.

Поскольку врачи сразу после ранения не смогли определить, куда именно попали пули, они, предполагая, что может быть затронут пищевод, запретили давать Владимиру Ильичу пить, хотя он испытывал все время страшную жажду. Ему разрешили только пососать лимон. Когда Владимир Ильич попросил Надежду Константиновну дать ему тайком от врачей чаю, она, боясь повредить ему, отказалась выполнить его просьбу. Он тогда сказал ей: «Иди!» Она вышла и, чтобы не напоминать больше об этом, некоторое время не показывалась ему на глаза, сидела у его двери и чутко прислушивалась. А чтобы хоть немного отвлечься, штопала простреленное пальто Владимира Ильича.

Многие из тех, кто видел фильм «Ленин в 1918 году», пьесу «Большевики» в театре «Современник», справедливо недоумевают: почему Крупская в такой трагический момент сидит у двери и занимается штопкой, а за Владимиром Ильичем ухаживают Мария Ильинична и другие товарищи. К сожалению, в театре и в кино несправданно акцентировали внимание зрителей на этом эпизоде.

По тому, как Надежда Константиновна рассказывала нам, чувствовалось, что воспоминание о том печальном недоразумении продолжает причинять ей страдание.

Все время долгой и трудной болезни Владимира Ильича Надежда Константиновна окружала его беспредельным вниманием, любовью и заботой. Она и во время болезни понимала его лучше всех, с полуслова и даже без слов. Особенно когда он лишился речи. Она не только понимала, но чувствовала малейшее движение его души...

Видела я Надежду Константиновну еще несколько раз во время болезни Ленина и после его кончины.

В последний раз я встретилась с ней за два года до смерти. Уже не было в живых прежнего наркома просвещения А. В. Луначарского, с которым ее связывала длительная дружба и который очень ценил ее работу в Наркомпросе. Его сменил А. С. Бубнов — человек совсем иного склада. Он постепенно отстранил Надежду Константиновну от всех школьно-педагогических дел.

Разумеется, сам Бубнов не был инициатором этих ограничений. Старый член партии, он хорошо знал Надежду Константиновну еще с подполья.

* * *

В течение всей жизни, о чем бы Ленин ее ни попросил, Надежда Константиновна всегда делала все с огромной готовностью — от великого до малого. Еще будучи невестой, она подолгу проставала тшкетно на морозе на углу Шпалерной улицы лишь для

того, чтобы Ленин мог ее увидеть мельком, как он надеялся, через окно коридора, когда их водили на тюремную прогулку. По дороге в ссылку, на протяжении тысяч километров, держала она в руках, чтобы не разбить лампу с зеленым абажуром, которую везла в подарок Владимиру Ильичу. Она спасла Ленина от верной гибели, когда его во время мировой войны арестовали как подданного враждебной державы. Его жизнь висела тогда на волоске. И болезненная, слабая с виду Надежда Константиновна проявила невероятную энергию и с помощью видных социалистических деятелей добилась освобождения Ленина.

В те исторические минуты, когда Ленин, убежденный, что «ждать нельзя, революция гибнет», всячески стремился перебраться в Питер, чтобы взять руководство в свои руки,— именно она по его поручению добивалась в ЦК разрешения на его переезд. Она же нашла ему безопасное убежище в квартире Фофановой, откуда он тайком перебрался в Смольный.

Крупская как-то сказала, что Владимир Ильич «никогда не мог бы полюбить женщину, с которой он бы расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе». Это несомненно. Тридцать лет их совместной жизни, спаянной единой целью, высокой идеей и революционной борьбой,— лучшее доказательство этому.

Горький был прав, когда говорил: таких, как она, стойких людей — немного на свете. Но к этому хочется добавить: такую женщину, в которой бы так гармонически были слиты стойкий революционер, совершенный человек, каким была Надежда Константиновна, на свете трудно найти и сейчас. Она — человек будущего коммунистического общества.

Поразительно, что прекрасный образ Крупской до сих пор не нашел художественного воплощения в литературе. Когда-то Лидия Сейфуллина мечтала создать ее литературный портрет. Но мечта эта осталась неосуществленной.



Академик С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ

★

РОД И ПРЕДКИ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ*

Глава VIII

ГОСУДАРЕВ ДВОР В СЕРЕДИНЕ XVI ВЕКА, ОПАЛЫ И КАЗНИ ИВАНА ГРОЗНОГО

Для понимания дальнейших исторических судеб Пушкиных следует сделать несколько пояснений о Государеве дворе и устранить некоторые укоренившиеся в историографии предрассудки относительно внутренней политики Ивана Грозного.

В середине XVI века весь класс привилегированных служилых землевладельцев, помещиков и вотчинников, делился на две весьма неравные части. Государев двор был как бы вершиной всего класса. По приблизительному вычислению, в нем было около двух тысяч шестисот человек. Высшим чином двора был боярин, а низшим — жилец. Только эти люди, служившие во дворе великого князя, как тогда говорили, «по дворовому списку», назывались дворянами.

Под этим слоем, превосходя его численностью раз в пятнадцать (точнее сказать невозможно), находился слой так называемых детей боярских, служивших «с городом», то есть в поездных городских организациях. Городовых детей боярских было тысяч тридцать пять, способных к «полковой службе» в дальних походах, и тысяч десять — «осадной службы».

Генеалогический состав Государева двора был весьма устойчив, но непроходимой грани между ним и городовыми детьми боярскими не было. Из родов, служивших из поколения в поколение по дворовому списку, постоянно выделялись неудачники и неспособные представители, опускавшиеся в ряды городских детей боярских, а из последних «лучшие слуги», «выбор из городов», то есть отборные воины, поднимались и попадали в дворовый список обыкновенно в чине жильца и очень редко выше.

Если представить себе класс служилых землевладельцев в виде пирамиды, то Государев двор представлял собой правильное завершение пирамиды. Вершина состояла из шестидесяти пяти — семидесяти человек в думных чинах. Дума была правящим центром всего государства. Непосредственно за думцами было человек пятьсот дворян высших чинов: больших дворян московских, стольников и стряпчих. В руках думцев и трех высших чинов находилось все центральное и местное управление, все военные и гражданские должности.

Жильцы в количестве до двух тысяч человек, сменяясь по очереди, жили в Москве при государе в качестве дворцовых телохранителей и исполнителей мелких поручений.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с г

Когда царь отправлялся лично в поход, то его обыкновенно сопровождал государев или дворцовый полк, сформированный из жильцов, под командой «дворовых» воевод из бояр или окольничих.

Таким образом, жильцы царя Ивана были как бы преемниками «молодшей дружины» киевских князей, а с другой стороны — предшественниками лейб-гвардии российских императоров XVIII века.

Дворяне получали, по чину и по личным заслугам, различные кормления, а после отмены в 1556 году кормлений стали получать денежное жалованье. Городовые дети боярских кормлений не получали, а денежное жалованье давалось им только на подмогу и на подъем в походы.

По сохранившейся Тетради дворовой, содержащей перечень лиц, служивших в тридцатых—шестидесятых годах XVI века (до 1564 года), в дворянах было двадцать четыре человека Кологривовых и Поводовых, десять Курчевых, восемь Рожновых, пять Бобрищевых, четверо Мусиных и четверо Пушкиных младшей линии, среди которых был и прямой предок А. С. Пушкина — Михаил Иванович (по Дмитрову).

Когда в 1565 году Иван Грозный решил учинить «на своем государстве себе опришнину», то он поставил условие — «бояр и околничих, и дворецкого, и казначеев, и дьяков, и всяких приказных людей, да и дворян, и детей боярских, и столников, и стряпчих, и жильцов учинити себе особно». Таким образом, образовалось два двора: в земщине остался старый Государев двор прежнего состава, а одновременно царь устроил себе Особный, или Опричный, двор, который в просторечье стал называться опричниной.

По этому вопросу в исторической литературе до сих пор держатся старые предрассудки о демократических симпатиях Ивана Грозного. Известный в свое время историк права и философ К. Д. Кавелин, желая реабилитировать и осмыслить учреждение Опричного двора, утверждал голословно, что Иван Грозный в опричнине сделал «первую попытку» заменить в государственном управлении «родовое вельможество» «началом личного достоинства» и открыть дорогу талантам независимо от «породы», происхождения¹.

Эта идея о широкой дороге, открытой талантам независимо от происхождения, так пришлась по душе либеральному интеллигенту XIX века, что успех высказываниям Кавелина был обеспечен на многие десятки лет, и вариации на тему о «низах» служилого класса и о худородных и безродных талантах, которым царь Иван открыл в опричнине дорогу, повторяются после Кавелина на разные лады.

Неуместно было бы в настоящем очерке поднимать сложные вопросы, связанные с семилетним существованием Опричного двора (с января 1565 по сентябрь 1572 года), для нашей темы достаточно обратить внимание и сказать несколько слов о личном составе Опричного двора.

В настоящее время выяснено до ста пятидесяти человек, служивших в опричнине. Это значительная часть Опричного двора, и притом правящая верхушка его. Среди этих полторацета опричников мы находим представителей едва ли не всех княжеских и боярских родов. Большинство этих лиц и до опричнины служило в Государеве дворе, и имена их самих или их отцов и родственников мы находим в упомянутой выше Тетради дворовой.

Известна служба в опричнине следующих лиц.

Из князей трубецких — Федор Михайлович и Никита Романович; из ярославских князей — шурина царя Ивана по первой жене Василий Андреевич Сицкий, Иван Васильевич и Иван Петрович Залупа Охлябинины, четверо Хворостининых и Иван Жировово Засекин; из одоевских — боярин Никита Романович; из рязанских — Семен и Петр Даниловичи Пронские; из суздальских — Василий Иванович Барабошин, из тверских — Василий Иванович Ватута и Андрей Петрович Телятевские; из ростовских — Василий Иванович и Иван Васильевич Темкины и двое

¹ К. Д. Кавелин. Взгляд на юридический быт древней России. Собрание сочинений, т. 1. Под редакцией Д. А. Корсакова. СПб. 1897, стлб. 52—53.

Гвоздевых; из других фамилий — Петр Иванович Борятинский, Андрей Петрович Хованский, Дмитрий Щербатово-Оболенский, Василий Юрьевич Голицын, четверо Вяземских и т. д.

Из старых боярских родов известны опричники: Дмитрий Андреевич Бутурлин, Иван Иванович Мятлев-Слизнев, Иван Яковлевич Чеботов, Никита Васильевич и Григорий Никитич Борисовы-Бороздины, Василий Иванович Умново-Колычев, Замятня Сабуров, четверо Плещеевых, двое Басмановых-Плещеевых и т. д.

По незнанию генеалогии считали «безродным» известного опричника Петра Васильевича Зайцева, который вышел из старшей линии боярского рода Добрыньских, к которому принадлежал богатейший современник Ивана Грозного боярин Иван Иванович Хабаров Симский.

«Худородным», со слов самого Ивана Грозного, считали известного опричника Васюка Грязного. В действительности он и его сородич опричник Василий Ошанин происходили из старого ростовского рода Ильиных. В Тетради дворовой записано восемь Ильиных, в том числе и Василий Ошанин.

А вот несколько примеров из второго и третьего слоев дворянства. Очень видным опричником был Константин Дмитриевич Поливанов. В Тетради дворовой записано двадцать два Поливанова, в том числе и сам Константин Дмитриевич. В опричниках были Петр и Богдан Григорьевичи Совины. В Тетради дворовой записано десять Совиных, в том числе Григорий с сыном Петром. Не менее видным опричником, чем Константин Дмитриевич Поливанов, был Алексей Михайлович Старово-Милюков. Милюковы вели свой род от Семена Мелика, убитого на Куликовом поле.

В Тетради дворовой записано десять Меликовых и девять Старово-Милюковых, в числе которых и сам Алексей Михайлович с тремя старшими братьями, тоже служившими в опричнине.

Приведенных примеров совершенно достаточно, чтобы сказать определенно, что царь Иван набрал себе опричников либо прямо из старого Государева двора, либо из тех родов, которые задолго до опричнины служили по дворовому списку и принадлежали к той немногочисленной правящей верхушке служилого класса, которая была описана выше. Поэтому можно сказать, что Иван Грозный, учреждая опричнину, вовсе не имел намерения опереться на «низы» служилого класса и рассек, если так можно выразиться, пирамиду класса служилых землевладельцев не по горизонтали, а по вертикали, сверху вниз.

Так понимали дело современники Ивана Грозного и ближайшие потомки: англичанин Флетчер, не знавший русского языка и судивший о русской жизни со слов представителей правящей верхушки государства, с которой он имел дело, писал, что Иван Грозный сознательно и последовательно натравливал младших представителей княжеских и боярских родов на своих старших сородичей. То же по существу писал неизвестный редактор хронографа 1617 года. Он говорил, что «парение похоти» (то есть страсти) омрачило «многомудренный» разум царя Ивана, он начал истреблять своих родственников и вельмож, а к тому же «возлюбил крамолу», разделил свое государство на земщину и опричнину и «попустил» одну часть своих людей на другую.

Конечно, такая оценка опричнины далеко не исчерпывает ее исторического значения, тем более что последствия опричнины на деле разошлись с замыслами царя Ивана. Но напрасно историки с пренебрежением отбрасывают высказывания Флетчера и редактора хронографа и пытаются задним числом осмыслить явления далекого прошлого, не считаясь с фактами, и приписывают царю Ивану такие замыслы, которые, вероятно, никогда не приходили ему в голову.

А. С. Пушкин в «Моей родословной» писал:

Мой предок Рача (так! — С. В.) мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.

Александр Сергеевич, очевидно, имел в виду только Пушкиных, так как из «Истории» Карамзина ему, конечно, было известно, что «гнев венчаный» не пощадил многих виднейших представителей рода Ратши из числа потомков Акинфа Великого: Ивана Петровича Федорова, Ивана Яковлевича Чеботова, Ивана Ивановича Чулкова, Жулебиных и нескольких Бутурлиных.

В черновом наброске родословной Пушкиных и Ганнибалов А. С. Пушкин выразился ближе к истине: «В малом числе знатных родов, уцелевших от кровавых опал Ивана Васильевича Грозного, историограф (то есть Карамзин. — С. В.) именует и Пушкиных».

Александр Сергеевичу, очевидно, Пушкины представлялись «знатным родом» на всем протяжении их шестисотлетнего дворянства. Между тем со времени пресечения в конце XV века боярской фамилии Товарковых-Пушкиных за весь XVI век в думе московских государей не было ни одного Пушкина. Мало того, при Иване Грозном по меньшей мере половина наличных в то время Пушкиных служила не в дворянах, не по дворовому списку, хотя бы в низших чинах Государева двора, а в городских детях боярских, что для родовитых людей было большой «потерькой чести».

По Бархатной книге и по частным родословцам, в шестидесятых годах XVI века насчитывается не менее восьмидесяти человек Пушкиных разных фамилий: более тридцати человек Пушкиных на поместьях в Великом Новгороде, шестнадцать Курчевых, восемь Рожновых, двенадцать Мусиных, двенадцать Кологривовых, трое Бобрищевых, четверо Поводовых и т. д. Но Пушкины в это время так измельчали и так размножились, что растеряли множество своих родичей. Так, второй сын Михаила Тимофеевича Мусы, Гаврило, в родословцах показан бездетным, тогда как в новгородских писцовых книгах у него упомянуты пятеро сыновей. У Федора Степановича Шаферика Улитина показаны два брата без потомства, тогда как в актах у них упоминаются и сыновья и внуки.

В общем, можно считать, что при Иване Грозном Пушкиных разных фамилий было не менее девяноста человек, из которых в дворянах служили пятьдесят три человека. Таким образом, около трети Пушкиных по своему служебному положению не имели случая обратить на себя внимание Ивана Грозного и попасть под его горячую руку. Тем не менее несколько Пушкиных все-таки пострадали от опалчивого царя.

Курбский в «Истории о великом князе Московском» упомянул о Дмитрие Федоровиче Шаферикове-Пушкине и писал, что он был «муж зело разумной и храбрый, и уже в совершенных летах; единоплемянен же бе Челядниным». Курбский знал Дмитрия Федоровича Шаферикова лично, так как тот не раз сражался под начальством Курбского в Ливонии.

Все ближайшие родственники Дмитрия Федоровича Шаферикова были заурядными городскими детьми боярскими, служившими с небольших поместий в Шелонской пятине Великого Новгорода. Из всех Шафериковых Дмитрий Федорович был единственным выдающимся человеком.

Незадолго до 1550 года он попал в дворцовый список и в 1550 году в числе тысячи «лучших слуг» Государева двора получил поместье под Москвой. Его повышение по службе началось еще до того времени, когда царь взял бразды правления в свои руки. В 1554 году Дмитрий Шафериков был вторым воеводой передового полка в походе на луговую черемису. С начала Ливонской войны он все время в передовом полку — в Ругодиве и в Орешке, а затем в действиях под начальством князя Курбского. В 1562 году он был воеводой в Себеже, в 1564 году — в Невеле, в 1565 году — в Велиже. На Земском соборе 1566 года Дмитрий Шафериков был в дворянах первой статьи, то есть занимал высокое положение — в «больших московских дворянах», выше стольников. Он был убит, по-видимому, во время новгородского погрома 1570 года, и одновременно с ним погиб его брат Иван. После Ивана Шаферикова остались две дочери, получившие в 1570 году прожиток из поместья отца. В том же году получил поместье младший сын Дмит-

рия Андрей, а поместье самого Дмитрия Шаферикова было отдано его вдове с двумя малолетними сыновьями в августе 1572 года.

В синодике опальных царя Ивана записаны казенные в опричнине Никифорка и Докуня Курчевы-Пушкины. Курчевы происходили от Никиты, второго сына Григория Пушки. Давид и Борис Ивановичи Курчевы владели небольшими вотчинами в Дмитрове, на границе с Московским уездом.

По службе Курчевы были не на высоком уровне. В полковых головах упоминается только один Курчев — Иван Семенович, а в полковых воеводах не было ни одного Курчева. В 1535 и 1536 годах Семен и Дмитрий Давидовичи Курчевы были посланы ставить новые городовые укрепления вместо сгоревших в Перми и во Владимире. Подобные поручения обыкновенно давались низшим чинам Государева двора. По своим поместьям в Тверском уезде несколько Курчевых служили «с городом» по Твери, а по своим дмитровским вотчинам пять Курчевых служили в уделе князя Юрия Ивановича. После поимания (1533) и смерти в тюрьме (1536) князя Юрия Ивановича человек семь-восемь Курчевых служили во дворе великого князя.

Казненные Никифор и Докуня (он же Докука) Курчевы были сыновьями тверского помещика Третьяка Ивановича Головина Курчева, жена которого была кормилицей царевича Федора (родившегося в 1557 году).

Таким образом, Никифор и Докуня были товарищами детства царевичей Ивана и Федора. Заслуги матери и близость к царевичам открыли для юных Курчевых путь в Опричный двор царя Ивана, и это благоприятное при нормальных жизненных условиях обстоятельство было причиной их гибели. В разряде полков похода на Литву 1567 года Никифор и Докуня были написаны подрывндами у рогатины юного царевича Ивана и после этого нигде не упоминаются. В связи с их гибелью в опричнине все прочие Курчевы, а их было в это время человек пятнадцать — шестнадцать, сошли незаметно с жизненной сцены — в самых полных частных родословцах род Курчевых кончается на том колене, к которому принадлежали казенные Никифорка и Докуня. В 1637 году один из Курчевых, Иван, имел вотчину в Дмитрове и служил во дворе патриарха, но при составлении в 1686 году новой родословной книги из рода Курчевых, по росписи Пушкиных, не было ни одного человека.

Так, можно сказать, что «гнев венчанный» действительно «пощадил» многочисленное потомство Григория Пушки. Однако царь поступил так вовсе не по особым симпатиям к Пушкиным. В этом легко убедиться, если сравнить гибель упомянутых выше Пушкиных с уничтожением ряда знатнейших потомков Ратши других фамилий.

В главе V было показано, что самыми значительными из рода Ратши в XIV—XVI веках были Акинфовичи, потомки боярина Андрея Ивановича, жившего в середине XIV века. На них-то и обрушился всей тяжестью Иван Грозный. Об этом стоит рассказать с некоторыми подробностями для характеристики среды и событий, из которых Пушкины вышли сравнительно благополучно.

Старшим среди Акинфовичей был боярин Иван Петрович Федоров. Он родился в первом десятилетии XVI века и был старше царя Ивана лет на двадцать. Как единственный наследник вотчин и богатств, накопленных пятью поколениями его предков начиная с Ивана Андреевича Хромого, Иван Петрович был одним из самых богатых людей своего времени. Его жена Марья Васильевна Челяднина в первом браке была замужем за князем Иваном Осиповичем Дорогобужским, от которого имела одного сына, убитого в молодости на службе. Как последняя представительница угасшего в 1542 году знатного рода Челяднинных, Марья Васильевна, со своей стороны, была богатой женщиной. Ее брак с Иваном Петровичем был бездетным.

¹ Об этом мы узнали из местничества Василия Никитича Пушкина с Андреем Осиповичем Плещеевым («Временник Общества истории и древностей российских при Московском университете», кн. XIV М. 1852, стр. 76).

Иван Петрович начал служить в 1536 году, когда он был воеводой передового полка в Муроме и Владимире. Затем двадцать лет он ходил воеводой почти во всех походах того времени. Пять или шесть поколений прямых предков Ивана Петровича были в боярах, и в 1544 году, в возрасте около тридцати пяти лет, он получил чин боярина, минуя окольниковство. В 1549 году Иван Петрович получил самый высокий чин — боярина-конюшого. После казанских походов 1549, 1551 и 1556—1557 годов Иван Петрович служил большей частью в Москве, а в 1562—1563 годах он был на очень ответственном месте — наместником в Юрьеве Ливонском. После учреждения опричнины и удаления царя в Александрову слободу Иван Петрович Федоров и князь Иван Федорович Мстиславский были поставлены во главе правительства всей земщины.

В июне 1566 года он еще был в Москве и принимал польских послов, а в конце месяца, накануне открытия Земского собора, был удален и назначен в Полоцк, где был и в 1567 году, когда над ним разразилась царская опала.

Об Иване Петровиче Федорове и казни его сохранилось довольно много сведений у отечественных и иностранных писателей. Сопоставляя их и устраняя все недостоверное, можно представить себе дело так.

В сентябре 1567 года царь отправился в полки с намерением принять участие в действиях против поляков. Не доходя до Великого Новгорода, на стану в селе Дворцах царь получил какие-то сведения, круто изменил свои планы и с большой поспешностью возвратился в Москву. Он вызвал из Полоцка Ивана Петровича Федорова и убил его собственноручно во дворце, без всякого суда и следствия, даже без допроса.

По рассказам иностранных писателей, Иван Петрович Федоров был главой заговора — захватить царя на фронте и выдать польскому королю. Иван Грозный вызвал Ивана Петровича во дворец, посадил на свой трон в царском одеянии, дал ему в руки скипетр и с притворным смирением приветствовал как своего государя. Потом он сбросил личину смирения и убил его ножом, а затем приказал выбросить его тело на площадь.

Н. М. Карамзин не верил в существование заговора и полагал, что Иван Петрович Федоров был жертвой «клеветы», которую, прибавим от себя, Иван Грозный не находил нужным проверить.

Иван Петрович Федоров вырос в вековых традициях верной службы и преданности своему государю, но в то же время был исполнен чувства личного достоинства и гордости своим высоким положением. Огромное богатство, отсутствие детей, высокое положение и преклонный возраст — все это лишило его стимулов искать царских милостей, угождать царю и потакать его порочным наклонностям.

В частной жизни он был щедрым и милостивым господином своих многочисленных слуг и послужильцев, а в общественной — беспристрастным и праведным судьей. Генрих Штаден, очень склонный к злословию, для Ивана Петровича Федорова сделал исключение и писал, что он был единственным из бояр, кто судил праведно, был доступен для просителей и пользовался в народе уважением.

Столкновение такого человека с Иваном Грозным было неизбежно, и Иван Петрович Федоров и его жена предвидели это. В 1564 году Марья Васильевна дала Троицкому Сергиеву монастырю село Кишкино-Челядино в Коломенском уезде и село Богородицкое в Юрьеве, оставив за собой право пожизненного владения. На таком же условии сам Иван Петрович, отправляясь на службу в Полоцк в 1566 году, дал Кириллову Белозерскому и Московскому Новоспасскому монастырям свою вековую вотчину — село Старую Ергу на Белоозере.

Потомство Александра Остеев при царе Иване было представлено несколькими выдающимися думцами. Из фамилии Чеботовых были окольникович Дмитрий Андреевич, умерший в 1562 году, и боярин Иван Яковлевич Чеботов. Затем в окольникович были Иван Иванович Чулков и Иван Иванович Овцын-Жулебин, умерший около 1563 года. Накануне опричнины в живых были Иван Иванович Чулков и Иван Яковлевич Чеботов.

Иван Иванович Чулков перед опричниной не раз служил в полковых воеводах. Учреждение опричнины застало его на воеводстве в Великом Новгороде. Затем он служил во Ржеве и в последний раз упоминается в разрядах в 1568 году на воеводстве в Вязьме. В том же году он показан «выбывшим», то есть казненным, в Новиковском списке думных чинов. Причины и обстоятельства его казни неизвестны.

Иван Яковлевич Чеботов одно время пользовался исключительными милостями царя. Его отец был заурядным дворянином и ни разу не получал назначений в полковые воеводы. Тем не менее Иван Яковлевич в 1551 году был пожалован в окольничие, а затем, в 1559 году, в бояре.

По свидетельству Таубе и Крузе, он был близок к царю, и если не был в числе вдохновителей опричнины, то во всяком случае еще до учреждения ее был посвящен в замыслы царя. Принятый в Опричный двор, Иван Яковлевич стал в нем своим человеком, и в 1569—1570 годах он не раз упоминается как боярин из опричнины. В конце 1570 или в начале 1571 года он подвергся опале, но и при этом царь оказал ему особую милость — разрешил уйти в монастырь, а после его смерти сделал по его душе большой вклад Кириллову монастырю. Иван Яковлевич в опале сохранил свою вотчину и, будучи схимником Ионой Ростовского Борисоглебского монастыря, продал ее в 1573 году.

Опалу и уход в монастырь Ивана Яковлевича Чеботова можно поставить в связь с казнью старицких князей, во дворе которых служила его близкая родственница Марфа Жулебина, боярыня княгини Ефросиньи (в иночестве Евдокии) Старицкой, казненная со всей свитой старицких князей. Иван Яковлевич был последним представителем фамилии Чеботовых. Чулковы и Жулебины в связи с казнью указанных лиц сошли на положение рядовых дворян.

Остается сказать несколько слов о Бутурлиных. Бутурлины, несмотря на свою многочисленность, в массе служили по дворовому списку и занимали видные места в думе, в полковых воеводах и головах и в гражданской администрации.

Перед опричниной самыми значительными из фамилии Бутурлиных были сыновья окольничего Андрея Никитича — Афанасий, Дмитрий, Иван и Василий. Афанасий и Иван были пожалованы в окольничие в 1563 году. Иван был пожалован в бояре уже в опричнине, в 1567 году, что было исключительной милостью царя. При опричнине же, в 1568 году, был пожалован в окольничие Дмитрий. Наконец, Василий Андреевич начал служить в 1548 году и показал себя выдающимся воеводой. Князь Курбский упоминает о казни только Василия Андреевича и его «братии», то есть родственников, но ничего не говорит о причине и обстоятельствах казни. Василий Андреевич упоминается в последний раз в 1567 году на воеводстве в Дорогобуже. По-видимому, тогда же погибли он и еще несколько Бутурлиных, а его старшие братья погибли позже и, несомненно, по другому делу.

Афанасий Андреевич был заподозрен в намерении бежать в Литву. Быть может, в связи с этим в конце существования опричнины он был удален со службы и умер в 1571 году (погребен у Троицы).

Дмитрий Андреевич служил в Опричном дворе и был казнен около 1575 года, после отставки опричнины. Одновременно с ним был казнен его младший брат боярин Иван Андреевич с сыном Федором и дочерью.

В синодике опальных царя Ивана упоминаются еще следующие Бутурлины: Леонтий, сын опричника Дмитрия Андреевича (погребен у Троицы в 1577 году), Григорий Неклюд Дмитриевич и Степан Варфоломеевич.

В общем, можно сказать, что от опал царя Ивана Бутурлины понесли в разное время тяжелые потери, притом в лице самых крупных представителей фамилии. Но Бутурлиных было много, после смерти царя Ивана они стали оправляться, и при царе Федоре появился в думе в чине окольничего Иван Михайлович, племянник казненных Андреевичей, а при царе Борисе был пожалован в окольничие Фома, сын Афанасия Андреевича.

Таким образом, «гнев венчанный» если и «пощадил» Пушкиных, то не пожалел других, более значительных потомков Ратши.

Глава IX

ВОЗВЫШЕНИЕ ПУШКИНЫХ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА

После бурного времени опал Ивана Грозного и, в частности, после семи с половиной лет опричнины на исторической сцене появляются новые люди и становится заметным служебное возвышение некоторых младших отраслей старых боярских и княжеских родов. В зависимости от нашей склонности видеть все в розовом свете и останавливать свое внимание на положительных качествах и поступках людей или, наоборот, смотреть на все пессимистически, мы легко можем утратить правильный критерий в оценке исторических личностей, если не будем считаться с обстановкой, в которой они жили и действовали.

В. О. Ключевский на лекциях и позже, в «Курсе русской истории», говорил, что пресловутая борьба Ивана Грозного с княжатами и боярством и опричнина свелись к уничтожению лиц и не изменили государственного и социального строя, существовавшего до кровавых опал «венчанного гнева», как выражался А. С. Пушкин про «свирепого внука» великого князя Ивана III, «смирителя бурь» и «разумного самодержца».

Последующие и новейшие исследования подтвердили мнение В. О. Ключевского и дополнили новыми данными. Исследования показали, что генеалогический состав класса служилых землевладельцев, несмотря на гибель множества выдающихся лиц и целых фамилий знатных родов, не изменился.

Из всех княжеских родов Оболенские по количеству жертв «венчанного гнева» занимают, бесспорно, первое место. Полностью были уничтожены старшие линии рода — Щенятевы и Телепневы, понесли большие потери Репнины, Серебряные, Щепины и Кашины, но еще в опричнине стали подниматься Щербатовы, а несколько позже — Долгоруковы, младшие фамилии рода, до того совершенно незаметные в служебном отношении. В роде Зерновых на смену «великим» дотоле Сабуровым в опричнине стал подниматься Годунов. В роде стародубских князей опалы царя Ивана расчистили путь для возвышения князьям Пожарским, которые в служебном отношении были самой захудалой отраслью рода.

В предыдущей главе было рассказано, какие тяжелые потери понесли потомки Ратши от опал царя Ивана. Без преувеличения можно сказать, что «гнев венчанный» не пощадил самых крупных представителей рода — Ивана Петровича Федорова, Ивана Яковлевича Чеботова, Ивана Ивановича Чулкова, Афанасия, Дмитрия, Ивана и Василия Андреевичей Бутурлиных, не говоря о других, менее значительных потомках Акинфа Великого. И из многих десятков ничем не замечательных Пушкиных царь Иван не пощадил Дмитрия Федоровича Шаферникова, несомненно, выдающегося по своей службе человека.

Князь Курбский в последнем «отвещании» на второе послание Ивана Грозного писал, что он погубил множество выдающихся людей, «а в то место остались калики, их же воеводами поставляти усильствуешь...».

Естественно, что Курбский был склонен преувеличивать таланты и заслуги воевод, пострадавших от Ивана Грозного, и пристрастно недооценивать способности «воеводишек калки» последних Ливонских походов, но по существу в его словах была большая доля правды. Бесспорно, что у Ивана Грозного во вторую половину его царствования не было таких военачальников и «полкоустроителей», как князь Александр Горбатого-Суздальский, как князя Михаил Иванович Воротынский и Андрей Курбский, которые еще в молодости заслуженно прославились при взятии Казани. И совершенно естественно, что Ивану Грозному за недостатком способных и талантливых людей в верхнем слое служилого класса пришлось искать их во вторых и третьих рядах дворянства.

Возвращаясь к Пушкиным, следует прежде всего отметить, что не все отрасли Григория Пушки воспользовались в равной степени благоприятно сложившейся для них обстановкой.

Пушкины старшей линии по-прежнему коснели в своих новгородских по-

местях. Курчевы-Пушкины, как было сказано выше, сошли с жизненной сцены, по-видимому, в связи с казнью в опричнине двух представителей фамилии — Докун и Никифорки. Рожновы, Кологривовы, Поводовы и Мусины продолжали оставаться на прежнем уровне, то есть лучшие представители этих фамилий служили в низших чинах Государева двора, а прочие — в городских детях боярских. Некоторое повышение служебного уровня заметно у Бобрищевых-Пушкиных. Но только младшая линия Пушкиных, потомки Константина Григорьевича, прямого предка А. С. Пушкина, воспользовались в полной мере возможностями возвышения, открывшимися перед ними после гибели множества лиц, семей и целых фамилий от опал царя Ивана. И что может быть еще важнее, это то, что, начав трудный путь к высотам Государева двора, Пушкины продолжали возвышаться и позже, в XVII веке, несмотря на бурные события Смутного времени.

Царь Иван познакомился с Пушкиными в опричнине, и с этого времени становится заметным выдвижение нескольких Пушкиных. Впереди идет, однако, не опричник Семен Михайлович, а его племянник Евстафий Михайлович, старший представитель фамилии Пушкиных. Про Семена Михайловича можно сказать, что в опричнине и после нее он карьеры не сделал: ни в полковых головах, ни тем более в воеводах не был. В 1578 году он был писцом Волока Ламского, и после этого не известно ни одной его значительной службы. В соответствии с этим и его сыновья Федор и Тимофей были рядовыми дворянами. В 1598 году в походе царя Бориса к Серпухову против крымских татар они были головами в полках, и только много позже, при царе Михаиле, Федор и Тимофей (прямой предок А. С. Пушкина) уже в преклонном возрасте достигли высокого положения в центральном и местном управлении.

Евстафий Михайлович, несомненно, был недюжинным и дельным человеком. Впервые мы узнаем о нем в 1572 году, в конце существования опричнины.

События 1571 года подорвали окончательно доверие Ивана Грозного к опричникам и к опричнине как военной силе. Опричные воеводы, на которых царь возложил отражение набега хана Девлета, не оправдали доверия царя. Подозревая везде измену, царь бросил свои полки и, минуя Москву и Александрову слободу, бежал на Белоозеро, в Кириллов монастырь. Девлет беспрепятственно дошел до Москвы, выжег московские посады, разграбил Подмосковье и ушел с большой добычей в Крым. В 1572 году в ожидании вторичного набега татар царь решил удалиться в Новгород. Он захватил с собой новобрачную царицу, царевичей и всю царскую казну и в начале июня прибыл в Новгород. Для своей безопасности он собрал в Новгород из соседних городов до десяти тысяч стрельцов и казаков. Не доверяя ни земским, ни опричным воеводам, царь поставил на путях в Новгород заставы, выбрав для этого особо доверенных людей.

На заставу в Старицу были посланы Евстафий Михайлович Пушкин и его сородич Дмитрий Андреевич Замытский. В грамоте к ним от 17 июля царь писал, что по вестям, полученным в Новгороде от воевод, стоявших на Оке, крымский хан направляется на Москву. Царь предписывал Пушкину и Замытскому провеживать со своей стороны, «как ево (то есть крымского хана. — С. В.) чаяти к берегу (Оки. — С. В.), и где ему реку перелесть, и на которое место чаяти; и вы б велели разведавати подлпно, а о том бы есте нас без вести не держали, посылали б есте к нам с тою вестию почесту о дву конь (то есть нарочным, с запасной лошадаю для замены уставшей. — С. В.), чтобы нам про то неизвестным быть. Да и во Твери б есте поставили сына боярского или дву добрых, и какова весть у них про царя будет, и оне б нас про царев приход по тому ж не держали без вести».

Эта служба Евстафия Пушкина на заставе в Старице в такое тревожное время, которое переживал летом 1572 года Иван Грозный в ожидании второго набега крымского хана, свидетельствует о большом доверии царя к Евстафию Пушкину. То же говорит и осенний разряд полков для царского похода 1572 года в Ливонию — Евстафий Пушкин должен был «дозирать сторожи», то есть проверять сторожевую охрану царской ставки. И эта служба говорит о приближении Евстафия к царю и о доверии к нему со стороны царя Ивана

В следующем году он служил уже в «стратилатском чине», как выражался князь Курбский, говоря о полковых воеводах, — был назначен вторым воеводой в Новосиль, что для молодого человека было хорошим продвижением по службе. В 1576, 1577 и 1579 годах мы видим Евстафия Михайловича уже воеводой передового полка в Ливонском походе.

Частная разрядная книга из моего собрания сообщает много интересных подробностей этого похода. После взятия Ровна царь послал князя Михаила Ноздреватого-Звенигородского с сотней детей боярских и стрельцов под Смильтен, гарнизон которого отказался сдаться. Затем на помощь князю Михаилу был послан Андрей Ефимович Салтыков. Воеводы «промысла никакого под городом (Смильтенном. — С. В.) не сделали и государю о том вести некоторые не учинили, что им литва говорит». Тем временем царь Иван послал Проню Балакирева «проведать», что делается под Смильтенном. Проня Балакирев, вернувшись, донес, что он подъехал к русскому лагерю «шумко», то есть без всяких предосторожностей, «а сторож у них не было... и полочане князь Михайловы и Андреевы побежали ни от кого, и стал шум велик; и после опять остановились». И Проня Балакирев, приехав к государю, и про то сказал, что «они (воеводы. — С. В.) стоят небережно». Царь Иван в подобных случаях не любил шутить. Получив это известие за столом, царь «из-за кушанья» послал одного из своих любимцев, Деменшу Черемисинова, а «с нарядом мелким (с полевыми пушками. — С. В.) отпустил боярина своего Василия Федоровича Воронцова да Астафья Михайловича Пушкина». Черемисинов сыскал про воевод, «что они сделали негораздо», убедил гарнизон Смильтена сдаться и привел литву «со всеми животы» в стан к царю. Царь приказал отпустить литву на родину, город Смильтен велел разорить, «а князя Михаила Ноздреватого велел бить на конюшне плетми». Андрей Салтыков отговаривался тем, что не получил никаких указаний от князя Михаила, «и государь Андрею за тое неслужбу шубы не дал».

В 1580 году Евстафий Михайлович был послан на весьма ответственную службу — четвертым воеводой в Смоленск. Та же разрядная книга рассказывает, что литовский военачальник пан Филон с девяти тысячным войском подошел к Смоленску и стал лагерем в семи верстах от города. Воеводы сделали вылазку, напали на Филона, разбили его, захватили пушки и все лагерное имущество неприятеля и взяли триста восемьдесят человек в плен. Сам пан Филон бежал в Оршу. За эту крупную победу царь наградил воевод золотыми.

В том же году Евстафий Михайлович, с титулом муромского наместника (для большей почетности), был послан к Стефану Баторию для переговоров о мире. Эта служба была неудачной — царю Ивану удалось добиться мира много позже, и только при посредничестве иезуита Антония Поссевино. В 1588 году Евстафий Михайлович был на службе в полках в Серпухове. Это была его последняя служба на ратном поприще. В 1590 году мы видим его уже на гражданской службе — писцом Венева. Через четыре года он удачно выступил на дипломатическом поприще. С титулом елатомского наместника Евстафий Михайлович был товарищем князя Ивана Самсоновича Туренина в полномочном посольстве и 18 мая 1595 года заключил со шведами вечный мир.

В конце царствования Бориса Годунова Евстафий Михайлович и его «братья» вызвали чем-то неудовольствие царя. До опалы дело не дошло, но Евстафий Михайлович «с братьей» был удален из Москвы. Однако это было сделано в очень почетной форме: он был пожалован в думные дворяне и послан (в 1600/01 году) воеводой в Тобольск. Поскольку воеводы всех сибирских городов были подчинены тобольскому воеводе, воевода Тобольска был как бы наместником всей тогдашней Сибири.

Таким не совсем обычным путем после тридцатилетней службы достиг думного чина первый из фамилии Пушкиных. По тогдашним обычаям и порядкам это имело очень большое значение для карьеры прочих Пушкиных не только как прецедент, но также как достижение родича, на которого могли опираться в своих местнических притязаниях и спорах все члены фамилии.

Евстафий Михайлович был, несомненно, незаурядным человеком, но о частной жизни его мы, к сожалению, ничего не знаем. В генеалогическом пасквили на Сукиных есть интересное сообщение о дочерях Евстафия Михайловича, нуждающееся, впрочем, в проверке: «Борисова сына Сукина Василья женили Ондрей да Василей Щелкаловы (всесильные и при царе Борисе дьяки. — С. В.), взяли за него у Остафья Пушкина дочь неволею, а другая Остафьева дочь Пушкина была за князем Ондреем Дмитриевичем Хилковым».

Вслед за Евстафием шел в гору его брат Иван Михайлович Большой. В 1574 году он пожалован в ловчие. Чин ловчего сам по себе не давал права участвовать в думе, но создавал известную близость к царю. Ловчие и сокольничие получали доступ в думу только в том случае, если были жалуемы «с путем», то есть с особым кормлением. В 1577—1579 годах Иван Михайлович был полковым воеводой в Ливонских походах, а в 1582 году с князем Дмитрием Елецким был в посольстве в Польшу для урегулирования некоторых частных вопросов заключенного с Польшей мира. В 1583 году он вызвал чем-то немилость царя Ивана и был отставлен от ловчества. На место Пушкина ловчим был назначен его далекий сородич Дмитрий Андреевич Замытский, о котором было упомянуто выше. Замытские были захудалой отраслью рода Акинфа Великого, и Дмитрий Андреевич Замытский, подобно Пушкиным, выдвинулся после гибели своих более значительных сородичей — Ивана Петровича Федорова, Ивана Яковлевича Чеботова, Ивана Ивановича Чулкова и нескольких Бутурлиных.

При царях Федоре Ивановиче и Борисе Годунове Иван Михайлович Большой продолжал служить, но особо почетных назначений не получал и только много позже, на старости лет, был пожалован царем Василием в думные дворяне.

У А. С. Пушкина было ошибочное представление, будто при царе Борисе Пушкины были явно обижаемы в местнических спорах и вообще были гонимы. О местнических тяжбах Пушкиных речь будет ниже, а здесь отмечу факт, совершенно несовместимый с немилостью царя Бориса относительно Пушкиных. Одновременно этот факт является верным показателем возвышения именно младшей линии Пушкиных по сравнению с другими фамилиями рода Ратши.

На Земском соборе 1598 года, избравшем на царство Бориса Годунова, присутствовали десять человек младшей линии Пушкиных и только шесть человек из других фамилий рода Ратши.

На соборном приговоре подписались в звании дворян Евстафий, Иван Большой и Никита Михайловичи и в звании «выбора из городов» их младшие братья — Леонтий и Ивашка Михайловичи. Затем в звании стольника подписался Алексей Евстафьевич, а в числе стряпчих приложили руки Михаил и Иван Евстафьевичи и Афанасий Иванович, сын Ивана Большого Михайловича. Наконец, в звании жильца подписался Михаил Никитич, сын Никиты Михайловича.

Обращает на себя внимание отсутствие на Земском соборе 1598 года всех прочих многочисленных потомков Григория Пушки разных фамилий — Бобрищевых, Рожновых и Кологривовых, которые в большом количестве служили в это время по дворовому списку и могли бы присутствовать по своему служебному положению на Земском соборе.

Еще более замечательно, что из потомков Акинфа Великого на соборе было только шесть человек: окольничий Фома Афанасьевич и дворянин Матвей Васильевич Бутурлины, в чине жильцов — Сергей и Леонтий Ивановичи Мятлевы-Слизневы, сыновья опричника Ивана Ивановича Мятлева, и два представителя захудалой отрасли рода — Андрей Васильевич и Константин Тимофеевич Замытские, родственники опричника, а позже ловчего царя Ивана Дмитрия Андреевича.

К концу столетия по дворовому списку служили и все прочие Пушкины того же поколения: Григорий Григорьевич Сулемша, его младшие братья Иван и Гаврила Григорьевичи, Матвей Федорович, Федор и Тимофей Семеновичи. Все они медленно, но неуклонно и прочно продвигались вперед и завоевывали положение в верхних слоях Государева двора.

На путях к высотам царского двора Пушкиным приходилось преодолевать сопротивление среды и нередко местничаться и тягаться о местах со своими сослуживцами и соперниками. Интересно отметить, что сначала, приблизительно первые сорок—пятьдесят лет, Пушкины выступают в местнических делах как нападающая сторона, подают челобитные и затевают счеты «о местах». Но по мере того как Пушкины поднимались и упрочивали за собой занятые высоты, им приходилось все чаще и чаще попадать в положение обороняющихся и отбиваться от нападений еще более «новых», чем они, людей, поднимавшихся из нижних слоев дворянства.

Анатоль Франс в «Острове пингвинов» советовал историкам не утруждать себя новыми исследованиями и не высказывать самостоятельных новых мыслей, так как читатели исторических сочинений любят находить в них только те глупости, к которым они привыкли. Не будем следовать этому совету тонкого сатирика, имевшего в виду своих соотечественников, и будем рассказывать о местнических тяжбах Пушкиных без предвзятых по этому вопросу мнений.

В XVI—XVII веках местнические обычаи были пережитками родового быта, когда общественное положение человека определялось не одними его личными качествами, но также принадлежностью его к тому или иному роду и местом, которое он занимал в своем роду. В Московской Руси место человека на лестнице служилых чинов, служебный уровень, на который он имел основание и право претендовать, определялись не только происхождением, но и сочетанием служебной годности и служб человека с учетом его родовитости, то есть служебного уровня его «родителей», родичей вообще, а в первую очередь его прямых предков — отца, деда и т. д. по прямой и ближайшим боковым линиям.

По неспособности, нерадивости и по разным случайностям человек мог потерять свое место, или, как тогда говорили, свою «честь». Потеря чести немедленно отражалась на положении его самого, его сыновей и ближайших потомков. Во всех княжеских и боярских родах были семьи и целые отрасли родов, которые «закоснели» в низах служебной иерархии и потеряли свое место. Обычаи местничества вовсе не закрывали таким людям путей подняться вновь, но требовали, чтобы возвышение происходило постепенно, с учетом служебных интересов лиц и родов, которые не растеряли своей служебной чести.

Опалы царя Ивана уничтожили множество крупных лиц и целые отрасли крупных служилых родов. Это открывало путь к возвышению захудалым фамилиям, которые на протяжении нескольких поколений коснели в низах служебной иерархии. Таким фамилиям при возвышении приходилось, однако, энергично бороться за места и восстановление чести своего рода. Этим объясняется большое количество местнических споров, которые начались в конце царствования Ивана Грозного и продолжались много десятков лет позже. И вовсе не случайность, что в большинстве случаев споры затевали именно «выдвиженцы», если можно так выразиться, а не старослужащие представители родов, уже завоевавшие себе место.

В литературе были давно известны местнические споры князя Дмитрия Михайловича Пожарского, героя национальной борьбы с польской интервенцией. Не понимая значения этих споров, историки характеризовали Пожарского как недалекого заурядного человека, неуживчивого и мелочного честолюбца, который больше ценил место за царским столом, чем свои заслуги перед родиной.

Во избежание подобных же превратных суждений о Пушкиных следует рассказать об их борьбе за места. Пушкины и князя Пожарские были в одинаковом положении — их ближайшие предки растеряли честь своего рода, поэтому при возвышении им приходилось начинать все сначала. Рассмотрим несколько дел первых Пушкиных.

В 1578 году Евстафий Михайлович Пушкин местничался с князем Захарием Ивановичем Сугорским. Сугорские были захудалой отраслью белозерских князей, но Захарий лично по службе был старше и ничуть не ниже Евстафия Пушкина. Еще в 1565 году он служил головой в полках. В 1573 году он был посланником

к императору Максимилиану. Мы не знаем мотивировки решения, но по разрядам известно, что Пушкин был «выдан головой» князю Захарию Сугорскому.

Следует объяснить эту формулу решения местнических судов. В буквальном смысле слова это означало выдачу обвиненного в полное холопство. В местнических делах «выдача головой» обвиненного по суду местника имела символическое и бытовое значение. В XVI—XVII веках ни одному человеку не приходило в голову сделать рабом выданного ему «головой» местника. Обвиненный местник с покорным видом, с непокрытой головой шел на двор своего нового господина. Последний, вероятно, в присутствии чад, домочадцев и всей дворни, делал местнику более или менее суровое внушение, давал ему почувствовать в полной мере свою власть и затем милостиво прощал. Смотря по взаимным отношениям столкнувшихся лиц и фамилий, дело могло окончиться либо подобной сценой, либо полным примирением. Оправданный по суду приглашал к себе в дом выданного ему «головой» местника, сажал за стол, и недавние враги за чаркой вина добросовестно старались устранить моменты личной обиды и сходились на признании принципиальной правильности царского решения их тяжбы.

В 1583 году Евстафий Михайлович Пушкин бил челом на Андрея Тимофеевича Михалкова. Его противник был совсем худородным человеком — сыном дворцового дьяка Тиши Михалкова. Но за Андреем Михалковым были многие годы службы по дворовому списку (с 1547 года), и служить он начал лет на двадцать раньше Евстафия Пушкина. За это время он успел породниться с Морозовыми и занять место среди родовитых людей (Андрей Тимофеевич Михалков был женат на Марье Григорьевне Шестовой-Морозовой, и по этому родству Михалковы позже были в свойстве с царем Михаилом).

В сущности, и Пушкину приходилось нападать с пустыми руками, так как и он, подобно своему противнику, не мог опираться на службы своих родителей. Этим, вероятно, объясняется то, что суд по этому делу, как говорят разряды, был «не вершен», то есть спор остался без решения.

В 1582 году Иван Михайлович Большой Пушкин был назначен в товарищи к князю Дмитрию Петровичу Елецкому в посольство к Баторию. По разрядным книгам, ввиду спешности отправления послов «в Посольском приказе записана та служба Ивану без мест со князем Дмитрием». Это означало, что особым указом местники были разведены, вопрос о местах указанных лиц оставлен открытым и их служба в данном случае не могла служить прецедентом в последующих местнических делах.

В том же году Иван Михайлович Пушкин бил челом на Михаила Андреевича Безнина-Нащокина. Нащокины по своему происхождению были значительно ниже Пушкиных, но по службам много выше их. При царе Иване Нащокины пользовались большим доверием и милостями: в 1572 году Роман Алферьев, а в 1573 году Михаил Андреевич Безнин были пожалованы в думные дворяне и не раз служили в полковых воеводах. Разряды сообщают, что у Ивана Михайловича Пушкина с Михаилом Безниным суд был, но решения не приводят. Вероятно, Пушкин был обвинен, хотя позже Пушкины ссылались на свое превосходство перед Нащокиными.

В мирное время царствования Федора Ивановича количество служебных назначений сократилось и местнические споры были редки. Мало их было и при царе Борисе, который не любил местничества. При самозванце и при Василии Шуйском споры о местах возобновились. Тимофей Семенович Пушкин бил челом на князей Юрия Мещерского, Ивана Мездецкого и Семена Вяземского и получил «новместную» грамоту, то есть местники были разведены.

Тогда же Гаврила Григорьевич Пушкин заспорил о месте с князем Федором Андреевичем Звенигородским. Пушкин доказывал свое превосходство путем сложных сопоставлений случаев служебных назначений разных лиц своего и чужих родов. Между прочим он писал в челобитной, что в 1578 году в походе к Резице (в Ливонии) Евстафий Пушкин был выше Романа Алферьева, а Иван Большой Пушкин в походе 1577 года был больше Михаила Безнина. Князь Федор Звенигород-

ский, защищаясь, выбрал для нападения старшего родича Пушкиных Дмитрия Федоровича Шаферикова, указывая, что он «по родству большой брат» всем Пушкиным. Хотя Дмитрий Федорович Шафериков и бывал в полковых воеводах, но Гаврила Григорьевич поспешил от него отмежеваться, так как все прочие Шафериковы имели поместья в Великом Новгороде и были городовыми детьми боярскими. В памяти, поданной на суде, Гаврила Григорьевич писал, что Дмитрий Шафериков «по родству мне мал, и разошлись мы в родстве... з Дмитрием подолему». К этому Гаврила Григорьевич прибавлял, что по царской милости дворян не ставят на одну доску с их родичами, которые служат по городам, «...и по вашей царской милости тех случаев в дела не ставливали, — нашол он и потерял себе да своим родителем (то есть родичам. — С. В.), которые служат по Новгороду, а не нам. А мы, государь, новгородцами ни правы, ни виноваты быти не хотим, и ими не считаемся, а считаемся мы своею лестницею», то есть родословной фамилии Пушкиных. Спор остался нерешенным.

В конце царствования Василия Шуйского произошел и остался нерешенным спор Ивана Михайловича Пушкина с князем Дмитрием Михайловичем Пожарским. Пожарский подал на суд «в случаях Татевых да Хилковых да Палецких». На это Пушкин возражал: «А я, Ивашка, подовал одних Пушкиных, а Челяднинных и Федоровых и Бутурлиных не подовал». Пушкин говорил, что если Пожарский хочет считаться своими крупными родичами, а не одними князьями Пожарскими, то «государь бы ево пожаловал, велел ему (то есть Пушкину. — С. В.) с ним считатца своими родители, Челяднинными да Федоровыми да Бутурлиными». В роде князей стародубских Татевы, Хилковы и Палецкие разошлись с Пожарскими, если считать по поколениям, так же далеко, как в роде Ратши Пушкины (Морхинины) разошлись с Челяднинными (Акинфовичами). Пожарские в роде стародубских князей были самой захудалой отраслью, а отец и дед Дмитрия Михайловича, служа в городских приказчиках и в губных старостах, «потеряли» свою «честь». Спор остался нерешенным, так как царь Василий вскоре был свергнут с престола.

Ниже, после обзора Пушкиных при первых Романовых, мы вернемся к местничеству и к отмене его в 1682 году.

Глава X

ПУШКИНЫ В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Итак, Пушкины после медленного возвышения при царях Иване и Федоре достигли наконец думного чина в лице старшего представителя рода Евстафия Михайловича. Царствование Бориса Годунова приходило к концу. Наступала бурная, полная драматизма пора дворцовых переворотов, самозванщины, гражданской войны, шведской и польской интервенции. А. С. Пушкин заинтересовался этой эпохой и, взяв начальный эпизод, падение царя Бориса, построил на нем свою гениальную драму.

Фактическая сторона «Бориса Годунова» заимствована Пушкиным главным образом, если не исключительно, у Н. М. Карамзина. Десятый и одиннадцатый тома «Истории государства Российского», содержавшие изложение событий царствования Федора Ивановича и Бориса Годунова, вышли в 1824 году. Под свежим впечатлением от чтения этих томов А. С. Пушкин задумал «Бориса Годунова» и уже в начале октября 1825 года писал князю П. А. Вяземскому, что закончил свою «трагедию» и перечитывает ее вслух.

В черновых набросках задуманного, но не написанного полностью предисловия к «Борису Годунову» Александр Сергеевич писал: «Трагедия моя уже известна почти всем тем, коих мнениями я дорожу. В числе моих слушателей одного не доставало, того, кому обязан я мыслию моей трагедии, чей гений одушевил и поддержал меня... Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении типов, Карамзину следовал я в

светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые!»

В этих же набросках А. С. Пушкин писал: «Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия, *son auge* (то есть с любовью. — С. В.), но без всякой дворянской слеси».

Главное действующее лицо, Борис Годунов, выведено А. С. Пушкиным в том именно понимании исторической личности Бориса Годунова, которое дано Карамзиным, но в изображении двух Пушкиных — вымышленного Афанасья Михайловича и действительного исторического Гаврилы Григорьевича, которого Александр Сергеевич имел в виду в приведенном выше наброске предисловия, он довольно свободно и несколько тенденциозно следовал своей творческой фантазии. Ниже будет объяснено, почему для второго Пушкина Александр Сергеевич взял вымышленное имя.

В «Борисе Годунове» Афанасий Михайлович Пушкин, оставшись после пира наедине с князем Василием Шуйским, сообщает ему, что его племянник Гаврила прислал ему из Кракова гонца с вестью о появлении в Польше самозванца и об успехах Лжедмитрия при дворе Сигизмунда. Шуйский предвидит великую грозу. Пушкин с сочувствием соглашается, что царю Борису не усидеть на троне:

И поделом ему! Он правит нами,
Как царь Иван (не к ночи будь помянут).
Что пользы в том, что явных казней нет...
.

Уверены ль мы в бедной жизни нашей?
Нас каждый день опала ожидает,
Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы,
А там — в глуши голодна смерть иль петля.

Такая оценка режима царя Бориса заимствована Пушкиным целиком у Карамзина, который не жалел красок, чтобы очернить Бориса Годунова. У А. С. Пушкина Афанасий Михайлович характеризует таким образом царя Бориса Годунова, и эта характеристика должна в то же время объяснить поведение Гаврилы Пушкина.

Басманов отзывается о Гавриле Пушкине как об «опальном изгнаннике». Поскольку опальных людей никогда не ссылали в чужие государства, это выражение следует принять как обмолвку. Возможно, Пушкину представлялось, что Гаврила подвергся опале и бежал в Польшу. У Карамзина об опале и бегстве Гаврилы Пушкина нет ни слова. Ниже я попытаюсь объяснить, откуда у Пушкина создано представление о том, что Пушкины при царе Борисе подвергались опалам и что опальных ссылали в Сибирь, а пока вернусь к изображению личности и поведения Гаврилы Григорьевича в «Борисе Годунове».

«Опальный изгнанник» Гаврила Григорьевич, естественно, был врагом Бориса. Он появляется при самозванце в Кракове, находится при нем во время приема лиц, стекавшихся к самозванцу в Краков, и горячо поддерживает предприятие мнимого Дмитрия. Царь Борис узнает об этом и говорит: «Противен мне род Пушкиных мятежный». Гаврила Григорьевич сопровождает самозванца в походе на Русь и остается верен ему после поражения при Добрыничах. После скоропостижной смерти царя Бориса Гаврила Григорьевич проникает в лагерь Басманова и старается склонить его к измене царевичу Федору Борисовичу.

Далее, Гавриле Григорьевичу отведено видное место в свержении с престола Федора Годунова. Он появляется в Москве, читает на Лобном месте на Красной площади воззвание самозванца к москвичам, призывает народ признать его законным царем и вызывает восстание против Годуновых. Народ принимает Гаврилу Пушкина как «боярина». О непосредственном участии Гаврилы Григорьевича в расправе с Годуновыми А. С. Пушкин, следуя Карамзину, умалчивает.

Вообще вся роль Гаврилы Григорьевича в «Борисе Годунове» как бы подтверждает слова царя Бориса о «мятежности» рода Пушкиных. Посмотрим, как было дело в действительности.

Карамзин в ярких красках описывает тиранию царя Бориса, его подозрительность и суровые расправы с мнимыми и действительными врагами — Романовыми и другими, — но об опалах на Пушкиных ничего не говорит. У Карамзина подозрительность и опальчивость Бориса Годунова проистекают от того, что он достиг власти благодаря преступлению и постоянно одержим страхом перед возмездием. В связи с этим Борис поощряет доносы холопов на своих господ. В подтверждение этого Карамзин в примечании к тексту приводит без всяких комментариев выдержку из одной частной разрядной книги под 1601 годом: «Послал царь Борис в Сибирь Пушкиных Остафья с братьею за опалу, что на него доводили люди его, Филипка да Гришка; а Леонтия да Ивашку Пушкиных за то, что они били челом на князя Ондreja Елецкова в отечестве и тем царя раскручнили... поместья и вотчины у них велел отписать, а животы распродать». Карамзин прекрасно знал, что в Сибирь в то время не ссылали, как в XVIII веке и при Пушкине, и не рискнул объяснить выражение «послал за опалу» как ссылку в Сибирь в опале. А. С. Пушкин, не освоившийся с чтением памятников XVI—XVII веков, понял прочтенную им у Карамзина цитату как ссылку нескольких Пушкиных в опале в Сибирь.

Выше было рассказано, что Евстафий Михайлович Пушкин вызвал чем-то неудовольствие царя Бориса, быть может, но ложному и недоказанному доносу холопов. До опалы дело не дошло, но царь Борис решил удалить его из Москвы и «за опалу», то есть вместо опалы, послал его на воеводство в Тобольск, причем пожаловал в думные дворяне. По разрядам, Евстафий Михайлович Пушкин был послан в Сибирь в 1600/01 году и умер там в 1603 году, но, конечно, не от голода и не от петли, а, вероятно, от старости и непривычных условий жизни. На место Евстафия в 1603 году царь Борис послал в Тобольск его младшего брата Никиту Михайловича, для которого это назначение было, несомненно, милостью царя¹.

Что касается Леонтия и Ивашки (Ивана Меньшого) Пушкиных, младших братьев Евстафия и Никиты, то приведенное выше сообщение о них разрядной книги неточно и неясно. Их претензия местничаться через голову старших братьев с князем Андреем Елецким была, по тогдашним понятиям, неприличной дерзостью. Возможно, что их только припугнули отпиской вотчин и «животов», возможно, что в действительности наказали таким образом, но в опале и в Сибири они не были. В конце царствования Бориса они служили в армии на юге, принимали участие в действиях против самозванца, и при осаде Кром Леонтий и его племянник Афанасий Иванович (сын Ивана Большого Михайловича) были убиты.

Начальные этапы службы Гаврилы Григорьевича неясны. В разрядах Гаврилы Пушкин без отчества упоминается в 1581 году как стрелецкий сотник, а в 1601 году как письменный голова (товарищ воеводы) в Пельме, но этим Гаврилой одинаково мог быть и Гаврила Григорьевич Пушкин, и Гаврила Иванович Бобринцев-Пушкин. Во всяком случае достоверно известно, что в последние годы царя Бориса Гаврила Григорьевич не только не был в опале, но пользовался доверием царя Бориса. В 1602 году (с 1 сентября 1603 года) Гаврила Григорьевич получил из Галицкой чети свой оклад жалования — двадцать рублей. Судя по окладу, он был в это время в чине стряпчего.

При вести о появлении в Польше самозванца царь Борис приказал закрыть границы и назначил во многие окраинные города новых воевод. В числе этих городовых воевод был и Гаврила Григорьевич Пушкин, посланный в Белгород. Белгород находился несколько в стороне от возможных путей вторжения самозванца, но все-таки был очень важным пограничным городом. Это назначение во всяком случае говорит о том, что Гаврила Григорьевич Пушкин пользовался доверием царя Бориса.

¹ В 1603 году Никита имел высокий оклад жалованья — сорок рублей — и при отправке в Тобольск получил жалованье на два года вперед.

Долго ли Гаврила Григорьевич Пушкин пробыл в Белгороде, неизвестно. Когда после смерти царя Бориса юго-западные и западные города стали сдаваться самозванцу, воеводой в Белгороде был князь Борис Михайлович Лыков.

В стане самозванца Гаврила Григорьевич Пушкин появляется только в Крапивне, когда самозванец медленно и осторожно, хотя и беспрепятственно, шел на Москву, рассылая по городам воззвания к населению. Судя по ловкости и осмотрительности, проявленным Гаврилой Григорьевичем Пушкиным на всех последующих поворотах его жизненного пути, он, переходя на сторону самозванца, шел в ногу с большинством людей своего круга, не предупреждая событий и не отставая от них.

Частные разрядные записи сообщают, что самозванец из Крапивны послал в Москву «для смуты» Гаврилу Григорьевича Пушкина и Наума Плещеева: «Гаврило Пушкин и Наум Плещеев, приехав к Москве с прелесными грамотами сперва в Красное село, и собрався с мужики, пошли в город, и пристал народ многой, и учили на Лобном месте грамоты честь и послали в город по бояр». И здесь видна осторожность Гаврилы Григорьевича Пушкина — не рискуя попасть в руки правительства Годунова, сидевшего в Кремле, Пушкин и Плещеев начали агитацию в Красном селе и пришли под стены Кремля во главе возбужденной толпы «мужиков».

Иначе рассказывал об этом при царе Михаиле Андрей Плещеев в местничестве с Василием Никитичем Пушкиным в 1627 году: «Во 112 [1603/04] году послан был Наум Плещеев на службу в Царицын город. И как вор Растрига пришол в Путивль во 113 [1604/05] году, а в низовых (поволжских. — С. В.) городех Растриге крест целовали, и в те поры Наума Плещеева царицынские козаки, связав, привели к Растриге под Орел, как Растрига шол под Москву. И Растрига послал Наума Плещеева к Москве для прелести; а велел на Москве объявить, что ему низовые города добили челом. И Наум, государь, Плещеев, узнав вора Растригу, к Москве для ради прелести от Растриги не поехал. И в ту, государь, пору Гаврила Пушкин у Ростриги к Москве на воровство напросился, над царицею Марьею и над царевичем Федором промышлять и московских людей прельщать и на Ростригину имя и их кресному целованью Москву подводить. И в ту, государь, пору Рострига велел Гаврилу Пушкину Наума Плещеева, связав, отвезти к Москве и на Лобном месте Наума Плещеева велел объявить, что ему, Ростриге, низовые города добили челом, и низовых воевод и Наума Плещеева, связав, к нему, Ростриге, прислали. И Гаврила, государь, Пушкин, приехав от Растриги к Москве, Московское государство прельстил и на Растригину имя к кресному целованью привел».

Однако чтения «прелесных грамот» и личного авторитета посланцев Лжедмитрия, видимо, было недостаточно, чтобы вызвать восстание. На сцену выступил хорошо известный москвичам Богдан Яковлевич Бельский, двоюродный племянник знаменитого опричника Малюты Скуратова Бельского, авантюрист крупного калибра, изменявший последовательно всем государям, которым служил и милостями которых пользовался. Те же разрядные записи рассказывают: «...И на Лобном месте Богдан Бельской учал говорит в мир: яз за царя Иванову милость ублюю царевича Дмитрея, за то и терпел от царя Бориса. И услыша то, и достал народ возмутился, и учили Годуновых двory грабить; а иные воры с миром пошли в город, и от дворян с ними были, и государевы хоромы и царицны пограбили». В заключение рассказа об этом разряды прибавляют: «И Гаврила Пушкина Рострига за то пожаловал, что назвался (то есть напросился. — С. В.) у него к Москве и государство Московское смутил, пожаловал соколничеством и в думу».

Другая частная запись разрядов прибавляет: «И как тое грамоту (привезенную Пушкиным. — С. В.) прочли, и того ж дни в субботу миром всем народом грабили на Москве многие двory боярские и дворянские и дьячьи, а Сабуровых и Вельяминовых (сородичей Годуновых. — С. В.) всех грабили».

Так Гаврила Пушкин, вызвав возмущение московской черни, отошел в сторону и предоставил Богдану Вельскому, Михаилу Молчанову и другим более дерзким и смелым людям некрасивые роли в развернувшихся событиях.

Таким необычным, зависившим от сложившейся обстановки путем попал в думу второй представитель рода Пушкиных. Сотоварищам Гаврилы Григорьевича по службе и вообще современникам это возвышение, вероятно, вовсе не казалось чрезмерным. Это видно из того, что все последующие правительства признавали за Гаврилой Григорьевичем Пушкиным оба чина, полученные им от самозванца.

Судя по известным пока данным, Гаврила Григорьевич и другие Пушкины не проявили особой преданности самозванцу и не получили никаких особых милостей. Более того, можно сказать, что они при самозванце продолжали свою службу так же, как они служили бы при малолетнем Федоре Годунове, если бы он усидел на царском троне.

При самозванце Гаврила Григорьевич был послан на воеводство в Белгород, то есть туда же, где был при царе Борисе. Иван Михайлович Большой был назначен на воеводство в Корелу, а Тимофей Семенович (прямой предок А. С. Пушкина) сначала был вторым воеводой в Рязани, а затем воеводой во Мценске. Никакой особой милости самозванца не было в том, что на его свадьбе присутствовали двое Пушкиных — Гаврила Григорьевич и его старший брат Григорий Сулемша.

Поскольку А. С. Пушкин не знал и не мог знать о событиях Смутного времени больше, чем рассказал о них Карамзин, странно было бы критиковать «Бориса Годунова» с точки зрения несоответствия деталей драмы с историческими фактами. Если статья на такой неправильный путь, то следовало бы говорить, конечно, не о Гавриле Григорьевиче Пушкине, а о главном действующем лице — о Борисе Годунове. Темой настоящего этюда является история рода Пушкиных, и для нашей темы изложение этих фактов было необходимо, но эти факты интересны также тем, что бросают некоторый свет на процесс творчества А. С. Пушкина.

Пушкин прекрасно усвоил все, что дал о царе Борисе Карамзин. Других источников по этому вопросу и семейных преданий у Пушкина, очевидно, не было. Не освоившись с чтением памятников XVI—XVII веков, А. С. Пушкин понял 161-е примечание Карамзина к десятому тому «Истории государства Российского» как указание на ссылку нескольких Пушкиных при царе Борисе в Сибирь. Это служило для него объяснением поведения Гаврилы Пушкина Сознавая в самом себе «мятежный» дух, Пушкин воссоздал образ Гаврилы Григорьевича и вложил в уста царя Бориса известную фразу о «мятежном» роде Пушкиных.

Вернемся к рассказу о Пушкиных и их участии в дальнейших событиях Смутного времени.

Присутствуя 8 мая 1606 года на свадьбе самозванца, Пушкины, наверное, знали о назревавшем против него заговоре. 17 мая Лжедмитрий был убит, а 19 мая воцарился Василий Шуйский. Все произошло как по писаному. Пушкины плавню перешли на новые рельсы и в лице своих наиболее видных представителей стали служить новому царю. На сторону самозванца некоторые Пушкины перешли не из симпатии к мнимому царевичу Дмитрию, а следуя общему течению. К Василию Шуйскому они отнеслись иначе и стали ему служить не за страх, а за совесть.

Иван Михайлович Большой, старший после Евстафия в роде Пушкиных, был пожалован царем Василием в думные дворяне. Когда царь Василий вскоре после воцарения послал на юг большую армию, в этом походе Иван Михайлович был у пушечного «наряда». В 1607 году, когда вспыхнуло восстание южных городов, Иван Михайлович был в числе «осадных» воевод, расположившихся с полками за рекой Москвой для охраны столицы. На свадьбе царя Василия он присутствовал со своей женой Еленой Ивановной, которая играла в церемонии почетную роль государевой свахи. После этого при Шуйском и после его свержения с престола Иван Михайлович оставался все время в Москве и 19 марта 1611 года был убит, когда поляки выжгли Москву, захватили Кремль и побили многих бояр и думных людей и «всяких чинов людей... безчисленно».

Следующий по старшинству Пушкин, Никита Михайлович, по возвращении с воеводства из Тобольска служил в 1607 году в Москве и стоял в Красном селе

«для обереганья (Москвы.— С. В.) от воров изменников». В 1608 году царь Василий послал его на очень важное по тому времени место — воеводой на Вологду. На этой службе с Никитой Михайловичем случилось происшествие, бросающее тень на его честное имя. Нам трудно судить, мог ли он при большей распорядительности отстоять Вологду от тушинцев и польских отрядов Лисовского и Сапеги, или обстоятельства сложились так, что сопротивление было невозможно, но только Никита Михайлович сдал Вологду тушинцам и присягнул «Тушинскому вору», причем остался на своем месте. Вскоре на Вологду пришло подкрепление из северных городов, и отряды, посланные из Новгорода князем Скопиным-Шуйским, и тушинцы были выгнаны из Вологды. Тотемичи в переписке с вологжанами обвиняли Никиту Михайловича в прямой измене, но правительство Шуйского смотрело иначе на этот неприглядный случай и оставило Никиту Михайловича Пушкина на Вологде, где он пробыл после этого на воеводстве весь 1609 год.

Наконец, младший брат, Иван Меньшой, или Ивацка Михайлович, тоже исправно служил царю Василию. В 1606 году он был головой в полках в походе под Калугу, в 1609 году был воеводой в Коломне, а в 1610 году послан на воеводство в Корелу.

Еще более ревностно служили царю Василию и оказали ему большие услуги братья Григорьевичи — Григорий Сулемша и думный дворянин Гаврила.

Григорий Григорьевич Сулемша был не только дельным, но даже выдающимся воеводой. В 1607 году войска царя Василия потерпели поражение от «вора» Петрушки. Чтобы преградить ему путь на Москву, царь Василий послал боярина князя Андрея Васильевича Голицына и Григория Сулемшу на Каширу. С Каширы воеводы двинулись на реку Упу и принимали участие в разгроме Петрушки и Болотникова и во взятии Тулы. В 1608 году Григорий Сулемша был воеводой сторожевого полка в неудачных действиях воевод под Белевом против другого самозванца — «Тушинского вора». В том же году Григорий Сулемша удачно бился во главе большого полка с Лисовским. Еще более успешными были действия Григория Сулемши на юго-востоке. В 1608 году он был послан воеводой в Михайлов, затем во Владимир и в Муром. В Муромском уезде у Серебряных прудов он разбил шайки местных повстанцев, а затем подавил восстания в Арзамасе и Алатыре. В 1609 году Григорий Сулемша сидел с царем Василием в осаде в Москве и был воеводой передового полка, стоявшего на Пресне. После бегства «Тушинского вора» в Калугу и распада тушинского лагеря Григорий Сулемша с Василием Бутурлиным был послан в Погорелое городище для действий против поляков. Наконец, из Погорелого Григорий Сулемша в 1610 году был переведен в главную армию царя Василия и участвовал в злополучном бою под Клушином. Один этот перечень служб Григория Сулемши свидетельствует о том, что он был ревностным и верным слугой царя Василия.

Гаврила Григорьевич при царе Василии сохранил чины сокольничего и думного дворянина, пожалованные ему самозванцем, и был не менее ревностным слугой царя Василия, чем его старший брат. Вскоре после воцарения Василий Шуйский послал Гаврилу Григорьевича воеводой на Белую. В 1608 году он стоял с сильным отрядом под Иосифовым монастырем на Волоке Ламском и принимал участие в действиях против поляков, а осенью того же года был послан к Мурому против восставших в Мещере и Муромском уезде местных татар и мордвы. В 1610 году он был сначала в Москве, а затем был послан в главную армию под Клушино. Бездарный и неспособный главнокомандующий князь Дмитрий Иванович Шуйский послал Гаврилу Григорьевича и Михаила Федоровича Боборыкина в лагерь иноземцев, которые, не получая жалованья, волновались и стали перебегать к полякам. Пока Пушкин и Боборыкин уговаривали иноземцев не изменять царю Василию, армия Дмитрия Шуйского была наголову разбита поляками. Михаил Боборыкин был изранен и захвачен немцами, а Гаврила Григорьевич Пушкин через леса и болота спасся бегством и на третий день прибежал в Можайск.

Поражение под Клушином решило участь царя Василия. Москва стояла беззащитной. Служилые люди были совершенно деморализованы клушинским пора-

жением и начали разбегаться и разбегаться по домам. Даже самые горячие сторонники царя Василия потеряли веру в его счастливую звезду и не стали его защищать, когда оставшиеся в Москве немногочисленные верхи служилого класса решили «садить» царя Василия с престола. Об этом следует рассказать хотя бы вкратце, так как в этом деле участвовали Гаврила Пушкин и, может быть, еще кто-либо из Пушкиных, бывших в то время в Москве.

Наличные в Москве бояре, дворяне и другие служилые люди принудили патриарха прикрыть своим авторитетом и именем переворот и облекли отречение царя Василия от престола в форму добровольного соглашения. Все было сделано «без совета всей земли», не ссылаясь с городами Московского государства. Царь Василий оставил престол «по прошению» заговорщиков, «а ездил о том к царю Василью патриарх со всем собором да бояре князь Иван Михайлович Воротынской да Федор Иванович Шереметев... А на том ему (то есть царю. — С. В.) бояре и все люди крест целовали по записи, что над ним никакова дурна не учинит, и из московских людей на государство никою не обирать». После этого Василий «съехал на свой двор». Однако дело было затеяно слишком большое. Мнимо добровольный отказ от власти не разрешил всех вопросов. Существовало основательное опасение, что «лукавый царедворец» (царь Василий) при благоприятном для него обороте дел воспользуется расположением к нему московских стрельцов, возьмет опять власть в свои руки и отомстит тем случайным людям, которые «без совета всей земли» «садили» его с престола. Чтобы обеспечить себя от возврата Василия к власти, наиболее замешанные в перевороте лица употребили обычный в то время способ делать людей неспособными к политической деятельности — царь Василий и его жена были принудительно пострижены в монашество. Разрядные записи рассказывают об этом так: «И после спустя день (после удаления Василия на свой двор. — С. В.) из дворян князь Василий Тюфякин, Гаврило Пушкин да князь Федор Волконской с товарищи, и из мелких людей, без патриархова ведома и без боярского приговору, самовольством, собрався, царя Василия постригли и с царицею». «Новый летописец» называет «заводчиком» этого дела князя Василия Тюфякина.

Мы не знаем, какую роль играл Гаврила Григорьевич Пушкин в заговоре, но его участие в принудительном пострижении царя Василия свидетельствует об его осторожности и предусмотрительности.

Делая обзор поведения Пушкиных в злополучное царствование Василия Шуйского, можно сказать, что они сразу и твердо приняли сторону царя Василия, добросовестно служили ему и приложили много усилий, чтобы спасти его дело. Следует отметить, что никто из Пушкиных не «перелетал» в лагерь «Тушинского вора». Наиболее горячими сторонниками царя Василия показали себя Иван Михайлович Большой, Григорий Григорьевич Сулемша и Гаврила Григорьевич. Бездарный царь Василий завел страну в тупик. В конце концов сам Василий и вся правящая верхушка государства стали видеть единственный выход из тупика в призыве на престол польского короля или его сына. Такое решение вопроса казалось наилучшим в двух отношениях — в военном и внутривластном. Боярство утратило веру в возможность поделить в своей среде наследство угасшей династии Рюриковичей и пришло к мысли призвать на престол иноземца. С другой стороны, мир и союз с Польшей давали возможность направить все силы на подавление внутренних восстаний и на приведение государства в порядок. Последующие события показали ошибочность этих расчетов. Польская ориентация боярства как бы оправдывала польскую интервенцию и привела к полному разрушению государства и разорению всей страны.

Во всех этих событиях Пушкины не проявили ни выдающихся талантов, ни особой дерзости и отваги. И при Шуйском, и после его падения они держались в той среде родовитого и солидного дворянства, которое после Шуйского группировалось вокруг «седемчисленных» бояр. И на этом этапе событий Пушкины не выступали вперед и шли в ногу с людьми их круга.

Соглашение с поляками, выработанное тушинцами, для московского боярского

правительства было неприемлемо. На совещаниях с московскими дворянами и представителями из городов, которых удалось созвать, «седемчисленные» бояре выработали более национальную и более консервативную программу соглашения с Польшей. В частности, определенно был поставлен вопрос о призвании на престол не самого Сигизмунда, а его сына королевича Владислава.

В сентябре 1610 года было снаряжено к Сигизмунду большое посольство. В состав его вошли: от властей митрополит Филарет Никитич Романов, от бояр князь Василий Васильевич Голицын, из окольничих князь Данила Иванович Мезецкий, из думных дворян Василий Борисович Сукин и из думных дьяков Томило Луговский. При этих полномочных послах была большая свита — семь человек московских дворян и около сорока человек детей боярских из тридцати четырех городов.

В числе семи московских дворян был Борис Иванович Пушкин, сын думного дворянина Ивана Михайловича, оставшегося в Москве. Почему из наличных в то время Пушкиных в посольство попал молодой Борис Иванович, неизвестно. Возможно, что он был незаурядным человеком. Это можно заключить из того, что позже Борис Иванович успешно подвизался на дипломатическом поприще и при царе Михаиле был пожалован в окольничие.

История этого посольства известна. Сигизмунд нарушил первоначальное соглашение с московским правительством и поставил непременным условием призвание на престол его самого, а не Владислава, который по молодости не сумел бы крепко взять власть в свои руки. Большинство членов посольства вопреки данному ему наказу пошло на уступки и было отпущено Сигизмундом из-под Смоленска в Москву, чтобы вести агитацию за кандидатуру Сигизмунда. Меньшинство посольства во главе с митрополитом Филаретом упорно отказывалось принять условия Сигизмунда, было задержано и отослано в Польшу, где «теснота им была многая и голод великий за то, што оне... стояли в твердости разума своего за всех православных крестьян Московского государства и ни на какие королевские прелести не прелстилися и гроз смертных не убоялися и многую свою службу и правду показали ко всему Московскому государству».

В плену в Польше Борис Иванович Пушкин пробыл девять лет и вернулся на родину вместе с Филаретом и другими пленниками в 1619 году.

Эпоха правления «седемчисленных» бояр и так называемого московского разоренья полянами — самый темный в смысле скудости источников период Смутного времени. Поведение Пушкиных в это время можно выяснить только в общих чертах, достаточно, впрочем, определенных. В основу обзора удобно положить «боярский список» 1611 года, содержащий перечень высших чинов дворян начиная с бояр.

В списке мы находим всех четырех сыновей Евстафия Михайловича: в стольниках записан Иван, а в дворянах — Алексей, Михаил и Никита. Об Алексее Евстафьевиче родословцы сообщают, что он был убит под Новгородом. Вероятно, это было во время захвата Новгорода шведами. Остальные три сына Евстафия примкнули к ополчению князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого. Об Иване известно, что он был в полках Трубецкого «без съезду», то есть до соединения их с ополчением Пожарского. В родословцах он показан бездетным, а в синодиках в записи «рода Евстафия Пушкина» он упоминается как «убиенный». Время и обстоятельства его смерти неизвестны. Михаил и Никита Евстафьевичи в 1611 году были в полках под Москвой, а в 1612 году при появлении нового самозванца (так называемого «Псковского вора») Трубецкой послал их в Троицкий монастырь, а оттуда в Ярославль к князю Пожарскому с призывом немедленно идти на помощь к подмосковному ополчению.

Иван Михайлович Большой, пожалованный при царе Василии в думные дворяне, был в Москве при боярском правительстве. Дяго ли он держался польской ориентации, неизвестно. Но наглое хозяйничание поляков скоро выродилось в неприкрытую военную диктатуру. Иван Михайлович, очевидно, восстал против нее и был убит поляками в Москве.

Из четырех сыновей Ивана Михайловича младший, Афанасий, был убит под Юромами в приход первого самозванца. Все остальные сыновья в 1611 году служили по дворовому списку — Иван и Борис в стольниках, а Федор в стряпчих. Борис Иванович, как было выше сказано, был в посольстве к Сигизмунду.

Следующий по старшинству Пушкин, Никита Михайлович, осрамился, как было выше сказано, на воеводстве в Вологде, но тем не менее продолжал свою службу и в 1611—1612 годах был воеводой в другом городе, не менее важном, чем Вологда, — в Ярославле. После прихода в Ярославль ополчения князя Пожарского Никита Михайлович был послан на воеводство в Архангельск. Очевидно, он пользовался доверием земского ополчения и считался подходящим человеком для такого ответственного поста, каким было воеводство на Двине.

У Никиты Михайловича было четыре сына. Старший сын, Михаил, умер в молодости бездетным; второй сын, Иван, в 1611—1612 годах служил в стряпчих и позже, при царе Михаиле, не раз бывал воеводой в разных городах; третий сын, Данила, был убит в молодости при неизвестных обстоятельствах, и в списке 1611 года его нет; наконец, младший сын, Василий, еще не начинал служить.

Следующими по старшинству были Григорьевичи: Григорий Сулемша, Иван и думный дворянин Гаврила. Григорий Сулемша в 1612 году при ополчении Пожарского и в 1612—1614 годах при царе Михаиле был воеводой на Вологде. Его старший сын, Борис Григорьевич, в списке 1611 года записан в стольниках. О Гавриле Григорьевиче за это время сведений, к сожалению, нет.

Наконец, в дворянах в 1611 году числился Матвей Федорович, внук Александра Ивановича. Против его имени в «боярском списке» отмечено: «нет». Некоторые родословцы сообщают, что он был убит под Новгородом. Можно думать, что при захвате Москвы поляками он служил в Новгороде, где и погиб во время оккупации Новгорода шведами.

Младших представителей фамилии Пушкиных, Федора и Тимофея (прямого предка А. С. Пушкина) Семеновичей, в «боярском списке» нет, так как конец списка утрачен. Между тем они служили по дворовому списку, а про Федора известно, что он был в ополчении князя Пожарского.

Про сыновей Федора Семеновича, Федора и Ивана, известно, что они служили в соединенном ополчении князей Трубецкого и Пожарского, и Иван Федорович получил от земского ополчения деревню Еболдино (позже Болдино) в Арзамасе из поместья в вотчину.

На основе изложенных фактов можно представить себе Пушкиных после свержения с престола Василия Шуйского в таких общих чертах. Пушкины сначала примкнули к большинству высшего дворянства, питавшего иллюзии о спасении государства путем союза с Польшей. Польские паны сделали все возможное, чтобы рассеять эти иллюзии и вызвать против себя общенародное движение. В лице думного дворянина Ивана Михайловича и его сына Бориса Пушкины вошли в конфликт с поляками и их русскими сторонниками. Первый заплатил за это жизнью, а второй девятилетним пленом. Наученные горьким опытом, Пушкины примкнули к общенародному движению, охватившему в 1611—1612 годах все слои общества, и пошли в ополчение Трубецкого и Пожарского. И в этом периоде Смуты Пушкины вели себя так же, как в годы самозванщины и бесталанного Василия Шуйского.

В общем, с 1603 года перед нами проходит более двух десятков Пушкиных. Все они, несмотря на особенности в поведении отдельных лиц, имеют нечто общее, что позволяет говорить о них как о «роде» Пушкиных.

Пушкины не гонялись за быстрыми и ненадежными успехами и не пользовались тяжелым положением родины для личного обогащения. Известно, что в это время многие представители родовитых фамилий запятнали себя в памяти потомства как изменники и враги родины или как жадные до стяжания хищники. Большинство этих авантюристов и рвачей было впоследствии лишено чинов и хватанных вотчин. Пушкины проходили свой путь через все повороты событий тяжелой поступью, не упускали того, что полагалось им по их чинам, происхождению и заслугам, но в то же время не поддавались соблазну схватить что-либо

«не по своей мере». Большой груз сословных предрассудков и твердых понятий о чести рода придавал поведению Пушкиных в бурных событиях тяжеловесную устойчивость.

Ни один из Пушкиных не выделился ни исключительными талантами, ни ярко выраженной индивидуальностью, ни большими подвигами, но все они старались быть достойными представителями своего рода, шли по мере возможности и по своему крайнему разумению в ногу с событиями, каждый делал на своем месте свое дело и, в общем, содействовали спасению государства и родины. Неправильно, однако, было бы сказать, что они были заурядными представителями своего класса. Лучше сказать, что они были типичными и непохожими представителями тогдашнего дворянства, которое больше ценило в людях родовые и сословные добродетели, чем ярко выраженную индивидуальность и таланты честолюбцев.

Само собой разумеется, что ни о какой «мятежности» рода Пушкиных не может быть и речи. Даже Гаврила Григорьевич, который в изображении А. С. Пушкина должен был представлять мятежный род Пушкиных, в действительности был более ловким и осмотрительным человеком, чем смутьяном и мятежником.

Историография после Карамзина выявила и представила целую галерею самых разнообразных деятелей Смутного времени. Приведу одну группу лиц, которая может служить контрастом Пушкиным. У известного опричника Васюка Грязного-Ильина был сын Тимофей. При царе Борисе он был стольником и имел высокий оклад жалования — шестьдесят рублей. Тимофей Васильевич Грязной изменил царю Василию, «перелетел» в Тушино к «вору» и был пожалован в окольные. Затем он стал приверженцем Сигизмунда, который утвердил за ним чин окольного. Где был Тимофей Васильевич Грязной во время очищения Руси от поляков, неизвестно, но при царе Михаиле он был возвращен в первобытное состояние — лишен окольности и в виде милости сохранил старый оклад жалования, который был у него при царе Борисе.

Традиции авантюризма хранились прочно в роде Грязных: сын Тимофея Васильевича, Борис, во время Смоленской войны 1632—1634 годов изменил и бежал в Польшу. При некоторой снисходительности к человеческой слабости можно было бы возразить: в семье не без урода, а на гумне не без урона, — но у Тимофея и Бориса Грязных были не менее яркие, чем они, родичи.

Василий Федорович Ошанин-Ильин был не менее рьяным опричником, чем Васюк Грязной. Он преуспевал в опричнине, одно время был у царя Ивана в приближении, но кончил скверно — после отмены опричнины был казнен. У Василия Ошанина был брат Молчан, родоначальник фамилии Молчановых, из которой вышел один из самых дерзких авантюристов Смутного времени Михаил Андреевич Молчанов, внук Молчана Ошанина. Карьера Михалка Молчанова вкратце такова: участвовал в расправе с семьей Бориса Годунова, служил первому самозванцу, при царе Василии за участие в заговоре бит кнутом и бежал в Польшу, в 1609 году появился в лагере Сапеги, затем перебежал в Тушино, где пожалован в окольные, после распада тушинского лагеря стал горячим приверженцем Сигизмунда, сохранил чин окольного и был назначен ведать Панский приказ, получил от Сигизмунда много земельных пожалований и отличался крайней дерзостью, самоуправством и заносчивостью при «седемчисленных» боярах и, наконец, был убит в 1611 году при восстании москвичей против поляков.

Если бы А. С. Пушкин знал об этих лицах, то мог бы с полным основанием назвать род Ильиных мятежным.

За десятилетие со времени смерти царя Бориса до избрания на царство Михаила Романова Пушкины понесли большие потери: из двадцати пяти человек, которые в это время состояли на службе, шесть-семь человек были убиты при разных обстоятельствах. Неизвестно, когда были убиты Алексей Евстафьевич и Данила Никитич. Первый был убит, вероятно, после избрания Михаила. Несмотря на это и на бурные события Смуты, Пушкины, в общем, продолжали линию подъема, начатую ими при царе Иване, и ко времени воцарения Михаила прочно заняли видное положение в правящих верхах дворянства.

Глава XI

ПУШКИНЫ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ

Возвышение Пушкиных, начавшееся в последней четверти XVI века, продолжалось при первых Романовых, хотя в бурях Смутного времени Пушкины понесли довольно значительные потери. Пушкины были на подъеме приблизительно сто лет и в третьей четверти XVII века достигли вершины своей славы и могущества. Однако в то же время становятся заметными признаки упадка. В последней четверти века мы наблюдаем несомненный упадок всего рода, завершающийся катастрофой 1697 года.

Со времени падения Бориса Годунова и избрания в 1613 году на царство Михаила Федоровича Романова в нашей историографии было принято всячески чернить память «самоохотного», «работягу», «цареубийцу» и «святоубийцу» (как убийцу царевича Дмитрия Углицкого, причисленного к святым) Бориса Годунова и прославлять избрание на царство Романовых как возрождение России после бедствий Смутного времени и как начало славной эры ее истории. Всем, кто желал знать, было известно, что род Романовых пресекался со смертью императрицы Елизаветы Петровны, но официальная историография продолжала считать потомками Михаила Романова всех, кто занимал российский престол после пресечения рода Романовых. На этой точке зрения стоял и наш знаменитый историограф Н. М. Карамзин.

Во времена А. С. Пушкина, когда императоры Александр I и Николай I считались представителями рода Романовых, был известен приговор Земского собора 1613 года, избравшего на царство Михаила Романова. А. С. Пушкин знал этот приговор и в «Моей родословной» писал:

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крѣмолу и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили...

В черновых набросках ответа литературным критикам А. С. Пушкин по этому вопросу писал: «Четверо Пушкиных подписались под грамотой об избрании Романовых на царство».

Приговор Земского собора 1598 года об избрании на царство Бориса Годунова был напечатан во втором томе «Актов Археографической экспедиции» (в 1836 году) и не был известен А. С. Пушкину. Выше было рассказано, что на соборе 1598 года присутствовали и подписались под приговором десять представителей фамилии Пушкиных и что по сравнению с другими дворянскими родами это количество участников собора 1598 года из рода Пушкиных представляется совершенно исключительным. Добавим к этому, что из десяти участников избрания на царство Бориса Годунова двое, Ивашка Михайлович и Михаил Евстафьевич, были из числа тех четырех Пушкиных, которые в 1613 году избирали на царство Михаила Романова.

Ясно, что если бы А. С. Пушкин знал это обстоятельство, то ему пришлось бы внести некоторые поправки в карамзинскую трактовку личности Бориса Годунова. В самом деле, у А. С. Пушкина Борис Годунов выступает как цареубийца (монолог Пимена), как основоположник крепостной зависимости крестьян, как тиран, подобный Ивану Грозному, и т. д.

Но в нашей историографии после Карамзина в оценку исторической личности Бориса Годунова внесено много существенных поправок: участие и виновность Бориса Годунова в деле о смерти царевича Дмитрия остаются под большим сомнением; Борис не был основоположником закрепощения крестьян, так как первые

заповедные указы, лишавшие крестьян исконного права перехода в Юрьев день, были изданы не царем Борисом и не царем Федором по наущению Бориса, а Иваном Грозным; что касается тирании царя Бориса, подобной опричнине Ивана Грозного, то со времени избрания на царство Михаила Романова это было исторической клеветой, своего рода традицией, обязательной как для летописцев и повествователей XVII века, так и для позднейших историков, включая современников А. С. Пушкина.

Об этой переоценке исторической личности Бориса Годунова в послекарамзинской историографии уместно было напомнить, так как Б. Л. Модзалевский и М. В. Муравьев в своей работе о роде Пушкиных, вышедшей в 1932 году, приняли на веру вымысел Спиридова¹, будто Пушкины при царе Борисе были в опале в связи с гонениями царя Бориса на Романовых. В источниках нет решительно никаких указаний на то, что Пушкины были приверженцами партии Романовых или были с ними в какой-либо связи. Мы не знаем, за что Евстафий Михайлович Пушкин и его «братья» вызвали немилость царя Бориса, но несомненно, что удаление в 1600/01 году нескольких Пушкиных из Москвы на воеводства в Сибирь не имело никакого отношения к борьбе Романовых с Годуновыми за опустевший престол Рюриковичей.

Хорошо известно, что избранием на царство юного Михаила Романова широко воспользовались не только его близкие и далекие родственники, но и вообще все лица, оказавшие Романовым те или иные услуги, когда они были в изгнании и в опалах. В числе лиц, отмеченных особыми милостями царя Михаила, его матери великой старицы Марфы и его отца патриарха Филарета, Пушкиных мы не находим. Стольник Борис Иванович Пушкин был в небольшом числе лиц, которые девять лет пробыли в плену в Польше с Филаретом Никитичем, но это не отразилось на его карьере, и чин окольничего он получил много лет спустя после возвращения из плена за удачно выполненное посольство в Швецию.

Бурные события Смутного времени произвели большие опустошения в рядах служилых людей. Между тем первые шесть-семь лет царствования Михаила Романова по существу были продолжением бедствий Смутного времени — борьба с польско-шведской интервенцией и остатками самозванщины требовала от всех слоев населения большого напряжения сил и больших личных жертв. При таких условиях все сколько-нибудь дельные люди были на счету и заняты неотложными делами. Этим объясняется то, что на Земском соборе 1613 года, избравшем на царство Михаила Романова, присутствовали только четыре представителя фамилии Пушкиных, притом из числа самых незначительных по службе. А самые значительные Пушкины отсутствовали, так как были в это время (январь — март 1613) года на воеводствах. Старший представитель рода, Никита Михайлович, был на Двине, его брат Ивашка Михайлович — в Бежецке, Григорий Григорьевич Сулемша — на Вологде, а думный дворянин Гаврила Григорьевич бился с поляками на Устюжне.

Служебная и социальная значительность представителей верхов служилого класса в XVII веке характеризуется лучше всего участием их в думе и в управлении центральным аппаратом власти — приказами.

Замечательна последовательность и постепенность, с которой Пушкины достигали думных чинов. Выше было рассказано, при каких чрезвычайных обстоятельствах Евстафий Михайлович первым из рода Пушкиных получил думное дворянство при Борисе Годунове. Столь же необычно было думное дворянство, пожалованное первым самозванцем Гавриле Григорьевичу. При Василии Шуйском попал в думу третий Пушкин, и тоже в чине думного дворянина, — Иван Большой Михайлович. Со смертью последнего в 1611 году в думе оставался один представитель рода — Гаврила Григорьевич.

¹ Спиридов Матвей Григорьевич — сын адмирала Спиридова, сенатор и генеалог, зять историка князя М. Щербатова. Большая часть его трудов по генеалогии в пятнадцати портфелях не напечатана и хранится в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

При царе Михаиле Пушкины поднимаются на одну ступень выше. В 1619 году после сорокалетней службы был пожалован в окольничие старший в то время представитель рода — Никита Михайлович. Он был в это время уже глубоким стариком и в 1622 году умер. После его смерти в думе оставался один Гаврила Григорьевич, вышедший в отставку по болезни в 1626 году.

Таким образом, в последние десятилетия царствования Михаила Федоровича в думе не было ни одного Пушкина, и только к концу 1644 года, то есть незадолго перед смертью Михаила Федоровича, был пожалован в думные дворяне Григорий Гаврилович, сын думного дворянина Гаврилы Григорьевича, прославленного А. С. Пушкиным участника воцарения первого Лжедмитрия.

С воцарением Алексея Михайловича для Пушкиных начинается время блестящих успехов и наивысших достижений. Еще не выяснено, как и при каких обстоятельствах Григорий Гаврилович, Борис Иванович и другие Пушкины попали в приближение к царю Алексею. Особенно высокое положение в правящих верхах занял Григорий Гаврилович. В августе 1645 года за посольскую службу в Польше он был пожалован из думных дворян в окольничие. Таким образом, Григорий Гаврилович был вторым из Пушкиных, получившим окольничество. Третьим получил этот чин Борис Иванович за посольство в Швецию в 1646 году.

В том же 1646 году Григорий Гаврилович был назначен в полномочное посольство в Швецию и в связи с этой службой пожалован в бояре. Так Григорий Гаврилович был первым боярином в роде Пушкиных. Но милости царя Алексея этим не ограничились — в январе 1647 года он пожаловал Григория Гавриловича высоким званием оружничего. Одновременно ему было поручено заведование Оружейным и Ствольным приказами и Золотой и Серебряной палатами.

Менее значительным, пожалуй, даже заурядным человеком был младший брат Григория Гавриловича — Степан, пожалованный в окольничие в декабре 1648 года.

Григорий Гаврилович умер бездетным в 1656 году, и в том же году умер его брат Степан. После их смерти в думе не оставалось ни одного Пушкина, и только в последний год царствования Алексея Михайловича в думу был пожалован в чине окольничего старший сын Степана Гавриловича — Матвей.

Непонятно, почему Алексей Михайлович, относившийся к Пушкиным очень благосклонно, долго не пускал в думу Матвея Степановича, который еще молодым человеком в чине стольника в 1649 году был дворянином в полномочном посольстве в Польшу, а в ближайшие следующие годы постоянно был «при государе» и исполнял разные ответственные поручения. Матвей Степанович, после боярина и оружничего Григория Гавриловича, был самым значительным представителем рода Пушкиных в XVII веке.

Пожалованный в апреле 1674 года в окольничие, Матвей Степанович в следующем году был послом в Польшу, а в 1683 году был пожалован в бояре. В царствование Федора Алексеевича он был одним из самых выдающихся деятелей своего времени. После смерти царя Федора Матвей Степанович не сумел взять верный курс поведения в сложном переплете дворцовых переворотов, и его блестяще начатая карьера была, в сущности, окончена. Его служба на воеводстве в Смоленске и Киеве была по существу почетным удалением из Москвы. В 1690 году он был назначен ведать Расправную палату, то есть практически удален от дел. Наконец, в 1697 году Матвей Степанович, замешанный в дело Алексея Соковнина в связи с казнью его сына стольника Федора, был лишен боярства и всех вотчин и сослан в Енисейск.

Младший брат Матвея Степановича, Яков, представляется совсем малоизвестным человеком, сделавшим карьеру благодаря заслугам отца и брата. Он начал служить много позже своего старшего брата. При царе Федоре Яков Степанович служил заурядным стольником, не получая никаких ответственных служебных поручений. В конце 1688 года он был пожалован в окольничие, а в 1694 году — в бояре. Не причастный к делу Соковнина, Яков Степанович тем

не менее был удален в 1697 году от дел в свою касимовскую деревню, где и умер через два-три года.

Из младшей линии Пушкиных, к которой принадлежал Александр Сергеевич, вышел только один думец — Иван Федорович Шиш. В карьере его многое неясно. В 1646 году он был пожалован из жильцов в стряпчие, в 1650 году был уже стольником, и на этом его продвижение по службе остановилось. При Федоре Алексеевиче Иван Федорович Шиш был на воеводствах в Тобольске и на Верхотурье. В 1682 году он был пожалован в окольничие. В младшей линии Пушкиных, прямых предков А. С. Пушкина, Иван Федорович был первым думцем. Этим возвышением он был обязан, по-видимому, партии Милославских и, может быть, лично царевне Софье. О связях семьи Пушкиных, в которой вырос Иван Федорович Шиш, говорит то, что его старшая сестра Ирина-Анастасия была с 1641 года в замужестве за князем Иваном Андреевичем Тараруем Хованским.

Иван Андреевич Тараруй Хованский, фактический глава московских стрельцов, честолюбивый болтун (тараруй) и интриган, первоначально был сторонником Милославских и царевны Софьи и противником избрания на царство (после смерти Федора Алексеевича) Петра. Он возбуждал стрельцов требовать сопряательства царевичей Ивана и Петра и царевны Софьи. К мятежу присоединились раскольники, и были пущены в народ слухи, что Хованский жаелает при помощи стрельцов воцариться сам. В августе 1682 года Софья с царевичами бежала в Троицкий монастырь. Для защиты их быстро были собраны значительные силы дворянской конницы. Мятежные стрельцы заперлись было в Кремле и намеревались сопротивляться, но раздоры в их собственной среде заставили их смириться и просить пощады.

Софья приказала схватить Тараруя Хованского, и 17 сентября по дороге в Сергиев монастырь, в селе Воздвиженском, Иван Андреевич Хованский был задержан и казнен без суда.

В такой обстановке получил окольничество Иван Федорович Шиш Пушкин. При быстро изменившейся тогда политической обстановке Иван Федорович Пушкин, естественно, не мог удержаться на достигнутой высоте, и уже в 1684 году мы видим его удаленным на воеводство в Терки, на Северном Кавказе, что было по существу ссылкой, которую даже нельзя назвать почетной.

Дворяне в думных чинах — «советные люди» московских царей — не были верховным учреждением Московского государства. Ввиду распространенных представлений о боярской думе как учреждению следует напомнить, что у дворян, которых царь «пускал», или жаловал, к себе в думу, то есть в «советные люди», не было ни канцелярии, ни штата сотрудников, ни своего делопроизводства и архива решенных дел. Царь по своему усмотрению одних думцев назначал на воеводство в крупнейшие города государства — на Двину в Архангельск, в Великий Новгород, Белгород, Казань, Астрахань и т. д., — других отправлял послами в иноземные государства, иным поручал, «приказывал» какое-либо дело или целую отрасль управления, наконец, некоторых оставлял при себе в качестве постоянных советников по текущим вопросам государственного управления.

Так, можно сказать, что думный чин служилого человека свидетельствовал не о действительных служебных заслугах его, а об уровне, на котором он находился в среде правящих верхов государства. Для выяснения исторической роли лиц следует рассматривать их действительные службы в центральном аппарате власти и в местных ее органах.

В первые шесть лет царствования Михаила Федоровича, до возвращения из польского плена Филарета Никитича, несколько Пушкиных принимали участие в управлении приказами. Иван Михайлович (Ивашка) во время выборов царя Михаила был воеводой в Бежецке. В следующем году он был отозван в Москву и несколько месяцев ведал чрезвычайный приказ — Приказ сбора казачьих кормов. Этот приказ просуществовал недолго, и сбор денежного и хлебного жалования для казаков и стрельцов был передан Стрелецкому приказу, а Ивашка Михайлович был послан на воеводство в Астрахань. Это было очень важное на-

значение, так как в низовьях Волги только что перед этим было покончено с остатками самозванщины. После возвращения из плена Филарета Ивашка Михайлович в 1619—1621 годах управлял очень важным финансовым приказом — Большим приходом.

Думный дворянин Гаврила Григорьевич в 1613 году защищал от поляков Устюжну Железопольскую, а в сентябре послан воеводой в Вязьму, где был в 1614—1615 годах. В 1618 году ему был поручен Челобитный приказ, а сверх того в следующем году — Разбойный приказ.

Представитель младшей линии Пушкиных, Федор Семенович, в 1615—1616 годах ведал Ямской приказ — очень важное в то время учреждение, в ведомстве которого находилась не только непосредственно ямская гоньба, но и слободы ямщиков, расположенные во множестве городов.

Прямой предок Александра Сергеевича Тимофей Семенович непосредственно в центральном управлении не служил, но в 1616 году по поручению Посольского приказа произвел дозор и описание Романовского уезда, населенного служилыми татарами, у которых были постоянные столкновения и тяжбы с русскими людьми посада и уезда.

Ввиду того, что в XVII веке несколько Пушкиных служили в Челобитном приказе, следует сделать несколько дополнительных разъяснений по поводу этого любопытного учреждения. В общих сочинениях по истории Московского государства обыкновенно упоминается только об одной стороне деятельности дворян и дьяков Челобитного приказа. Челобитный приказ сравнивали как бы с собственной канцелярией царя, которая занималась принятием, рассмотрением и решением челобитных, которые население подавало царю во время его выходов из дворца. В действительности дьяк Челобитного приказа, всегда сопровождавший царя на выходах, принимая челобитные, писал на обороте их царский милостивый указ, который никогда не имел в виду разрешить дело. Дьяческие пометы на обороте челобитной были адресованы в соответствующий приказ и содержали приказание царя удовлетворить просителя, «а если за чем дело решить нельзя, то доложить об этом особо государю». Таким образом, первым назначением Челобитного приказа было побуждать все прочие приказы в зависимости от дела рассматривать и по возможности удовлетворять личные обращения к царю. Эта функция дворян и дьяков, ведавших Челобитный приказ, находилась в тесной связи с другой не менее важной компетенцией.

Дело в том, что подсудность лиц и дел в Московском государстве распределялась очень сложно между множеством ведомственных или территориальных приказов. Все должностные лица, начиная с самых верхов и до низа, находились вне компетенции общих приказов и, как тогда говорили, «судом и управой» были ведомы только в Челобитном приказе. Таким образом, дворяне и дьяки Челобитного приказа по самой сущности своих служебных обязанностей находились в постоянной близости к царю, а Челобитный приказ в правительственном механизме Московского царства был органом контроля и очень важным рычагом.

Перечислю теперь вкратце тех Пушкиных, которые в те же годы напряженной борьбы за укрепление власти после лихолетья Смуты служили в городах, в полковых и гражданских воеводствах.

Никита Михайлович был в 1613 году на Двине, в 1614—1616 годах — во Владимире, в 1617 году — в Арзамасе.

Григорий Григорьевич Сулемша в 1612—1614 годах был на Вологде, а в 1616—1618 годах — в Ярославле.

Тимофей Семенович в 1618 году — в Цывильске.

Михаил Евстафьевич в 1617 году — в Можайске, в 1620—1621 годах — в Чебоксарах.

Иван Иванович в 1616 году — воевода в полках в Михайлове, а в 1617 году послан в Ярославль собирать служилых людей для похода; в 1620—1622 годах — воевода на Верхотурье.

В 1617 году был заключен мир со Швецией, а в декабре 1618 года заключено на четырнадцать лет перемирие с Польшей. По договору о перемирии был произведен обмен пленными, и в числе русских пленников, задержанных поляками в 1610 году, возвратились на родину «государев отец» — патриарх Филарет Никитич и стольник Борис Иванович Пушкин. После двадцати лет всевозможных бедствий, голодовок и вражеских разорений наступило наконец время мирного труда. Фактическим правителем государства стал властный патриарх Филарет. Выше было упомянуто, что пребывание Бориса Ивановича Пушкина в плену вместе с Филаретом Никитичем не послужило на пользу сколько-нибудь заметным образом ни Борису Ивановичу Пушкину, ни его сородичам.

Непонятно, почему Борис Иванович Пушкин стал получать назначения только в конце жизни Филарета Никитича (умер 1 октября 1633 года). В 1630—1636 годах он ведал Разбойный приказ, в 1636—1640 годах был на весьма выгодном по тогдашним условиям воеводстве в Мангазее, а в 1642—1648 годах вторично ведал Разбойный приказ, причем в 1646 году, то есть уже при царе Алексее, был пожалован на старости лет в окольные чины. После успешного посольства в Швецию Борис Иванович в конце своей служебной карьеры был на воеводстве на Двине (1652—1656).

Кроме Бориса Ивановича, никто из Пушкиных в это время, то есть при патриархе Филарете и при жизни царя Михаила, в центральном аппарате власти не был. Зато на воеводствах в это время было исключительно много Пушкиных.

Никита Евстафьевич в 1625—1627 годах — в Сургуте.

Иван Никитич, после службы в 1619 году на Верхотурье, в 1623 году был в Мангазее, в 1632 году — в Кайгороде, в 1636—1637 годах — в Алатыре, в 1643—1647 годах — в Казани и в 1649—1652 годах — в Пельме.

Василий Никитич в 1627 году — в Пронске, в 1636—1637 годах — в Чебоксарах, в 1642 году — в Веневе и в 1644—1649 годах — в Якутске, где и умер на службе от сурового и непривычного для москвичей климата.

Борис Григорьевич Сулемшин в 1621—1622 годах был во Мценске, а в 1639—1641 годах — в Вязьме.

Воин Тимофеевич в 1629—1631 годах — в Березове и в 1636 году — в Брянске, где и умер на службе.

Петр Тимофеевич (прямым предком А. С. Пушкина) в 1624 году был полковым воеводой в Пронске, а в 1627—1628 годах служил в Тюмени.

По поводу воеводств в сибирских городах следует заметить, что эта служба была тяжелой, но считалась «корыстной», то есть весьма выгодной, так как назначенный в Сибирь дворянин получал полный оклад жалования на два года вперед, пользовался случаем провезти через верхотурскую заставу вино, а на обратном пути провезти ценные меха.

Младший брат Петра Тимофеевича, Федор, в 1630 году был в Каргополе, в 1633—1634 годах — в Севске, в 1638—1639 годах — в Торопце и в 1641—1642 годах — в Хотмышке.

О выдающейся деятельности в думе и на дипломатическом поприще Григория Гавриловича и Матвея Степановича было сказано выше. Здесь, в общем обзоре служебной деятельности Пушкиных при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче, следует прежде всего сказать об их службах в судебных приказах.

Выше было сказано, что Челобитный приказ играл в строе центральных учреждений Московского государства очень важную роль как учреждение, в котором были ведомы «судом и управой» судьи, дьяки, подьячие и прочие приказные люди всех приказов и ведомств. В 1618 и 1619 годах судьей Челобитного приказа был думный дворянин Гаврила Григорьевич. Возвратившийся из польского плена Филарет Никитич стал всюду расставлять своих людей, и Гаврила Григорьевич Пушкин был отставлен.

Судьями в Челобитном приказе были: с 1619 по 1627 год окольные Федор Леонтьевич Бутурлин, в 1627—1634 годах окольный князь Григорий Констан-

тинович Волконский, затем боярин Борис Михайлович Салтыков и окольный князь Федор Федорович Волконский. С воцарением Алексея Михайловича Пушкины появились вновь в этом важном приказе.

В 1645—1646 годах судьей Челобитного приказа был Григорий Гаврилович Пушкин. В 1646 году он был послан в полномочном посольстве в Швецию, а затем пожалован в бояре и оружничие и был освобожден от должности судьи Челобитного приказа. В 1650—1651 годах Челобитный приказ был поручен его младшему брату — окольному Степану Гавриловичу. Много лет спустя Пушкины еще раз появляются на том же поприще. В мае 1677 года в Челобитный приказ был назначен окольный Матвей Степанович. 19 декабря того же года все дела Челобитного приказа было велено передать Владимирскому судному приказу, в числе судей которого был Петр Петрович Пушкин, прямой предок поэта. В январе 1683 года Челобитный приказ был восстановлен и в него назначен князь Федул Федорович Волконский, но 9 февраля 1685 года Челобитный приказ был окончательно упразднен и дела его переданы Владимирскому судному приказу, которым в 1685—1687 годах управлял боярин Матвей Степанович Пушкин.

В дополнение к обзору служб Пушкиных в центральном управлении отмечу, что упомянутый выше Петр Петрович был судьей во Владимирском судном приказе в 1675—1679 годах, а Петр Михайлович Желтоух был там же в 1674—1675 годах, а в 1676 году — в Московском судном приказе.

В заключение обзора служебной деятельности Пушкиных во второй половине XVII века следует дать перечень их служб в городах.

Этот сухой перечень заслуживает внимания сам по себе и в качестве яркого контраста служебной и исторической незначительности родителей и ближайших предков А. С. Пушкина.

Окольный Степан Гаврилович, кроме служб на дипломатическом поприще и в Челобитном приказе, был на воеводстве: в 1643—1644 годах — в Рыльске, в 1646 году — в Одоеве, в 1647 году — в Устюге Великом, в 1653—1654 годах — в Путивле, и в 1654/55 году — в Смоленске.

Федор Федорович Сухорук в 1652—1653 годах — в Чугуеве.

Петр Михайлович Желтоух в 1648 году — во Мценске, в 1651 году — в Рязани, в 1653—1654 годах — в Козлове и в 1656 году — на Олонце.

Никита Воинович в 1650 году — в Козлове.

Петр Петрович в 1659—1660 годах — в Туле.

Иван Федорович Шиш в 1674—1676 годах — в Тобольске, в 1676—1679 годах — на Верхотурье и в 1684 году — в Терке (на Северном Кавказе).

Глава XII

УПАДОК ПУШКИНЫХ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVII ВЕКА

В третьей четверти XVII века Пушкины достигли зенита своей славы и могущества. В последней четверти века начинается упадок, завершающийся в последних годах катастрофой, которая навсегда вывела Пушкиных из среды московской правящей знати.

Обзор лучше всего сделать в порядке старшинства членов рода. Такой обзор лучше всяких обобщений даст представление о сложности процесса социального и бытового упадка старого дворянского рода.

Из четырех сыновей Евстафия Михайловича два были убиты в Смутное время и не оставили потомства. Его младший сын, Никита, имел одного сына, умершего без потомства в середине XVII века. У второго сына, Михаила, был один сын Петр и один внук, Михаил Петрович.

Петр Михайлович был выдающимся по службе и весьма богатым человеком. В Московском уезде ему принадлежало Александрово в Суроужском стану, а в

Орловском уезде большая вотчина — село Тагино на реке Оке при впадении в нее Бобрика. Сверх того он получил выморочную вотчину своего двоюродного брата Ивана Никитича в Костроме.

В 1648—1656 годах Петр Михайлович был на воеводстве во Мценске, Рязани, Козлове и Олонце, а в 1659 году на очень почетной должности — судьей Московского судного приказа. В 1660 году он был воеводой у тульских засек, а в 1674—1675 годах — во Владимирском судном приказе.

Единственный сын Петра Михайловича, Михаил, в 1679 году упоминается как стольник, и больше о нем ничего не известно. Он умер в декабре 1683 года без потомства, а в ноябре 1684 года умер и его отец.

В связи с отсутствием прямых наследников и вмешательством вдовы Петра Михайловича Марфы Федоровны, урожденной Мякининой, из Москвы был прислан дьяк Н. Насонов произвести опись вотчины Петра Михайловича Пушкина.

Опись Насонова дает интересную картину большого гнезда русского феодала конца XVII века. Описанный Насоновым дубовый острог на высоком берегу реки Оки при впадении в нее Бобрика был уже ветх. Вероятно, он был построен еще в то время, когда так называемая Белгородская черта укреплений не отодвинула далеко на юг оборону Орловского уезда от крымских татар.

Дубовый острог с двумя башнями над воротами был окружен стеной в 142 сажени, вышиной в две сажени и окружен рвом глубиной в две сажени.

В остроге были две железные пушки мерою по аршину, а к ним два пуда зелья и 18 ядер железных весом по полфунту. В селе Тагине и деревнях Поляне и Бобрике — 80 человек дворовых и деловых людей и 230 дворов крестьянских и бобыльских, а людей в них 1119 человек. Из подробной описи дьяка Н. Насонова приведу несколько показательных цифр. В хозяйстве вотчинника было более 169 лошадей с 35 жеребятми, 26 сох, 27 кос и 46 серпов; в житницах всякого хлеба урожая 1684 года — ржи, пшеницы, ячменя, овса, проса, гречихи, конопли и льняного семени 1173 четверти (пятипудовых). Далее в описи дьяка Насонова переписан подробно скот, домашняя птица и повинности крестьян.

С переходом вотчины к новому хозяину произошло замешательство, едва не окончившееся кровопролитием. Марфа Федоровна послала в Тагино своего приказчика собрать оброки, но крестьяне оказали неповиновение и вызвали жалобу Марфы Федоровны орловскому воеводе Тургеневу. Посланных Тургеневым людей крестьяне встретили «гилем» и «наказания учинить не дались, а ночью пришли на съезжий двор и посыльных людей били и во всем им отказали».

По жалобе на это Марфы Федоровны было велено послать из Москвы карательный отряд с приказанием пушких заводчиков «гиля», «водя по селу, бить кнутом нещадно, а иных велели бить батоги, снем рубашки, нещадно же, чтобы впредь неповадно им было так воровать и непослушным быть». К счастью, в дело вмешался своевременно Никита Борисович Пушкин и подал в Разряд челобитную, в которой просил не наказывать крестьян, так как по «указу государей» Тагино дано ему как ближайшему родственнику Петра Михайловича, а вдове последнего даны двор в Москве и три тысячи рублей из вотчин и имущества ее покойного мужа.

Никита Борисович был единственным внуком думного дворянина Ивана Большого Михайловича, убитого поляками в Москве в 1611 году. У Ивана Большого было четыре сына: Афанасий, убитый в молодости под Кромами, Иван, Борис и Федор. Все они, за исключением Бориса Ивановича, ничем не отличились и не оставили потомства.

Борис Иванович был одним из самых выдающихся представителей рода Пушкиных. В молодости он был в составе посольства московского боярского правительства к Сигизмунду, был задержан поляками и вышел из плена с Филаретом Никитичем и другими пленниками в 1619 году. В 1630—1636 годах он был судьей в Разбойном приказе, а затем отправлен послом в Швецию, где был в 1632—1633 годах. По возвращении из посольства он был на воеводстве в Ман-

газее и в Яблонице, а затем, в 1642—1648 годах, вторично заведовал Разбойным приказом, в 1646 году пожалован в окольничие. Самой значительной его службой было вторичное посольство в Швецию в 1649 году и заключение Стокгольмского мирного договора.

Единственный сын Бориса Ивановича, Никита, был совсем заурядным по службе человеком. Богатый сам по себе, он еще больше разбогател, получив выморочные вотчины своих близких родственников Петра Михайловича и Ивана Никитича.

Личная и семейная жизнь Никиты Борисовича сложилась весьма неблагоприятно. Своего единственного сына Афанасия он женил на Стефаниде Емельяновне Украинцевой, а дочь Софью выдал замуж за графа Николая Федоровича Головина, адмирала и президента Адмиралтейств-коллегии. Эти брачные связи очень характерны для времени глубокого брожения во всех слоях общества, времени церковного раскола и кануна реформ Петра I.

Николай Федорович Головин, верный соратник крутых и разносторонних реформ Петра I, сын боярина, фельдмаршала и одного из первых русских графов, принадлежал к старой и богатой фамилии Ховриных-Головиных и был в родстве с верхами московской знати. Емельян Игнатьевич Украинцев был, по тогдашним понятиям, совершенно безродным человеком, богат одаренным самородком из среды провинциальных подьячих. Он начал служить в Москве подьячим в 1665 году, в 1675 году стал дьяком Посольского приказа, в мае 1681 года получил думное дьячество, а затем стал «домовым дьяком», то есть как бы личным секретарем Петра I, и в апреле 1699 года был назначен на очень ответственную должность — послом в Турцию.

За время своей многолетней подьяческой и дьяческой службы Емельян Игнатьевич Украинцев правдами и неправдами обогатился и, выдавая свою дочь замуж за Афанасия Пушкина, дал ей богатое приданое, которое и стало предметом некрасивой тяжбы Емельяна Украинцева с Никитой Пушкиным.

Молодой стольник Афанасий Никитич Пушкин своим беспутным поведением и пьянством вызвал жалобу отца государям. Дело дошло до того, что в 1692 году он ворвался в дом отца «за Смоленскими воротами у Николы Чудотворца» (на Арбате) и избил отца и мать, за что «по указу государей» было велено отправить его «под начало» в Нилову пустынь Столбенского монастыря. Игумен Ниловой пустыни Пахомий доносил в Разряд, что Афанасий Пушкин буйствует и что у него нет ни людей, ни средств смирять его и стеречь. Несколько времени спустя Афанасий Пушкин бежал из монастыря, был пойман в семидесяти верстах и возвращен, но бежал вторично и, пойманный погоней, сказал, что он поехал в Москву просить прощения у отца. Дальнейшая судьба Афанасия Пушкина неясна. По-видимому, он был возвращен в монастырскую тюрьму, где и умер в 1694 году.

Его жена Стефанида Украинцева жила в это время во дворе свекра, «на Покровке в приходе у церкви всемирлостивого Спаса, что на Глинищах». По тогдашним обычаям и законам, бездетная вдова имела право потребовать от родителей покойного мужа все приданое, движимое и недвижимое имущество. Для обеспечения прав женщины обыкновенно писали перед браком особую «рядную запись», в которой описывали подробно все приданое. На этот раз рядной записи почему-то не оказалось, и вообще большое судебное дело Никиты Борисовича Пушкина с Емельяном Украинцевым, конец которого, к сожалению, утрачен, оставляет неясным очень многое в поведении тяжущихся сторон.

По словам Емельяна Украинцева, его дочь после смерти мужа жила в доме свекра, то есть Никиты Пушкина, одна, «в нужде и в небрежение от слуг». Он-де взял ее к себе с разрешения государей и захватил те иконы, которыми ее благословили свекор и свекровь, да «остаток приданого», а что именно и сколько он взял, того он не помнит, так как Никита Пушкин семь лет молчал, а теперь (в 1699 году) затеял поклепный иск.

Возможно, что вдова Стефанида и сам Украинцев воспользовались случаем прихватить кое-что сверх приданого, но и поведение Никиты Пушкина представляется неумным и нечистым. Затеявши дело о грабеже, Никита Пушкин вначале уклонялся от представления списка отнятых у него грабежом вещей, хотя знал, что без списка подобные челобитные по закону не подлежат рассмотрению. Представленный им затем список явно содержал множество предметов, не имевших никакого отношения к приданому его невестки, а оценка предметов была преувеличена до фантастичности.

Между прочим, Никита Пушкин написал в росписи «грабежа»: «Чепь золотая, большая, с персоною золотой, около персоны камня — алмазы и яхонты и изумруды. Персона свейские королевы Христины. Цена 1000 рублев, весом в 10 фундов». На это Емельян Украинцев, как знаток посольского дела, возразил, что в статейном списке Бориса Ивановича Пушкина, хранящемся в Посольском приказе, сказано, что он получил в награду (в 1649 году) цепь с персоной королевы Христины, а весу в ней всего 2 фунта 57 золотников.

Дело Никиты Пушкина осталось незавершенным, так как по именному указу Петра I от 22 апреля 1699 года Емельян Украинцев был назначен чрезвычайным послом в Турцию, и его дело с Никитой Пушкиным было велено отсрочить до возвращения Украинцева из посольства.

Смерть несчастного Афоньки Пушкина в монастырской тюрьме и поклепный иск Никиты Пушкина сами по себе бросают тень на доброе имя Никиты Борисовича Пушкина. Еще худшее впечатление производит его многолетняя тяжба с князем Андреем Федоровичем Шаховским.

Стефанида Украинцева после смерти мужа получила из его поместья прожиток в сто семьдесят шесть четвертей земли с двенадцатью крестьянскими дворами и в 1695 году вышла замуж за князя Андрея Федоровича Шаховского. Никита Борисович Пушкин, при большом личном богатстве и при двух наследствах, полученных от бездетных родичей, вознамерился отнять у своей бывшей невестки ее прожиток. Более пяти лет он судился с князем Андреем Шаховским, пуская в ход подложные документы и всевозможные обманы. К сожалению, судное дело об этом дошло до нас в неполном виде и без конца.

Следует отметить, что Никита Борисович Пушкин в это время был одиноким стариком. Он вскоре постригся в Троицком монастыре и умер в 1719 году, не дожив одного года до ста лет.

Едва ли для него большим утешением был брак его дочери Софьи. Его зять граф Николай Федорович Головин, находясь на службе в Дании, завел там побочную семью и имел несколько детей, из которых один, Петр-Густав, впоследствии был генерал-майором датской службы.

У следующего по старшинству представителя рода Пушкиных, у окольного Никиты Михайловича, был один внук, Андрей, имевший одну дочь. Так пресеклась и эта отрасль рода.

У Григория Григорьевича Сулемши было два внука — Иван Борисович и Федор Иванович, не оставившие мужского потомства. Дочери Ивана Борисовича были замужем: Прасковья — за стольником князем Семеном Федоровичем Борятинским, а Анна — за стольником (с 1685 года окольным) Иваном Алексеевичем Головиным.

Сыновья Гаврилы Григорьевича, прославленного А. С. Пушкиным в «Борисе Годунове», Григорий и Степан, и внуки, Матвей и Яков Степановичи, были самыми значительными по службе представителями рода. Григорий Гаврилович, выдающийся дипломат, был первым боярином в роде Пушкиных. Он не имел детей, и большая часть его вотчин досталась его брату Степану.

Сыновья Степана Гавриловича, Матвей и Яков, были своими людьми в среде царской родни Милославских и горячими приверженцами «старой веры», а по связи со старообрядчеством принадлежали к консервативным и реакционным кругам конца XVII века.

А. С. Пушкин в черновых набросках ответа на журнальные нападки писал о древности его рода и, между прочим, о Пушкиных в смутное время междуцарствия, наступившего после смерти Федора Алексеевича (апрель 1682 года): «При Петре они были в оппозиции, и один из них, стольник Федор Алексеевич (ошибка, следует. Матвеевич. — С. В.) был замешан в заговоре Цыклера и казнен вместе с ним и с Соковниным».

Про казненного стольника Федора Матвеевича А. С. Пушкин в «Моей родословной» писал:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

Выражения «оппозиция» Пушкиных деятельности Петра I и «неукротимость» родни Федора Матвеевича Пушкина представляются неудачной и неверной характеристикой сообщников Алексея Соковнина и Ивана Цыклера. Немного дерзко звучит и выражение, что Федор Матвеевич Пушкин был повешен (не повешен, а обезглавлен. — С. В.) за то, что «не поладил» с Петром I.

Очевидно, что А. С. Пушкин не знал, в чем выразилась «оппозиция» Пушкиных, не знал, что одновременно с казнью Федора Матвеевича его отец, боярин Матвей Степанович, был сослан в Сибирь, а дядя, боярин Яков Степанович, был удален от дел и отправлен в его деревню и что вообще катастрофа 1697 года не ограничилась тем, что Федор Пушкин был казнен, — она вывела навсегда весь род Пушкиных из среды московской знати и из правящих верхов государства.

Следственное дело о заговоре Алексея Соковнина и его сообщников не сохранилось или пока еще не найдено, но мы имеем достаточно данных, чтобы выяснить причины и сущность катастрофы, разразившейся над Пушкиными в 1697 году.

Главой заговора были Алексей Прокофьевич Соковнин и стрелецкий полковник думный дворянин Иван Елисеевич Цыклер. Стольник Федор Пушкин, сын боярина Матвея Степановича, женатый на дочери Алексея Соковнина, был второстепенным соучастником заговора. Среду, из которой вышли заговорщики, характеризуют следующие справки.

Соковнины в среде московской знати были совсем «новыми» людьми. Они поднялись очень быстро из совершенно заурядных лихвинских и карачевских детей боярских путем брачных связей с Милославскими и Морозовыми. Борис Иванович Морозов по своей жене Анне Ильиничне Милославской был шурином царя Алексея, женатого на Марье Ильиничне Милославской. Федор Прокофьевич Соковнин, старший брат Алексея, заведовал Мастерской палатой царицы Марьи Ильиничны, затем был пожалован в думные дворяне, в 1676 году в окольные, а в 1682 году (после смерти царя Федора) в бояре. Столь необычно быстрое возвышение безродного провинциального дворянина объясняется тем, что его сестры были замужем — Федосья Прокофьевна за Глебом Ивановичем Морозовым, старшим братом царского шурина Бориса Ивановича, а Евдокия Прокофьевна была замужем за боярином князем Петром Семеновичем Урусовым.

Наконец, следует прибавить, что одна из дочерей Алексея Прокофьевича Соковнина, Софья, была замужем за Александром Ивановичем Милославским.

Известно, какими яркими поборницами старой веры были боярыни Федосья Морозова и Евдокия (Прасковья) Уророва. Они держали себя вызывающим образом, а их родство и близкие связи с царствующим домом ставили царя Алексея в очень затруднительное положение, из которого он долго не решался выйти.

В 1669 году 3 марта скончалась царица Марья Ильинична, но только в ноябре 1671 года царь Алексей решился наконец дать приказ о заключении под стражу Федосьи Морозовой. Никакие гонения не могли сломить упорства ярых защитниц старой веры, и в 1675 году они были «казнены» царем Алексеем, потерявшим надежду укротить ярых раскольников.

Так, можно сказать, что Федор Матвеевич Пушкин, женившись на дочери Алексея Прокофьевича Соковнина, попал в самую гущу старообрядчества и в ту придворную среду, которая группировалась вокруг Милославских. Хорошо известно, что старообрядчество было не только приверженностью к старым церковным обычаям и старой вере, но сочеталось с консервативностью и даже реакционностью в вопросах политики и социального уклада жизни.

С Милославскими и приверженцами старой веры из среды московских стрельцов Пушкиных связывали не только брачные союзы с Соковнинными и Морозовыми. Родная сестра Ивана Федоровича Шиша Пушкина (с 1682 года окольничий), Ирина Федоровна, вышла замуж за боярина князя Ивана Андреевича Тараруя Хованского как раз в те годы, когда Федосья Морозова и Прасковья Урусова вели ожесточенную борьбу за старую веру. Известно, что глава московских стрельцов замыслил произвести при помощи стрельцов дворцовый переворот, но в сентябре 1682 года по приказанию царевны Софьи был вызван из Москвы и убит без всякого суда и следствия в селе Воздвиженском, по дороге из Москвы в Сергиев монастырь, в котором укрывались под защитой дворян и оставшихся верными частей войск царевичи Иван и Петр и царевна Софья.

Царь Алексей Михайлович оставил после себя тяжелое наследство: родню от двух жен, Милославских и Нарышкиных, и трех наследников, из которых два старших — Федор и Иван — по слабости здоровья не были способны править большим государством, вступившим в период глубоких, давно назревших реформ. При жизни царя Федора неустойчивое равновесие власти поддерживалось инерцией и заведенным исстари порядком, но после его смерти (апрель 1682 года) наступил длительный период дворцовых смут и борьбы сторонников двух жен царя Алексея, Милославских и Нарышкиных, в которую были втянуты большие массы московских стрельцов, значительная часть московского дворянства и недовольные правительством приверженцы старой веры.

В этом бурном периоде многовластия и в то же время безвластия Пушкины не выдвинули из своей среды ни одного значительного человека, которого можно было бы считать принципиальным противником Петра I и его смелых и решительных начинаний.

Самым крупным представителем фамилии Пушкиных был Матвей Степанович. Он начал служить при царе Алексее и в 1649 году в чине стольника был в составе посольства в Польшу его дяди, боярина Григория, и отца, окольничего Степана Гавриловичей. В ближайшие последующие годы Матвей Степанович находился при царе и принимал участие в приеме послов. В 1656 году он сопровождал царя в его походе к Полоцку и Смоленску. В 1672—1675 годах он был на очень ответственном в то время месте — на воеводстве в Смоленске, в апреле 1674 года пожалован в окольничие, а в следующем году был послом в Польшу. После смерти царя Алексея Матвей Степанович продолжал получать ответственные поручения и продвигаться успешно по службе.

После возвращения из посольства в Польшу он был послан воеводой в Киев, а в 1679 году — в Астрахань. После смерти царя Федора ему были поручены Разбойный и Сыскной приказы, а в 1683 году он был пожалован в бояре и послан в Смоленск, а затем в Киев. При правительнице царевне Софье Матвей Степанович ведал Владимирский судный приказ, а после заключения царевны Софьи в монастырь назначен в 1690 году в Расправную палату, высшее судебное учреждение государства. На этом окончилась его служебная карьера.

Был ли он в «оппозиции» начинаниям Петра I и как относился к заговору Соковнина и Цыклера, неизвестно. Следствие по этому делу сначала не дало никаких улик против Матвея Степановича. 20 февраля 1697 года он был назначен на службу в Азов, что было со стороны царя немилостью, но не опалой. 21 февраля он присутствовал на богослужении патриарха в Успенском соборе. Однако следствие дало какие-то новые данные о причастности Матвея Степановича к заговору, и после казни заговорщиков (4 марта) он был лишен бояр-

ства, все его имущество отписано в казну, и он был сослан в Енисейск, где вскоре и умер. Отправляясь в ссылку, Матвей Степанович взял с собой внука Федора, который тоже вскоре умер в Енисейске.

Младший брат Матвея Степановича, Яков, судя по всему, был заурядным человеком. Нам не известно ни одной его сколько-нибудь значительной службы. Он получил окольность в конце 1688 года, а затем, около 1694 года, был пожалован в бояре. В заговоре Соковнина со стороны Якова Степановича прямой вины не было, но Петр I нашел нужным удалить его из Москвы, не лишая боярства. 24 марта 1697 года государь «указал быти на Белеозере у строения Кирилова монастыря боярину Якову Степановичю Пушкину. А без указа великого государя к Москве ему от того дела не ездить; и с Москвы к тому делу ехать ему вскоре». В сентябре того же года государь указал боярину Якову Степановичю Пушкину «с Белаозера ехать в касимовскую свою деревню и быть ему в той деревне до своего, великого государя, указа, а из той деревни к Москве и в иные свои деревни ему не ездить».

Яков Степанович пробыл в ссылке недолго и умер в своей касимовской деревне около 1699 года. У Якова Степановича мужского потомства не было, а были две дочери: Марья, о которой ничего не известно, и Ирина. Ирина Яковлевна в первом браке (с 1700 года) была за стольником князем Петром Ивановичем Шаховским (умер в 1706 году), во втором браке — за полковником князем Петром Федоровичем Мещерским и, наконец, в третьем браке (с 1716 года) — за стольником Иваном Ивановичем Цыклером, сыном казенного полковника и думного дворянина Ивана Елисеевича Цыклера.

Так бесславно пресеклась самая выдающаяся отрасль рода Пушкиных.

В конце XVII века оставались в наличии следующие представители рода.

Иван и Федор Ивановичи, сыновья Ивана Федоровича Шиша. Иван Иванович в 1680 году был стольником, в 1693 году сопровождал Петра I в его поездке в Архангельск, а в 1703 году был капитаном Тверского пехотного полка. В 1705 году он был еще на службе, а 8 марта 1718 года, незадолго до смерти, написал духовное завещание. Все свои вотчины за отсутствием потомства у него самого и у его брата Федора, умершего в конце XVII века, Иван Иванович оставил своим троюродным братьям, Петру и Федору Петровичам.

Так угасли одна за другой отрасли рода Пушкиных, и в начале XVIII века в наличности оставались только указанные братья Петровичи — Петр Петрович, прапрадед А. С. Пушкина, и его брат Федор, умерший бездетным в 1728 году. По службе Федор Петрович был совершенно заурядным человеком. Немногим значительнее был его брат Петр Петрович. Он родился в 1644 году и к тридцати годам едва дослужился до чина стряпчего. В 1675—1679 годах он был дворянином — судьей во Владимирском судном приказе. В 1673, 1681 и 1689 годах принимал участие в Крымских походах, а в 1681—1682 годах в качестве выборного от московского дворянства принимал участие в совещаниях выборных, созданных для устройства ратного дела, и, между прочим, был участником собора, отменившего местничество.

Обзор Пушкиных в последней четверти XVII века в порядке старшинства, несколько скучный для чтения, дает возможность сделать интересные наблюдения. Прежде всего следует сказать, что упадок рода Пушкиных нельзя объяснить какой-либо одной причиной. Мы видим, что он обуславливался несколькими причинами, не имевшими между собой никакой связи и ничего общего.

На первом месте следует поставить несомненный и трудно объяснимый факт — исключительно большое количество лиц, умиривших без мужского потомства или совершенно бездетными. В XVI веке и в Смутное время значительная смертность без потомства объяснялась участием молодежи в походах и боях. В XVII веке Пушкины, как и другие дворяне верхнего и среднего слоев, стали царедворцами, командирами воинских частей, дипломатами и градоправителями. Поэтому бездетность многих Пушкиных объясняется какими-то другими причинами, для выяснения которых мы пока не имеем необходимых материалов.

На некоторых семьях рода Пушкиных заметно влияние переходного времени, когда в материальный быт, в семейную жизнь, в верования и нравы Московской Руси властно врывались иноземные влияния, когда рушились старые устои жизни, а заимствованные наспех чужеземные новшества вызвали соблазн и подражание, давая очень мало положительного и полезного в повседневной жизни.

Иван Афанасьевич Желябужский, родственник Пушкиных, в своих замечательных по правдивости «Записках» в простых и выразительных чертах обрисовал грубость и распущенность нравов последней четверти XVII века. Вполне в духе «Записок» Желябужского были описанная выше семейная жизнь Никиты Борисовича Пушкина и смерть в монастырской тюрьме его несчастного сына Афоньки.

Тесные связи самых выдающихся по служебному положению Пушкиных со старообрядчеством и с мятежными стрельцами сыграли в упадке рода Пушкиных значительную роль, но, конечно, катастрофа 1697 года, разразившаяся над Пушкиными, не имела бы таких губительных последствий, если бы она не совпала с другими симптомами упадка всего рода в целом.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Иванов. Драгоценные свидетельства.— **Г. Березкин.** Наш общий мир.—
В. Лакшин. От рукописи — к книге.— **С. Львов.** Возвращение к простейшим истинам.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Буртин. Война и хлеб.— **А. Володин.** Книга. История. Человек.— **В. Савченко.** Колхозник: крестьянин или рабочий?— **Ю. Моисеев.** О братьях наших меньших.

Литература и искусство

ДРАГОЦЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

А. Старцев. Русские блокноты Джона Рида. «Советский писатель». М. 1968. 288 стр.

В 1952 году в нашу студенческую группу влилось несколько студентов из Ташкентского университета. У одного из них было очень странное имя — Джонрид. Пришлось ему объяснить нам — и, наверное, уже не первый раз в своей жизни, — что был такой американский революционер Джон Рид, что участвовал он в съезде народов Востока и там его увидел отец нашего узбека. Американец вскоре умер от тифа, и в память о нем отец решил назвать его именем своего первенца. Так мы, двадцатилетние, в первый раз услышали о Джоне Риде. Спустя несколько лет знаменитая книга Рида — «10 дней, которые потрясли мир» — была переиздана массовым тиражом, ее вновь узнали и полюбили миллионы. Сейчас Джон Рид — фигура легендарная настолько, что в исторических и беллетристических описаниях реальный человек, родившийся в Портленде, штат Орегон, 22 октября 1887 года, отступает куда-то в тень, а вместо него появляется некий монумент, говорящий отрывками из очерков, газетных статей и частных писем. Вот почему особенно приятно рассказать о кни-

ге, которая знакомит нас с подлинным Ридом, показывает его в беспрестанном действии.

А. Старцеву повезло. Он первый из советских историков и литературоведов держал в руках фотокопии русских блокнотов Джона Рида, а вскоре познакомился и с подлинниками этих записей, хранящимися в фонде жены Рида, Луизы Брайант, в Гарвардском университете в США.

И что это за записи! Одни из них сделаны в коридорах Смольного, другие в Зимнем дворце за несколько часов до штурма, третьи на Втором Всероссийском съезде Советов. Джон Рид записывал происходящее сразу же в момент событий. Сохранилось семьсот блокнотных страничек с записями за 1917 и 1919—1920 годы. Многие из блокнотных записей Рида послужили ему источником при создании «10 дней...», но некоторые остались неиспользованными и хранят неизвестные детали революционных событий. А. Старцев расшифровал большинство этих беглых репортерских записей, перевел их на русский язык, опубликовал и прокомментировал многие из них.

Русские блокноты Рида показывают, каким превосходным журналистом он был. При сборе информации его главным правилом было — все видеть и слышать самому. В Петрограде находилось тогда немало хороших репортеров. Но все они группировались строго по своим политическим симпатиям. Нельзя было себе представить, чтобы корреспондент «Рабочего пути» или «Новой жизни» взял интервью у капиталиста Рябушинского, а репортер его газеты «Утро России» интервьюировал, скажем, Володарского. Политические симпатии Рида были также вполне определенными: он приехал в Россию социалистом-интернационалистом, с первых дней знакомства с обстановкой стал сочувствовать большевикам. Но это не мешало ему идти к капиталисту Лианозову и беседовать с ним, брать интервью у Бурцева и являться к «само-му» министру-председателю Керенскому. Где нужно, он показывал документы «союзного» американского посольства и русского Военного министерства, где нужно — Петроградского Совета и Военно-революционного комитета. И проникал всюду, находил нужных ему, сведущих в политическом положении людей. И записывал, записывал в свои блокноты...

Рид быстро учится русскому языку, отмечает особенности русского быта и жизни. Чего стоит, например, упоминание в одном месте с английской транскрипцией таких знаменитых русских слов, как «авось», «образуется», «как-нибудь!» Можно утверждать, что накануне и в момент Октябрьского восстания в Петрограде не было другого журналиста, который был бы так всесторонне, объективно и надежно информирован о действительном положении дел, как Джон Рид.

И через два года, став одним из деятелей Коминтерна, Джон Рид останется верен себе как журналисту. Еще перед приездом в Москву в конце 1919 года он записывает себе в блокнот: увидеться не только с Коллонтай, Луначарским, Лариным, но и с лидером меньшевиков Мартовым, собирается сам ознакомиться с работой ЧК, с жизнью в деревне. И он выполняет эту программу, в его блокнотах остались потрясающие свидетельства жизни советских людей в период гражданской войны. Вот Рид на бывшей фабрике Коншина, около Серпухова. Он описывает внешний вид комнаты, беседу: «Комната, где нас поили

чаем. Поджаренные крошки хлеба. Пять икон. Портрет Ленина. Антирелигиозный плакат. Тараканы. «Наша Советская власть!», «Когда в Америке будет революция?» Замерзают, голодные, без сил, в лохмотьях, но горят революционным огнем».

Книга А. Старцева — это книга о русских годах жизни Джона Рида, а не только о его блокнотах. Читатель найдет здесь много интересного биографического материала, отрывки из статей Рида, опубликованных в американских газетах. Он узнает, что все эти годы Рид был фактически инвалидом — в 1916 году у него удалили одну почку, — узнает подробности его рискованных нелегальных путешествий из Советской России и обратно, петроградские и московские адреса писателя. Все это насытно, важно и интересно. Жаль только, что о русских блокнотах сказано сравнительно мало, а количество цитат из них не так велико. При этом если в чтении блокнотов Джона Рида и переводе их заслуги автора неоспоримы (хотя А. Старцев и отмечает, что отдельные записи пока не поддаются расшифровке), то некоторые его комментарии вызывают возражения. В записи упомянутой беседы Рида с С. Г. Лианозовым есть следующее место: «Не для печати: Америка вступила [в войну] не ради идей. Ослабить могущество Англии. Америка — первая страна, добившаяся свободы морей. Мирная конференция. Финансирование всего мира. Внешняя политика России будет не такова, как при старом режиме. Горное дело и железнодорожное строительство. Золото, металл, нефть. Нефтяную промышленность нужно будет трестировать. Концессии. Кадетское правительство будет вполне современным правительством. Не столь просто, как с Аляской». А. Старцев комментирует эту широкую программу следующим образом: «Последней фразой Лианозов напоминает об американской покупке Аляски у царского правительства и хочет, как видно, предупредить, что покупка промышленных богатств России у кадетского правительства обойдется американцам дороже». Нельзя не видеть произвольности и упрощенности подобного толкования. Новейшими исследованиями историков российского империализма показано, что русские капиталисты и правительство, вступая в переговоры и сделки с капиталистами Запада, всегда преследовали прежде всего свою выгоду, надеясь

привлечь иностранный капитал для развития производительных сил России. Что же касается концессий, то о желательности их получения неоднократно говорил и В. И. Ленин в первые годы советской власти.

Есть в книге и другие недостатки. Не выдержан ее жанр. Это и не научно-популярная книга, и в то же время не строго научное издание, особенно с той стороны, кото-

рая как раз более всего интересна — как первая (если не считать журнального варианта) публикация русских блокнотов Рида. Если с правовой точки зрения возможно опубликование в СССР всех без исключения блокнотных записей Джона Рида, то появления в свет такой книги следовало бы добиваться.

В. ИВАНОВ.



НАШ ОБЩИЙ МИР

Алексей Пысин. Меридианы. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского Г. Пагирева. «Советский писатель». Л. 1968. 151 стр.

Алексей Пысин, автор вышедшей недавно в переводе на русский язык книги стихов и поэм «Меридианы», начал писать давно, сразу же после войны. Шесть его сборников изданы в Белоруссии. Да и «Меридианы» — не первая его книга на русском языке: были до этого два поэтических сборника, отмеченных печатью таланта несомненного, но в те годы еще «робкого», как бы светящего в полнакала, в полмеры своей человеческой сущности.

Не равноценен и сборник «Меридианы» — в нем легко обнаружить и очевидные срывы то в поверхностно-однозначное, то в ложную красоту, то в небогатые чувством и мыслью чувствительность и «глубокомыслие». Но при этом в «Меридианах» — весь человек, весь его опыт, вся судьба во всей их разнообразной соотнесенности с миром и временем. Поэт заявил здесь о себе со всей убедительностью дарования хоть и неровного, но истинного и, главное, глубоко приверженного лучшим заветам родной литературы.

Белорусская поэзия в ее наиболее совершенных образцах прежде всего сильна чувством «материковой» народной толщи, твердым знанием, что обязанностям стихотворца предшествуют обязанности «обыкновенного» человека, равного всем в мире практических интересов и нужд, ощущением равновозможности жребия (употребим вышедшее из обихода слово) поэта и его героев.

Именно эти качества свойственны и Алексею Пысину, чье творчество — при всех, повторяем, слабостях отдельных произведений — подкупает естественной верностью «основе и корню» жизни всеобщей.

По-разному проявляется эта привязанность поэта к общему: наглядно и просто — в «рассказывающих», сюжетных стихах; опосредствованней и сложнее — там, где в самом типе лирического переживания, в его эмоциональном составе выступает способность автора вбирать чужое, делать его своим.

Хороши, как нам кажется, у А. Пысина стихи первого рода — чисты, сердечны, полны негромкого сочувствия к радостям и печалям других людей. Например, «Песня» — о том, как «женщины из слободы Козельской» ехали на фестиваль, в район, и как они, стоя за сценой, «забыли песню, что готовили...»

Сугробы стынут. Небо яркое.
Былое подошло:
Привиделось им лето жаркое,
Дальнее жниво.
На переправе — хлопец-лодочник,
И щебет птиц над ней...

И вдруг запели про лебедушку,
Про вороных коней.

Сын «босого племени подпасков», не понаслышке знающий, «чем томилась добрая земля», А. Пысин пишет о современной деревне со всей достоверностью, доступной своему в ней человеку. Без приторной орнаменталистики и лыстивого подлаживания к «хлеборобу». Не закрывая глаз на сложное.

Вот «Барколабовские соловьи» — о сельских девочках, рвущихся в далекий мир, на стройки, на целину... Десять лет тому назад А. Пысин писал о том же бездумно декларативно: «А если надо — едут смело на Ангару и на Иртыш». В новом стихотво-

рении есть раздумье, есть жизненная диалектика... Девчата едут? Ну что ж, счастливой дороги,— на то и молодость, чтобы стремиться туда, где трудно. Однако должно ведь у молодежи быть и чувство долга перед отцовской землей — как сочетать одно с другим?.. И стихотворение заключают строки, весьма непростые по настроению,— в них и признание правоты молодости, и добродушный упрек, и грусть:

Будь, реченька, ревнивою,
Не мсти, но вечером
Ожги, ожги крапивою,
Как выйдут босиком...

Сам же поэт связан с взраставшей его крестьянской почвой связью нерасторжимой, устойчивой, но вместе с тем и подвижной, исполненной суровой памяти о пережитом, прежде всего о войне.

А. Пысин говорит о войне как о непосредственной живой реальности, настойчиво продолжающейся в опыте его сегодняшних размышлений и переживаний. Иногда в какой-нибудь одной летучей, совсем необязательной с виду подробности дают о себе знать эги характерные для мировосприятия А. Пысина смещенность времен, «сцепление» прошлого с настоящим. «Папироска холодная тухнет. Тороплюсь — еще отдых далек. Может, часом, походная кухня мне оставила свей уголек?»

Но чаще эта неуступчивость и неизбывность военной памяти выражаются поэтом через прямое лирическое высказывание, в котором и гордость от знания, что и ты был там, со всеми вместе, и тоска по невозвратно ушедшей юности, и не оставляющее ни на миг чувство морального долга перед теми, кто не вернулся с поля боя. Это последнее чувство до такой степени неистребимо в поэте, до того сильно владеет всем его существом, что, даже говоря о своем уходе из жизни, он не может его представить иначе, как только возвращение к погибшим товарищам:

Будут травы над курганом. Будут
Собираться в стаи журавли.
Нас, наверно, люди не забудут,
Вспомнят тех, что в битве полегли...

Муравей свою поклажу тянет,
Гнутся травы, небосвод тяжел.
Знайте же — когда меня не станет,—
Я в свою дивизию пошел.

Поэзия А. Пысина — почти вся на стыке, на пересечении его крестьянской и фронтовой биографий. Умирая, солдаты у А. Пысина тревожатся об одном: «Чтоб не затмился дол зеленый, чтоб град колосья не побил». Они — народ, и в каждом их шаге, помысле, действии не только стойкость и мужество, а и тяжкий груз забот о жизни, о земле, о доме.

Вот еще одно стихотворение А. Пысина о войне:

Далекий отсвет канонады.
Топочут громы, как слоны.
Идем без строя, без команды
Под балалайку в три струны.
Патроны. Антрацит — махорка,
Отстал простуженный баян
С повозками.

Скороговорка
Знакомой песни люба нам...
Деревня в сумраке лесистом.
Польнь седая у стены.
«Семеновну»

 поем со свистом,
Как будто мы идем с войны.
Поем, поем, пока поется,
Поют и ветер и сосна.
Никто не знает, где порвется
Неотзвучавшая струна.
Сухой песок, сухие гати,
Сухой туман балтийских вод..
На дюны пал сержант Игнатев —
Умолк осиротевший взвод.
Чернеют выжженные дюны,
Чернеет глыба валуна.
Стекают порванные струны
Семеновна,

Ивановна...

Отличное, на наш взгляд, стихотворение... Краткое веселье, удаль, беззаветность. И вдруг этого смятенный трагический поворот! Была нехитрая песенка-скороговорка — стала вздохом боли и горечи. Была «Семеновна» — стала Семеновной, Ивановной, огромным множеством солдатских вдов, невест, матерей...

Да простится нам столь обильное цитирование: ведь мы представляем читателю поэта, которого он не знает (или знает плохо, неполно), но которого он должен знать! Приведем небольшой отрывок из лирической поэмы «Белый камень» — о солдате-фронтовике, оказавшемся после госпиталя на «поправке» в приуральской степи. Послушайте, как пронзительно и щемяще звучит здесь хорошо нам памятный с военной поры и до срока хранившийся в душе поэта мотив разлуки с родной стороной:

Мне ждать уж неоткуда писем,
 Все адреса мои в огне,
 И сам я временно прописан
 Здесь, в незнакомой стороне,
 Среди горьких трав и дикой мяты,
 Среди нехоженых степей,
 Степей некошенных, немятых,
 Что ждут напрасно сыновей.

И как выход — пусть и ненадолго, на
 время, — как разрешение душевного кризи-
 са — приобщение к простейшим вещам, к
 труду и быту обитателей и хозяев степного
 края:

Подай, Нияз, пока не поздно,
 Бугурусланскую косу,
 Пойдем сбивать, покуда росно,
 Верблюжью горькую росу.

Война с ее неслыханными испытаниями,
 жертвами, кровью, ее сегодняшнее осмыс-
 ление поэтом обострили его ощущение род-
 ственной близости к изначальным и вечным
 ценностям жизни, ощущение своей зависи-
 мости от прошедших времен и от времен,
 что наступят позднее. И в этом отношении
 А. Пысин схож с такими поэтами, как
 К. Кулиев, А. Тарковский, А. Кулешов.

У А. Пысина много непринужденных и
 емких образных формул преемственности,
 движения, передачи духовного опыта из
 поколения в поколение, из рода в род. Его
 отличает ясное понимание, что ничто в этом
 опыте не пропадает, не уходит бесследно,
 что все остается с людьми и в людях.
 «Плавно крутится наша планета, и в ее
 завершеном витке все, что пройдено, все,
 что пропето, остается, как пряжа в витке»
 (перевод Ф. Ефимова).

Белорусскому поэту близка и понятна
 человеческая способность начинать заново,
 с каждой новой весной, с той «маленькой
 капелькой лесной», которой откликаются
 подземные ключи и поддается слежалый
 снег. Знобящая свежесть рассвета, бодрость
 утреннего пробуждения — во многих стихо-
 творениях сборника «Меридианы»: «На заре
 (в оригинале: «на выкате дня». — Г. Б.)
 ощутимей вдвойне зябкий ветер грядущего
 века», «мир незнакомый, неоткрытый ко мне
 горопится прийти».

И он же, Пысин, находит прямые, чуть
 омраченные печалью слова, чтобы сказать
 о поре листопада, когда «понятно все и
 всем», о конечном и неотвратимом: «Пусть
 упадет мой день, как желудь спелый, с ту-
 гим запасом жизнотворных сил». И еще
 речче, мужественней и прямой:

Камень. Тугоплавкий пласт псд плугом.
 Целина — сурепка и лопух...
 Пожеланье есть: да будет пухом.
 Что ж — еще проверим этот пух...

У А. Пысина есть своя образная система,
 которая — от целостности и единства судь-
 бы, сосредоточенной в самой себе и одно-
 временно разомкнутой, обращенной вовне,
 в историю, в мир. У А. Пысина есть кон-
 текст — идейный, эмоциональный, образ-
 ный.

Тем очевидней воспринимаются как выпадение из системы, из контекста стихи, пестрящие образами заимствованными, безжизненно-романтическими: «То на правом борту, то на левом каравелл, каравелл череда», «цветов осенних белый карнавал повеял музыкою смутной», «слухов окрестных незабудки звездами вплетались в небосвод» и т. д. Чужда колориту и строю поэзии А. Пысина чересчур эффектная и литературная фигура крестьянской женщины в стихотворении «Васильки», ее рассказ о себе, о сыне: «И стояла потом, как мадонна, с синеватым своим на руках». Та же насильственность уподоблений — в стихотворении «Немало на планете есть Венер Милосских...», где поэт вспоминает о «безруких девушках», что «умели поджигать чужие танки». Иные из стихов поэта оставляют впечатление (говоря словами Б. Пастернака) не выбродивших «из мглы намерений» — какой-то намек, какая-то «смутная музыка», и все. В иных — излишняя прямолинейность, назидательность завершающей мысли: «Прошли сквозь поляны и дым мы затем, чтоб люди на земле не умирали молодыми».

О переводах Г. Пагирева можно сказать, что, будучи в целом близки к белорусскому подлиннику, они кое-где грешат приверженностью к общим местам, к безличным «вставкам». У Пысина: «На железном костре самолета в сорок первом наш летчик сгорел». Вместо «летчик» Г. Пагирев пишет «он», зато компенсирует пустоты в размере лишним, ненужным «отгремели бои». Если А. Пысин пишет в свойственной ему манере, тяготеющей к ограничению, к повтору слов: «Дымной полосой с погоды дымной сбоку гень ложится на свет», то едва ли следовало разгружать эти строки, лишая их той своеобразной экспрессии, которую им сообщают как раз повторы, поединок дыма и света: «Темной полосой погоды дымной под нсги (?) ложится чья-то (?) гень».

В одном из стихотворений поэт говорит: «И начинать мне все надобно снова... Снова из глины, из света, из слова мир свой особый лепить».

Не сомневаемся, что «особый мир» Алек-

сея Пысина привлечет к себе пристальное внимание читателя, ибо мир этот — и наш общий мир.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

ОТ РУКОПИСИ — К КНИГЕ

Текстология произведений советской литературы. Вопросы текстологии. Выпуск 4. «Наука». М. 1967. 358 стр.

До сих пор такая своеобразная отрасль литературной науки, как текстология, считала своей подопечной и хорошо изученной территорией область классического наследия. Известны солидные текстологические труды о поэмах Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, «Войне и мире» Толстого и т. д. Все, что касается «творческой истории произведения», как определил когда-то свой предмет старейший наш литературовед Н. К. Пиксанов, изучено и изучается в наследии наших классиков с примерной тщательностью: начальные замыслы, нашедшие свое отражение в набросках и планах, сопоставление различных редакций и вариантов с целью проследить работу писателя над словом, наконец, история печатания.

Долгое время, однако, ученые не принимали столь же основательных исследований по истории текста произведений советских писателей, исключая разве что Горького и Маяковского. Малая историческая дистанция как бы внушала сомнение в плодотворности столь кропотливого изучения книг, написанных недавними нашими современниками. Однако со временем перед историками советской литературы неизбежно должна была встать и проблема истории текста. Выявились и произведения, отнесенные к советской классике, получившие устойчивую репутацию в глазах нескольких поколений читателей. Так что группа исследователей Института мировой литературы, занявшаяся этой темой, выполнила назревшую задачу.

Отбор произведений, ставших предметом рассмотрения в книге, был достаточно строг. В ней нашли себе место работы Е. И. Прохорова о «Чапаеве» Фурманова и романе «Как закалялась сталь» Н. Островского, Э. Л. Ефременко — о «Железном потоке» Серафимовича, А. Л. Гришунина — о «Разгроме» Фадеева, Л. Н. Смирновой — о «Це-

менте» Гладкова и литературном наследии Сейфуллиной.

Рукописный фонд многих известных советских писателей двадцатых—тридцатых годов сбережен, к сожалению, далеко не полностью, и оставшиеся рукописи выглядят часто случайнее и хаотичнее, чем куда более «старшие» по времени рукописи классиков. Это и понятно. В первые годы революции мало кто думал о хранении черновиков. Сам вид уцелевших рукописей говорит о том, каким трудным временем они рождены. Бумажный голод понуждал использовать каждый чистый клочок. И ныне исследователям приходится иметь дело с текстами, написанными на серой оберточной бумаге, на обороте документов, поверх слабой чужой машинописи. Для работы над «Чапаевым» Фурманов использовал бланки заказов на ремонт паровозов, Вс. Иванов писал на обороте географических карт...

Казалось, эти книги, знакомые нам со школьной скамьи, так и родились уже отлитыми в типографские спроки, могли быть написаны только так, не иначе. А между тем история создания многих из них далеко не проста.

Известно, скажем, что Фурманов не сразу пришел к тому, чтобы дать героический образ Чапаева во всей реальности его житейского характера, «с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой». В его воображении поначалу маячила другая, «фантастическая фигура», напоминающая образы народной поэзии, красочный лубок — богатыря на белом коне с саблей над головой. Результатом раздумий и упорной работы писателя была глубоко реалистическая трактовка образа народного героя. Записи подлинного дневника, положенного в основу повествования, прошли при этом сложную переплавку на пути к художественной странице. Понятно, как су-

шественно в таком случае исследование творческого процесса.

В статьях текстологов, напечатанных в сборнике, подкупает их научная основательность, объективность, строгая аргументированность. Порой они могут показаться даже с избытком дотошными, но это та исследовательская «взедливость», какую можно только приветствовать. Речь идет не о простом коллекционировании фактов, мельчайших разночтений и опечаток. Авторы далеки от утомительного текстологического крохоборства, и наблюдения их, как правило, ведут к существенным выводам, касающимся судьбы известных книг. Помимо интереса историко-литературного, эти исследования имеют и непосредственно практическое значение. Почти в каждой из статей сборника даются рекомендации, как, по какому тексту, с учетом каких поправок и изменений надо печатать, скажем, «Перегной» Сейфуллиной, «Как закалялась сталь» Островского или «Разгром» Фадеева.

Как, — может удивиться читатель, — разве это до сих пор не ясно? Разве не закон для каждого издателя авторская воля, последний оставленный писателем текст?

Да, это так, но творческую волю автора не следует понимать слишком формально. Ведь случается, что автор «канонизирует» текст, не отдавая себе отчета в тех ошибках, описках и пропусках, которые в нем содержатся. Значит ли это, что такова сознательная «воля автора», что вместе с «канонизированным текстом» мы должны канонизировать и очевидные промахи, явившиеся следствием недосмотра или невнимания? Увы, текстологам приходится иметь дело не только с буквенными опечатками. О каком текстологическом крохоборстве может идти речь, если, к примеру, обращение к рукописи «Чапаева» позволило Е. И. Прохорову найти целую страницу окончательного текста книги, не вошедшую ни в одно издание? Машинистка, пролистнув страницу, не заметила текста, написанного Фурмановым на оборотной стороне листа. Но и сам автор, внимательно вычитывавший машинопись, не обратил внимания на пропуск, так как отрывок не имел непосредственной связи с предыдущим или последующим изложением.

А вот другой пример, свидетельствующий о том, что исследователь, готовя текст к печати, должен порою работать как реставратор, аккуратно снимающий тончай-

шим инструментом разновременные посторонние напластования, искажающие оригинал. Известно, что книга Фурманова имела строго документальную основу и по отношению к именам героев автор держался такого правила: «У живых — имена чужие, у погибших — свои». Но в первом же после смерти автора издании этот принцип был нарушен. Вдова писателя и редактор его первого посмертного собрания сочинений А. Н. Фурманова заявила, будто в новом, исправленном тексте «Чапаева», работу над которым Фурманов успел лишь начать, писатель намеревался вернуть всем действующим лицам фамилии их прототипов. Вследствие этого Попов был переименован в Потапова, Елань — в Кутякова, Траллин — в Тронина, Зоя Павловна — в Анну Никитичну... А чтобы у недогадливого читателя не осталось сомнений в том, кого именно описывал Фурманов в образе «культпросвета» Чапаевской дивизии, в примечаниях было сообщено, что Анна Никитична — «жена Дмитрия Фурманова».

На этом, однако, история с переименованием персонажей романа не кончилась. В издании 1937 года — года, когда известный герой гражданской войны Кутяков был репрессирован, — редактор назвал Кутякова, уже прежде переименованного из Елани, новым именем — Сизов. А поскольку другой герой «Чапаева» уже носил фамилию Сизов, прежнего фурмановского Сизова пришлось переименовать в Сергеева. Так начальный редакторский произвол привел к цепи недоразумений и досадных отклонений от подлинного текста.

В текстологии произведений советской литературы есть своя специфика, отмеченная и в предисловии Л. Н. Смирновой к рецензируемому сборнику. Если при изучении текстов русских классиков XIX века внимание исследователей занимает в основном работа писателя над рукописью до ее появления в печати, а далее, как правило, перемены текста незначительны, то в отношении многих книг советских писателей дело обстоит иначе: текст многих книг претерпевал значительные изменения уже после первой публикации, меняясь и в дальнейшем от издания к изданию.

Следует обратить внимание на то, что никогда писатели прошлого не знали такого количества переизданий своих книг. Если «Записки охотника» выдержали при жизни автора 10 изданий, а «Обломов»

издавался 5 раз, то «Железный поток» имел 42 прижизненных издания, «Цемент» — 36, «Разгром» — 50. Но, кроме того, Гончаров или Тургенев имели дело по преимуществу с типографией, которая печатала их книги, а не с редакционно-издательским аппаратом. Все это сделало значительно более разнообразной и сложной как раз ту часть истории текста, которая связана с первым изданием и многочисленными переизданиями книг советских писателей.

Здесь не место входить в подробное объяснение причин, по каким примерно с середины двадцатых годов редактор стал столь заметной фигурой литературного процесса. Вероятно, вначале тут имелась в виду и литературная помощь «спецов» начинающим авторам, и контроль над рукописями литераторов-«попутчиков». Но как бы то ни было, в последующие два десятилетия роль редактора в советской литературе не только не ослабла, но еще и усилилась. Незадолго перед смертью А. М. Горький собирался написать специальную статью о редакторском произволе. «О тирании редакторов, а также о малограмотности оных — напишу статейку, материал есть, но буде Вы тоже имеете оный, — дайте мне», — писал Горький Вс. Иванову 10 января 1936 года. Факты такого рода были в избытке, и жаль, что Горькому не удалось осуществить его замысел.

Кто станет оспаривать значение опытной редакторской руки, роль редактора как организатора журнального и книжного дела, доброго советчика и помощника автора? В известном смысле редакторская работа — тоже процесс творческий, и здесь решительно все зависит от меры ума, вкуса, точности глаза, безупречной убедительности совета. Можно было бы говорить даже о редакторском таланте, как особой способности доброжелательной и конструктивной критики текста.

Не помню, кто в шутку назвал редактирование «отрицательным творчеством». Вероятно, не все книги нуждаются в таком дополнении к творческому процессу. Однако при некотором дефиците у автора самокритики, неумении взглянуть на себя со стороны, просто литературной неопытности участие редактора бывает весьма полезно.

Редактор поможет автору освободиться от слабостей, ему мешающих, от длиннот, огрехов вкуса, просмотрев и ошибок, кото-

рые писатель сам бы убрал, коли бы заметил их прежде. Но как только редактор почувствует себя верховным арбитром литературы и занесется в своем мнимом превосходстве над автором, которого он вправе карать и миловать, наставлять и выправлять по-своему, — тут уже он превращается в тайного врага писателя, навязывающего ему свой вкус, понимание, волю.

Как соавторство возможно лишь «по любви», так и редактирование, идущее на пользу книге, может исходить лишь из чувства взаимного доверия между автором и редактором. В противном случае неизбежны тяжелые недоразумения, конфликты, а в результате — порча текста.

Судя по всему, Дм. Фурманов не имел оснований быть недовольным первым редактором «Чапаева» — П. Н. Лепешинским. Опытный литератор, старый партизанин Лепешинский хорошо помог молодому писателю. С полного согласия автора он устранил некоторые неточности и длинноты, снял, скажем, главу «Револьвер», вялый спор между Андреевым и Клычковым, и нынешний исследователь текста рукописи целиком одобряет этот редакторский совет. Также и во многих других случаях редактора Лепешинского, нисколько не искажая замысла автора, была настоящей профессиональной помощью ему.

Труднее однозначно оценить ту редактуру, которой подвергалась рукопись романа «Как закалялась сталь» в журнале «Молодая гвардия» при первой его публикации. Редакция в лице А. Караваевой, Марка Колосова участливо, благожелательно отнеслась к молодому автору. Не все редакторские поправки были удачными, и в ряде случаев Островский восстановил позднее в отдельных изданиях первоначальный текст. (Так, в журнале, к примеру, была снята речь Корчагина над братской могилой и его знаменитые слова: «Самое дорогое у человека — это жизнь...») Но в целом автор имел основание быть благодарным журналу, принявшему его рукопись, уже отвергнутую прежде в двух редакциях, и внимательно подготовившему ее к печати. «...Значительная часть редакторских купюр и исправлений была безусловно справедлива, и Островский полностью согласился с этим», — замечает Е. И. Прохоров.

Вот почему, по мнению исследователя, бестактной оказалась публикация С. Трегуба «Неизвестные страницы романа»

(«Октябрь», № 9, 1964), где читателю предлагалась в качестве полных текстов прославленной книги как раз те наиболее уязвимые и слабые ее места, которые редакторы убрали из журнального текста, а автор санкционировал эту правку последующими изданиями. Преподносить теперь набор этих купюр не в качестве черновиков и вариантов, а в качестве «неизвестных страниц» романа — не значит ли компрометировать автора, представляя его читателю далеко не выгодным образом?

Показательно, что сам С. Трегуб, резко критикующий редакторов «Молодой гвардии», не раз пытался по-своему выправить текст Н. Островского. В одно из редактируемых им изданий (1952) в текст романа было внесено более 300 (!) поправок, из которых современный текстолог соглашается признать оправданными едва ли десять. Такого рода претензии, считает исследователь, равносильны доработке текста книги за умершего автора и представляют собою очевидный редакторский произвол¹.

Не только роман Островского, но и некоторые другие книги, о которых идет речь в сборнике, становились жертвою редакторского зуда. Весьма распространенным явлением было выглаживание редактором своеобразного стиля автора, сведение его к некоей «осередненной» литературной норме. В этом духе, например, был выправлен текст «Железного потока» Серафимовича в массовом издании «Роман-газеты» (1928).

До сих пор мы говорили о плохих и хороших редакторах. Есть, однако, немало случаев, когда позднейшей редакции, далеко не всегда понятной и оправданной, подвергали свои книги сами авторы. Ф. Гладков написал «Цемент» за два года, но возвращался к этой принесшей ему известность книге на протяжении тридцати лет, неустанно перерабатывая ее для множества последующих изданий. В результате первоначальный текст романа неузнаваемо изменился, он несет на себе множество слоев стилистической и смысловой правки.

Как показывает в своем исследовании Л. Н. Смирнова, начиная с одиннадцатого

издания (1928) Гладков прибегает к «олигатуриванию» речи, сглаживает ее самобытную метафоричность, жертвует неожиданными сравнениями в пользу грамматически правильных конструкций. Но перемены касаются не только стиля. Словно испугавшись критических нападков, Гладков приглушает драматизм таких эпизодов, как партისტка, главного своего героя Глеба Чумалова лишает черт стихийности, партизанщины, характерных для него взрывов бешенства. Прежняя сторонница теории «свободной любви» Даша становится мало-помалу добродетельной, верной женой. Но уже после всех этих перемен, заметно изменивших начальное лицо романа, Гладков в 1940 году вновь занялся энергичной его перестройкой. «Правка коснулась каждой главы, каждой сцены, почти каждого диалога», — констатирует исследователь.

Перед нами, таким образом, положение парадоксальное: нынешний «Цемент», печатаемый в собрании сочинений Гладкова, имеет мало общего с книгой, вышедшей под тем же названием в 1925 году и принесшей славу своему автору. Как расценить этот факт?

Никто не станет отрицать право автора многократно возвращаться к своим книгам, поправляя, шлифуя и совершенствуя их текст. Есть много примеров в литературе, когда такое возвращение к ранее написанному было подлинно плодотворным. Достаточно указать на переделку Чеховым ранних своих рассказов для собрания сочинений или коренную переработку неудачного «Лешего» в пьесу «Дядя Ваня». Тут есть, однако, и некоторая опасность, против которой стоит предостеречь. Как живописец беспрестанным возвращением к полотну может «записать», испортить картину, так может «замучить» свою же книгу и писатель.

Вспоминается мудрое суждение Чернышевского в предисловии к одному из поздних изданий его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». Автор пишет, что, пересматривая свою раннюю работу и в чем-то не соглашаясь с собой самим, он внес лишь несколько мелких поправок в текст: «В старости не годится переделывать то, что написано в молодости».

Всякое произведение, и в особенности произведение искусства, связано с каким-то определенным временем, средой, отражает

¹ В журнале «Вопросы литературы» (№ 12, 1968) появилось письмо С. Трегуба, в котором он оспаривает некоторые упреки Е. И. Прохорова. Однако и после возражений С. Трегуба точка зрения Е. И. Прохорова по существу представляется нам более убедительной.

эпоху в развитии душевного мира автора, и надо относиться бережно к собственному прошлому. В зрелые годы мы лучше видим слабости молодых лет, но подравняв прошлое под нынешнее наше восприятие, невольно что-то и потеряем. С собственным произведением писатель должен обращаться осторожно еще и потому, что признанная его современниками книга как бы перестает быть лишь личной авторской собственностью и становится в известном смысле общественным достоянием, принадлежностью времени.

Особенно опасны переделки и переписывание известных книг, когда они вызваны не настоятельной творческой потребностью, а обстоятельствами и соображениями, внешними писателю труду. Каждое десятилетие неизбежно приносит с собой новые общественные и моральные требования, вкусы, понятия, и, боясь показаться отсталым, писатель стремится иной раз приспособить к ним в новом издании свою старую книгу. Он не дорожит своим творением как некой объективностью, как фактом истории. Но похвальное как будто бы желание «осовременить» книгу и тем самым удовлетворить своих новых критиков и редакторов приводит часто к тяжелым потерям, искажению ее начального лица, органически связанного с эпохой, ее породившей.

Это относится, к сожалению, не только к «Цементу» Гладкова. Молодая советская литература начиналась с «Бронепоезда» Вс. Иванова, «Перегноя» и «Правонарушителей» Л. Сейфуллиной. Однако читатель, знакомый с этими произведениями по последним авторским редакциям сороковых — пятидесятых годов, должен иметь в виду, что это не совсем те книги, которыми зачитывались и о которых спорили наши отцы. Многократно исправлявшиеся авторами в соответствии с переменчивыми вкусами и требованиями времени, эти книги не дают адекватного представления о знаменитых литературных дебютах Вс. Иванова и Л. Сейфуллиной. И если мы хотим почувствовать подлинное обаяние этих книг и понять их исторически как явление литературы первых лет революции, мы должны обратиться к старым журналам, к желтевшим страницам первопубликаций, где, при всех частных несовершенствах, живет настоящий жар вдохновения, дух и стиль того времени.

Не станем, впрочем, отрицать пользы частных перемен и стилиевой отделки в позднейших редакциях названных нами книг. Однако лишь досаду может вызвать очевидная автоцензура, навязанная редактором или вызванная опасением проработки со стороны конъюнктурной критики.

Известно, как тщательно работал А. Фадеев над текстом «Разгрома», в основном сохранившимся неизменным с первой его публикации 1927 года. Однако время от времени и ему приходилось выслушивать сомнительные советы и пожелания. А. Л. Гришунин напоминает, например, о статье известного критика, появившейся в 1950 году, когда «Разгром» уже был признан советской классикой и изучался в средней школе. «При всех идейных и художественных достоинствах «Разгрома», — писал этот критик, — нельзя не видеть с вершины сегодняшнего развития советской литературы и некоторых его недостатков. В своем стремлении показать жизнь и людей эпохи гражданской войны в присущих им противоречиях, Фадеев, на наш взгляд, излишне подчеркивает темные стороны партизан». Такого рода упреки, формулируемые всякий раз «с вершины сегодняшнего развития литературы», иной раз оказывали свое воздействие на автора, заставляя его вносить в собственный текст поправки, не вызванные подлинной идейно-художественной необходимостью.

Один случай такой авторедактуры особенно показателен. Важнейшее в идейном замысле художника место «Разгрома» во всех изданиях до 1940 года читалось так: «Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, и управлять тем, что есть», — вот к какой самой простой и самой нелегкой мудрости пришел Левинсон». В последующих изданиях это место было существенно переработано: «Видеть все так, как оно есть, — для того, чтобы изменять то, что есть, приближать то, что рождается и должно быть», — вот к какой самой простой и нелегкой мудрости пришел Левинсон».

А. Л. Гришунин убедительно, на наш взгляд, спорит с критиками, оправдывающими эту замену. Умозрительный романтизм новой формулировки приходит в конфликт со всей тканью «Разгрома», как произведения антиромантического, где «романтиком» выступает Мечик, о котором в книге

говорится: «Все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть». В новой редакции «нелегкая мудрость» Левинсона неожиданно сблизилась с наивным романтизмом Мечика, разрушая цельность начального замысла автора.

Сложна и запутанна история текста основных произведений Сейфуллиной, рассмотренная в исследовании Л. Н. Смирновой. Как уже упоминалось, последние прижизненные издания ее сочинений, такие, например, как «Повести и рассказы» (Гослитиздат, 1953), не давали удовлетворительного представления о творчестве известнейшей писательницы двадцатых годов. В новой редакции ее повести «Виринея», «Пережной», рассказ «Правонарушители», тщательно выглаженные, дистиллированные, обструганные, во многом потеряли обаяние оригинала. Большинство исправлений было внесено Сейфуллиной собственной рукой, но история этой авторедактуры весьма показательна. Писательница то утверждает свою позднейшую правку, то отказывается от нее, склоняясь к ранним редакциям; то добровольно соглашается на многочисленные поправки в тексте, то протестует против них в специальном письме тогдашнему директору Гослитиздата.

Все это говорит о том, сколь непростым является понятие о последней авторской воле. Тут приходится принимать во внимание разнообразные факторы и обстоятельства. Если правка санкционирована автором и улучшает текст — она должна быть учтена. Но если текстологу удастся доказать, что изменения в тексте конъюнктурны и неорганичны для замысла произведения, их следует избегать, даже несмотря на авторизацию. Таким образом, текстологи, готовящие книги советских писателей к посмертной публикации, должны учитывать по крайней мере два основных требования: во-первых, близость авторской воле, понятой не формально, а в реальном наполнении этого понятия, во-вторых — критерий качества тех или иных вариантов художественного текста.

Только учитывая оба эти принципа и проверяя один другим, можно прийти к верному результату. Взятый отдельно, каждый из этих принципов грешит очевидными не-

достатками: принцип «последней авторской воли» — слишком формален, принцип художественного качества, «ухудшения» или «улучшения» текста — слишком субъективен. Как легко убедиться хотя бы на примере Сейфуллиной, одна «последняя авторская воля» еще не гарантия полноценного, исправного текста. Сам автор может проявлять колебания и сильно заблуждаться на этот счет. Но и субъективное толкование того, к лучшему или к худшему результату приводят поправки, подсказанные редактором, не должно быть принято бесконтрольно, иначе тут была бы открыта дорога к любому своеволию и следовало бы, скажем, оправдать претензии С. Трегуба исправить и «улучшить» текст Островского за автора.

А значит, нужен строгий анализ, обоснования и доказательства, научная критика текста, выделяющая каждый отдельный случай и внимательно исследующая, какие причины побудили автора пойти на те или иные переделки, изменения и т. п.

Текстология произведений советской литературы делает первые шаги и только начинает вставать на строго научную почву. Интересно было бы познакомиться с исследованиями по истории текста таких произведений, как «Партизанские повести» Вс. Иванова, «Тихий Дон» Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и другие. Все это, как принято говорить, еще ждет своего исследователя.

Пока же можно с удовлетворением отметить, что учеными-текстологами проделан заслуживающий внимания труд, к которому не раз еще обратятся историки советской литературы и издатели, подготавливающие исправный текст произведений известных советских писателей.

Но книга эта примечательна еще и другим. Она напоминает нам о той ответственности, какая ложится на всех, кто имеет дело с живой современной литературой. То, что относится к обычной литературной практике нынешнего дня, завтра станет историей, и всякая редакторская небрежность, своеволие или недалечность будут, как это всегда случается, по заслугам расценены будущими историками литературы.

В. ЛАКШИН.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОСТЕЙШИМ ИСТИНАМ

Ежи Стефан Ставинский. Час пик. Повесть. Перевод с польского. «Иностранная литература». № 4, 1968.

Советский читатель и зритель знает польского писателя, кинодраматурга и режиссера Ежи Стефана Ставинского по его повестям «В погоне за Адамом» и «Пингвин» и по нескольким фильмам, в том числе по его выдающейся работе «Канал». Недавно журнал «Иностранная литература» познакомил нас с его повестью «Час пик», которую хорошо перевела З. Шаталова.

В сюжете и стилистике повести ощущается рука киномастера: действие развивается стремительно и напряженно, описания, особенно отличные пейзажи Варшавы и портреты действующих лиц, обладают зримостью точно найденных кинематографических кадров и даже голос главного героя, который рассказывает о горьком опыте собственной жизни, звучит вначале в спокойной и задумчивой интонации голоса за кадром. Прежде чем предстать перед зрителем этого воображаемого фильма самому, прежде чем ввести нас в свой дом, в свою семью, герой произносит несколько вступительных фраз, подготовляющих нас к значительности того, о чем пойдет речь далее. «Я хочу рассказать... о самом большом потрясении в моей жизни — для предостережения и в наизидание... К этой теме не раз обращались выдающиеся писатели. Но простейшие истины каждый должен сам открыть для себя, все испытать на собственной шкуре. Пусть же поэтому подлинность пережитого станет моим адвокатом».

Итак, это повесть об осознании простейших истин. Истин нравственных.

...Приступы острой боли прервали напряженную, расписанную по часам и минутам жизнь делового человека Кшиштофа Максимовича — так зовут героя повести — и привели его на медицинскую консультацию. Профессор, который отправляет его в клинику, на минуту отвлекся. Больной успевае прочесть через его плечо не сказанный вслух, но написанный на направлении роковой диагноз. Максимовичу всего сорок четыре года, он всегда пользовался отменным здоровьем и теперь, как это порою бывает с физически сильными, внезапно тяжело заболевшими людьми, ни на секунду не верит в благоприятный исход, считает себя обреченным.

Во врачебном кабинете жизнь его сломалась надвое. В его сознании между прошлым и настоящим возникла резкая граница — по ту ее сторону все прошедшие годы: детство, юность, которая прилась на годы войны, участие в подполье и партизанском отряде во время оккупации Польши гитлеровцами, служба в армии, учение в институте, работа, семья, дочь, друзья, враги, любовницы... По эту — короткий срок — недели, может быть даже дни, которые ему остается прожить. Лихорадочные, горькие, бессмысленные размышления: почему именно на него выпал так рано и так несправедливо этот горький жребий? За что?

И вслед за этим, точнее параллельно с этим, — напряженное подведение итогов жизни, ее пересмотр. Это подведение итогов и составляет содержание повести. В ней постоянно соотносятся два человека: Максимович, которому уже вынесен приговор, и Максимович, каким он был до этого дня. Первый, мысленно уже переступивший через черту, глядит на второго, вспоминает, обдумывает и судит его жизнь — свою собственную жизнь, — не оставляя не высвеченным ни одного уголка души, ни одного момента в прошлом и настоящем.

Мрачный диагноз застал героя повести на подъеме. «Еще три недели назад я готов был присягнуть, что, несмотря на потерю времени в годы войны и после нее, мне удалось занять в обществе достаточно видное место, а частые отличия и похвалы начальства утвердили меня в сознании собственной значимости. Я занимал высокий пост, сфера моей профессиональной и общественной деятельности постоянно расширялась... Мой рабочий день становился все насыщенной. Я жил в постоянном движении и нервном напряжении, не замечая, как мелькают не только дни и часы, но и целые недели и месяцы. Я без усталости несся впереди со временем и чувствовал себя человеком в высшей степени организованным, необходимым, высокопроизводительным».

В этой уверенно бодрой интонации чувствуется, однако, нечто подчеркнуто-форсированное, она не лишена призвука или привкуса, которые не дают полностью принять ее на веру — так в ней с самого начала пробивается горькая ирония пере-

оценки, с которой Максимович сегодняшний смотрит на Максимовича всех прошлых лет. Он давно знал сам себе не только внешнюю, видимую, но и внутреннюю, подлинную цену, а они, увы, не соответствовали друг другу. Его познания и его одаренность в архитектуре, в которой он занимает видное положение, не очень-то велики. Среди его подчиненных есть люди и более знающие и более талантливые. Он, говоря его собственным языком, сделал успешную карьеру, но постоянно помнит об этом разрыве, и чем больше его успехи, тем сильнее опасения, что они непрочны, что разрыв между видимостью и сутью рано или поздно обнаружится.

Отсюда некоторая лихорадочность его деятельности. Она помогает ему забыть эту тревогу, но, кроме того, нужна ему потому, что немалая часть его несомненной энергии, сметки и деловой хватки уходит не на то, чтобы уменьшить этот разрыв, а на то, чтобы побочными средствами поддерживать свое положение. Он — хороший организатор, он старается, и не без успеха, чтобы дело, которым он руководит, шло как можно лучше. Но в каждом его деловом решении — выбирает ли он одну из двух кандидатур на пост секретарши, составляет ли список проектов для конкурса, извещает ли начальство о приезде иностранного клиента — присутствует чуть заметный плюс или минус, не имеющий отношения к подлинной сути дела, но связанный с этой постоянной тревогой. Он все время вносит крошечные, как ему кажется, незаметные окружающим коррективы, чтобы упрочить свое положение, предстать перед всеми в самом выгодном свете. Одному возможно сопернику он льстит и благодетельствует, другого слегка припугивает, хитроумно stalkивает их обоих, чтобы обезопасить себя и свое положение. Он тонкий психолог, точнее кажется себе таким, — он хорошо видит слабость, тщеславие, страхи, корысть окружающих его людей. Впрочем, порой он может заметить и настоящее чувство, подлинную, ничем не омраченную увлеченность своим делом, истинную любовь, настоящую дружбу, они даже вызывают у него некоторое умиление, явно окрашенное снисходительностью. Мы ясно ощущаем: он сильнее всего видит те недостатки людей, которые присущи ему самому, его зрение искажено, как было искажено зрение Кая из сказки Андерсена, которому попал в

глаз осколок злого зеркала, уродующего картину мира.

Противоречие между благополучной видимостью и неблагополучной сутью определяет и личную жизнь Максимовича. От его брака отлетела живая душа любви, он давно охладил к жене, тяготится ее робкими попытками вернуть былую близость. Внутренний мир его шестнадцатилетней дочери — для него закрытая книга. У Максимовича есть любовница. Он навещает Маю в строго отведенные для этого дни и часы, благодарный ей за то, что она, одинокая молодая женщина, ничего не ждет и не требует от него.

Однако если бы герой повести представлял перед нами только как откровенный эгоист, карьерист и лицемер, вряд ли такой образ был бы особенно интересен, а его болезнь, как возмездие, представлялась бы лишь назидательно-прямолинейным развитием сюжета.

Максимович интересен в своем самораскрытии не только потому, что мы видим, как он годами постепенно укреплялся в своем потребительском отношении к жизни и людям, а главным образом тем, как и какие механизмы самооправдания вырабатывал он в себе, как освобождал себя от упреков собственной совести. Проще всего его внутренняя защита построена в отношениях с Маей. Ему достаточно сказать себе, что их отношения современны, что она такая же современная женщина, как он современный мужчина, что им обоим не нужны «высокие» слова и психологические сложности там, где все может быть так удобно и обнаженно-просто, чтобы, не спрашивая ее, убедить себя, что и она думает так же. Таковы отношения, потому что такова современность. Спрашивать надо не с меня, спрашивать надо с времени!

Сложнее построены его самооправдания там, где он объясняет сам себе свое отношение к семье, где все построено на неправде, и к работе, где в его положении тоже много ложного.

Он считает, что из-за войны и послевоенных трудностей он слишком поздно начал свою служебную карьеру. По тем же причинам он недополучил смолоду всех благ и радостей, которые причитались ему от жизни. Теперь он-де всего лишь намерстывает упущенное. Так он снимает вину с себя и перекладывает свою личную ответственность на обстоятельства, притом на

обстоятельства исторические. Удобная и, увы, довольно распространенная житейская философия. Поучительно следить за тем, как гибкая совесть и сосущее чувство зависти к людям, наделенным теми способностями, которыми не обладает он сам, формировали, точнее деформировали, этот характер.

В повести большое место занимает история отношений Кшиштофа Максимовича с его товарищем по подполью Анджеем. Трудно, может быть даже невозможно, было предупредить Анджея о возможном провале, но то обстоятельство, что Кшиштоф и не попытался сделать этого, годами жило у него в душе постоянным ожогом. В отношении этого поступка никакие механизмы самоуправления не срабатывают, потому так мучительны для него случайные встречи с Анджеем. Не станем пересказывать все развитие этой драматической линии, занимающей важное место в повести.

Но теперь, когда дни его сочтены, когда его терзают боль и страх, когда все планы, еще вчера казавшиеся такими осуществимыми, перечеркнуты, Максимович бросается к людям, в том числе и к тем, по отношению к которым был или считал себя виноватым,— значит, и к Анджею. Он хочет распутать все узлы, но главное — ему впервые нужны люди не потому, что это сулит ему успех или удовольствие. Ему нужна душевная опора и защита, чувство ничем не омраченной близости или солидарности.

Но оказывается, он все и всех растерял. У жены незаметно для него сложилась своя отдельная жизнь, она не понимает, что с ним вдруг стряслось, да и не хочет понять. Дочь давно почувствовала, что родной дом стоит на неправде, и не уважает отца, который повинен в этом. Кшиштоф бросается к любовнице. Ему кажется, что стоит сказать только одно слово, которого он не говорил ранее, стоит сказать, что их отношения могут стать иными, настоящими, человеческими, и это будет принято с ликованием как радостный дар, как великое счастье. Это одна из самых сильных сцен повести. Вот что он слышит в ответ:

«Ты понимаешь только себя,— возразила она.— Когда-то я очень тебя любила, Кшись, и отдала бы все, чтобы ты со мной остался. Но я быстро убедилась, что нужна тебе только в пятницу к вечеру, а в субботу или во вторник могу подышать, как

мне вздувается.. В то время как ты, торопливо уходя от меня, беззаботно окунался с головой в свою мутноватую жизнь, я оставалась одна, задыхаясь, как рыба на песке. Я не могла ни работать, ни есть, ни спать. Я все время думала о тебе, и у меня дрожали руки, а глаза застилала слезы. Это было глупейшее самоуничтожение! Я должна была спасти себя и твердо решила убить в себе эту любовь...

Постепенно я сделала открытие: под внешностью интеллигента и блестящего эрудита скрывался обыкновенный хвостун и самодовольный эгоист!.. Я решила вывести тебя на чистую воду и начала изо дня в день разжигать твое самодовольство: лгала, говоря, что ты самый молодой, самый способный, самый красивый... В глубине души я надеялась, что ты не попадешься на эту удочку, что в конце концов почувствуешь в этом грубую лезть — где там!..

В конце концов я подумала про себя: неужели этот зазнавшийся дурак, не способный ни к какому бескорыстному чувству, унижающий меня каждым своим визитом по пятницам, и есть тот самый мужчина, которого я люблю?! Ну нет!.. И однажды, когда ты в очередной раз выбежал от меня, до отказа набитый моей лезть, я начала смеяться. Я смеялась громко, долго, до слез и вдруг почувствовала, что я свободна, что при виде тебя у меня уже никогда не екнет сердце и не задрожат руки...»

Он превратил Маю в зеркальное отражение самого себя, воспитал ее по собственному образу и подобию, убил в ней чувство, оставил только чувственность и вырастил озлобленность. Теперь она с торжеством берет реванш.

Не боль и не болезнь, пустота одиночества — вот подлинное возмездие за эгоистически прожитую жизнь, за слишком гибкую совесть. Голос героя, начинающий повествование, прав: простейшие истины каждый должен сам открыть для себя. И именно это — открытие простейших истин, попытка вернуться к ним — превращает повесть не только в увлекательное, но и поучительное в лучшем смысле слова повествование. Современному писателю нужно быть очень решительным человеком, чтобы позволить герою произведения, от лица которого идет повествование, сказать, что оно написано «для предостережения и в назидание возможному читателю». Читатель не любит, чтобы его поучали, особенно эле-

ментарным азам морали! Автор идет навстречу этой опасности и побеждает ее. Он пишет современную притчу с отчетливыми моральными выводами, но такую живую и убедительную по материалу и характеристам, что от ее простых выводов невозможно отмахнуться.

Где же искать Максимовичу поддержку? Где искать поддержку человеку, который не верит ни в бога, ни в загробную жизнь, а в последние дни своего земного существования понял, что жил не так, как должен был жить?

Если бы он был подлинно творческой натурой, содержанием последних дней могло бы стать завершение труда всей его жизни. Но этого труда он так и не начал, хотя много раз собирался его начать. Да и разве мог бы самый лучший архитектурный проект искупить вину перед людьми?

И здесь оказывается, что единственной поддержкой последних дней становится человек, от которого Максимович ничего не может получить, но которому он сам может стать и становится опорой. Еще недавно, когда он был здоров и благополучен, к нему обратилась за помощью вдова школьного друга. Он принял ее внешне сочувственно, но ничего для нее не сделал — зачем ему было брать на работу эту слабую, несчастную, подурневшую от горя женщину? Теперь, когда у него остается несколько дней, он решает разыскать ее и находит в отчаянном положении. Всю свою незаурядную энергию он впервые в жизни посвящает тому, чтобы бескорыстно помочь другому человеку. И эта забота о другом человеке, не покаяние, а действие, возвращающее другому веру в жизнь, становится опорой для него самого. Она помогает ему распутать и разрубить все узлы, которые он запутал в прежней жизни.

Не станем пересказывать, как проходят эти дни, составляющие самую напряженную часть повести. К их исходу Максимович попадает в клинику, освободившись от всего, что составляло содержание его прежней жизни, — у него больше нет внешне благополучной семьи, нет машины, нет квартиры, нет денег, нет служебного положения — нет всех тех ценностей, на обретение которых было отдано столько сил и обладание которыми не стало для него опорой. Зато он спас человека, зато он обрел не мнимую житейскую мудрость преуспевающего прагматика, а подлинную жизнен-

ную мудрость. Последние дни стали днями прозрения, днями излечения из глаза уродующего окружающий мир осколка золотого зеркала, днями обретения веры в людей. И вот таким, узнавшим истинную цену себе и окружающему, Максимович идет на операцию, твердо уверенный, что она может лишь ненадолго отсрочить конец.

Но мрачный диагноз не подтверждается! Максимович жив, но остался ни с чем. Ни с чем, если считать по его прежнему счету. Он не только успел отказаться от поста, который занимал, но, главное, успел убедиться, что окружающие и подчиненные знали ему истинную цену. Оказывается, что человек, который видел в людях только дурное и слабое и действовал в соответствии с этим, хоть и казался себе тонким психологом, сам раскрывал перед окружающими все, что было в нем уязвимо. В этом смысле, пожалуй, кроме подробно описанных образов двух помощников Максимовича, особенно интересен эпизодический образ его секретарши. Эта маленькая хищница, построившая себе программу головокружительной карьеры, как бы представляет собой пародийный сколок с того, каким был Максимович. Словом, теперь для него нет возврата в учреждение, стиль и атмосферу которого он создал по своему подобию. Нет возврата и в семью. Он возвращается в мир не мнимых, а подлинных ценностей, в мир не двойного, а единого счета. Он должен начинать с начала. Выдержит ли он это?

Повесть заканчивается открытым для разных предположений финалом. В нем герой снова говорит не о людях, не о чувствах, только о деле. Более того, он говорит об этом новом деле, на котором должен будет проверить себя, с оттенком прежней иронии в голосе. Но эта ирония обращена не на окружающий мир, а на самого себя: «...я здорово съезжаю вниз и с точки зрения служебного положения, и с точки зрения зарплаты, но зато передо мной открывается возможность проверить себя, выяснить, стою ли я чего-нибудь действительно: там будут считаться только с той работой, какую я представлю на кальке... Нет нужды пояснять, какой тяжелый труд ожидает меня, если я хочу действительно выбиться в люди... Еще недавно, когда из-за ошибочного диагноза профессора я готовился к смерти, несколько оставшихся впереди

дней казались мне милостивым даром судьбы и отсрочкой приговора. Теперь, когда я стал хозяином долгих лет жизни, каждый день, проведенный без дела, приводит меня в содрогание».

И когда повесть завершается фразой: «Главное — столь дорого доставшийся мне опыт не должен пропасть даром», — мы чувствуем, что это не брошено на ветер. Максимович не станет произносить высоких слов, но, кажется, не забудет испытанных им высоких чувств потрясенной совести.

Произведению Ежи С. Ставинского свойственна большая плотность и емкость повествования, и мы далеко не разобрали всех сложных человеческих отношений, показанных в ней. Удачей является парадоксально построенный сюжет. Подведение итогов человеком, обреченным на смерть, действительно, как говорится в начальных строчках повести, не раз было темой других писателей. Из недавних воплощений темы вспомним хотя бы роман Макса Фриша «Ното Faber», с которым повесть Ставинского обнаруживает немало перекличек. Но сюжет повести делает неожиданный и резкий поворот: человек подвел итоги жизни и покончил расчеты с нею, но остался жить. Как он будет жить дальше?

Ставинский закончил свою повесть так, что, перевернув ее последнюю страницу, мы думаем не только о прошлом изображенного в ней человека, но и о его будущем. Повесть ставит интересно, убедительно написанный характер в обостренную, можно сказать, экспериментальную ситуацию. Мы видим предмет опыта, его условия, его

быстрое развитие — и стремимся предугадать его окончательный результат.

Недостатки повести вытекают, как мне думается, из чрезмерного нажима на найденный способ повествования. Стремительный стиль повести кажется порою чересчур уверенным, излишне блестящим. Иной раз ждешь, что автор собьется с этого тона, что запинка неожиданного волнения нарушит это ощущение, но этого почти нигде не происходит. Сюжетные узлы кое в чем завязаны так туго, что выглядят искусственными. То, что жена Кшиштофа уже давно любит его бывшего друга и командира Анджея и именно к нему уходит от мужа, кажется чрезмерно предначертанным.

Есть некоторая однотипность повторяющегося приема в том, как вводятся монологи, в которых каждый из персонажей говорит Максимовичу все, что он о нем думает, хотя, быть может, нервный напор этих разоблачающих монологов связан не только с внутренним состоянием того, кто их произносит, но прежде всего того, кто их выслушивает. Во всяком случае если читателю, вероятно, интересно читать эту повесть, то литератору, прочитавшему ее тоже с неотрывным вниманием, интересно разобраться в ее конструкции и стилистике.

Назидательная притча принадлежит к самым древним литературным жанрам. Ежи С. Ставинский доказывает, что этот древний жанр может вместить современное содержание и обрести современную стилистику. Он не устарел потому, что не устарели те простейшие истины, воплощению которых он служил искони.

С. ЛЬВОВ.

★

Политика и наука

ВОЙНА И ХЛЕБ

А. В. Любимов. *Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны.* «Экономика». М. 1968. 231 стр.

Наши историки пишут пока по преимуществу собственно фронтовую, а также военно-промышленную историю Великой Отечественной войны. Значительно меньшим их вниманием пользуется другая ее сторона — война как особая эпоха в истории народа, в судьбах разных его поколений и социальных слоев. Между тем это была

действительно глубоко своеобразная и, можно сказать, переломная эпоха. Пройдя через нее, наш народ, наше общество вышли из нее во многом не такими, какими вошли, — эти порой незримые, но существенные перемены, произведенные войной в духовном, нравственном облике народа, как и демографические ее последствия, многообразно

скажутся потом в ходе послевоенного развития.

Но чтобы правильно понять процессы внутренние, глубинные, нужно прежде всего достаточно отчетливо и полно представлять себе всю, так сказать, внешнюю, материальную картину жизни военных лет: как и сколько работали, какому порядку подчинялись, как выглядел в эти годы быт различных общественных слоев и групп. А для этого, как и при исследовании любой другой научной проблемы, нужны в первую очередь «точные факты, бесспорные факты» (Ленин). Ценность рецензируемой книги, как справедливо заметил в предисловии к ней А. И. Микоян, состоит именно в этом: она дает «богатый фактический материал», анализируя который читатель уже сам сможет «выскрывать» ошибки и недостатки, сделать соответствующие выводы». И хотя, к огорчению читателя-специалиста, в книге нет ни одной ссылки на источники публикуемых сведений, положение автора, который с 1939 по 1948 год занимал пост народного комиссара — министра торговли СССР, позволяет надеяться на их достоверность.

А. В. Любимов начинает с небольшого вступления, где кратко характеризует состояние нашей внутренней торговли непосредственно перед войной. «Темпы развития товарооборота в 1939—1940 годах опережали задания пятилетнего плана,— пишет он.— Однако покупательная способность населения росла еще быстрее, и спрос на ряд товаров удовлетворялся не полностью. Надо также иметь в виду, что в 1940 году рыночные¹ ресурсы некоторых основных продовольственных товаров сократились». Этот год, с которым наша статистика обычно сопоставляет показатели послевоенного хозяйственного развития, А. В. Любимов вообще считает «во многом не характерным»; тем более понятными становятся трудности со снабжением, возникшие в результате гитлеровского нашествия и потребовавшие перехода к нормированному распределению — карточной системе.

С началом войны, показывает А. В. Любимов, производство товаров широкого потребления резко сократилось. В то же время

резко возросли потребности развернувшейся армии в продуктах питания, обмундировании, обуви. Переход к нормированному распределению, заключает автор, представлял собой в этих условиях единственный способ «подчинить снабжение задачам обороны, гарантировать интересы населения».

Вместе с тем следует отметить, что А. В. Любимов умеет посмотреть на карточную систему военных лет не только глазами человека, который был, вероятно, одним из ее активных организаторов, но и трезвым взглядом экономиста. Необходимо зло — вот формула, которой он последовательно пользуется для оценки этой системы, указывая, например, что за время войны большинство торговых организаций «по сути дела отвыкло культурно торговать».

А. В. Любимов рассказывает, в какой последовательности и в какие сроки вводилась карточная система в различных районах страны, как создавался и функционировал ее аппарат (карточные и контрольно-учетные бюро, около четырехсот тысяч уполномоченных на предприятиях, в учреждениях, домоуправлениях и т. д.), с какими трудностями пришлось на первых порах столкнуться. Так, например, «с большой остротой встал вопрос о производительности труда продавцов — много времени, особенно в первые дни, уходило на отрыв талонов, а главное — на их наклейку и подсчет (примерно треть рабочего времени). Сказалось,— замечает автор,— отсутствие предварительной подготовки к карточной системе. Разработать в деталях организацию и технику нормированного снабжения на случай войны, конечно, следовало заблаговременно».

«В основу распределения нормированных товаров,— пишет автор,— был положен последовательно осуществлявшийся принцип дифференцированного снабжения». А. В. Любимов сообщает большое количество сведений о том, как осуществлялся указанный принцип: называет те четыре группы (рабочие, служащие, иждивенцы и дети), на которые делилась снабжаемая часть населения, и две категории — I и II,— выделявшиеся внутри каждой из этих групп; приводит нормы снабжения хлебом и некоторыми другими продуктами, установленные для каждой группы и категории; показывает, как уменьшались или увеличивались

¹ Слово «рынок» здесь употребляется в своем общем экономическом смысле, вбирающем в себя всю сферу товарного обращения.

эти нормы в зависимости от различных соображений.

«В условиях войны,— напоминает он,— карточка должна была стимулировать добросовестный труд... В целях ликвидации... уравниловки, поощрения хорошо работающих и дальнейшего укрепления трудовой дисциплины правительство в октябре 1942 г. установило, что рабочим, совершившим прогул и по приговору суда отбывающим наказание в порядке исправительно-трудовых работ на данном предприятии, на это время снижается норма отпуска хлеба: для получающих 800 г. и более — на 200 г., для остальных — на 100 г.». В отдельных отраслях промышленности — рыбной, лесной, на заготовках и сушке торфа — снабжение рабочих дифференцировалось в зависимости от выработки. Перевыполнявшие норму получали на 100 граммов хлеба больше, а невыполнявшие — на 100 граммов меньше своего пайка. Вспомнив тяжесть труда, в ту пору в основном ручного, и неустроенность барачного быта «на торфу» или на лесозаготовках, а также тот факт, что рабочую силу в этих отраслях составляли тогда по преимуществу женщины и подростки, мы в полной мере почувствуем суворость этого военного стимулирования.

Принцип дифференцированного распределения, продолжает автор, проявился также и в том, что были установлены дополнительные виды снабжения и питания сверх карточек. Спецпитание для работающих в особо вредных условиях, высококалорийное питание для доноров в дни сдачи крови, а также некоторые другие случаи дополнительного снабжения рабочих довольно подробно охарактеризованы в книге. Еще более полно описаны различные виды дополнительного питания детей. Хотя «основные нормы отпуска для них продовольственных товаров были весьма ограниченные», это в немалой степени компенсировалось питанием из молочных кухонь, питанием в детских садах и яслях, горячими завтраками в школе, для которых «без зачета по карточкам отпускались из централизованных ресурсов 50 г. хлеба и 10 г. сахара к чаю в день на каждого школьника».

Дополнительным снабжением, пишет А. В. Любимов, пользовались, помимо этого, руководящие работники наркоматов, промышленных предприятий, общественных организаций, деятели науки, литературы и искусства, получавшие обеды сверх карто-

чек. «В дальнейшем им была предоставлена также возможность приобретать определенное количество товаров сверх карточек в специальных магазинах по лимитным книжкам». Не конкретизируя этого сообщения каким-либо цифровым материалом, автор ограничивается указанием на то, что в годы войны была широко развернута «так называемая закрытая сеть» магазинов и столовых, которая «обслуживала только определенные контингенты населения. При этом,— добавляет он,— учитывался опыт закрытых распределителей (ЗР) и закрытых рабочих кооперативов (ЗРК) начала 30-х годов...»

Здесь надо сделать одно замечание. Все перечисленные виды дифференцированного снабжения автор называет в одном ряду, так сказать, через запятую. Между тем нельзя не видеть, что, скажем, в последнем случае дифференциация имела существенно иной смысл, чем в предыдущих.

«Иногда,— пишет А. В. Любимов,— задают вопрос: не слишком ли были дифференцированы нормы снабжения и виды дополнительного питания, не усложняла ли их множественность работу торговых предприятий?» В этом вопросе соединены, собственно, два разных вопроса. Отвечая на второй из них, автор правильно замечает, что соображения удобства аппарата торговли не могли в этом случае признаваться решающими. Кратко, но вполне определенно высказывается он и по первому вопросу: «...система дифференцированного распределения в условиях войны и товарного дефицита прошла серьезную проверку временем и, безусловно, выдержала ее». Вместе с тем из примеров, которые приводятся в книге, явствует, что эта система имела и свои минусы. Рассказывается, к примеру, такой случай: в Саратове из-за затруднений с топливом несколько дней не пекли хлеб, а карточки отоваривали мукой. «Никто, и в том числе местные руководители торговли, не подумали, что это многих жителей совершенно не устраивает, никто не позаботился даже о продаже дрожжей. Аналогичные факты имели место и в Уфе, и в некоторых других городах». Подобные факты едва ли могли иметь место, если бы непорядительность саратовских или уфимских руководителей непосредственно сказывалась на них самих. Автор прав, когда — уже по другому поводу — замечает: «Мы лишний раз убедились, сколь важно руко-

водителю независимо от его ранга бывать в торговой сети не только в роли начальника, но и как обычному потребителю. Тогда он будет неизмеримо ближе к жизни...»

Читая книгу «Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны», припоминаешь многое из того, что составляло повседневный быт военного времени — быт, в котором продовольственная карточка занимала жизненно важное место:

Посеял карточки в трамвае,—
Садись к заочному столу.

Конечно, надо иметь в виду, что, ведя свое повествование с точки зрения руководителя торгового ведомства, А. В. Любимов говорит по преимуществу о том, сколько потребительских товаров и каких именно было произведено и продано, и почти ничего — о том, в какой же мере удовлетворялась тем самым потребность в этих товарах, как питались и во что одевались различные группы населения в городе и в деревне. Но то, чего не сделал автор, может в ряде случаев сделать сам читатель: многие сообщаемые в книге сведения он без особого труда повернет к себе другой, более близкой ему стороной; цифры и факты, характеризующие деятельность торговых организаций, предстанут перед ним как черты и условия жизни огромных человеческих масс. При этом, рассматривая такие сведения в комплексе, он получает возможность найти объяснение и некоторым сложным ситуациям в экономике военных лет.

Взять, к примеру, такой общеизвестный факт, как рост цен на колхозных рынках. Автор констатирует: «В первый период войны, когда привозы резко сократились, спрос настолько превышал предложение продуктов на рынках, что цены на них быстро пошли вверх. По сравнению с апрелем 1941 г. цены на 47 продуктов повысились в апреле 1942 г. в среднем в 7 раз, а в апреле 1943 г. — в 15 раз (наиболее вздорожали мука, картофель, лук, растительное масло, молоко)». Из этого факта можно было сделать различные выводы, в том числе и вывод о несознательности сельских жителей, которые, воспользовавшись трудностями продовольственного снабжения города, решили нажиться за его счет. О том же самом говорила как будто и такая, для многих памятная, форма торговли военных лет:

«Некоторые горожане, имевшие возможность поехать в деревню, покупали продукты там, а не на городском рынке и притом часто не за деньги, а путем обмена различных вещей — предметов домашнего и хозяйственного обихода, одежды, обуви и т. п.»

Однако картина существенно изменится, если мы вспомним, что во время войны карточки на промтовары получали лишь горожане — ограничение, которое автор никак не мотивирует, — без карточек же нельзя было купить в магазине почти ничего. Лишь в 1945 году из списка товаров, продававшихся по карточкам, «исключены были варежки, перчатки, женские и детские головные уборы (кроме меховых), тарелки, миски, чашки, стаканы, гребни, бритвы, лезвия, носовые платки», а также некоторые другие товары. И хотя какое-то, очень небольшое, количество промтоваров все же поступало в деревню, нехватка их ощущалась там гораздо острее, чем в городе. Да и никак не от избытка вез колхозник свои продукты на рынок: по данным, которые приведены в «Истории Великой Отечественной войны», «личное потребление колхозниками хлебобудничных снизилось в 1943 г. по сравнению с 1939 г. на 35 процентов, мяса и сала — на 66 процентов». Правда, это уменьшение частично компенсировалось более чем двойным увеличением потребления картофеля, тем не менее общий уровень питания как в городе, так и в деревне был значительно ниже довоенного.

Впрочем, 1943 год был, пожалуй, в смысле снабжения наиболее трудным годом военного четырехлетия. А. В. Любимов обращает внимание читателя на такой знаменательный факт: в отличие от прошлых войн, сопровождавшихся, как правило, прогрессирующим ухудшением продовольственного положения воюющих сторон, у нас оно к концу войны не только не ухудшилось, а, напротив, стало заметно улучшаться. При этом он подчеркивает ту огромную роль, которую в преодолении товарного голода сыграло широко развернувшееся местное производство, различные формы хозяйственной инициативы «снизу». В ряду других интересных сведений он сообщает, например, что с 1942 по 1944 год местная промышленность почти удвоила выпуск обуви, значительно увеличила производство тканей, трикотажа, чулок и т. д.; что производственной деятельностью с успехом заня-

лись многие универмаги, оптовые базы, райпотребсоюзы, сельпо; что широкое развитие получили децентрализованные заготовки картофеля и овощей, грибов и ягод, а также «щавеля, молодой крапивы, черемши и других видов съедобной, насыщенной витаминами дикорастущей зелени», которую «собирали десятками тысяч тонн».

Одним из основных источников продовольственного снабжения стали во время войны подсобные хозяйства промышленных предприятий и учреждений, горюющих организаций и орсов; их общая посевная площадь исчислялась миллионами гектаров, а продукция — десятками и сотнями тысяч тонн. Упоминает автор и небольшие, но многочисленные подсобные хозяйства при больницах, детских домах и яслях, которые, по решению правительства, «могли полностью использовать продукцию своих подсобных хозяйств без какого бы то ни было зачета ее в централизованные фонды. Многие из этих учреждений настолько успешно вели дело, что всецело обеспечивали за счет подсобных хозяйств свои потребности в картофеле, овощах, молоке и не получали их из государственных фондов».

Примеры такого успешного ведения дел на различных участках снабжения, примеры предприимчивости, изобретательности, инициативы неоднократно приводятся в книге. Взять хотя бы сферу общепита, деятельность которого в годы войны была особенно важна и подробно освещается А. В. Любимовым. Чтобы восполнить нехватку в пище витамина А, работники ряда столовых и фабрик-кухонь стали добавлять в нее концентрат из собранных своими силами люцерны, клевера, тимофеевки, свекольной и брюквенной ботвы. Не хватало в рационе белков — и в ход пошли пищевые дрожжи, производство которых развернули сами торговые организации. «Их выращивали на растворах, получаемых посредством гидролиза очисток картофеля и других овощей, лузги проса, гороха, а также отходов древесины». Дрожжи шли в самые различные блюда, а иногда они служили и основным продуктом — «из них делали котлеты, паштеты, студень и др.». Чтобы «получить максимум возможного из имевшегося сырья», в столовых Уралмашзавода практиковали трехразовую выварку костей. Чешую мелкой рыбы собственного улова здесь не выбрасывали — ее использовали для приготовления студня.

Значение подобных примеров не исчерпывается иллюстрацией той истины, что выражена пословицей: голь на выдумки хитра. В этих скромных изобретениях поваров и снабженцев, так же как и во многом другом, находил свое воплощение коллективный подвиг народа.

Следует отметить, что во время войны государственные органы нередко шли навстречу хозяйственной инициативе «снизу». В частности, были приняты специальные постановления, направленные на поощрение индивидуального и коллективного огородничества среди рабочих и служащих, а также индивидуального животноводства и птицеводства. Подсобным хозяйствам разрешалось продавать рабочим и служащим поросят для откорма, рекомендовалось отводить для личного скота пастбища и сенокосы. Торговые организации производили во время уборки урожая одновременную продажу соли для домашней засолки и квашения. «Огородничество, — пишет А. В. Любимов, — имело в полном смысле слова массовый характер. В 1942 г. им занимались 5 млн. рабочих и служащих, в 1943 г. — 11,7 млн., в 1944 г. — 16,5 млн. и в 1945 г. — 18,6 млн. человек». Если учесть, что общее количество рабочих и служащих во всех отраслях народного хозяйства составляло в том же 1945 году 27,3 миллиона человек, названные выше цифры выглядят особенно внушительными. Внушительными были и результаты этого «некрестьянского» огородничества. Достаточно сказать, что в 1944 году оно дало около 9,7 миллиона тонн картофеля и овощей, то есть почти на два с половиной миллиона тонн больше, чем поступило в том же году для снабжения населения городов и рабочих поселков из двух основных источников, вместе взятых, — по нецентрализованным заготовкам и закупкам и от подсобных хозяйств.

И эти, и многие другие сообщаемые автором сведения дают богатую пищу для размышления об особом характере минувшей войны, о причинах и источниках нашей победы. Тут есть о чем подумать и историку народного хозяйства, и экономисту, и социологу, и этнографу, и даже психологу и философу. И, конечно, литератору, чей интерес к действительности обнимает все стороны и проявления народной жизни.

Одна из заключительных глав книги посв-

выщена организации в апреле 1944 года коммерческой торговли, то есть торговли без карточек по значительно повышенным ценам (она просуществовала почти четыре года, давая возможность «некоторым лучше оплачиваемым группам населения... удовлетворять свои запросы полнее» и одновременно аккумулируя в руках государства возрастающее количество денежных средств). Подробно рассказывается о подготовке к отмене карточной системы, которую планировалось провести осенью 1946 года. Однако необычайно сильная засуха, охватившая многие хлебные районы страны, не только отодвинула проведение этого мероприятия, но и заставила снять с пайкового снабжения хлебом свыше 27 миллионов человек, несколько уменьшить хлебные нормы остальным, сократить фонды коммерческой торговли хлебом и т. п.

1947 год стал для нашего народа трудным годом. Но он же принес и хороший урожай, что вместе с общим увеличением товарных ресурсов позволило уже в конце того же года перейти к свободной торговле по единым государственным ценам, более высоким, чем прежние пайковые, но более низким, чем коммерческие цены. «День 16 декабря 1947 г., — пишет А. В. Любимов, — был праздником и для всей армии работников торговли, и для миллионов советских покупателей. Уходили в прошлое карточки, ликвидировалось еще одно последствие войны».

Если по рецензентской обязанности над-

лежит упомянуть и о недостатках книги А. В. Любимова, то придется говорить по преимуществу о том, чего в ней нет. Нет общих цифр, показывающих, как распределялись снабжаемые контингенты населения по группам и категориям, сколько и каких продовольственных и промышленных товаров реально получила в порядке нормированного снабжения каждая из них. Нет сведений о том, в каком объеме и ассортименте распределялись через торговую сеть продукты питания и другие потребительские товары, поставлявшиеся нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Нет данных об уровне потребления различных групп населения в городе и в деревне. Нет никаких сопоставлений карточной системы 1941—1947 годов с практикой нормированного распределения периода гражданской войны и — за единственным исключением — никаких попыток привлечь и проанализировать ленинские высказывания на эту тему; почти нет сравнений и с карточной системой 1928—1935 годов.

Многие из этих упущений объясняются, быть может, тем, что, как сказано в аннотации, внезапная смерть (в 1967 году) помешала А. В. Любимову завершить работу над книгой. Но и в настоящем своем виде она представляет собой содержательный труд, обогащающий наши представления об одной из наиболее драматических и славных эпох в истории советского народа.

Ю. БУРТИН.



КНИГА. ИСТОРИЯ. ЧЕЛОВЕК

Е. Таратута. Подпольная Россия. Судьба книги С. М. Степняка-Кравчинского. «Книга». М. 1967. 272 стр.

Выдающийся революционер семидесятых — восьмидесятых годов XIX века, человек незаурядный во многих отношениях, С. М. Кравчинский (литературный псевдоним — Степняк) одно время находился как-то вне внимания историков. Сравнительно недавно начали вновь печататься его сочинения¹, появляться статьи

о нем, стал складываться в широком общественном сознании его образ.

Новая работа Е. А. Таратуты, уже в течение многих лет занимающейся изучением (московского М. Ермашевой). В 1968 году издательство «Наука» выпустило в свет сборник «С. М. Степняк-Кравчинский. В лондонской эмиграции», включающий в себя впервые публикуемые на русском языке работы Степняка «Русская грозная туча» и «Русское крестьянство» (том I), переписку 1884—1895 гг. и воспоминания о Степняке (составление, перевод с английского и комментарии М. Е. Ермашевой, в приложении — статья В. Ф. Захаровой «С. М. Степняк-Кравчинский. В лондонской эмиграции»).

¹ В 1958 году в издательстве «Художественная литература» вышел двухтомник «Сочинения» С. Степняка-Кравчинского. В 1964 году впервые на русском языке была издана его книга «Россия под властью царей» (издательство «Мысль», перевод с англий-

жизни и творчества Кравчинского, посвящена истории создания и судьбе самого, пожалуй, главного его произведения — «Подпольная Россия» (1882). Воссоздавая историю этой книги, Е. А. Таратута вместе с тем воспроизводит и события значительно этапа жизни ее автора. Старые письма, записные книжки, воспоминания современников, похороненные в архивах полицейские документы, забытые газеты — все это становится в руках исследовательницы материалом, из которого постепенно складывается перед нами образ того времени.

Вот, скажем, бернский агент царской полиции по кличке Жозеф. Подкупив квартирную хозяйку Анны Эпштейн (это старая приятельница Кравчинского, жена его друга Дмитрия Клеменца), он получал на несколько часов все письма, приходившие на ее имя, и — не зная русского языка — снимал с них копии, буквально срисовывая их: «фотография тогда еще не служила шпионам». Эти рисунки, где иногда несколько слов сливались в одно, а одно делилось на несколько, копировались чиновниками III отделения, которые к каракулям Жозефа прибавляли собственные ошибки. Е. А. Таратуте приходилось иногда долго ломать голову над тем, какой же смысл кроется под этими закорючками. Расшифровав очередное донесение Жозефа, Е. А. Таратута знакомит нас со штрихами напряженной жизни Кравчинского в эмиграции: «Убегался, учтался и опереводился, милая (не взыщи за слова). Перевожу один глупейший роман с испанского», — пишет он Анне в конце 1878 года: надо же было чем-то жить.

Исследовательнице мало установить тот или иной факт — надо еще найти должное ему место среди других, правильно истолковать его, а тут часто не обойтись без догадок, фантазий, предположений. «Гипотезы... Гипотезы... — прервет она однажды свое повествование. — А как вы полагаете, читатель?»

Это не риторика. Прямо обращаясь к читателю, автор стремится вызвать в нем поток представлений и мыслей, которые могут оказаться чем-то полезными и самому исследователю. Это очень приметная черта метода Е. А. Таратуты; ее выводы далеки от категоричности, ее работа — вся в процессе, открытом мнениям и суждениям современников.

Но чем может помочь кропотливому исследователю рядовой читатель? Ну, конечно, он может увидеть в книге Е. А. Таратуты какие-то частные огрехи. Вот, скажем, на странице 255 неверно дана ссылка на Герцена... Но, очевидно, не этого главным образом ждет писательница от читателя; ей дороги, вероятно, прежде всего его соображения, которые, быть может, позволяют лучше понять Кравчинского, его духовную суть, его дело, его эпоху, ибо, как историк мыслящий, Е. А. Таратута отчетливо представляет себе, что знание и понимание — далеко не одно и то же. А судьба главной книги Кравчинского — действительно подходящий предмет для раздумий.

Центральным в работе Е. А. Таратуты мне представляется эпизод, когда Кравчинский, страстно рвавшийся из эмиграции на родину, к подпольной деятельности, вдруг, когда такая возможность возникла, отказывается ехать.

Вскоре после казни народовольцами Александра II Кравчинский пишет жене:

«Фаничка, милая! Еду!.. Я еду, еду, туда, где бой, где жертвы, может быть, смерть! Боже, если б ты знала, как я рад — нет, не рад, а счастлив, счастлив, как не думал, что доведется мне еще быть! Довольно прозябания! Жпзнь, полная трудов, быть может, подвигов и жертв — снова открывается предо мной как лучезарная заря на сером ночном небе...»

Но необходимых документов, денег, адресов явок «питерцы» все не слали.

Вот уже погибли на Семеновском плацу организаторы акта 1 марта. А Кравчинский все еще не в России. Из Швейцарии он перебрался в Италию — и там продолжает жадно ждать зова из России. И наконец — вот он, долгожданный вызов, ему и Льву Дейчу.

И тут вдруг Кравчинский отказывается от немедленной поездки на родину. «...Мне, — пишет он Дейчу, — теперь ехать нет ни малейшей возможности».

Что же случилось? Кравчинскому кажется, что это лишь временная отсрочка, но доводы, которыми он аргументирует свой отказ, таковы, что раньше он никак не посчитался бы с ними: литературная работа, обязательства, подготовка «Подпольной России». Е. А. Таратута считает, что во имя «Подпольной России» Кравчинский отказом от поездки на родину «принес наивысшую жертву». Но действительно ли

этот отказ от желанного «светлого праздника», от «подвигов, жертв, мучений даже» был всего лишь жертвой?! И чему? Позволю себе высказать предположение, что дело обстояло несколько иначе.

Отказ Кравчинского в момент подготовки «Подпольной России» вернуться к нелегальной деятельности связан, по моему мнению, с тем, что, как следует уже из публикуемых Е. А. Таратугой материалов, где-то в самом начале восьмидесятых годов (примерно с весны 1881 года по январь 1882 года) в его мировоззрении совершается важный сдвиг — к осознанию более сложного, чем он мыслил это себе ранее, процесса революции.

«Между именами самых энергических деятелей на всех путях, которыми шло до сих пор русское революционное движение,— писал П. Л. Лавров в предисловии к «Подпольной России»,— русские революционеры всегда упоминают имя того, кто выступил теперь пред европейскою публикою под псевдонимом «Степняк». Подчеркнутое здесь личное участие Кравчинского «в различных фазисах, через которые проходило русское революционное движение», многое объясняет в том, как и почему один из активнейших революционеров-практиков семидесятых годов, человек отчаянной смелости, беззаветной преданности революционному делу, в начале восьмидесятых годов отдает явное предпочтение слову, литературе, просвещению.

Да, очевидно, необходимо было лично пройти всеми «фазисами» революционного движения семидесятых годов — от деятельности в кружке «чайковцев» и хождения в народ, через участие в восстании в Боснии и Герцеговине и попытки осуществить анархистский «социализм» в Италии (рассказу об этом периоде деятельности Кравчинского посвящена статья Е. А. Таратуги в сборнике «Россия и Италия», М. 1968) до геройской казни царского палача — генерала Мезенцева в 1878 году и поддержки «Народной воли», чтобы почувствовать, что, как бы ни были героичны все эти способы борьбы за свободу, их воспроизведение в условиях крещенской реакции восьмидесятых годов уже ни к чему, кроме жертв, не приведет. Надо было пройти через все это, чтобы прийти к необходимости вновь осмыслить уроки революционного процесса, его цели и средства и через это — к пониманию того, что задача движения состоит не дан

ном эгоне еще в подготовке революции, в частности посредством создания у демократического западного читателя правильного представления о внутреннем положении России, об особенностях ее развития и о тех самоотверженных бойцах, которые вступили в неравную схватку с полуазиатским деспотизмом. Выполнение этой задачи и взял на себя Кравчинский. Суть изменений, происшедших с ним, состояла, думается, в том, что он поднялся к новой ступени понимания революции, навсегда перейдя в ряды тех революционеров, которые, в отличие от адептов честного, искреннего, но все же, по выражению В. И. Ленина, «вульгарного революционаризма», знают, что «слово тоже есть дело», в особенности в те эпохи истории, «когда открытого политического выступления масс нет, а его никакие путчи не заменят и искусственно не вызовут»¹.

Как косвенный аргумент в пользу выказанного здесь предположения можно привести и такой факт: именно в это время Кравчинский, не любивший, по мнению Е. А. Таратуги, выкатывать в теории, вступает в резкую теоретическую полемику с письмом народовольцев, написанным Л. Тихомировым. «Кравчинский,— пишет Е. А. Таратуга,— много думал над ответом народовольцам. Начинал, зачеркивал, начинал заново. От той поры сохранилось очень мало его бумаг. Рукописей «Подпольной России» не сохранилось вовсе. Писем жены и друзей тоже почти не сохранилось. Он все уничтожал. А вот черновики и разные варианты ответа народовольцам сохранил. Очевидно, это было очень важно для него...»

В самом начале ответа Кравчинский предупреждал товарищей о пагубности их теоретических ошибок и высказывал положительное отношение к научному социализму: «...Истины, до такой степени установившиеся, как научность Маркса или еще более — научность социализма (который вы называете «клеткой»), нельзя пошатнуть двумя-тремя фразами». Эти слова Кравчинского — свидетельство того, в какую сторону совершался в нем духовный сдвиг. Еще более конкретное выражение нашел он в горячих возражениях Кравчинского против излишней централизации в народо-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 59.

вольческой организации. «Централизация,— говорилось в одном из вариантов ответа,— имеет¹ одно и только одно достоинство в русской борьбе: она уменьшает шансы провалов. Но она имеет недостаток столь же огромный: она парализует силы, ослабляя частную инициативу». И дальше, как credo: «Только в возможно большем развитии личной, местной и областной автономии вижу залог как будущего счастья человека и человечества, так и торжества революции».

Е. А. Таратута, к сожалению, не анализирует этих рассуждений. Между тем они весьма примечательны. Прежде всего, в них находят отражение определенное влияние на Кравчинского бакунистских, анархистских идей. Однако нельзя не видеть и того, что Кравчинский правильно указал на крупнейший недостаток организации и деятельности «Народной воли»: недооценку инициативы и самостоятельности мест.

В своем письме народовольцы выступили с резкими словами по адресу П. Б. Аксельрода (незадолго перед тем он выступил на Международном социалистическом конгрессе с речью, не согласованной заранее с Исполкомом). В черновике ответа Кравчинского народовольцам по этому поводу говорится: «Претендуя на то, чтобы ваши мысли признавались не потому, что они хорошо доказаны, а потому, что они высказаны вами, вы никогда не добьетесь... их признания массой публики, как не добивались ни папы, ни короли, ни императоры... Но таким стремлением вы добьетесь другого: вы оскорбите мысль своих собственных сторонников, т. е. свою собственную.— Возмущаясь всяким несогласием... вы разовьете тот дух рутины, косности мысли и даже придворного поддакивания, который убивает всякую жизнь, заменяя ее официальной мертвечиной...» «Вы... смотрите на всяких несогласных как на врагов, подрывающих... ваш авторитет.— По-моему, господа, это с вашей стороны не твердость, малодушие. Я вовсе не за христианское смирение. Прочь его! Революционер должен быть горд, как сатана, он должен верить в величие своей партии и своего собственного призвания: в этом тайна его мощи. Но такой страх перед всякой критикой, такая боязнь, что всякое слово, сказанное против вас, подорвет ваш авторитет,— разве это признак мощи?»

Как видно из книги Е. А. Таратуты, эта

«теоретическая разборка» Кравчинского имела самое прямое отношение к работе над «Подпольной Россией». Это проявляется и в единстве стиля, совпадении образов (по интересному наблюдению Е. А. Таратуты, и в ответе народовольцам, и в «Подпольной России» Кравчинский приравнивает гордость революционера к гордости возмущившегося против бога сатаны). Это находит выражение и в намеренном подчеркивании Кравчинским своего права говорить о революционерах так, как он их понимает. Именно самостоятельность подхода позволила Кравчинскому дать реалистические портреты революционеров, в сущности, кончавшегося уже исторического периода. Отказ писать их как святых угодников объяснялся не только естественным отращиванием к идеализации, но и высотой той революционной точки зрения, на которой он стоял.

И Е. А. Таратута зря пытается убедить нас, что, в сущности, нет никакого противоречия между двумя портретами Веры Засулич, созданными Кравчинским в разное время — сразу же после ее выстрела в генерала Трепова и в «Подпольной России»; это противоречие налицо: от восторженно-восхваления Степняк навсегда уходит к строгим, реалистическим и потому не лишённым критики краскам.

Приступая к работе над книгой, Кравчинский писал: «Постараюсь дать характеристику движения в лицах и образах». «В лицах и образах», — акцентирует Е. А. Таратута. Однако надо, думается, сделать и иное ударение: Кравчинский решил дать характеристику именно движению, самой революции. Именно этой задаче был подчинен отбор Кравчинским фигур для своей книги, последовательность их портретов и т. п.

Первый «революционный профиль» он посвящает Стефановичу — «исключительно человеку дела», готовому побрататься с самим сатаной, «если бы только это было ему полезно». Ему противостоит Дмитрий Клементи — человек, никогда не уклоняющийся от прямого пути ввиду соображений непосредственной выгоды, не признающий компромиссов и насилия чужой воли. А вот тип вонна — Валериан Осинский: «Он любил опасность, так как чувствовал себя там в своей стихии». Противоположность ему — П. А. Кропоткин, «вмственный вождь». Он «рожден для деятельности на широком по-

прище, а не в подпольных сферах тайных обществ. У него нет той гибкости и умения приспособляться к условиям момента и требованиям практической жизни, которые так необходимы заговорщику». Дмитрий Лизогуб — воплощение нравственной красоты, человек, смотрящий даже на вынужденную бездеятельность как на нечто позорное. Вера Засулич «обладает всем, чтобы сделаться, если можно так выразиться, совестью кружка, организации, партии. Но, великая по своему нравственному влиянию, Засулич не может быть рассматриваема как тип влияния политического. Она слишком сосредоточена в себе самой, чтобы влиять на других». Иное — Софья Перовская, «тип борца неутомимого и могучего». В посвященном ей «профиле» Кравчинский делает такое резюме содержания всей книги: «Различны и многообразны типы людей, которых должна иметь в своих недрах живая, воинствующая революционная партия, чтобы быстро и неуклонно шествовать по своему тернистому пути. Ей нужны мыслители, которые умели бы угадать потребности минуты, понять негодность старых путей и вовремя указать новые; ей нужны поэты и пророки, которые в трудные годы испытаний и сомнений сумели бы влить в души товарищей свою вдохновенную веру в будущее партии и в самих себя; ей нужны воины, которые рвались бы к бою из любви к бою, нейтрализуя влияние скептиков и медлителей; ей нужны агитаторы, ораторы, финансисты. Но все это частные функции, которые могут быть соединены в гармоническое целое только под условием присутствия в организации людей совершенно особого типа, которых можно назвать людьми революционного долга, организационной дисциплины и исполнительности».

Первоначально «Подпольная Россия» создавалась для зарубежного читателя. На русском языке она вышла лишь в 1893 году. Более десяти лет прошло после первого появления книги — задаче подвести итоги истекшего периода было посвящено специальное «заключение» Кравчинского. Е. А. Таратута ничего по существу не говорит об этом заключении. Между тем оно очень важно. Показывая зависимость

хода всех дел в России от размаха революционной деятельности, отмечая несомненные заслуги «Народной воли», Кравчинский вместе с тем здесь прямо заявляет: «терроризм как система отжил свой век», будущее движения связано с открытым выступлением против самодержавия широких слоев русского общества.

Задаче подготовки сознательных революционных сил и служило русское издание «Подпольной России». В этой связи и выступает все значение того добавления, которое Кравчинский присовокупил здесь к портрету Я. Стефановича. Повествуя о так называемом чигиринском деле (когда Стефанович, мистифицируя крестьян, гытался поднять их на революционную борьбу посредством подложного царского манифеста), Кравчинский добавляет: «Он задумал план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности — с полной беспринципностью... Это была старая «самозванщина», облеченная в новую канцелярскую форму... Принцип стефановичевского плана — обман народа, хотя бы для его же блага, и поддержание гнусной царской легенды, хотя бы с революционными целями, — был безусловно отвергнут партией и не имел ни одного подражателя».

Напрасно Вера Засулич уговаривала Кравчинского вообще выбросить очерк о Стефановиче. «О выбрасывании не может быть и речи, — отвечал ей Кравчинский. — ...Кроме личных чувств, есть еще и общественные обязанности, главным образом, перед молодежью. Какой урок мы, старики, преподнесем ей, если не выскажемся резко отрицательно по поводу таких кривых действий...?»

Эта обращенность к молодежи, сознательно дидактический в лучшем смысле слова характер придают, как правильно пишет Е. А. Таратута, особую ценность русскому изданию книги. Написанная первоначально с целью пропаганды нравственной чистоты русских революционеров в западноевропейской публике, эта книга приходит к нам почти столетие спустя как средство воспитания молодежи в духе чистоты идей, принципов, заветов революции.

А. ВОЛОДИН.

КОЛХОЗНИК: КРЕСТЬЯНИН ИЛИ РАБОЧИЙ?

Ю. В. Арутюнян. Опыт социологического изучения села. Издательство Московского университета. 1968. 104 стр.

Почти сорок лет прошло с тех пор, как наш крестьянин-единоличник стал колхозником. Срок пемалый. Все эти годы наша литература с большей или меньшей объективностью и тщательностью фиксировала перипетии сложной и многотрудной истории колхозного села. Мы знаем, в каких муках рождалось колхозное движение, как трудно происходила ломка старой крестьянской психологии, как постепенно колхозы превращались в крупные сельскохозяйственные предприятия, оснащенные современной техникой. Знаем, как изменился за эти годы облик наших сел. А как изменился сам колхозник? Каков его социальный облик теперь, после сорока лет непрерывных перемен во всем укладе его жизни, труда, быта? Книжка Ю. В. Арутюняна и представляет собой попытку социологического анализа этой новой реальности.

Книжка невелика по объему и скромна на вид, она едва ли украсит собой книжную полку, зато, думается, видное место займет на рабочем столе каждого, кто интересуется социальным развитием современной деревни, сложными ее проблемами.

Первая часть книги — краткий очерк истории советской сельской социологии. Указав, что «золотым» периодом в ее истории были двадцатые годы, автор подчеркивает роль В. И. Ленина как инициатора широкой полосы конкретно-социологических обследований деревни, развернувшихся вскоре после XI съезда партии. Приведены слова Ленина из предложенного им съезду «примерного» проекта резолюции по вопросу о деревне: «Факты доказывают и специальная комиссия съезда подтверждает, что главный недостаток партии в области работы в деревне — незнание практического опыта, это корень всех бед и всего бюрократизма...»

Конечно, с научной точки зрения методика обследований не всегда была выдержана. Но, замечает автор, массовость, размах (только в 1924—1925 годах в одной, например, Пензенской губернии было обследовано 32 730 крестьянских хозяйств), а главное, практическая направленность исследований, их сугубо деловой характер и объективность с избытком покрывали методологические просчеты. Исследователи де-

ревни тех лет говорили о трудностях и недостатках, хотя в стране в то время еще существовали антагонистические классы и отдельные искривления политики партии могли быть использованы ее противниками. Материалы обследований обобщались и, как правило, публиковались.

С централизацией и государственным руководством социологическими исследованиями хорошо уживалась широкая инициатива рядовых работников-социологов, которые анализировали деятельности комиссий, создаваемых непосредственно при ЦК и возглавляемых его членами, обсуждали ее в печати. Все это позволило накопить и обобщить огромное количество достоверных фактов; в свое время они помогали выработке и уточнению политики партии в деревне, а сегодня служат добротным материалом для историка.

В тридцатые годы, продолжает Ю. В. Арутюнян, обстановка для социологического изучения действительности была мало благоприятной. Социологам пришлось отказаться от конкретных исследований и пойти по пути создания «обобщающих» работ. Статистика была неполной и не всегда точной. Еще труднее была обстановка в сороковые годы и в первой половине пятидесятых годов, когда о селе «писали лишь в широком плане». Оживление в изучении села намечилось после XX съезда КПСС. В ряду работ, имевших принципиальное значение в исследовании социально-экономических проблем деревни, автор особо выделяет книгу В. Г. Венжера «Колхозный строй на современном этапе», где на большом фактическом материале показано «преимущество колхозной системы, позволяющей использовать товарно-денежные отношения и принципы самоуправления», а также книгу Т. И. Заславской «Распределение в колхозах по труду», содержащую «уникальные материалы об уплате и организации труда колхозников, роли личного хозяйства и т. п.»

Сосредоточивая затем внимание на нынешней деревне, Ю. В. Арутюнян указывает, что строгой, последовательно разработанной теории ее социальной структуры у нас пока не создано. До недавнего времени в нашей «деревенской» социологиче-

ской литературе речь шла в основном о различиях между колхозниками и рабочими, причем все такие различия рассматривались прежде всего как классовые, связанные с существованием двух форм собственности: государственной и колхозно-кооперативной. При всей справедливости такого, классового, деления, замечает автор, ограничиваться им в современных условиях нельзя. Сам характер собственности, отношение к ней вовсе не остаются неизменными. Укрупнение колхозов, рост их неделимых фондов и т. д. ставят колхозника по отношению к кооперативно-колхозной собственности во многом в такое же положение, что и рабочего по отношению к государственной.

Отсюда — через ряд посредствующих соображений — делается вывод, что «решающим стратообразующим фактором» в наших условиях должна быть не столько собственность, сколько труд, «точнее, качество труда». «Закономерно поэтому, — пишет автор, — при анализе структуры социалистического общества выделить профессионально-квалификационные группы по качеству труда». Ю. В. Арутюнян выделяет следующие группы: интеллигенция (люди, занятые квалифицированным умственным трудом, требующим высшего образования), в том числе интеллигенция административная, творческая, производственная и массовая (врачи, учителя и другие); служащие (люди без специальной подготовки, обслуживающие квалифицированный умственный труд); работники квалифицированного физического труда; работники неквалифицированного физического труда. Основу книги составили материалы исследования, проводившегося под руководством автора социологическими экспедициями Института истории АН СССР (1964 год) и философского факультета МГУ (1965 год) в селах Мелитопольского района Запорожской области. Высказанные выше теоретические предположения предстояло проверить на реальном жизненном материале.

Исследование проводилось в селе Терпенье колхоза имени XXI съезда, по всем основным показателям типичного колхоза Запорожья, и в соседних с ним поселках Заречное и Луговое совхоза «Аккермень», также типичного для данного района. Было обследовано 1782 жителя села Терпенье, колхозников, рабочих и служащих (51 процент населения села — колхозники, осталь-

ные рабочие и служащие местного известкового завода и различных государственных учреждений) и 582 жителя совхозных поселков. Были выделены четыре группы семейств в зависимости от квалификации главы семьи: группа А — умственный труд квалифицированный, группа Б — умственный труд неквалифицированный, группа В — физический труд квалифицированный и группа Г — физический труд неквалифицированный.

При сравнении материального положения выделенных общественных групп легко заметить (в книге приводятся многочисленные данные по отдельным элементам исследования) преимущества государственного производства на человека в семье рабочих и служащих почти на одну треть выше, чем в колхозной семье. Примерно такое же соотношение наблюдалось тогда и по стране в целом: в 1964 году оплата труда колхозников отставала от зарплаты рабочих совхозов примерно на 40 процентов. Но не менее существенна разница в доходах внутри этих секторов между разными профессионально-квалификационными группами. По трем обследованным селам среднемесячные заработки всех рабочих, служащих и колхозников в расчете на одного человека в семье (без учета личного хозяйства) распределились по группам таким образом: в группе А — 35,9 рубля, в группе Б — 25 рублей, в группе В — 25,9 рубля и в группе Г — 20,9 рубля. В индивидуальной же оплате разрыв был еще значительнее: из 242 колхозников села Терпенье среднемесячный заработок 48 человек доходил до 20 рублей, 104 человек — до 40, 59 человек — до 60, 24 человек — до 80, 6 человек — до 100 и одного человека — до 150 рублей. Примечательно, что в 1935 году в том же селе Терпенье среднегодовой заработок (в трудоднях) колхозников всех четырех названных профессионально-квалификационных групп равнялся соответственно 273, 235, 245 и 226 — расстояние между крайними точками было значительно меньше. Таким образом, делает вывод автор, с расширением колхозного производства и углублением разделения труда в колхозах усиливается профессионально-квалификационная дифференциация. В то же время по условиям труда колхозы все больше напоминают государственные предприятия. В результате внутриклассовые различия

уже сейчас сказываются на материальном положении колхозников и рабочих по крайней мере не в меньшей степени, чем межклассовые.

Но тут встает вопрос о личном хозяйстве жителей деревни: не служит ли оно средством выравнивания доходов низкооплачиваемых категорий работников? Законность этого вопроса станет понятна, если учесть, что хотя личное хозяйство в целом по стране занимает всего 3 процента посевных площадей, в нем, согласно приведенным в книге данным, еще недавно производилось 17 процентов всей валовой продукции сельского хозяйства, а по отдельным видам продукции процент этот был еще выше. Так, в 1964 году доля картофеля, собранного с приусадебных участков, составила 60 процентов валового сбора картофеля в стране и 44 процента товарного картофеля, яиц — соответственно 73 и 43 процента, мяса — 42 и 20 процентов.

Материалы обследования свидетельствуют о том, что личное хозяйство распространено среди всех слоев сельского населения, не исключая рабочих и служащих государственных предприятий и учреждений. Подавляющее большинство рабочих, служащих и колхозников, как квалифицированных, так и малоквалифицированных, имеют огород и сад. В совхозе имеют огороды 92 процента работников группы А и 87 процентов работников противоположной ей крайней группы Г; среди рабочих и служащих известкового завода и государственных учреждений села Терпенье этот процент, соответственно по группам А и Г, составляет — 84 и 92, среди колхозников — 100 и 88. Примерно в тех же пропорциях распространены и сады. Что же касается обеспеченности скотом, то тут квалифицированные работники находятся даже в лучшем положении, чем неквалифицированные, занятые на «разных» работах. В колхозе, например, имеют корову 75 процентов работников группы А и только 31 процент — работников группы Г.

Правда, в отношении размеров хозяйства на стороне колхозников некоторое преимущество по сравнению с рабочими и служащими. В среднем приусадебный участок семьи колхозника занимает здесь примерно 40 сотых гектара, семья рабочего и служащего — 17 сотых. У колхозника в селе Терпенье одна корова приходится на 3 хозяйства, у рабочего — на 11 хозяйств. Однако

доходы с приусадебных участков у колхозников ненамного превышают доходы с приусадебных участков у рабочих и служащих: примерно на одну треть. Итак, заключает Ю. В. Арутюнян, «благодаря личному хозяйству лишь еще больше стираются различия в уровне доходов между секторами, различия же в доходах квалифицированных и неквалифицированных групп внутри колхоза нисколько не смягчаются».

До недавних пор, пишет автор, именно по личному хозяйству было принято проводить водораздел между рабочими и крестьянами. «Однако,— продолжает он,— такое представление является результатом простого недоразумения, вызванного тем, что колхозники сравниваются не с сельскими рабочими, а с рабочими вообще, включая городских. Но рабочие в городе, конечно, не в силу своей высокой сознательности не разводят капусту на асфальте. В сельской же местности, как уже указывалось, личное хозяйство имеется почти у каждого — и у рабочих, и у колхозников... Личное хозяйство — не признак класса колхозников, а, скорее, признак сельского жителя». С этим выводом нельзя не согласиться, равно как и с тем, что столь широкая распространенность личного хозяйства, и до сих пор остающегося одним из основных источников дохода деревенской семьи, «конечно, объясняется не его развитостью, а слабостью общественного хозяйства, недостаточностью фондов, выделяемых на оплату труда колхозников».

Культурно-бытовые различия, показывает далее Ю. В. Арутюнян, так же как и различия в материальном положении, гораздо более заметны внутри секторов между людьми разной квалификации, чем между секторами. Нет никаких принципиальных различий между колхозниками села Терпенье и рабочими совхоза ни в материальном быту, ни в сфере духовных проявлений их жизни. Были изучены благоустроенность жилищ, обстановка их, убранство, гигиенические условия, распространение предметов культурно-бытового назначения, книг, журналов, газет и т. д. По всем этим признакам (их более пятнадцати) было обнаружено первенство работников умственного, а вслед за ними и квалифицированного физического труда над группой неквалифицированных работников, независимо от их принадлежности к классу рабочих или крестьян. Между рабочими и колхозниками

нет, например, существенных различий в приверженности к книгам, журналам и газетам. Процент рядовых колхозников, выписывающих по два и более наименований газет и журналов, оказался даже больше, чем рабочих извещкового завода и госучреждений (тех же групп В и Г). Однако внутри колхозного сектора различия резки: по две газеты получают 100 процентов семей группы А, 80 процентов семей группы Б, 56 процентов семей группы В и 28 процентов — группы Г. Примерно те же пропорции были выявлены и при анализе читательских формуляров в сельской, довольно большой, библиотеке.

Автором предпринята была также едва ли не первая у нас попытка охарактеризовать социальную структуру сельского населения в динамике, проанализировать отдельные моменты социальной мобильности сельского населения, перемещения из одной социальной группы в другую, из колхоза в совхоз и наоборот и т. д. Данные исследования свидетельствуют о значительно большей легкости и интенсивности перемещений сельских жителей между секторами, чем между профессионально-квалификационными группами. Причины, побуждающие людей к такого рода перемещениям, тем более из одной группы в другую, связаны не только и даже не столько с чисто материальными интересами, сколько с интересами духовного порядка. При сплошном опросе взрослого населения совхоза «Аккермень» выяснилось, например, что «90 процентов родителей желают своим детям получить профессии преимущественно умственного труда», пользующиеся высоким престижем, хотя бы даже и не высокооплачиваемые: на первом месте были профессии врача, учителя, инженера. Любопытно, что никто не

пожелал своим детям приобрести профессии агронома или ветеринара, некоторые же именно подчеркивали: «Пусть учится, только не в сельскохозяйственном учебном заведении». Отвечая на вопрос о причинах привлекательности жизни и работы в городе, прежде всего указывали на более высокий культурный уровень горожан, благоустроенный быт и уже потом — на возможность улучшить материальное положение.

Разумеется, всех сторон поднятой проблемы Ю. В. Арутюняну охватить не удалось, да и странно было бы требовать от него того, что может быть под силу лишь всей армии социологов. Полезно было бы, например, под тем же углом зрения сравнить сельского и городского рабочего, выяснить, какое социальное значение имеет специфика их труда. Иными словами, имеем ли мы тут дело с какой-то крестьянской (или полукрестьянской) психологией сельского рабочего, что, так сказать, качественно может отличать его от городского и роднить с колхозником, или от этой психологии уже не осталось и следа? Не менее интересно было бы включить в исследование анализ взаимоотношений между такими, по убедительной классификации автора, подгруппами интеллигенции, как интеллигенция административная, творческая, производственная, массовая, попытаться выяснить, каковы особенности социальных проявлений в каждой из этих подгрупп, степень их влияния друг на друга и на общество в целом и т. д.

Но, повторяем, эти пожелания, обращенные не столько к Ю. В. Арутюняну, сколько ко всей той отрасли науки, которую он представляет, ни в коей мере не могут принизить значения проделанной им работы.

В. САВЧЕНКО.

★

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Джеральд Даррелл. Зоопарк в моем багаже. «Мысль». М. 1968. 278 стр.
Джеральд Даррелл. Путь кенгуренка. «Мир». 1968. 224 стр.

Советским читателям хорошо известно имя английского натуралиста Джеральда Даррелла, автора серии научно-популярных книг¹, совершившего в послевоен-

ные годы увлекательные экспедиции в Африку, Южную Америку, Новую Зеландию, Австралию и Малайю в поисках редких животных и птиц, о которых ученые зачастую знают только то, что они существуют в природе. Перед его глазами прошли соборные сумраки тропических лесов, тучные зеленые просторы пампы, патагонская рав-

¹ Д. Даррелл. Перегруженный ковчег. «Мысль». М. 1958; Д. Даррелл. Под пологом пьяного леса «Мысль». М. 1964; Д. Даррелл. Земля шорохов. «Мысль». М. 1964.

нина, напоминающая марсианский пейзаж, золотистая и белая саванна...

Многочисленные путешествия, встречи с сотнями людей укрепили ученого в намерении завести собственный зоопарк — питомник исчезающих видов. И он пришел к твердому выводу: надо охранять не только самих животных, но и среду их обитания — леса и луга, озера и реки и даже море. Это необходимо не только для спасения фауны, но и для будущего самого человека.

«Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад,— говорит он,— но беда в том, что мы никудышные садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила садоводства. С пренебрежением относясь к нашему саду, мы готовим себе не в очень далеком будущем мировую катастрофу не хуже атомной войны». И Дарреллу трудно отказать в известном праве на это утверждение. На многих континентах он видел одну и ту же удручающую картину. Малочисленные отряды преданных своему делу, плохо оплачиваемых и перегруженных работой людей сражаются против равнодушия обществственности, софистики политиков и промышленных воротил. Он отмечает, правда, что в последнее время люди постепенно начинают сознавать, как важно охранять диких животных и среду их обитания, но многих видов уже нет, а в целом ряде случаев численность вида сведена до такого минимума, что нужны самые решительные меры, чтобы спасти его.

Положение осложняется тем, что многие виды не могут рассчитывать на настоящую защиту, так как они слишком мелки и не представляют ценности ни для коммерции, ни для туризма. И Даррелл, негодуя, с горькой иронией пишет: «Когда я показываю посетителям моих питомцев, один из первых вопросов неизменно гласит: «А какая от него польза?» На такой вопрос можно ответить только вопросом: «А какая польза от Акрополя?» Разве животное непременно должно приносить человеку утилитарную пользу, чтобы за ним признавали право на существование? Вообще, спрашивая: «Какая от него польза?», вы требуете, чтобы животное доказало свое право на жизнь, хотя сами еще не оправдали своего существования». В глазах Даррелла истребление любого вида животных — уголовный акт, равный уничтожению неповтори-

мых памятников культуры. И его можно понять.

Еще в юности сверстники Даррелла, подтрунивая над ним, утверждали, что он равнодушен ко всему, лишённому меха, перьев, чешуи и хитина. Во всяком случае Даррелл умеет подметить индивидуальность животного, порадоваться его очарованию и обаянию. Он не опустит, кажется, ни одного синонима, восхищаясь самками котиков — грациозными, изящными, прелестными, кокетливыми, с точеными острыми мордочками и большими женственными глазами. Он отмечает живой ум и очаровательную непринужденность обезьян, жадное стремление все перепробовать, все испытать сию же минуту и трогательнейшую веру в того, кого они признали своим приемным отцом. В тоне ученого, когда он рассказывает о такте и мягкости бабуина Джорджа, о щедрости и понятливости шимпанзе Чамли, будущей звезде лондонского телевидения, сквозит совершенно определенная нота уважения. Описывая птичье царство, он, словно ювелир, перебирающий на солнце свои сокровища, не устает любоваться расцветкой крыльев, грудки, хвоста, шеи, головы, каждым оттенком оперения. В его книгах переливается многоцветный пернатый мир всех континентов земли: взлетает, парит, играет и бранится, всяческими способами проявляя свою индивидуальность, характерную повадку.

Удивительно естественный, органичный для повествовательной манеры Даррелла юмор особенно сказывается в портретах животных. Енот-крабоед на непропорционально длинных ногах с очень плоскими ступнями напоминает ему приунывшего разбойника с большой дороги, обнаружившего, что у него нет при себе пистолета. Тукан — словно клоун, который переоделся в вечерний костюм, но забыл стереть с лица грим. Бразильские карнамы смахивают на вдовствующих герцогинь, к которым во время прогулки пристает подвыпивший солдат. Бег страуса-нанду наводит его на мысль о пожилой чопорной старой деве, которая бежит к автобусу, стараясь сохранить при этом все свое достоинство. Морские котики режут на лежбищах, словно тысячи футбольных болельщиков, а морские слоны напоминают сборище больших водянок, устроивших шахматный турнир в турецкой бане. Даррелл обнаруживает немалую точность и мастерство и в пейзаж-

ных зарисовках, хотя его склонность к антропоморфизму может показаться излишне настойчивой. Высокие пальмы, устало склонившие головы, уподобляются завсегдатаям баров с длинными нечесаными волосами; колючие кустарники схватились в пьяной ссоре; элегантные, нарядные цветы соседствуют с «небрityми» кактусами.

За всепоглощающую любовь к «меньшим братьям» Даррелл расплачивается бесчисленными синяками, царапинами и настоящими ранами, постоянно рискуя быть укушенным смертельно опасной змеей. А попав в небезопасное общество страуса эму, семейная жизнь которого в эвкалиптовых кустах — верх эмансипации (потомство выживает семя!), с комическим глубокомыслием рассуждает: не представляю себе более унижительной смерти для натуралиста, чем смерть от пинка птицы. Общее мнение о работе зверолова сводится к тому, что охотнику нужно только поймать зверя и посадить его в клетку и на этом работа заканчивается. В действительности же только после этого и начинается настоящая работа и приходится переживать скучные и тягостные дни, до отказа заполненные грязными клетками и больными зверями, когда нужно, кажется, и днем и ночью делать и чистить клетки, кормить и поить животных, записывать их голоса на пленку и фотографировать их.

Неизменным успехом своих экспедиций Даррелл в значительной мере обязан бескорыстной помощи единомышленников — и европейцев и аборигенов. И он отдает им должное. Вспоминая, например, о подъеме на гору Нда-Али в Камеруне, он с особенным чувством уважения и симпатии пишет о носильщиках-неграх. При перевозке животных в Аргентине пассажиры поезда, узнав о тревогах Даррелла, помогли ему. И когда наконец животных погрузили на гру-

зовик, то сотня людей крепко пожала ему руку. Внимательный читатель, разумеется, поймет, что дело не только в доброте людей, но в самом Даррелле, в его очевидной искренности, подлинной демократичности и человечности.

В 1959 году Даррелл учреждает зоопарк на острове Джерси (из группы Нормандских островов), а затем преобразует его в Джерсейский трест по охране животных. «В отличие от нас, — пишет он, обращаясь к читателям, — животные не властны над своим будущим. Они не могут добиваться автономии, у них нет членов парламента, которых они могли бы засыпать жалобами, они не могут даже заставить профсоюзы объявить забастовку и потребовать лучших условий. Их будущее, само их существование — в наших руках. Джерсейский трест охраны животных приготовил множеству вымирающих видов убежище, где они смогут жить и размножаться, не опасаясь врагов, будь то люди или звери. А в дальнейшем, когда позволят условия, мы надеемся вернуть их вместе с их потомством в исконные места обитания. Можно сказать, что мы создали своего рода стационарный Ноев ковчег. Работа эта не терпит проволочки. Есть много животных, которым ваша помощь необходима сейчас; через десять, даже пять лет будет поздно, они исчезнут с лица земли. Вступив в наш Трест, вы делаете для них огромное дело, так что отложите эту книгу и напишите мне. Возможно, с вашей помощью удастся спасти десятки видов».

Насколько общественность Запада вняла призывам Даррелла, сказать трудно, но не подлежит никаким сомнениям значение благородного труда ученого-гуманиста и покоряющее обаяние его книг.

Ю. МОИСЕЕВ.



ТАК ГОВОРИЛ ЯРМАГАЕВ...

Нет-нет, а убедишься в справедливости формулы «Удивительное — рядом». Берешь, например, журнал «Смена» № 15 за август 1968 года. Статья называется «Пять вечеров с учителем». Это жизненное и педагогическое кредо Ярмагаева Владимира Емельяновича, учителя русского языка и литературы 34-й вечерней школы г. Ленинграда. Кредо комментируется почитательно и восхищенно спецкором «Смены» Алексеем Фроловым, проводшим с Ярмагаевым пять вечеров. Спецкор рекомендует учителя как человека творческого, одаренного, в чьих словах нет «ни капли неискренности», чей взгляд «проницателен и тепел». Записи этих вечерних бесед публикуются под рубрикой «Кругозор современника».

Обществу важно, что думают наши учителя, потому что от них многое зависит. Я буду опускать высказывания тов. Ярмагаева, которые не могут удивить, насторожить, испугать. С некоторыми нормами нашей морали он, по всей видимости, согласен, поэтому резонно сразу перейти к другим, собственно ярмагаевским, постулатам нравственности. В соответствии с римской их суровостью я обозначу эти постулаты римскими цифрами — чтобы легче было вернуться к ним потом, когда понадобится.

I. «Настоящий человек видит вещи такими, каковы они есть. И не приходит от них ни в уныние, ни в телячий восторг. Печальный факт — это только факт. Гораздо страшней испуганное им воображение.

Ждать счастья — надеяться, что лодку к берегу прибьет. Гребни, сукин сын!»

II. «Писать, стирать белье, удить рыбу, целоваться. Думать. Есть вкусные вещи. Мыться под душем. Остричь. Любоваться городом. И всегда остается главное. Борьба за то, чтобы каждый человек на земле жил и чувствовал так же, как и ты». (Разрядка здесь и дальше моя. — Г. П.)

III. «...любовь как обожествление и подчинение женщине — все это настолько чуждо нам, что воспринимается только как историко-литературный факт, не более».

IV. «Очень скоро я убедился, что всякие психологические экскурсы; в собственное «я» ни к чему не ведут; в начале вещей есть действие, поступок, не оправдываемый никакими тонкими рассуждениями; что ум должен служить человеку как шпaga и лопата...»

V. «Мне кажется, в мужчине вообще прекрасно только одно качество — последовательность».

VI. «Да, ребята любят Пушкина, Толстого, Чехова, но многие отдают предпочтение Николаю Островскому и Джеку Лондону... И разве это не прекрасно?.. Поэтому я всячески поощряю чтение Лондона. Думаю, что для Лондона наша жизнь была бы безграничным полем деятельности. Героев Лондона я встречаю на каждом шагу. Я вижу черты Смока Беллью в своих учениках...»

VII. В довершение В. Ярмагаев безжалостно третирует и казнит купринского Ромашова из «Поединка»; об этом — ниже.

Таковы принципы ленинградского учителя. Принципы, которые он со всей последовательностью (ведь в мужчине прекрасно только это одно качество!) внедряет в сознание своих учеников на уроках и в частном общении.

Если от знакомства с этими принципами у кого-то «похолодела спина» или, к примеру, «шевелинулись волосы», не надо сообщать об этом тов. Ярмагаеву. Не будем

расплескивать эмоции—себе дороже обойдется: еще вас Ромашовым, чего доброго, обзовут... Или просто — интеллигентом. Не отмоетесь потом.

Давайте лучше вооружимся спокойствием. Постулат первый (I) учит нас не приходить в уныние от печальных фактов. В каком же это смысле? Не опускать рук, что ли? Вот я не опускаю — пишу статью, защищаю то, во что верю. Но от уныния мне все же трудно отделаться, виноват. У меня сейчас маленький сын в больнице. И вот я думаю: может быть, этот печальный факт — только факт? Может, моя тоска, отцовская, человеческая,— нелепый эмоциональный аппендикс, который надо удалить при первом же приступе? А не окажусь ли я после такой операции истуканом, деревяшкой бесчувственной? Отсеки теперь мою печаль — смогу ли я испытать радость и прежнюю нежность, когда моего сынишку вылечат и он будет дома?

Так, может быть, все это — включая мое обоснованное уныние! — «клавиатура, на которой в разных тональностях разыгрывается мелодия труда, познания, действия»? Это еще одна цитата из Ярмагаева. Он вспоминает о богатой клавиатуре наших чувств в связи с вопросом: «Быть ли холодным или быть таким веселым повесой». Раньше, в молодости, этот вопрос затруднял Ярмагаева, теперь уже — нет. «При нужде,— говорит он, исповедуясь,— я могу быть теперь и суровым аскетом, могу и распоясаться».

Какая странная альтернатива, не правда ли? Почему только эти две мелодии может исполнить Ярмагаев на своей «клавиатуре»? И если он изволит «распоясаться», что делать тогда окружающим и будут ли они предупреждены заранее, чтобы принять какие-то меры, освоить, допустим, приемы самбо?

Но шутки в сторону — здесь тревожно другое: искусственность этого самопрограммирования, механистическое звучание ярмагаевской клавиатуры. И призыв выкинуть несколько лишних, с его точки зрения, «клавиш». Холодным, следовательно, можно быть, веселым повесой — тоже не возбраняется, но пагубны печаль и всякие пылкие восторги. «Печальный факт—это только факт». Отрадный факт — это тоже не более чем факт. И не примешивайте сюда воображение, оно все преувеличит, деформирует, исказит.

А ведь оно не отключается, воображение-то. На какую кнопку давить, чтоб оно отключилось? И что будет, если это удастся?

«В последний раз» включим воображение — и увидим: голый, без тайников и преданий, мир, откуда выселены изобретатели и художники, влюбленные, неждавшиеся взаимности, и безрукая богиня, перед которой плакал в Лувре писатель; мир, в котором никто не зазовет Солнце на чашку чая, никто не пришпорит своего Росинанта, чтобы заслонить от обидчика сироту; мир, в котором посетители освенцимского музея будут выказывать друг перед другом похвальную выдержку, ибо «печальный факт» палачества и геноцида — «это только факт»...

Кстати, одна дама, посетившая недавно Освенцим с группой туристов, призналась: «Вы знаете, я ожидала большего...» Кто был школьным учителем этой дамы — я не знаю, но у нее ампутировано воображение, и она — калека.

Постулат II. Удовольствия, перечисляемые здесь, аппетитны, здоровы и полезны. Но что значат эти слова: «Главное: бороться за то, чтобы каждый человек на земле жил и чувствовал так же, как и ты»? Я впервые узнаю, что нашу цель можно сформулировать таким диковинным образом. Я не хочу и не умею бороться за то, чтобы все предпочитали бильярд рыбалке, как я, чтобы все любили Чехова и Платонова больше, чем Лондона и Хемингуэя, как я, чтобы все были недружелюбно глухи к опере, как я, чтобы все флегматики и сангвиники отреклись от крайностей своего темперамента и предпочли мой, холерический...

Я думаю, бороться надо за другое — за то, чтобы каждый человек на земле жил и чувствовал в полную меру своих возможностей, дарований и сил, которые должны крепнуть вместе с гарантиями их реализации. Эта цель противоположна попыткам унифицировать, обезличить людей.

Зачем понадобилось В. Ярмагаеву, чтобы все люди были одинаковы по образу жизни, по образу мыслей и самочувствию в мире? И как он будет за это бороться? Вы не знаете?

III. — Это насчет любви. Итак, обожествление любимой женщины нам чуждо, это историко-литературный факт. Что ж, может быть.

Но я не стал бы бить в бубен по этому поводу, я не вижу здесь причин самодовольно торжествовать над предками. Это, по-моему, грустно. Талант мужской любви, возносящей женщину до божества, по моим сведениям, был присущ людям вполне уважаемым: Петрарке, Данте, Пушкину, Шекспиру, Маяковскому, Гёте, Бальзаку, Рембрандту, Шопену, Тургеневу, Желябову, Энрико Ферми, Хикмету...

И странное дело: я не знаю случая, когда т а к а я любовь гнездилась бы в дремучей душе тирана, или мошенника, или шпиона.. Возможно, это пробел в моей эрудиции. Но если даже и случилось такое, это лишь подтверждает закон единства и борьбы противоположностей применительно к человеческой природе. Ибо такая любовь есть п р о т и в о п о л о ж н о с т ь всякой низости, она делает из мужчины рыцаря и поэта, она одухотворяет инстинкты и творит высшую реальность, иногда ниспосылающую нам такие подарки, как пушкинская лирика, как «Автопортрет с Саскней», как поэма «Про это»...

Есть у меня робкая надежда, что не все влюбленные юноши прочли статью в «Смене» № 15 и что не все, кто прочел ее, поверили рассуждению В. Ярмагаева о любви, не все взяли его на вооружение..

В противном случае — жалко девушек. Они и так нередко терпят небрежное, потребительское, утилитарное отношение к себе.

А если оно к тому же еще и обосновано теоретически — совсем замкнутый круг получается... Ведь они, наивные эти девушки, иной раз идут со своими обидами именно к учителю русской словесности, чтоб он им хотя бы бальзамом поэзии залечил травмы унижения, полученные от пошляков... А учитель словесности вдруг говорит: женщину обожествлять — предрассудок, занятие для размагниченных интеллигентов...

Не верьте ему. У Александра Сергеевича Пушкина поищите и ответ, и бальзам, и надежду.

Постулат IV. Вы не знаете, с каких это пор коммунистическая мораль кладет в основу вещей «поступок, не оправдываемый никакими тонкими рассуждениями»? С каких пор карандаш редактора, не дрогнув, пропускает такую сентенцию без двух вопросительных и трех восклицательных знаков на полях?

Помните, как В. Ярмагаев со сдержанной угрозой намекал: «Могу и распоясаться»?

Может, это он уже распоясался?

Хотелось бы уточнить, непременно и поскорей: «тонкие рассуждения», которые Ярмагаев третирует, — это, например, какие? Если эти рассуждения касаются совести, чести, справедливости, коммунистической этики — тонки они будут для Ярмагаева или нет?

Постулат сформулирован так лихо, так безответственно, что голова идет кругом; простите, но ведь, скажем, дать взятку — это тоже «поступок, не оправдываемый никакими тонкими рассуждениями»? Или ударить человека кастетом в переносицу за то, что он в очках и допускает в своей речи придаточные предложения? Или — донос накатать на невинного?

Нет, товарищ Ярмагаев, нельзя же все-таки формулировать свои моральные воззрения так неосторожно: ведь подлецы могут подумать, что вы их под свое знамя приглашаете!.. Особенно с учетом вашего постулата V, где вы объявляете п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь единственным качеством, которое прекрасно в мужчине. «Мужской ум, — говорите вы, — между прочим, тем и огличен, что мужчина стремится привести свои поступки в соответствие со своими мыслями». Что ж, мужчины, скромно потупившись, примут этот комплимент с благодарностью. Но необходимо сразу же оговорить, что если эти самые мужские мысли таковы, как у В. Ярмагаева в постулате IV, то лучше уж проявить непоследовательность и не воплощать их в соответствующие поступки. Обществу спокойнее было бы.

Любая развитая мораль, и прежде всего мораль будущего, о которой мы все хлопочем, основана на самых тонких нравственных мотивациях. Сложность моральных соображений, высокая частота душевной вибрации, не исключаяющая твердости принципов, отличают нравственного человека. И наоборот — легкое, простое решение вопросов:

«Быть или не быть?», «Убить или не убить?» — в механической природе робота, марионетки — вот кто не замедлит привести свою программу в соответствие с поступками: программа-то не им заложена, чего ж ему сомневаться и мучиться? Конечно, быть! Конечно, убить!..

«...Все, что сковывает действия, — все нужно отбрасывать без стеснения», «знать, уметь, мочь — все остальное прочь», — требует В. Ярмагаев, повторяя этот свой императив снова и снова.

Иногда он, впрочем, спохватывается и для разрядки произносит нечто другое вот брошено словечко о «духовной традиции», вот дан дельный совет остерегаться «носящих истину в кармане. Таких, которые не говорят: а может быть, я ошибаюсь?» Или: «Не стоит принимать свое нахальство за силу своего ума и личное обаяние». Есть и другие благородные слова — о «ненависти ко лжи и насилию», о «борьбе за счастье того, кто несчастлив и угнетен», составляющей «радость жизни»...

Но все это существует отдельно от главных, «стратегических» принципов и призывов В. Ярмагаева, в стороне от контекста и пафоса статьи.

Далее мы вступаем в деликатную область литературных вкусов. В. Ярмагаев любит Джека Лондона. Активно любит. Всячески поощряет чтение его книг.

Если бы я ничего другого о Ярмагаеве не узнал из журнала «Смена», то, вероятно, подумал бы: творческий человек, он говорит на уроках о Смоке Белью и о Мартине Идене, ему тесны рамки программы и методик и как здорово, что учитель умеет заразить ребят своей любовью к писателю!

Но опять-таки существует контекст, в котором только слепой не увидит, для чего В. Ярмагаеву нужен Дж. Лондон.

Почему названо прекрасным то обстоятельство, что ученики Ярмагаева любят Джека Лондона больше, чем Пушкина, Толстого и Чехова? Ведь наш учитель словесности отлично понимает, что философские высоты, достигнутые тремя русскими классиками, несравнимы по своему нравственному значению с концепцией морали, сформулированной в произведениях Дж. Лондона. Но В. Ярмагаев не понимает другого: что можно лишь бросить тень, обидную и ненужную, на фигуру любимого им автора, если ставить его рядом с этими художниками-колоссами, а тем более противопоставлять его им, говоря о художественном воспитании молодежи!

Но суть дела не в этой неуклюжести. Ленинградский учитель не нуждается в том, чтобы его просвещали; ему, конечно же, известно, что во многих произведениях Лондона отразились реакционные черты философии Спенсера и Ницше, что писатель часто переносил биологический закон борьбы за существование на социальные отношения людей; что поэтизация индивидуалистов и хищников в их романтической борьбе за наживу характерна для ранних романов и рассказов Лондона... Интересно, В. Ярмагаев любит его вопреки этому или — неловко выговорить — благодаря этому?

Спору нет, Джек Лондон не сводится к философии прагматизма и «сильной личности», он — пленительный художник, и его мужественные уроки благородства, альтруизма, ненависти к пресыщенной и лицемерной буржуазности — это ценный нравственный капитал.

Но знаменательно и тревожно вот что: отступления Дж. Лондона от гуманизма не смущают В. Ярмагаева, а напротив, кажется, импонируют ему.

...Воинственный, боевой дух суперменства пронизывает статью о пяти вечерах, о пяти проповедях ленинградского педагога. Он «вместе» с Лондоном и против купринского Ромашова, который, по его словам, «самое отвратительное явление», «межеумок, растяпа», «у него недостает силки отнять женщину у другого», «практически он просто плохой офицер, не больше».

Вот как! Был человечнейший, милый и хрупкий Ромашов — явился В. Ярмагаев и оставил от него мокрое место. Тот факт, что у Ромашова «достало силки» остаться человеком среди окружающего скотства, не только не амнистирует его в глазах Ярмагаева, но и вообще не рассматривается. Ромашов виноват в том, что в предлага-

емых скотских обстоятельствах не умел побеждать по скотским правилам! «...людей, подобных Ромашову... обуреваемых не мыслями, не страстями, а только настроениями и всякого рода чувствами... нельзя даже жалеть. Это декоративные узоры на историческом фоне...»

Разве я преувеличивал, читатель, когда обещал, что у вас «шевельнутся волосы», что В. Ярмагаев шутки шутить не будет?

Вообразите, что мог бы он сделать, если бы позволили и дали трибуну, с князем Мышкиным, с Пьером Безуховым, с тремя сестрами и дядей Ваней! Ведь с такой «мужской последовательностью» недолго их тоже распять ржавыми гвоздями из обихода вульгарно-социологической критики. А почему бы нет? Все они не умели побеждать по скотским правилам...

Но не в защите от В. Ярмагаева любимых всеми героев классики я вижу свою задачу.

Защитить, по-моему, надо учеников этого учителя. От нищенского душка в его проповедях. От ярмагаевского желания (не у него первого наблюдаемого) поиграть бицепсами на народе, покрасоваться в роли «настоящего мужчины», расстреливая в журналистском тире безответных гуманистов, то бишь «слабаков» и «хлюпиков»...

И все это, конечно, под флагом нашего оптимизма, нашей непримиримости к моральному оппортунизму и душевной обломовщине, и, разумеется, для защиты с флангов своих постулатов Ярмагаев вербует в союзники и Николая Островского, и строителей Братской ГЭС...

Постулаты эти — не столько позиция, сколько игра. С маскарадом, духовыми ружьями, муляжными союзниками и (покамест живые не даются) муляжными противниками. Игра с какой-то скрытой истерикой.

Плохая игра.

Опасная.

Тем более, что ведет ее человек с дипломом, правами и обязанностями советского учителя литературы.

Г. ПОЛОНСКИЙ.

Москва.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО М. А. ЛАПШИНУ

Многоуважаемый Михаил Александрович!

Меня глубоко трогают упоминания в печати имени моего отца, писателя Валентина Овечкина, как свидетельство интереса к его творчеству и уважения его памяти. С большим вниманием прочел я и Ваше письмо в редакцию журнала «Огонек» под названием «Автора надо уважать» (№ 52, 1968) с резкой критикой по адресу редакции журнала «Новый мир» за две ошибки литературоведческого характера и одну опечатку в предисловии и комментариях к опубликованному в девятой книге журнала за 1968 год материалам из литературного наследия Валентина Овечкина.

Зная Вас как одного из исследователей творчества Овечкина, я несколько удивлен тем, что Ваше внимание привлекло не содержание публикации, а ее «внешнее оформление».

Самой крупной ошибкой публикации Вы считаете утверждение комментатора, что рассказ «Аблатат» не входил в сборники, так как на самом деле однажды, в 1939 году, он был включен в сборник рассказов, изданный в Краснодаре. Этому посвящено 30 процентов Вашего письма в редакцию. Как указано в предисловии к публикации, готовил ее и, следовательно, писал комментарий я, так что винить в первую очередь нужно меня. Ошибка объясняется тем, что в архиве В. В. Овечкина указанного Вами сборника нет. Хоть он и был «издан большим для того времени тиражом» (5 тыс. экз.), после войны автор не смог раздобыть и одного экземпляра. В «Новом мире» опубликован газетный

вариант «Аблаката». О том, что рассказ однажды входил в сборник, я лишь недавно узнал из библиографической справки — номер журнала уже был сдан в печать, вносить изменения было поздно.

Я приношу извинения редакции «Нового мира» за то, что своей некомпетентностью дал Вам, Михаил Александрович, повод использовать имя Валентина Овечкина для выступления против коллектива, с которым он был связан совместной работой, дружбой, взаимопониманием. Мне это тем более досадно, что «Районные будни», принесшие их автору признание читателей, впервые увидели свет именно в «Новом мире» (редакции других изданий, как Вам должно быть известно, отклонили рукопись).

Ваше, Михаил Александрович, письмо в редакцию заканчивается словами: «Нужно уважать... автора, его жизненные и творческие принципы, независимо от того, был ли он членом редколлегии того или другого печатного органа или не был!» Согласитесь, что эта нечеткая фраза допускает различные толкования ее смысла, в том числе и такое: «Овечкина надо уважать независимо от того, что он был членом редколлегии «Нового мира». Странное «независимо», особенно в применении к Валентину Овечкину. Именно в зависимости от жизненных и творческих принципов В. Овечкина бывало, как известно, в его жизни и так, что он покидал некоторые литературные издания, четко объясняя причины, которые вынуждали его к этому. И в зависимости от тех же принципов Валентин Овечкин до конца своих дней оставался членом редколлегии «Нового мира» и принимал активное участие в работе над журналом.

ОВЕЧКИН Валентин Валентинович,
инженер-геолог.

13 января 1969 г.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. Н. ВОЛЬПЕР. Псевдонимы В. И. Ленина. Лениздат. 1968. 157 стр.

Эта небольшая книжка вышла «вторым изданием в переработанном и дополненном виде». Оча посвящена, казалось бы, специальному вопросу, но читается с живым интересом.

Их было очень много—псевдонимов Владимира Ильича: Н. Ленин, В. Ильин, К. Тулин, Н. Карпов... Величайший мастер революционной конспирации, вечно преследуемый вездесущими агентами охраны, Ленин с несравненным искусством пользовался своими многочисленными литературными псевдонимами, партийными кличками, чтобы сбить со следа царских шпионов. Он использовал также свои литературные псевдонимы для того, чтобы иметь возможность выступать со статьями в легальной печати, выпускать в условиях царской цензуры книги, монографии, брошюры.

Автор книги И. Н. Вольпер, вдумчиво и скрупулезно изучивший большой материал, дает объяснения, почему Владимир Ильич выбирал тот или иной псевдоним. Эти объяснения нередко носят характер догадок, предположений. Но многим из них, основанным на трудоемких поисках в архивах, на разнообразных литературных источниках, нельзя отказать в убедительности. Происхождение некоторых псевдонимов Владимира Ильича кажется особенно загадочным. Исследователи, и в их числе автор книги, например, с недоумением упоминают о таком ленинском псевдониме—Н. Ленивецин. Беру на себя смелость высказать такую догадку: если отбросить из этой фамилии три буквы—«вцы»,—мы получим «Н. Ленин». Странно, что никто из многочисленных исследователей не обратил на это внимания.

Книга И. Н. Вольпера—плод большого труда и незаурядной эрудиции. В ней приводится много фактов, неизвестных широкому читателю, которые с разных сторон освещают многогранную личность вождя нашей революции.

О. Димин.

★

П. КУПРИЯНОВСКИЙ. Искания, борьба, творчество (Путь Д. А. Фурманова). Верхне-Волжское книжное издательство. Ярославль. 1967. 480 стр.

Название книги точно определяет ее содержание и смысл—это слитая воедино че-

ловеческая и творческая биография Дм. Фурманова, написанная в результате тщательного исследования самых разнообразных источников и материалов, в том числе и ранее неизвестных.

Автор проследил основные этапы жизненного и писательского пути одного из основоположников советской литературы. Одна из главных заслуг исследователя та, что Фурманов в книге—не «прописной», не «формулярный», а подлинно живой. В юности, когда он был лишь потенциальным революционером, Фурманов изведal немало всяческих искушений и соблазнов—христианства в духе Алеши Карамазова, «розового» гуманизма, либерального культуртрегерства. И в революции Фурманов не сразу нашел свой путь: он боролся не только с внешними обстоятельствами и влияниями, но и с самим собой, когда—правда, очень короткое время—симпатизировал то эсеровским лозунгам, то черному знамени анархии. Когда же истинный политический путь был найден и Фурманов органически, всем помышлением, всем сердцем и душой стал большевиком, он пережил как бы второе рождение: свою верность и преданность партии и народу он доказал и сражаясь на фронте, и своим литературным творчеством.

Книга П. В. Куприяновского разбита на три части: 1) «В поисках призвания» (1891—1916); 2) «На путях революции» (1916—1921); 3) «Литература—это тоже бой» (1921—1926).

Очень обстоятельно, в частности, написана глава, посвященная жизни Фурманова—воспитанника Кинешемского реального училища. Основываясь на архивных данных, исследователь парисовал правдивую картину староуездного (и, в частности, училищного) быта, а также раскрыл для нас, пользуясь только фактами, внутреннюю жизнь Фурманова-юноши. Это тем более ценно, что в некоторых других исследованиях о Фурманове (хотя бы, например, Г. Горбунова) имеются неверные сведения об этом периоде жизни писателя. Впрочем, есть, к сожалению, и у П. Куприяновского некоторое суждение красок, касающееся училищного режима: в те годы нравы в училище были очень и очень далеки от бурсацких.

Внимательно прослежены в книге литературные симпатии и пристрастия Фурманова—реалиста и студента Московского университета. Он был убежденным и строгим

поклонником реалистической литературы — Пушкина и Некрасова, Толстого и Достоевского, Тургенева и Чехова.

Анализ «Чапаева» и «Мятежа» вводит читателя в творческую лабораторию писателя. Однако, по моему мнению, автор слишком бегло сказал об очерках Фурманова «Морские берега» — а это одно из лучших достижений писателя — и о его работе по редактированию сборника «Иваново-Вознесенская губерния в гражданской войне». Зато редакторская работа Фурманова в Государственном издательстве показана очень хорошо, так же как и работа Фурманова — журналиста и общественного.

Во многом спорны главы о сложных взаимоотношениях Фурманова с А. К. Воронским и о роли Фурманова в РАППе. Краткая рецензия не дает возможности подробно коснуться этих тем, но во всяком случае необходимо подчеркнуть, что Фурманов был в РАППе все же «белой вороной» и что обвинять А. Воронского в недооценке пролетарской литературы не совсем верно: Воронский напечатал в «Красной повни» «Цемент» Гладкова, а в «Наших днях» — «Неделю» Либединского и высоко оценил (в «Прожекторе») «Разгром» Фадеева. Ближе к истине было бы сказать: внутригрупповая борьба иногда закрывала глаза Воронскому на некоторые новинки пролетарской литературы, как закрывала она глаза рапповским руководителям на многие достижения тогдашних «попутчиков».

Но отдельные неточности и спорные моменты не уменьшают ценности книги П. Куприяновского: в ней воссоздается правдивый портрет Фурманова.

Ник. Смирнов.

★

Н. А. АНТИПЕНКО. На главном направлении. «Наука». М. 1967. 347 стр.

Современный читатель высоко ценит соединение исторических исследований недавних событий с личными воспоминаниями. Именно к таким исследованиям, насыщенным личным опытом, относится книга генерала Антипенко, уже получившая положительную оценку в специальной военной печати. В свое время читатели «Нового мира» имели возможность познакомиться с главами этой книги, напечатанными в журнале. Но хотелось бы, чтобы и вся книга прочтена была не одними военными, тем более что, начиная с предисловия Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и до последней страницы, она читается с неослабевающим интересом.

В минувшую войну советские люди в тылу напрягли все свои силы, чтобы дать войскам все необходимое для победы над фашизмом. Связующим звеном между сражающимся фронтом и народным хозяйством страны был тыл действующей Красной Армии. Роль и значение войскового тыла невозможно переоценить. Специалисты считают, что хорошо работающий тыл — это

половина победы на фронте. Что такая оценка роли и места тыла верна, с большой убедительностью и показано в книге «На главном направлении», автор которой, занимая в годы Великой Отечественной войны должности заместителя командующего Брянского, Центрального, а затем I Белорусского фронтов, накопил богатейший опыт тылового обеспечения войск.

Тыл даже одного из фронтов — это «хозяйство», занимающее огромную территорию (иногда в сотни тысяч квадратных километров) с ее экономикой, сырьевыми ресурсами, производственными мощностями, рабочей силой, железнодорожными, водными, автомобильными, воздушными коммуникациями. Это множество воинских соединений, частей, учреждений, всевозможных специальных технических и других подразделений. Если учесть все звенья тыла и всех людей, обеспечивающих войска в материальном, техническом, медицинском, ветеринарном, транспортном и других отношениях, то этот колоссальный составит не менее одной пятой всей численности войск. Нам неизвестна в нашей общедоступной литературе другая книга, в которой с такой скрупулезностью и обстоятельностью и в таком объеме были бы обрисованы сама «технология», процесс тылового обеспечения войск в оперативно-стратегическом масштабе, так наглядно и живо показан почетный труд «тыловика».

Автор не скрывает трудностей, встречающихся нам в длительной войне: он раскрывает их причины, критикует недостатки и просчеты. И все же пафос честной и откровенной книги в другом — она рисует преодоление трудностей, показывает множество отважных и смелых людей, усилиями которых ковалась победа над врагом.

Возьмем, к примеру, продовольственное обеспечение 70-й, 65-й и других армий Центрального фронта в условиях жесточайшей распутицы ранней весной сорок третьего года, или перегон без потерь на тысячу километров десятков тысяч голов крупного рогатого скота, или проведение посевной кампании в освобожденной части Белоруссии в сорок четвертом (решение таких «невоенных» задач автор по праву называет операциями). Не меньшее восхищение вызывает инициатива, сметливость и самоотверженность людей в грандиозной операции по спасению Демблинского и Варшавского мостов через Вислу в марте сорок пятого года. Описания подобных событий принадлежат к лучшим страницам книги.

Книга «На главном направлении» имеет большую научно-теоретическую и историко-документальную ценность. Читатель найдет в ней хорошо аргументированные ответы на многие вопросы, сможет уточнить требования к кадрам работников тыла, к их квалификации и подготовке. Одно из таких требований, и едва ли не основное, — это умение обращаться с людьми, установление правильных взаимоотношений между на-

чальниками и подчиненными. Автор справедливо видит здесь одно из главнейших объяснений успешной деятельности органов управления тылом. В этой связи Н. А. Антипенко с благодарностью вспоминает о политработниках, коммунистах службы тыла, игравших, по его оценке, решающую роль в создании «творческой атмосферы», хорошего «психологического климата».

Мысли и выводы, изложенные ученым, кандидатом исторических наук Н. А. Антипенко, подкреплены широкомасштабным «научным экспериментом» — практическим участием генерала Антипенко в руководстве боевыми действиями. В этом особая убедительность книги.

Т. Кин,

полковник, кандидат военных наук.

В. Шевченко,

полковник, член военно-научного общества при ЦДСА.

★

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ. Книга 1. Под редакцией В. М. Бахты, Л. С. Васильева, М. Я. Гейфера, Л. В. Даниловой, Н. Б. Тер-Акопяна. «Наука». М. 1968. 692 стр.

Название этой книги, открывающей серию «Законы истории и конкретные формы всемирно-исторического процесса», обещает проблемность, разговор ученых на самые животрепещущие темы сегодняшнего дня исторической науки.

Впрочем, названия обманчивы. Нам не раз приходилось в этом убеждаться. И академический титул, и солидный объем далеко не всегда гарантируют оригинальность изложения и доказательность концепций. Тем приятнее убедиться, что в данном случае налицо и то и другое.

Я рискнул бы рекомендовать эту книгу не одним профессионалам-историкам, на которых она рассчитана. Правда, соблазненный такой рекомендацией, читатель будет разочарован. Книгу он не достанет: она исчезла с магазинных полок в течение нескольких дней. То ли издательство поспешилось (тираж — две тысячи экземпляров), то ли те, кто торгует научной книгой, плохо представляют себе, что может привлечь современного человека, который, будь он «физик» или «лирик», кровно заинтересован в познании законов и zigzagов истории. Такое познание не только удовлетворяет любознательность — оно позволяет глубже проникнуть и в современность, убергая от соблазна прищипать «рябь» событий за их существо — подводное, глубинное течение истории.

Книга же, о которой идет речь, обращена всем своим содержанием именно в глубь всемирно-исторического процесса. И это придает ей целостность, несмотря на то, что выступают на ее страницах разные авторы, а тематика отдельных статей (в некоторых случаях можно сказать — маленьких монографии) очень разнообразна.

Здесь и периодизация первобытнообщинного строя в целом, и детальная реконструкция его отдельных вариантов на этнографическом материале Австралии, Новой Гвинеи, Индонезии; здесь и углубленное рассмотрение проблемы смены первичной формации формацией вторичной, классовой, и характеристика отдельных типов раннеклассовых обществ, выявление специфики социальных структур античной и «варварской» Европы, древнего Китая, Монголии и Камеруна...

Содержание книги оправдывает замысел всей серии — на уровне современной науки «раскрыть содержание формулы, входящей в самое ядро материалистического понимания истории: единство и многообразие, точнее — единство в многообразии всемирно-исторического процесса». Так определена эта задача во введении, которое, кстати сказать, интересно и само по себе как плод зрелой и ищущей марксистской мысли, твердой в своих исходных принципах и вместе с тем открытой для освоения богатства фактов, находок, гипотез в сфере конкретного исторического исследования.

На страницах книги идет содержательный спор на базе творческого марксизма, и при этом достаточно острый, но оружием в нем являются прежде всего аргументы. Короткий отзыв не заменит, естественно, рецензий, которые в свою очередь продолжили бы этот спор, внесли в него что-то свое, конструктивное, новое, без чего нет критики, имеющей право именовать себя научной.

Ю. Н. Семенов,

профессор, доктор философских наук.

★

Г. ПОПОВ. Техника личной работы. Издание 2-е. «Московский рабочий». М. 1968. 176 стр.

Сегодня даже закоренелые консерваторы не решаются открыто отрицать роль научной организации труда. Но если Тейлор, создавая свою систему, имел в виду прежде всего физический труд, то в наши дни особенно важно значение приобретает проблема НОТ применительно к многомиллионной армии инженеров, служащих, ученых и других работников умственного труда. Пока, к сожалению, издано очень мало обстоятельных книг, посвященных этой проблеме и рассчитанных на широкий круг читателей. Рецензируемая книга восполняет этот пробел в той его части, которая относится к технике личной работы, экономии рабочего времени и применению управленческих машин.

Книга состоит из двух неравноценных частей. Одна из них, включающая в себя главы «Время» и «Машина», представляет собой изложение конкретных сведений о рациональной организации умственного труда. Приведены описания способов планирования и распределения рабочего времени с помощью переключного календаря, еженедельника «Москва», «вечного» часового ка-

лendarя, «графика Ганта» и т. п. Особо останавливается автор на описании простейшей картотеки, используемой для планирования и распределения времени в процессе оперативной работы. Картотека подразделяется на несколько частей. В одном из отделов хранятся карточки с необходимыми сведениями о тех лицах, с которыми поддерживается деловой контакт. В других отделах помещают карточки, систематизированные по принципу сроков выполнения работ.

Обстоятельно рассказано в книге о способе экономии сотрудниками учреждений своего рабочего времени и времени посетителей с помощью серии «немых справок»: объявлений, плакатов, транспарантов с информацией об отсутствующих работниках, журналов отсутствия, аншлагов индивидуального пользования и пр.

В главе об управленческих машинах, которой не было в первом издании книги, подробно рассказано о средствах связи, в частности о специальных видах телефонной связи с применением концентраторов и директорских коммутаторов. Достаточно детально описаны в главе копировально-множительные машины. Менее полно — средства получения и фиксации информации, а также вычислительная техника.

Кроме того, в книге имеются еще две главы: «Техника личной работы» и «Разговор о рационализации». Составляя значительную часть объема книги, они, к сожалению, содержат по преимуществу общие рассуждения да малополезные в данном случае экскурсы в область художественной литературы.

А. Галин.

★

Э. Г. БАБАЕВ. Роман Льва Толстого «Анна Каренина». Приокское книжное издательство. Тула. 1968. 131 стр.

Выпущенная в Туле небольшая книжка Э. Г. Бабаева «Роман Льва Толстого «Анна Каренина» радует свежестью восприятия романа. Суждения о нем в большинстве оригинальны, наблюдения новы, интересны. Вместе с тем автор щедро демонстрирует свое знание обширной литературы о Толстом.

Исходная мысль исследования — современность романа и его внутренняя цельность. И то и другое автор выводит из характерного для Толстого горячего интереса к человеку, из жизнестойкости, жизнеутверждения как главных черт личности писателя и его творчества.

Толстой задумал «Анну Каренину» как роман «широкий, свободный». По его мысли, в него «без напряжения» должно было войти все, что понял автором «с новой, необычной и полезной людям стороны». Теоретически осмысляя особенности жанра «свободного романа», Э. Бабаев выводит некоторые его закономерности. Такой роман решительно противостоит утвердившимся схемам и условностям традиционного се-

мейного романа. В нем первостепенное значение принадлежит не фабульной завершенности положений, а творческой концепции автора. Именно она определяет отбор материала и открывает свободу для развития сюжетных линий. Вместе с тем «в свободном романе есть не только свобода, но и необходимость, не только широта, но и единство».

Общеизвестны упреки роману в композиционной двойственности, в разделении сюжета на две не связанные между собой линии — Анны и Левина, в отсутствии подобающей экспозиции, завершающего конца и т. д. Несостоятельность этих упреков доказана в работах многих советских толстоведов.

Именно внутренней архитектуре романа, его бесконечному «лабиринту сцеплений», и посвящены в книге Э. Бабаева многие интересные страницы. Автор находит много новых доказательств внутренней цельности и единства произведения. Он доказывает это анализом образов романа, убедительным раскрытием соразмерности его «циклов», сцен и картин. И во всем он прослеживает то «единство самобытно-правственного отношения автора к предмету», которое Толстой считал главной основой творчества.

Толстой как-то посоветовал Горькому «кратко написать большой роман». Э. Бабаев попытался кратко написать большое исследование. И это ему в известной мере удалось. Однако из-за крайней лаконичности изложения некоторые интересные наблюдения недостаточно развернуты, не подкреплены материалом. Кое-где вынужденная скороговорка заменяет аргументированный разговор о важных проблемах художественного мастерства. Но эти неизбежные издержки не снижают общей ценности книжки. Она дает толчок для новых раздумий о романе — и в этом ее главное достоинство.

Хочется, пользуясь случаем, помянуть добрым словом издательство в Туле, которое вопреки обычным трудностям уделяет своему великому земляку большое внимание и все чаще выпускает хорошие книги о Толстом.

А. Шифман.

★

ЭЛИЗАБЕТ ХЕРИНГ. Ваятель фараона. Перевод с немецкого. «Наука». М. 1968. 263 стр.

В истории Древнего Египта есть время, когда вдруг нарушился порядок бытия, освященный веками, и произошли невиданные изменения в жизни страны и неслыханные потрясения в умах людей. Это время связано с именем фараона Эхнатона. Царь — вероотступник и еретик — выступил против тысячелетней религиозной традиции, против могущественнейшей касты жрецов и в стране изначального многобожия, где люди поклонялись богу-соколу, богу-ибису, богу-льву и многим другим богам, провозгласил новую религию, объявив огненный солнеч-

ный диск единственным источником жизни на земле, творцом всех существ, создателем благ и изобилия. Впервые на памяти человечества было сказано, что человек не зависит от воли богов в образе людей и животных и подчинен порядку жизни, единому для всей земли — не только для жителей страны Кемет (Древний Египет), но и для любого чужеземца, для животных в пустыне и цыпленка в яйце, любого существа на земле, получающего жизнь от солнца. Старые боги были низвержены, храмы закрыты, жрецы подчинились воле царя. Со сказочной быстротой в песках пустыни выросла новая столица, построенная по единому плану. Новые люди, выходцы из низов, окружали царя и были его сподвижниками.

Все, что связано с именем этого великого реформатора древности, носит трагический характер. Но след, оставленный вольнодумным фараоном в истории человечества, оказался глубоким. Революция в жизни вызвала революцию в искусстве. Условная, застывшая в древних канонах манера изображения, призванная воплотить поклонение бого-царям, уступает место реалистическому, живому стилю. Художников привлекают новые, невиданные прежде мотивы: семейные радости, глубокая человеческая скорбь, нежность, внимательность. До нас дошли развалины дворцов и храмов, резьба на камне в гробницах и зданиях, статуи фараона, замечательные скульптурные портреты Нефертити, жены фараона, и Эхнатона (в облике его — необычайное сочетание мечтательности и воли).

О легендарном творце этих великих произведений египетского искусства царском скульпторе Тутмосе рассказывает книга немецкого литератора Элизабет Херинг «Ваятель фараона». Книга написана в жанре биографического романа. Подкупает авторская интонация: современный, немного ироничный взгляд на события как бы делает читателя их соучастником. С большим мастерством воссоздана атмосфера эпохи. Люди, жившие тридцать пять веков назад, близки нам тем общечеловеческим стремлением к совершенству, что равно являет и бронзовый век, и век покорения космоса. Особенно интересно, что автор пытается проследить развитие Тутмоса как художника. Перед читателем проходит вся драматическая жизнь этого бесспорно гениального человека, полная опасностей и тревог смутного времени. Личность скульптора складывается в обстановке социальных сдвигов: смена стилей, смена царей, смена мировоззрения. Не меняется только душа героя: жизнь ваятеля Тутмоса — это служение правде. «Высечь правду из камня» — вот чем одержим этот блистательный мастер. Ни стихийные бедствия, ни политические гонения, ни личная трагедия — ничто не в силах сломить художника, отстаивающего идеалы, которым принадлежит будущее.

Е. Третьяков.

★

Н. АЛЕКСАНДРОВА. Подробности двух минут. «Молодая гвардия». М. 1968. 190 стр.

Это четвертая книга рассказов и очерков Н. Александровой. Работа специального корреспондента «Известий» позволила автору заглянуть во многие дома. Двадцать два коротких рассказа сборника — это двадцать две интересные встречи, судьбы различных людей: вальцовщика, депутата Верховного Совета СССР Александра Картавых и чертежницы Шуры, уборщицы тети Даши и артиста Званцева, крановщицы Марии Савостиной и студента-медика Сергея, воспитательницы детского сада Натальи Ивановны Митрохиной и шофера Алексея Архангельского.

Но документальные рассказы Н. Александровой, в которых, по собственным словам автора, «ничего нельзя ни приукрасить, ни присочинить... все так, как было», — не фотографические снимки или репортаж, не бесстрастное описание случаев и характеров. Мысль автора придает им емкость, глубину. Чтобы лучше донести до нас образ положительного героя нашего времени — а это и есть центральная фигура рассказов и очерков Н. Александровой, — автор пользуется своеобразным композиционным приемом: в центре всех рассказов один-единственный поступок. И эти две минуты иногда раскрывают человека ярче, чем иная «хроника жизни». Герои рассказов Н. Александровой всегда действуют в гуще жизни, в острой ситуации, в полемике со злом — с себялюбцами, бюрократами, с носителями обывательской, мешанской морали. В конфликте с такими людьми герои проявляют свои лучшие душевные качества, утверждают свое жизненное кредо.

Так, в рассказе «Авария» автор сопоставляет поведение двух людей во время происшедшей беды: крановщицы Марии Савостиной с ее психологией «без хитрости не проживешь», со стремлением любой ценой выгородить себя, переложив вину на другого, — и мастера Трошина, настоящего рабочего человека, заботящегося прежде всего о пользе дела, о товарищах и укоряющего Марию: «Эх ты! Только о себе и думаешь, только для тебя да для себя, потвоему, все и делается».

В рассказе «Скатерть» в столкновении с директором гостиницы, подозревающим во всем обман и корысть, проявляется чистота души пожилой уборщицы тети Даши, этой труженицы, знающей и нелегкую цену копейки и умеющей находить радость в привычном труде.

Обаятельный, чистый, женственный образ чертежницы Шуры нарисован в рассказе «Чужие дети». Пренебрегая мешанской моралью («губишь себя, он тебе не пара»), Шура выходит замуж за вдовца, становится любящей матерью двум его детям. Даже узнав, что не она, а другая была мечтой и страстью всей жизни ее мужа, Шура не может предать детей и, ломая себя, остается, чтобы растить и воспитывать ставших ей родными ребят.

Автор убедительно показывает, как в поступках — не исключительных, героических, а самых обычных, житейских — может проявляться бескорыстная самоотверженность, «души высокие порывы». Причем эта самоотверженность, бескорыстность воспринимаются как закономерное, естественное поведение человека.

Мысль о том, что настоящими людьми, героями, проявляют себя в острые жизненные минуты не только особенные, так сказать, избранные личности, проводится и в военных рассказах, включенных в сборник. Лучший из них, наиболее «личный», автобиографический — «Вечером у костра». Исполняется заветная, еще фронтовая, мечта автора — у пионерского костра, снова став пионервожатой, она рассказывает притихшим ребятам обо всем, что видела на войне.

Очерки и рассказы Н. Александровой проникнуты верой в человека, вызывают доброе, светлое чувство.

К. Бродер.

★

БЕРНГАРД И МИХАЭЛЬ ГРЖИМЕК. Серенгети не должен умереть. Перевод с немецкого. «Мысль». М. 1968. 240 стр.

Сюжет этой книги мог бы стать основой сценария приключенческого фильма. Два европейца — отец и сын — покупают самолет, обучаются управлять им и самостоятельно совершают перелет в Африку. Там, среди первобытной природы одного из заповедников, они испытывают много рискованных приключений, встречаются со львами, ядовитыми змеями и более безобидными, но не менее интересными обитателями саванн. Путешественники к лесотрашны, сильные и остроумные, добры к людям и животным, цели имеют благородные. Один из них — сын — трагически погибает. Отец, не сломленный несчастьем, продолжает начатое дело.

Примечательно то, что книга с таким сюжетом глубоко правдива, содержит массу достоверных сведений о природе, животном мире и народах Африки. Серенгети — национальный парк в Восточной Африке. Бернгард и Михаэль Гржимеки — западногерманские ученые, известные специалисты по охране природы. Они взяли на себя научную опеку над Серенгети, связанную с большим физическим и моральным напряжением, риском и немалыми трудностями, которые обусловлены главным образом слабой разработанностью теории и практики охраны природы. Им пришлось создавать собственную методику изучения животных на воле, которой теперь начинают пользоваться ученые разных стран. Бернгард Гржимек основал в городе Банаги Институт по охране «дикой» природы Африки.

Охрана природы — не только наука или область практической деятельности. Это — мировоззрение. Михаэль и Бернгард Гржимеки своей научной и популяризаторской работой (а Михаэль — и своей смертью) дают пример высокого гуманизма, ответст-

венности за судьбу Земли. Их книга, прекрасно написанная, пробуждающая у читателя деятельную любовь ко всему живому, приближается, на мой взгляд, к лучшим образцам научно-художественной литературы.

Р. Баландин.

★

ИЗ ИСТОРИИ ФАБРИК И ЗАВОДОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XX в.). Обзор документов. Под редакцией В. А. Кондратьева и В. И. Невзорова. Архивный отдел Мосгорисполкома. Центральный государственный архив г. Москвы. М. 1968. 336 стр.

История фабрик и заводов, как и рабочего класса в целом, вызывает неослабевающий интерес в самых широких кругах.

Изданная Архивным отделом Мосгорисполкома и Центральным государственным архивом Москвы книга — это справочник, который помогает ориентироваться в многообразии документов по истории московских заводов. В свободной, повествовательной форме излагается основное содержание важнейших документов по истории промышленности и рабочего класса Москвы и Московской губернии, начиная с первых мануфактур и кончая подъемом массового революционного движения, предшествовавшего Великому Октябрю. В книге отражено большое количество архивных документов, содержащих сведения по истории сотен предприятий. Конкретные факты, события, цифры, относящиеся к их истории, могут быть прямо взяты из обзора и использованы в преподавательской, пропагандистской, краеведческой работе. Точные «адреса» цитируемых или пересказываемых документов (номера архивного фонда, описи, дел, листов или страниц) обеспечивают документальную достоверность всех этих сведений. Обзор также может явиться отправной базой для дальнейшего, более глубокого, исследования: к нему приложен «перечень документов, выявленных, но не включенных в текст обзора», занимающий свыше девяноста страниц книги. Здесь в хронологическом порядке перечисляются документы о разрешении на открытие и расширение фабрично-заводских заведений, о разрешении ввоза из-за границы оборудования, списки и ведомости московских фабрик и заводов, прошения рабочих, дела по жалобам рабочих на предпринимателей, штрафные книги, дела об участии фабрик во всемирных выставках, протоколы заседаний правлений предприятий и другие документы, опять-таки с точным обозначением их архивного «адреса». Хорошим справочным пособием является также указатель торгово-промышленных предприятий, построенный по алфавиту фамилий их владельцев.

Для специалистов-историков это издание явится достаточно серьезным справочником, содержащим характеристику источников историко-экономического характера. В обзоре можно найти много не введенных в ши-

рокий научный оборот документов о социальном составе рабочих, об оснащении московских фабрик и заводов техникой и о технических успехах русской промышленности, о производственных и коммерческих связях предприятий, а также по многим другим мало исследованным вопросам.

А. Елпатьевский,
кандидат исторических наук.

★

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1967. 174 стр.

Прекрасный писатель, талантливый инженер-изыскатель, строитель многих железных дорог России, путешественник, обогативший географическую науку рядом открытий, общественный деятель — вот круг интересов и дел «талантливого во все стороны» человека, каким был Николай Георгиевич Гарин-Михайловский.

Литература о Гарине невелика, и потому издание воспоминаний о нем, предпринятое, кстати, в городе, который обязан своим рождением автору «Детства Темы», особенно ценно.

В сборник, составленный и прокомментированный И. Юдиной (ей же принадлежит вступительная статья), вошли почти все сохранившиеся мемуары о писателе. Одни из них печатались прежде в разных изданиях — это воспоминания Горького, Куприна, Елпатьевского, Скитальца, писательницы Вентцель и других. (Часть этих мемуаров разбросана по изданиям малоизвестным и практически доступным лишь специалистам.) Другие публикуются впервые. Таковы воспоминания Н. В. Михайловской — жены писателя, представляющие по существу обстоятельный биографический очерк. Читатель найдет здесь и рассказ о литературном дебюте сорокалетнего инженера-путейца Михайловского повестью «Детство Темы», и творческую историю ряда произведений писателя, и немало ценных сведений о его литературной, общественной, инженерно-технической деятельности. Впервые печатаются также воспоминания народного учителя А. Воскресенского, несколько лет работавшего в школе, построенной Гариным в деревне Гулдуровка. Школа эта была в своем роде уникальной, с библиотекой в несколько тысяч томов, интернатом, мастерскими, яслями для крестьянских детей. Близко знавший писателя геолог Б. Терлецкий, воспитывавшийся в его семье, в своих воспоминаниях не только рассказывает о некоторых фактах биографии Гарина, но и стремится передать то удивительное человеческое обаяние, которое покоряло всех, кто с ним встречался.

Три темы отчетливо проходят через все воспоминания: Гарин-писатель, Гарин-инженер, Гарин — общественный деятель. Но все разнообразные стороны жизни этого неутомимого человека были тесно связаны.

Во всем, что он делал, ярко проявлялось то свойство его личности, которое Горький назвал «обаянием талантливости и динамичности».

«Человек цифр и точных измерений», Гарин и в свои технические проекты вносил фантазию и вдохновение художника. Последним его проектом, осуществить который он не успел, была электрическая железная дорога из Севастополя в Ялту. «Он мечтал украсить путь своей железной дороги гротами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, аркадами и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и, действительно, думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия», — писал об этом проекте Куприн.

Нас сегодня в первую очередь интересует литературное наследство Гарина. Но вряд ли можно осмыслить то новое, что внес в литературу этот талантливый писатель, без понимания своеобразия его творческой личности, совмещавшей, по словам К. Чуковского, «высокий строй души с практицизмом». На всем, что успел сделать Гарин в разных областях, на его планах, проектах, замыслах лежала печать огромных сдвигов, которые происходили во всех областях жизни России тех десятилетий. В этом смысле воспоминания, донесшие до нас не только факты биографии, но и живые черты личности писателя и его времени, представляют большой историко-литературный интерес.

И. Гитович.

★

ВИКТОРИЯ МАЛЫТ. Море дьявола. «Детская литература». М. 1967. 62 стр.

С 1965 года издательство «Детская литература» приступило к публикации серии «Тематические словарики». В настоящее время выпущено уже из этой серии: Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и что в лесу растет», Г. Юрмина «Про тетрадь и карту, карандаш и парту...», Беллы Дижур «От подножия до вершины» (геология и минералогия) и другие. Книжки эти по форме не совсем обычны: в коротких очерках, расположенных в строго алфавитном порядке, рассказывается здесь о больших и сложных явлениях природы. Оригинальность этой формы вызывала поначалу некоторые опасения: не приведет ли алфавитный порядок к тому, что в книжку попадут менее важные, но подходящие «по букве» явления и, наоборот, из-за совпадения начальной буквы выпадут особенно интересные. Опасения оказались напрасными. В книжках описывается не один, а несколько терминов, начинающихся с одной и той же буквы, если они того заслуживают, а тематика, которой посвящена каждая книга, настолько обширна и разнообразна, что без труда находятя термины, начинающиеся на все буквы алфавита.

Читательский успех серии таков, что, несмотря на стотысячный тираж, все шесть выпусков, едва успев появиться на прилавках книжных магазинов, немедленно были раскуплены.

Секрет «Тематических словариков» можно понять на примере книжки Виктории Мальт, посвященной описанию пустынь.

Подзаголовок книги гласит: «58 коротких рассказов, из которых вы узнаете, что дождь может высохнуть в воздухе, что реки рождают пустыни, что маленький паучок может съесть верблюда, что пески поют песни, и многое другое из того, что бывает в пустыше».

Из книги мы узнаем о пустынях Австралии, Америки, Азии и Африки, о растениях, насекомых и животных, обитающих в пустынях, об ископаемых, ветрах, диковинных сооружениях и не менее диковинных историях, связанных с пустынями, о мужественных людях, живущих в пустынях, в том числе и о тех, которые своим трудом и энтузиазмом преобразуют эти пустыни, превращая их в сады.

Жаль только, что автор проявляет излишний оптимизм, например, когда пишет о

том, что пустыня не страшна людям, знающим ее повадки, или что фаланга чуть ли не совершенно безвредное насекомое, которого не надо бояться.

Непринужденный ясный язык, искренняя увлеченность автора тем, о чем он рассказывает, его способность удивляться загадкам и эффектам пустынь и радоваться узнаванию поневоле передаются читателю и делают книгу особенно притягательной.

Нужно отметить и отличные иллюстрации художника Д. Хайкина. Это, с одной стороны, очень четкие карты пустынь, по которым видны их местоположения, формы и размеры, а с другой стороны, выразительные рисунки людей, животных, растений, сооружений, в которых точность сочетается с некоторой условностью, милым юмором, веселыми и яркими красками.

Прочитав эту интересную книгу, читатель, прежде всего юный, на которого она и рассчитана, будет знать гораздо больше, чем до того, как он начал читать, и, надо думать, испытает понятное чувство благодарности к автору и издательству.

Н. Сурьянинова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

С. Болдырев. Трижды приговоренный... Повесть о Гергии Димитрове. 414 стр. Цена 73 к.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том I. Воспоминания родных. 640 стр. Цена 1 р. 58 к.

В. Ермаков, Л. Колосов. Заговор генералов (Репортаж из Италии). 96 стр. Цена 14 к.

В. Кобыш. Бразилия без карнавала (Впечатления журналиста). 208 стр. Цена 46 к.

Мир социализма в цифрах и фактах. 1967. Справочник. 158 стр. Цена 17 к.

«МЫСЛЬ»

Пролетариат Латинской Америки. Монография. 432 стр. Цена 1 р. 69 к.

Советская интеллигенция (История формирования и роста 1917—1965 гг.). Монография. 432 стр. Цена 1 р. 65 к.

Советский Союз. Географическое описание. В 22-х томах. Российская Федерация. Урал. 406 стр. Цена 2 р. 9 к.

Б. Чагин. Субъективный фактор. Структура и закономерности. 218 стр. Цена 69 к.

«ЭКОНОМИКА»

Е. Барский. Экономические интересы, материальное стимулирование, фонд поощрения. 96 стр. Цена 25 к.

Д. Никитин, Г. Невольский. Экономическая работа на предприятиях. 136 стр. Цена 37 к.

М. Пизенгольц. Оборотные средства колхозов. 168 стр. Цена 52 к.

И. Шкорупеев, Г. Сингур. Хозяйственная реформа и министерство. 70 стр. Цена 19 к.

Экономико-математический анализ производства и потребления (Сборник статей). 184 стр. Цена 55 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Белая грива. Рассказы. Перевод с казахского. 360 стр. Цена 87 к.

М. Белкина. Дождь перестал. Очерки. 288 стр. Цена 63 к.

Г. Горышин. До полудня. Две повести. 332 стр. Цена 53 к.

М. Исаковский. О поэтах, о стихах, о песнях. 487 стр. Цена 1 р. 15 к.

С. Малашкин. Петроград. Записки Анания Жмуркина. Роман. Книга 2. 672 стр. Цена 1 р. 21 к.

П. Нилин. Знаменитый Павлюк. Повести и рассказы. 752 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Правдухин. Годы, тропы, ружье. Очерки. 336 стр. Цена 61 к.

Н. Тихонов. Шесть колонн. Книга повестей и рассказов. 320 стр. Цена 76 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Гоголь. Мертвые души. Поэма. Вступительная статья П. Антокольского. 431 стр. Цена 97 к.

В. Звягинцева. Избранные стихи Предисловие Л. Озерова. 271 стр. Цена 68 к.

Ю. Либединский. Неделя. — Комиссары. Повести. 256 стр. Цена 49 к.

Технология неправды. Сборник статей. Составитель П. Топер. 239 стр. Цена 72 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Бруштейн. Дорога уходит в даль... Трилогия. 735 стр. Цена 1 р. 61 к.

А. Васильев. Семнадцатый. Повесть. 303 стр. Цена 86 к.

А. Дорохов. Про себя самого. Рассказы. 65 стр. Цена 61 к.

Л. Кон. Рассказы о Володе Ульянове. 52 стр. Цена 92 к.

Родные поэты. Стихотворения русских поэтов-классиков XIX и начала XX в. 287 стр. Цена 52 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Воронов. Блокада. Стихи. 40 стр. Цена 10 к.

А. Исбах. Фурманов («Жизнь замечательных людей»). 334 стр. Цена 88 к.

Т. Каленова. Не хочу в рюкзак. Повести. Предисловие С. Антонова. 304 стр. Цена 33 к.

В. Кин. По ту сторону. Послесловие А. Гладкова. 336 стр. Цена 84 к.

А. Стругацкий и Б. Стругацкий. Стажеры. — Второе шествие марсиан... Записки здравомыслящего. Фантастические повести. 400 стр. Цена 66 к.

О. Сулейменов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 12 к.

А. Сурков. Избранная лирика. 32 стр. Цена 12 к.

А. Твардовский. Избранная лирика. 32 стр. Цена 13 к.

«НАУКА»

А. Братко. Моделирование психики. 173 стр. Цена 67 к.

И. Гершкович. Генетика. Перевод с английского. 698 стр. Цена 4 р. 40 к.

П. Жилин. Гибель наполеоновской армии в России. 403 стр. Цена 2 р. 5 к.

История польской литературы. Том I. 616 стр. Цена 2 р. 66 к.

Строители — фронту. Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах. 240 стр. Цена 1 р. 15 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

З. Гусева. Свидание на Капри. Документальные повести о В. И. Ленине. 224 стр. Цена 53 к.

С. Зальгин. Сибирские рассказы. 160 стр. Цена 41 к.

В. Коньяков. Снегири горят на снегу. Повесть. 288 стр. Цена 58 к.

Д. Кугультинов. Я твой ровесник. Стихи. 160 стр. Цена 64 к.

К. Кулев. Раненый камень. Стихи и поэмы. 288 стр. Цена 99 к.

«ИСКУССТВО»

А. Клинчин. Повесть о забытой актрисе. Жизнь и творчество Л. И. Млотковской. 248 стр. Цена 73 к.

К. Мытарева. Современный польский плакат. 147 стр. Цена 2 р.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Васенин. Депутат местного Совета. 80 стр. Цена 9 к.

Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. С изменениями и дополнениями, принятыми на четвертой сессии Верховного Совета РСФСР седьмого созыва. 32 стр. Цена 3 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Андреасян. Последняя остановка. Сборник рассказов. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 40 к.

Д. Ибаррури. В борьбе. Избранные статьи и выступления. 1936—1939. Перевод с испанского. 396 стр. Цена 1 р. 73 к.

Н. Мандела. Нет легкого пути к свободе. Статьи, речи и выступления на суде. Перевод с английского. 232 стр. Цена 92 к.

П. Матев. Чайки отдыхают на волнах. Избранная лирика. Перевод с болгарского. 144 стр. Цена 48 к.

Е. Хотта. Суд. Роман. Перевод с японского. 576 стр. Цена 1 р. 83 к.

«МИР»

А. Барнетт. Род человеческий. Перевод с английского. 280 стр. Цена 80 к.

С. Лем. Сумма технологий. Перевод с польского. 608 стр. Цена 1 р. 90 к.

Пиршество демонов. Сборник научно-фантастических произведений ученых. Переводы. 396 стр. Цена 85 к.

Физики продолжают шутить. Сборник переводов. Издание 2-е, дополненное. 318 стр. Цена 53 к.

Д. Хансли, Л. Кох. Язык животных. Перевод с английского. 38 стр. Цена 82 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

К. Асаналиев. Открытие человека современности. Заметки о творчестве Ч. Айтматова. Фрунзе. «Кыргызстан». 152 стр. Цена 26 к.

В. Белов. Плотницкие рассказы. Вологда. Северо-Западное книжное издательство. 159 стр. Цена 33 к.

Н. Григорьева. Наводнение. Стихи. Тула. Приокское книжное издательство. 85 стр. Цена 23 к.

Ю. Лидский. Очерки об американских писателях XX века. Киев. «Наукова думка». 267 стр. Цена 1 р. 30 к.

Октябрь и художественная литература. Сборник статей. Минск. Издательство Белорусского университета. 275 стр. Цена 1 р. 32 к.

В. Потанин. Туман на снегу. Рассказы. Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 122 стр. Цена 33 к.

А. Ренемчук. Скудный материк. Роман. Сыктывкар. Коми книжное издательство. 343 стр. Цена 53 к.

Саратовская частушка. Сборник. Составитель В. Архангельская. Саратов. Приволжское книжное издательство. 143 стр. Цена 16 к.

Г. Сутеев. Скульптор Эрьзя. Биографические заметки и воспоминания. Саранск. Мордовское книжное издательство. 141 стр. Цена 43 к.

Б. Шмидт. Три дерева. Стихотворения и поэмы. Петрозаводск. Карельское книжное издательство. 144 стр. Цена 43 к.



Главный редактор **А. Т. Гвардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция. Малый Путинковский пер., д 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес Москва. К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 2/1 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/III 1969 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 26,75 уч.-изд. л. 9 бум. л. 25,2 (учл. печ. л.)
А 06032. Зак. 3. Тираж 127150 экз

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636

12